ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

10

1988

ОКТЯБРЬ 10 1988

«Октябрь», 1988, № 10, 1—128.

Цена 90 коп. Индекс 73293



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

1988

ОКТЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

Триумф и трагедия

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И. В. СТАЛИНА

Фарисеи буржуазии любят изречение: de mortuis aut bene aut nihil (о мертвых либо молчат, либо говорят хорошее). Пролетариату нужна правда и о живых политических деятелях и о мертвых, ибо те, кто действительно заслуживает имя политического деятеля, не умирают для политики, когда наступает их физическая смерть.

В. И. Ленин.

Глава первая. ОКТЯБРЬСКОЕ ЗАРЕВО

Сталин умирал. Лежа на полу столовой на даче в Кунцево, он уже не пытался встать, а лишь изредка поднимал левую руку, словно прося у людей помощи. Полуоткрытые веки вождя не могли спрятать отчаяния взгляда, косившегося на входную дверь. Губы немого рта беззвучно и слабо шевелились. Уже прошло несколько часов после удара. Но никого рядом со Сталиным не было. Наконец, обеспокоенные долгим отсутствием признаков жизни за окнами особняка, в помещение несмело вошли его телохранители. Однако и они не имели права немедленно вызвать врачей. Один из самых могущественных людей за всю человеческую историю не мог на это рассчитывать. Нужно было личное распоряжение Берии. Его долго ночью искали. Но тот посчитал, что Сталин просто крепко спит после плотного ночного ужина. Лишь через десять—двенадцать часов перепуганные медики были привезены к умирающему вождю.

Сам факт такой смерти глубоко символичен. Ирония судьбы оказалась жестокой. Агонизировавший еще несколько десятков часов вождь в нужную минуту не смог вовремя получить помощь. И это он, почти земной бог, способный несколькими словами переместить миллионы людей с одного края страны на другой! Бюрократический «порядок», созданный им в обществе, сделал и самого вождя своим заложником. Медленно угасая, Сталин еще имел возможность оценить степень косности той системы отношений, которую он так долго создавал.

Невидимую черту, отделяющую бытие от небытия, можно перешагнуть только в одном направлении. Даже вожди вернуться обратно не в состоянии. Едва ли Сталин знал, что в отличие от других ему предстоит не только смерть физическая, но и смерть политическая. Его кончина казалась для современников глубокой трагедией. Они не думали тогда, что именно этот человек относился к смерти миллионов людей лишь как к казенной сфере закрытой статистики. После своей смерти Сталин оставил потомкам в наследство не просто долгое занятие — разбираться в том, что он создал, но и ожесточенные споры о «загадке» его судьбы. Даже часть ленинской фразы, приведенной в качестве эпиграфа: «...кто действительно заслуживает имя политического деятеля»,— многие считают неприменимой к Сталину. Его смерть не стала его оправданием. Все свершения, деяния и преступления Сталина отданы на суд истории. Мифы рушатся. Но окончательно их развеять можно только правдой.

Анфас и профиль

К началу 1917 года Иосифу Виссарионовичу Сталину (Джугашвили) было тридцать семь лет. Стылая Курейка, что у самого Полярного круга, была его обиталищем уже несколько лет. Времени и пищи для размышлений было много. Под бесконечный вой пурги он то и дело мысленно возвращался к наиболее памятным событиям. Декабрь 1905 года: первая встреча с В. И. Лениным на партийной конференции в Таммерфорсе. Шумные споры на заседаниях, а в перерывах дружеские разговоры — это всегда удивляло Сталина. Партийные съезды в Стокгольме и Лондоне, где он впервые, по существу, приобщился к политическому искусству борьбы, поисков компромиссов, принципиальной неуступчивости...

Все его немногочисленные поездки за границы России оставили в душе какой-то трудно объяснимый беспокойный осадок. Он часто ощущал себя чужим, лишним среди остроумных собеседников. Сталин не мог фехтовать словами так быстро и ловко, как это делали Плеханов, Аксельрод, Мартов. Ощущение внутренней раздраженности и интеллектуальной ущемленности не покидало кавказца, пока он находился рядом с этими людьми. Уже с тех пор где-то подспудно у него родилась устойчивая неприязнь к эмиграции, чужбине, интеллигенции: бесконечные споры в дешевых кафе, прокуренные номера захудалых гостиниц, рассуждения о философских школах, экономических учениях...

Дооктябрьская биография Сталина вся умещалась между семью арестами и пятью побегами из царских тюрем и ссылок. Но об этом периоде будущий вождь не любил публично вспоминать. Он никогда позже не рассказывал и о своем участии в вооруженных экспроприациях для партийной кассы, о том, что, будучи в Баку, одно время стоял на позиции «объединения во что бы то ни стало с меньшевиками», о своих первых беспомощных литературных опытах. Однажды, когда вьюга сотрясала избушку, Сталину вспомнилось одно из его ранних стихотворений, которое нравилось и даже удостоилось публикации в газете «Иверия». Тогда семинаристу было лет шестнадцать-семнадцать. Строки о его стране гор усилили тоску и вызвали какую-то смутную надежду. У Сталина была великолепная память, и вполголоса, почти шепотом он воссоздал образ родного края:

Когда луна своим сияньем
Вдруг озаряет мир земной
И свет ее над дальней гранью
Играет бледной синевой,
Когда над рощею в лазури
Рокочут трели соловья
И нежный голос саламури[1]
Звучит свободно, не таясь,
Когда, утихнув на мгновенье,
Вновь зазвенят в горах ключи
И ветра нежным дуновеньем
Разбужен темный лес в ночи,
Когда беглец, врагом гонимый,
Вновь попадет в свой скорбный край,
Когда кромешной тьмой томимый
Увидит солнце невзначай,—
Тогда гнетущей душу тучи
Развеян сумрачный покров,
Надежда голосом могучим
Мне сердце пробуждает вновь,
Стремится ввысь душа поэта;
И сердце бьется неспроста:
Я знаю, что надежда эта
Благословенна и чиста!

Пока неожиданно для самого себя шептал, словно молитву, стихи своей юности, хозяйка убогого домишки раза два удивленно заглядывала в проем на угрюмого постояльца. А тот сидел с открытой книгой подле мигающей свечи и смотрел в слепое, обледеневшее оконце. В далекой юности Сталин навсегда оставил не только свои наивные стихи, но и многое из того, что интеллигенты называют сентиментальностью. Даже матери Сталин писал крайне редко. Суровое детство, жизнь подпольщика — вечного беглеца — сделали ссыльного холодным, черствым, подозрительным.

[1] Саламури — разновидность свирели.

Сталин умел отгонять тревожные мысли, воспоминания. Однако, хотя прошло уже почти десять лет со дня смерти его жены Като, образ женщины, искаженный тифом, витал где-то рядом. И вот теперь, в ссылке, он вспомнил, как их тайно обвенчал одноклассник по семинарии Христофор Гхинволели в церкви святого Давида в июне 1906 года. Като (Екатерина) Сванидзе была очень красивая девушка, влюбленно и преданно глядевшая своими большими глазами на мужа, когда тот изредка появлялся дома перед тем, чтобы вновь надолго исчезнуть. Семейная жизнь была короткой. Беспощадный тиф отнял у Сталина единственное существо, которое, возможно, он по-настоящему любил. На фотографии, запечатлевшей похороны, Сталин, с копной нечесаных волос, невысокий и худой, стоит у изголовья умершей жены с выражением неподдельной скорби.

Семена черствости и жестокости, посеянные еще в детстве, прорастали все глубже. Подполье ожесточило его: с девятнадцати лет он только и делал, что скрывался, выполнял поручения партийных комитетов, арестовывался, менял фамилии, доставал фальшивые паспорта, переходил с места на место. В тюрьмах долго не задерживался, бежал и снова скрывался.

Жизнь многому научила Сталина, и не в последнюю очередь хитрости и расчетливости. Печать замкнутости и внутренней холодности, которая была заметна еще в молодые годы, превратилась со временем в холодную бесчувственность и беспощадность. Но позже Сталин научится носить маску спокойного, на людях даже приветливого человека с проницательными глазами.

Почему Сосо Джугашвили стал революционером? Может быть, потому, что рано приобщился к крупицам интеллектуальной пищи в Горийском духовном училище и Тифлисской духовной семинарии, в которых учился? Кто знает, не попади в его руки томики Руссо, Ницше, Локка, задумался ли бы семинарист над тем, почему его отец-сапожник латает башмаки для бедняков? Или неудовлетворенность теологическим затворничеством привела его к людям с бунтарским характером? А может быть, его заставила шире открыть глаза на мир попавшая в руки зачитанная тоненькая брошюра «Азы марксизма»? Никто на это не ответит достоверно. Не произойди, однако, в нем тогда, на пороге века, смутная, но решительная смена религиозных ориентиров на светские, еретические, одно из грузинских сел получило бы молодого православного священника. От всего мира его монотонная жизнь была бы отгорожена не только грядой величественных гор, но и мелкими заботами о нищем приходе, куче своих детей, мечтами о шумном Тифлисе. Мог ли сын бедняка знать, что волею судьбы и игры обстоятельств он на одном из этапов истории будет значить для великого народа неизмеримо больше, чем духовный пастырь?

До революции этот человек был хорошо известен различным отделениям департамента полиции. При каждом новом контакте жандармского управления с Джугашвили там его аккуратно фотографировали анфас и в профиль. Так, на бланке Бакинского губернского жандармского управления в этих двух позах запечатлен тщедушный небритый молодой человек. Жандармы не отличались умением охранять заключенных, зато описание «государственных преступников» делали дотошно. Под фотографиями, в тексте, сообщается, что Джугашвили «худ», волосы у него «черные и густые», «бороды нет и усы тонкие», лицо «рябое, с оспинными знаками», форма головы «овальная», лоб «прямой и невысокий», брови «дугообразные», глаза «впалые карие с желтизной», нос «прямой», рост «средний 2 арш. 4,5 верш.», телосложения «посредственного», подбородок «острый», голос «тихий», «на левом ухе родинка», руки — «одна из них, левая — сухая», на левой ноге «2 и 3-й пальцы сросшиеся» и еще десятка два других примет. Когда Джугашвили-Сталин станет могущественным человеком, его блюстители государственной безопасности не станут со своими политическими заключенными заниматься такими пустяками. Ведь ни одному из них в «эпоху» Сталина не удастся совершить, как ему, пять побегов. Для определения в будущем судьбы многих, многих тысяч его, Сталина, потенциальных противников не будет иметь никакого значения, на каком ухе родинка и сколько аршин и вершков рост «врага народа».

Думаю, что читателя больше интересуют не физические и внешние данные будущего вождя, которые можно рассмотреть анфас и в профиль, а те политические и нравственные параметры, с которыми он пришел к семнадцатому году. Скажем сразу, Сталин не был «злодеем» с детства, как на это порой теперь намекают. Но о его детстве надо вспомнить, чтобы лучше понять характер зрелого Сталина.

О детских годах Джугашвили мало что известно — сам Сталин не любил вспоминать об этом времени. Детство было беспросветно безрадостным. Екатерина и Виссарион Джугашвили, бедные крестьяне, а затем горийские плебеи, жили в страшной нужде. Из троих сыновей Михаил и Георгий, не прожив и года, скончались, остался лишь Сосо (Иосиф). Но и он, заболев в возрасте пяти лет черной оспой, едва выжил, дав основания жандармам в графе «особые приметы» теперь регулярно писать: «лицо рябое, с оспинными знаками». Как писал И. Иремашвили, грузинский меньшевик, знавший юного И. Джугашвили, отец Сталина, сапожник-кустарь, сильно пил. Матери и Сосо часто выпадали жестокие побои. Пьяный отец, прежде чем уснуть, норовил дать затрещину своенравному мальчишке, явно не любившему отца. Уже тогда Сосо научился хитрить, избегая встреч с пьяным отцом. Несправедливые побои отца ожесточили сына. А мать целиком посвятила себя Сосо. Именно по ее настоянию и ценой огромных усилий сына устроили в духовное училище, а затем и семинарию.

Семейная разладица продолжалась. Вскоре произошел окончательный разрыв матери с отцом, тот перебрался в Тифлис, где в безвестности умер в ночлежке и был похоронен за казенный счет. После того как И. Джугашвили стал на тропу профессионального революционера, он навсегда покинул родительский дом. Как удалось установить, с 1903 года он всего четыре-пять раз видел мать. Екатерина Георгиевна лишь однажды побывала у сына в Москве, как раз в тот год, когда Сталин стал генсеком. Последний раз он видел мать в 1935 году в один из своих редких наездов в Тбилиси. Думал ли сын о том, что именно неукротимое желание неграмотной женщины «вытолкнуть» его из нужды наверх дало ему тот первый шанс, который он использовал? Через два года после этой встречи, дожив до июля трагического тридцать седьмого года, мать Сталина тихо скончалась в глубокой старости.

В декабре 1931 года немецкий писатель Э. Людвиг, беседуя со Сталиным, спросил собеседника:

— Что вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со стороны родителей?

— Нет. Мои родители были необразованные люди, но обращались они со мной совсем неплохо.

Все, что нам известно о ранних годах И. Джугашвили, дает основание предположить, что сказанное вождем немецкому писателю о родителях относилось лишь к его матери. Людвиг, в свое время написавший очерки-портреты Муссолини, кайзера Вильгельма, Масарика, пытался с помощью одной часовой беседы проникнуть и во внутренний мир «загадочного советского диктатора». Едва ли это ему удалось. В частности, о своих ранних годах становления Сталин не захотел распространяться.

Рассматривая Сталина через призму нравственного «анфаса и профиля», нельзя не сказать, что, обучаясь в духовных учебных заведениях, мальчик обнаружил неплохие способности и феноменальную память. Религиозные тексты осваивались Сосо быстрее других. Книги Ветхого и Нового завета вначале пробудили у семинариста неподдельный интерес. Он старался постичь идею единого бога как носителя абсолютной благости, абсолютного могущества и абсолютного знания. Однако длительное изучение теологии как синтеза догматов и моральных принципов вскоре наскучило Джугашвили. Незаметно для него самого (а ведь проучился Сосо в духовных заведениях в общей сложности десять лет) в сознании способного ученика между тем сформировались важные для его дальнейшей судьбы особенности мышления и действия. К десяти годам религиозной учебы следует приплюсовать столько же лет тюрем и ссылок, выпавших на долю Кобы. Положение отверженного, преданного обществом остракизму, усиливало у молодого революционера глухую, но устойчивую ожесточенность и неудовлетворенность судьбой. Причудливый синтез усвоенных, но отвергнутых религиозных постулатов, роль социального изгоя и как результат — смутная тяга к «мятежной» деятельности, несомненно, оставили свой след на характере молодого Сталина. Первые два десятка лет становления, прошедшие в семинарских кельях и тюремных камерах, не могли не сказаться в конечном счете на интеллекте, чувствах и воле профессионального революционера. В мышлении, в частности, это проявилось в ряде особенностей.

Одна из них — стремление любое знание систематизировать и классифицировать, раскладывать на интеллектуальные «полочки», а это характеризует, если так можно сказать, «катехизисное мышление». Как правило, это мышление создает у окружающих впечатление о таком человеке как носителе «организованного», последовательного ума. Другая особенность сталинского мышления связана с отсутствием серьезного критического взгляда на собственные идеи и поступки. Джугашвили всю жизнь верил в постулаты, сначала христианские, а затем марксистские. Все, что не вписывалось в прокрустово ложе усвоенных концепций и схем, Сосо считал еретическим, а затем и оппортунистическим. Но поскольку он сам редко подвергал сомнению истинность тех или иных фундаментальных положений теории, в которые верил, то не считал необходимым критически относиться и к собственным взглядам и намерениям. Ведь он никогда не отступал, по его мнению, от классических принципов марксизма. Пожалуй, он отдавал первенство вере, а не истине, хотя, наверное, не признался бы в этом и самому себе. Хорошо, когда вера в идеалы и ценности есть. Но едва ли хорошо, если она, вера, оттесняет истину на задний план. Религиозная пища и социальное положение способствовали выработке у Джугашвили скрытого, но глубокого эгоцентризма, преувеличения роли своего «я» в ткани окружающего бытия.

Сталин рано понял, что ему не на кого надеяться в своей жизни, кроме как на себя. Товарищи в Баку, Тифлисе не раз говорили Кобе: «У тебя крепкая воля». Похвала импонировала, и он решил закрепить эту особенность своего характера в революционном псевдониме, выразив его «железной» фамилией. С 1912 года свои статьи Джугашвили уже подписывал «Сталин». Впрочем, не только ему хотелось свою твердость зафиксировать в фамилии. Революционер Л. Б. Розенфельд, например, далеко не обладавший такой волей, как Джугашвили, решил довольствоваться псевдонимом «Каменев». Но «камень» со временем, как покажет история, не устоит перед «сталью». Сталин хотел *верить* в свою волю, свою неуязвимость, свое место регионального вожака. Вера — этот цемент догматизма — была у Сталина всегда.

Религиозное образование способствовало формированию у Джугашвили-Сталина устойчивого догматического мышления, хотя будущий вождь сам нередко подвергал догматизм критике, понимая его, однако, вульгарно-упрощенно. Сталин был склонен всегда жестко канонизировать те или другие положения марксистской теории, приходя часто к глубоко ошибочным выводам.

Конечно, будучи догматиком, Сталин тем не менее был атеистом. Но обильная религиозная пища, принятая им в детстве и юности, сформировала у будущего Генерального секретаря партии своеобразное мышление, для которого стали свойственны нетерпимость к взглядам, отличным от своих, склонность собственную идейную «застылость» оправдывать революционной левой фразой. Сталин на «подходе» к революции был в состоянии усвоить основные положения марксизма, но без ярко выраженной способности их творческого применения. Влияние религиозного образования (а иного Джугашвили не имел) сказалось, подчеркнем еще раз, прежде всего не на содержании его взглядов, а на методологии мышления. От пут догматизма, не всегда, правда, ярко выраженных, Сталин не смог освободиться до конца своих дней.

У Сталина почти не было близких людей, особенно таких, к которым бы он сохранил теплые чувства на всю жизнь. Политические расчеты, эмоциональ-

ная сухость и нравственная глухота не позволили ему приобрести и сохранить друзей. Тем удивительнее, что на исходе жизни Сталин неожиданно вспомнил о своих «однокашниках» по духовному училищу и семинарии. Об этом свидетельствует, например, такой факт.

Однажды во время войны Сталин случайно увидел, что в сейфе его помощника Поскребышева находится большая сумма денег.

— Что это за деньги? — недоуменно и в то же время подозрительно спросил Сталин, глядя не на пачки купюр, а на своего помощника.

— Это ваши депутатские деньги. Они накопились за много лет. Я беру отсюда лишь для того, чтобы заплатить за вас партийные взносы,— ответил Поскребышев.

Сталин промолчал, но через несколько дней распорядился выслать Петру Копанадзе, Григорию Глурджидзе и Михаилу Дзерадзе весьма большие денежные переводы. Сталин на листке бумаги собственноручно написал:

«1) Моему другу Пете — 40 000,
2) 30 000 рублей Грише,
3) 30 000 рублей Дзерадзе.

9 мая 1944 г. Сосо»

В этот же день набросал еще одну коротенькую записку на грузинском языке:

«Гриша!
Прими от меня небольшой подарок.
9.05.44. Твой Сосо».

В личном архиве Сталина сохранилось несколько аналогичных записок. На седьмом десятке лет в разгар войны Сталин неожиданно проявил филантропические склонности, но характерно, что вспомнил он друзей из далекой, «семинарской» молодости. Это тем более удивительно, что Сталин никогда не отличался склонностью к сентиментальности, душевности, нравственной доброте. Правда, нам известен еще один случай филантропического излияния, которое проявил Сталин уже после войны. Вождь направил письмо такого содержания в поселок Пчелка Порбичского района Томской области:

«Тов. Соломин В. Г.

Получил Ваше письмо от 16 января 1947 г., посланное через академика Цицина. Я еще не забыл Вас и друзей из Туруханска и, должно быть, не забуду. Посылаю Вам из моего депутатского жалованья шесть тысяч рублей. Эта сумма не так велика, но все же Вам пригодится.

Желаю Вам здоровья. И. Сталин»

В местах его последней ссылки, как рассказывал мне старый большевик И. Д. Перфильев, сосланный в те края уже в советское время, у Сталина была связь с местной жительницей, от которой появился ребенок. Сам вождь, разумеется, никогда и нигде не упоминал об этом факте. Мне не удалось установить, проявлял ли заботу Сталин об этой женщине, чей путь пересекся с этапной дорогой ссыльного революционера, или дело ограничилось признанием, что, «должно быть», друзей из Туруханска он «не забудет».

Сухость, холодность, расчетливость и осторожность Сталина, возможно, были усилены жизнью профессионального революционера, вынужденного жить с 1901 по 1917 год нелегально, часто попадать в тюрьмы и ссылки. Уже тогда все знавшие Сталина отмечали его редкую способность к самообладанию, выдержке и невозмутимости. Он мог спать среди шума, хладнокровно воспринять приговор, не возмутиться жандармскими порядками на этапе. Пожалуй, единственный раз его видели морально потрясенным, когда в ноябре 1907 года скончалась его жена, оставившая мужу-скитальцу двухмесячного сына Якова. Мальчика вскормила сердобольная женщина Монаселидзе. Эта смерть еще более ожесточила его.

Находясь в своей последней перед революцией ссылке в Туруханском крае вместе с Я. М. Свердловым и другими революционерами, Сталин показал себя нелюдимым и мрачным человеком. В ряде писем из ссылки Свердлов называет Сталина «большим индивидуалистом в обыденной жизни». Прибыв в ссылку уже членом ЦК партии (там были в то время еще три члена Центрального Комитета — Свердлов, Спандарян и Голощекин), Сталин держал себя замкнуто, сдержанно. Его как будто интересовали лишь охота и рыбалка, к которым он пристрастился. Правда, одно время он хотел заняться изучением эсперанто (один из ссыльных привез учебник этого искусственного языка), но быстро остыл к нему. Свое затворничество он нарушал лишь эпизодическими поездками к Сурену Спандаряну, жившему в селе Монастырском. На собраниях, которые устраивали ссыльные, Сталин обычно отмалчивался, отделываясь лишь репликами. Складывалось впечатление, что он просто устал от побегов. Во всяком случае, его общественная пассивность последние четыре года перед революцией поразительна.

Казалось бы, окрыленный написанием удачной работы «Марксизм и национальный вопрос», завершенной им в январские дни 1913 года в Вене, Сталин свое столь долгое пребывание в ссылке, где он не был обременен какими-либо обязанностями, использует для литературного труда. Ему, видимо, была известна высокая оценка В. И. Лениным его статьи по национальному вопросу. Однако это не вдохновило Сталина на дальнейшее углубленное изучение проблемы. Творческое и общественное бесплодие этих лет, занявшее довольно продолжительное время в биографии Сталина, свидетельствует о духовной депрессии ссыльного. За четыре года при наличии библиотеки Сталин даже не попытался написать что-либо серьезное. Кстати, дважды до этого высылаемый в Сольвычегодск, в 1908 и 1910 годах, Джугашвили вел себя так же. Похоже, что не только полная, но и частичная изоляция от революционных центров повергала Сталина (если он не бежал) в состояние пассивного выжидания. Когда он станет могущественным, то это умение выжидать будет уже не пассивным, а тонко рассчитанным.

Обычно ссыльные и арестованные революционеры, как свидетельствуют их воспоминания, очень много читали. Для них тюрьма была своеобразным университетом. Как вспоминал Орджоникидзе, в Шлиссельбургской крепости он прочел Адама Смита и Рикардо, Плеханова, Богданова, Джемса, Тейлора, Беккера, Ключевского, Костомарова, Достоевского, Ибсена, Бунина. Сталин немало читал, но всегда удивлялся, как беззубо царский режим борется со своими «могильщиками»,— можно было сколько угодно читать, не работать, бежать. Для побега из ссылки в основном нужно было лишь желание. Может быть, уже тогда он пришел к выводу, который оглашал впоследствии не раз: «Твердая власть должна иметь сильные «карательные органы». Став вождем и устроив кровавую баню в государстве, он согласился с предложением Ежова об изменении режима содержания политических заключенных. Именно по настоянию Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года в резолюцию по докладу Ежова был внесен специальный пункт о том, что «тюремный режим для врагов Советской власти (троцкистов, зиновьевцев, эсеров и др.) — нетерпим. Он больше походит на принудительные дома отдыха, чем на тюрьмы. Допускается общение, сношение письмами с волей, получение посылок и т. д.». «Меры», разумеется, были приняты. Ни о каких «университетах» для несчастных не могло быть и речи. Люди, попавшие в далекие лагеря во времена единовластия Сталина, вели отчаянную борьбу за свое выживание. Удалось это далеко не всем.

Читая газеты, приходившие с большим опозданием в Туруханский край, станок Курейка, будущий вождь не мог не чувствовать, что назревают большие события. Однако, когда разразилась мировая бойня, последние проявления какой-то общественной активности поселенца прекратились. Невольно складывалось впечатление, что Сталин уже не хотел вырваться из ссылки, хотя сначала думал об этом, по двум причинам: из-за трудностей, ожидавших его при нелегальном положении в военное время, а также из-за нежелания попасть в армию в ходе мобилизации. Впрочем, этого опасаться ему не следовало: когда в феврале 1917 года призывная комиссия в Красноярске намеревалась поставить Сталина в «строй», он был признан полностью негодным к военной службе из-за физических недостатков (сухой руки и дефекта ноги).

Эти четыре года ссылки, когда в обществе постепенно полнились невидимые ручейки социальной напряженности, когда росло недовольство народа империалистической войной, Сталин словно чего-то выжидал. Может быть, к нему, уже пожившему человеку, пришло разочарование в бесплодности двух десятилетий революционной деятельности? Или Сталин предчувствовал, что ему скоро предстоит вступить совсем в иной этап жизни и борьбы? А может быть, его коснулось неверие в возможность опрокинуть самодержавие? Никто этого никогда не узнает. Об этом периоде своей жизни Сталин ничего не писал и рассказывал очень мало.

Сталин все четыре года был пассивен, ничего практически не писал, совершенно не проявил себя как член Центрального Комитета партии. Фактическими лидерами в ссылке стали Спандарян и Свердлов, вокруг которых группировались все ссыльные. Сталин держался особняком, хотя и не скрывал своих сдержанных симпатий к Спандаряну. Неистовому революционеру Сурену Спандаряну не суждено было увидеть зарево революции: он заболел и скончался в ссылке.

Думается, что период длительной духовной депрессии у Сталина был временем его личного духовного выбора. Раздумья о прожитом и грядущем. Ему было уже под сорок, а перспективы личного будущего были туманны. У Сталина не было никакой житейской специальности, он ничего не умел делать, практически никогда не работал. К слову сказать, тридцать лет нашей партией и страной руководил человек, не имевший никакой профессии, если не считать профессии священника-недоучки. Если, допустим, Скрябин (Молотов) окончил реальное училище, недоучившийся студент Маленков проявил себя в молодости как старательный технический секретарь аппарата, а Каганович был неплохим сапожником, то Сталин даже сапожником, как его отец, не был. Полицейские в графе анкеты «Знает ли мастерство (профессия)» делали прочерк или писали: «конторщик». Сам Сталин, заполняя анкеты накануне партийных съездов и конференций, испытывал затруднение при ответе на вопросы о роде занятий и социальном происхождении. Например, в анкете делегата XI съезда РКП(б), в котором он участвовал с совещательным голосом, на вопрос: «К какой социальной группе себя причисляете (рабочий, крестьянин, служащий)?» — Сталин не решился что-либо ответить, оставив графу чистой.

Будущий генсек, являясь профессиональным революционером, жизнь рабочего, крестьянина, служащего знал гораздо хуже, чем, допустим, ссыльного или заключенного. Возможно, это было неизбежно в тех условиях деятельности, но вместе с тем явилось устойчивой чертой его личности: Сталин знал о жизни трудящихся как будто много, но... со стороны, поверхностно. Правда, придет время, и он все будет «знать и уметь». Туруханское долгое молчание было, пожалуй, своеобразной «ревизией» уже немалой по срокам жизни. Все говорило за то, что сходить с революционной тропы Сталину было поздно. Сообщения о росте антивоенных настроений и новом подъеме революционного движения в Петербурге постепенно вернули Сталину уверенность в себе, привели поселенца в былую «боевую» форму.

Правда, имеются и иные свидетельства об этом периоде биографии Сталина. Например, в брошюре жены Спандаряна В. Швейцер «Сталин в Туруханской ссылке. Воспоминания подпольщика», написанной в 1939 году, утверждается, что Сталин с началом империалистической войны был активен и тут же выступил со специальным письмом, осуждающим «оборончество». Мол, интернациональная позиция, как утверждалось автором книги, была выражена им быстро. Однако это письмо не только не сохранилось, но о нем никто и никогда не вспоминал и не слышал из тех, кто нес тогда свой крест в далеком Туруханском крае. Старая большевичка Вера Швейцер, правдиво описав жизнь, быт ссыльных, едва ли была вольна так же писать о Сталине в разгар кровавых чисток. Она пишет, например, что «тезисы Ленина подтвердили его (Сталина.— Д. В.) установку по вопросу о войне», что, мол, уже в то время Сталин в беседах с товарищами предупреждал, что Каменеву нельзя доверять,— он «способен предать революцию», что «Сталин переводил в ссылке книгу Розы Люксембург на русский язык», что все время «товарищ Сталин напряженно работал», жил «одними думами, одними стремлениями с Владимиром Ильичем» и т. д. Апологетический характер подобных свидетельств очевиден. Но в те годы о Сталине и не могли появиться объективные работы — в этом не приходится сомневаться.

Копаясь в архивах, анализируя воспоминания, свидетельства находившихся в Туруханской ссылке (а в конце концов там подобралась «солидная компания»: Голощекин, Каменев, Свердлов, Спандарян, Сталин, Петровский), приходишь к выводу, что четыре года накануне революции были самыми бездеятельными в жизни Сталина. Показалось бы просто невероятным и диким предположение, что человек со свалявшейся шевелюрой на голове, долгие годы лежавший на убогом топчане и думавший о чем-то своем под вой полярной пурги, через несколько лет возглавит могущественную партию огромного государства. Кто знает, что пробегало у него перед глазами в калейдоскопе воспоминаний: Таммерфорс, батумская тюрьма, Вологда, квартира Аллилуева, «касательная» встреча с Троцким?

Рассматривая Сталина анфас и в профиль накануне революции через призму современного знания, нельзя не упомянуть об устойчивой репутации «экспроприатора», долго державшейся за ним.

В начале века среди некоторых радикалов в рабочем движении были распространены взгляды о «допустимости» экспроприаций для «интересов революционного движения». В письменных свидетельствах Дана, Мартова, Суварина, ряда других современников Сталина утверждается, что «кавказский боевик Джугашвили» причастен к некоторым экспроприациям если не непосредственно, то как один из организаторов. В частности, Мартов утверждал, что знаменитое по дерзости нападение 1907 года в Тифлисе на казачий конвой, сопровождавший экипаж с деньгами, «не обошлось без Сталина». Было «экспроприировано» около 300 тысяч рублей. По этому поводу Мартов писал в своей московской газете: «Кавказские большевики примазывались к разного рода удалым предприятиям экспроприаторского рода; хорошо известно хотя бы тому же г. Сталину, который в свое время был исключен из партийной организации за прикосновенность к экспроприации».

Известно, что Сталин настойчиво пытался привлечь Мартова к революционной ответственности за клевету. Выступая, однако, по поводу заявления Мартова, Сталин делал акцент на том, что он никогда не исключался из партийной организации, обходя вопрос о его непосредственном участии в акциях экспроприаторов. Косвенное подтверждение своего участия в экспроприациях Сталин дал и в беседе с Э. Людвигом. Тот, в частности, спросил его:

— В вашей биографии имеются моменты, так сказать, «разбойных» выступлений. Интересовались ли вы личностью Степана Разина? Каково ваше отношение к нему, как «идейному разбойнику»?

— Мы, большевики, всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и др.

Рассуждая и дальше об этих крестьянских вождях, Сталин ни словом не обмолвился о собственных «разбойных» выступлениях, сознательно уйдя от какого-либо ответа на этот вопрос. Годы участия в революционной деятельности, хотя и на региональном уровне, романтический ореол «экспроприатора», прошедшего этапы, тюрьмы, сибирские ссылки, исподволь создавали Сталину репутацию «боевика», практика, человека дела. Скорее всего такая характеристика близка к действительности, с учетом, однако, пассивных периодов его последних ссылок.

Конечно, на становление Сталина как марксиста большое влияние оказал В. И. Ленин. Известно его первое письмо, которое он написал в декабре 1903 года Сталину в Иркутскую губернию, село Новая Уда, где тот находился в ссылке. Владимир Ильич, очень внимательно присматривавшийся к революционерам с национальных окраин, заметил И. Джугашвили по ряду небольших публикаций в партийной печати и рассказам товарищей. В своем письме он ориентировал его на

некоторые насущные проблемы партийной работы. Первый раз об этом письме И. В. Сталин публично вспомнил на вечере кремлевских курсантов в конце января 1924 года, посвященном памяти В. И. Ленина. Глухим, невыразительным голосом Сталин рассказывал о своих встречах с Лениным.

«Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки... Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период... Это простое и смелое письмецо еще больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо Ленина, как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика, я предал сожжению»...

Сталин не мог пожаловаться на невнимательность Ленина к нему. Когда он находился накануне революции в ссылке в Сибири, на заседании ЦК РСДРП обсуждался специальный вопрос об организации побега из ссылки Я. М. Свердлова и И. В. Сталина. Несколько раньше Владимир Ильич высылает Сталину в Туруханский край 120 франков. Ленин внимательно отнесся к письму Сталина из ссылки, в котором ставился вопрос о возможности издания статьи о «культурно-национальной автономии» и брошюры «Марксизм и национальный вопрос» в виде отдельного сборника.

До 1917 года состоялось несколько встреч Сталина с Лениным. Из них наиболее продолжительной была встреча в Кракове. Имели место контакты Сталина с Лениным и во время IV съезда партии в Стокгольме, V съезда — в Лондоне. Однако позже Сталин эти встречи стал рассматривать иначе. Уже в 1931 году он заявлял: «Всегда, когда я к нему приезжал за границу — в 1906, 1907, 1912, 1913 годах...». Выходит, Сталин отправлялся не на съезды и совещания, а «ездил к Ленину». Такое смещение биографических акцентов впоследствии «работало» на концепцию «двух вождей», создание мифа об особых отношениях Сталина с Лениным еще до революции. Правда, Сталин в своих утверждениях о близких отношениях с Владимиром Ильичем проявлял привычную для него осторожность. Вот пример.

Незадолго до войны на имя А. Н. Поскребышева пришло письмо следующего содержания:

«Тов. Поскребышеву.

Прошу согласовать вопрос о возможности опубликования в печати информации: «Музей революции к ленинским дням».

Ответственный руководитель ТАСС

Я. Хавинсон.

5 января 1940 г.»

К письму был приложен документ для «согласования».

«В. И. Ленину, через Крупскую, в Краков 7 марта 1912 г.

Транспорт литературы около двух пудов привезли. Средств у нас нет ни копейки. Сообщите куда следует, пусть посылают смену людей или шлют денег...

С товарищеским приветом Чижиков».

Сталин ниже, на документе, резюмировал:

«Письмо Чижикова — не мое письмо, хотя я и ходил одно время под фамилией Чижикова.

И. Сталин».

Генсек мог бы добавить, что он ходил не только под фамилией Чижикова, но и Ивановича, Чопура, Гилашвили. В данном случае то ли кому-то «передали» фамилию Чижикова, то ли Сталин посчитал, что такое письмо его не «поднимает», во всяком случае, вождь не захотел хотя бы временно, хотя бы мысленно вернуться в прошлое. Даже в связи с Лениным.

Из искусства дореволюционной конспирации Сталин вынес немалое умение перевоплощаться. Он был одним на Политбюро, другим, выступая на съезде, третьим, беседуя со стахановцами. Не все могли сразу заметить эти перемены, но они были. Сталин в узком кругу мог быть более жестким, нежели «являясь народу». Об этом свидетельствуют лица, долго работавшие рядом с генсеком. А власть человека над другими людьми всегда зависит не только от силы ума, но и от впечатления, «кажимости» образа, привлекательности или непривлекательности руководителя. Находясь в Курейке, Сталин еще не думал об этом. Он все поймет позже. Тем более, что до революции едва ли кто к Сталину, кроме жандармов, приглядывался. В его невнушительной фигуре, тихой речи, вкрадчивых манерах никто не мог бы усмотреть будущего диктатора.

Работа в Баку, Кутаиси и Тифлисе показала наличие у Кобы неплохих организаторских способностей. Но уже тогда проницательные подпольщики заметили, что Сталин смотрит на партийные организации как на аппарат, механизм, машину реализации тех или иных решений. Большевики Енукидзе, Джапаридзе, Шаумян, например, были более известны пролетариату, чем Джугашвили. Не уступая им в марксистской подготовке, опыте подпольной деятельности, Джугашвили заметно отставал от этих признанных лидеров Закавказья в личной популярности. У него еще не было аппарата, который появится позже, чтобы настойчиво создавать эту популярность.

Февральский пролог

Скупые вести, докатывавшиеся до Курейки, будоражили воображение, вызывали жаркие споры, отдавались упругими ударами сердца и покалыванием в висках. Сталин как-то сразу почувствовал приближение из-за горизонта будущего, которое виделось ему в контурах смутной н а д е ж д ы. Ведь только революция могла изменить положение ссыльного, в обычной жизни обреченного на прозябание,— ни профессии, ни дома. А ведь самое страшное для человека, когда его нигде не ждут. Революционные толчки встряхнули Сталина. Она, эта надежда, росла, отодвигая куда-то вглубь стылых снежных равнин неверие, сомнения, колебания. Пожалуй, и сама жизнь есть вечная надежда. Как только она умирает, человеку уже нечего делать на этой земле.

Возможно, в канун нового, 1917 года Сталин чувствовал, что скоро вновь окажется в городе на Неве, где он так нелепо был схвачен охранкой четыре года тому назад на вечеринке, устроенной Петербургским комитетом большевиков в зале Калашниковской биржи. Ссыльные рвались на волю, где зрели бурные события. Угрюмый грузин, хотя и был уже с 1912 года членом Центрального Комитета партии, кооптированный в его состав Пражской конференцией РСДРП, так и не стал, как мы уже говорили, среди ссыльных популярной личностью. Правда, Сталин довольно близко сошелся с Каменевым. На одной из фотографий, сделанной в Монастырском, Сталин — рядом с ним, своим будущим союзником, а затем и противником.

По своему характеру Сталин всегда был замкнут и малодоступен. Конспиратора, человека, имевшего другие духовные истоки своего становления, не привлекала пестрая община ссыльных с ее ожиданиями, обсуждениями писем, вестей с воли, семейными заботами, многочисленными проектами. Ему был чужд, как тогда говорили, «аристократизм духа»; не случайно уже после Октября он однажды назвал себя «чернорабочим революции». В глазах тех, кто его знал тогда, Сталин выглядел «боевиком», практиком подполья, но без большого полета мысли и фантазии. А в то время революционеры умели широко мечтать: о бесклассовом обществе, полной справедливости, священном равенстве...

Пожалуй, любимой литературой большевиков того времени были книги о Великой французской буржуазной революции XVIII века, Парижской Коммуне. День 14 июля, Бастилия, Версаль, «Декларация прав человека и гражданина», якобинцы, клуб кордельеров, Конвент, гильотинирование Людовика XVI и Марии-Антуанетты, диктатура, Робеспьер, Дантон, 9 Термидора... Сталин долгими зимними вечерами при скудных бликах свечи поглощал страницу за страницей зачитанной донельзя книги А. Олара «Политическая история французской революции», которую ему дал Свердлов. Вживаясь в образы, атмосферу, накал страстей давно

ушедшего времени. Сталин впервые постигал тайны «той» революции. До этого он почти ничего не читал о ней. Революция представала пред ним то безжалостной фурией, то грозным социальным шквалом, сметающим все на своем пути. Сталин почти физически ощущал трагические последствия нерешительности Робеспьера, когда заговор был раскрыт. Нет, он бы медлить и колебаться не стал...

Пока Курейка цепко, словно приморозив, держала ссыльных, в России зрели невиданные доселе события. Молох первой мировой войны вот уже тридцать месяцев собирал свою кровавую жатву. Залитые грязью и кровью окопы, газовые атаки, застывшие серые пятна солдатских фигур на колючей проволоке... В стране резко упало промышленное производство, наступал голод, быстро росло недовольство народных масс. Война до предела обострила кризис Российской империи. Назревал революционный взрыв.

Буржуазия надеялась найти выход в монархических рокировках, попытках утвердить демократию западного типа. Министерская чехарда лишь усугубляла положение режима. За три года войны сменилось четыре председателя Совета министров, десятки других руководителей государственных ведомств. А дела на фронте шли все хуже. Об уровне руководства войсками можно судить, например, по такому примеру. Военный министр генерал Поливанов телеграфировал с фронта в царский дворец: «Уповаю на пространства непроходимые, на грязь невылазную и на милость угодника Николая, покровителя Святой Руси».

Николай Второй, при всей его заурядности, долго и довольно умело лавировал, искал компромиссы, готов был идти на частичные уступки буржуазии, лишь бы сохранить монархию. Но роковой час для нее уже пробил. Председатель последней Думы лидер октябристов М. В. Родзянко за три недели до краха самодержавия сказал царю: «Вокруг вас, государь, не осталось ни одного надежного и честного человека: все лучшие удалены или ушли, остались только те, которые пользуются дурной славой». Председатель Думы уговаривал, умолял царя «даровать народу конституцию», чтобы спасти престол. Но спасти его уже ничто не могло.

Революция растет, говорил В. И. Ленин, анализируя политическую ситуацию в стране, чутко прислушиваясь в далекой Швейцарии к нарастающему, как во время землетрясения, гулу грядущей революции. Первым и центральным актом февральского пролога явилось крушение самодержавия. Ссыльные, среди которых был и Сталин, верившие в возможность этого крушения, не думали, что оно так быстро случится. Сталин, обращаясь к урокам революции 1905 года, вспоминая детали недавно прочитанной книги о Великой французской революции, понимал: в ближайшее время должно случиться то, чем оправдывалось само существование их как профессиональных революционеров.

Один из крупнейших контрреволюционных деятелей того времени, В. В. Шульгин, проживший почти вековую жизнь, в своих известных мемуарах «Дни» вспоминал, как он с А. И. Гучковым по поручению Временного комитета Государственной Думы прибыл 2 марта 1917 года в Псков для принятия отречения царя от престола. Тогда они надеялись еще спасти монархию. Император, пишет Шульгин, как всегда, был спокоен. После сбивчивой речи Гучкова Николай монотонным голосом, не выдавая своих эмоций, сухо произнес:

— Я принял решение отречься от престола. До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея... Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила...

Сделаем, однако, одно отступление.

В это время группы ссыльных из Монастырского, Курейки уже находились в Красноярске, Канске, Ачинске. Сталин с Каменевым были в Ачинске. Известие об отречении Николая в пользу Михаила и об отказе последнего принять корону встретили восторженно. Телеграмму с поздравлениями Михаилу «за его великодушие и гражданственность» неожиданно для Сталина подписал и Каменев. Спустя девять лет этот факт всплыл на поверхность на заседании ИККИ. Сталин постарался «монархическую слабость» Каменева максимально использовать для себя. Его выступление высвечивает и как бы приближает то далекое время февраля—марта 1917 года.

«Дело происходило в городе Ачинске в 1917 году,— необычно возбужденно начал Сталин,— после Февральской революции, где я был ссыльным вместе с тов. Каменевым. Был банкет или митинг, я не помню хорошо, и вот на этом собрании несколько граждан вместе с тов. Каменевым послали на имя Михаила Романова (Каменев закричал с места: «Признайся, что лжешь, признайся, что лжешь!»). Молчите, Каменев (Каменев вновь закричал: «Признаешь, что лжешь?»). Каменев, молчите, а то будет хуже. (Председательствующий Тельман призывает к порядку Каменева). Телеграмма на имя Романова, как первого гражданина России, была послана несколькими купцами и тов. Каменевым. Я узнал на другой день об этом от самого т. Каменева, который зашел ко мне и сказал, что допустил глупость (Каменев вновь с места: «Врешь, никогда тебе ничего подобного не говорил»). Телеграмма была напечатана во всех газетах, кроме большевистских. Вот факт первый.

Второй факт. В апреле была у нас партконференция, и делегаты подняли вопрос о том, чтобы такого человека, как Каменев, из-за этой телеграммы ни в коем случае выбирать в ЦК нельзя. Дважды были устроены закрытые заседания большевиков, где Ленин отстаивал т. Каменева и с трудом отстоял как кандидата в члены ЦК. Только Ленин мог спасти Каменева. Я также отстаивал тогда Каменева.

И третий факт. Совершенно правильно, что «Правда» присоединилась тогда к тексту опровержения, которое опубликовал т. Каменев, т. к. это было единственное средство спасти Каменева и уберечь партию от ударов со стороны врагов. Поэтому вы видите, что Каменев способен на то, чтобы солгать и обмануть Коминтерн.

Еще два слова. Так как тов. Каменев здесь пытается уже слабее опровергать то, что является фактом, вы мне разрешите собрать подписи участников апрельской конференции, тех, кто настаивал на исключении тов. Каменева из ЦК из-за этой телеграммы (Троцкий с места: «Только не хватает подписи Ленина»). Тов. Троцкий, молчали бы вы! (Троцкий вновь: «Не пугайте, не пугайте...») Вы идете против правды, а правды вы должны бояться (Троцкий с места: «Это сталинская правда, это грубость и нелояльность»). Я соберу подписи, т. к. телеграмма была подписана Каменевым».

Мы забежали по времени вперед. Но здесь приведен спор, касающийся событий начала 1917 года. Даже Каменев, считавший себя ортодоксальным марксистом, видел тогда признак революционного достижения в «великодушии Михаила». Это сегодня нам «все ясно» о том далеком уже времени, а тогда маневры царя, буржуазии были способны поставить в тупик и некоторых членов ЦК партии...

Последние два февральских дня 1917 года перечеркнули все надежды «бывших» остановить революцию. Генерал Хабалов окончательно утратил власть над частями, распропагандированными большевиками. В ночь на 28 февраля министры последнего царского правительства оказались в Петропавловской крепости в роли арестованных. Февральская буржуазно-демократическая революция в России победила.

На далеких окраинах тысячи политических ссыльных еще до получения официальных бумаг готовились к отъезду в Петроград, Москву, Киев, Одессу, Тифлис, Баку, другие революционные центры. Сталин с группой таких же бывших ссыльных, добыв билеты в вагон третьего класса, жадно смотрел на огромные заснеженные пространства Западной Сибири, пробегавшие за окном. Он не мог знать, что немногим более чем через десять лет побывает здесь, но уже не в качестве безвестного «чернорабочего революции», а как вождь партии, быстро набирающий силу. Выскакивая на станциях за кипятком, Сталин не мог и предположить, что уже через год-полтора на этой земле, как когда-то в Бретани, Тулоне, Вандее, вспыхнут кровавые мятежи. Сталин еще не знал, что его ждет в Петрограде, чем он будет конкретно заниматься, кого из руководителей партии

повстречает. Уныние и тоска остались на берегу закованного в ледовый панцирь Енисея. Вскоре водоворот социальных и политических событий захватит Сталина целиком, вначале скроет под волнами и пеной революции, а затем неожиданно выбросит в самом ее эпицентре.

На подъезде к Уралу и дальше ссыльных шумно встречали на вокзалах. Звучала «Марсельеза», лились речи, все казалось радужным. Говорили красноречивый Каменев, уверенный в себе Свердлов, другие их попутчики. Сталин молча смотрел на эту неожиданную эйфорию.

А между тем мелкая буржуазия, примыкая то к «полевевшим» капиталистам, то к пролетариату, все больше раскачивала лодку государственности. Нарастали настроения реформизма. Казалось, главное сделано: самодержавие рухнуло. «Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все,— писал В. И. Ленин,— подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но идейно...» Гигантский социальный маятник колебаний справа налево и слева направо отражал исключительное своеобразие момента, не вписывающееся в прокрустово ложе классических схем буржуазно-демократических революций. Политическим выражением этого уникального положения стало двоевластие. В одном и том же дворце, Таврическом, бурно заседали два органа власти. В одном крыле дворца было, по выражению Милюкова, «игралище власти» — Временный комитет Государственной Думы. Здесь тон задавала «левая» буржуазия — кадеты. В другом крыле дворца разместился Петроградский Совет как орган революционной власти. Во главе Совета стали меньшевики Чхеидзе, Скобелев, трудовик Керенский. В составе исполкома Советов большевики были в меньшинстве. И это не случайно, ибо меньшевики, находившиеся до Февраля на легальном положении, активно использовали свои возможности, в их рядах были многие видные интеллигенты, пропагандисты и теоретики научного социализма. В то же время В. И. Ленин, признанный вождь партии большевиков, находился еще в эмиграции, Бубнов, Дзержинский, Муранов, Рудзутак, Орджоникидзе, Свердлов, Сталин, Стасова, другие члены партийного руководства были в ссылке, тюрьмах, на каторге и только должны были вернуться.

Меньшевистский состав Совета в согласии с думцами одобрил передачу исполнительной государственной власти буржуазии в лице Временного правительства. Церетели и Керенский на все лады распевали тезис, что «новое революционное правительство будет работать под контролем Совета», что такова «воля истории». Демагогия, пафос перемен, революционная фраза повернули общественное сознание в сторону поддержки Временного правительства.

Керенский, все делая для победы буржуазии, «на всякий случай» хотел сохранить и представителей династии. В одной из своих статей, написанной уже в бегах, «Отъезд Николая II в Тобольск», исторический временщик, вознесенный на миг событиями на самую вершину буржуазной траектории, писал: «Вопреки сплетням и инсинуациям, Временное правительство не только могло, но и решило еще в самом начале марта отправить царскую семью за границу. Я сам 7 марта (20) в заседании Московского Совета, отвечая на яростные крики: «Смерть царю, казнить царя»,— сказал:

— Этого никогда не будет, пока мы у власти. Временное правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обязательство мы выполним до конца. Царь с семьей будет отправлен за границу в Англию. Я сам довезу его до Мурманска.

Мое заявление вызвало,— писал Керенский,— в советских кругах обеих столиц взрыв возмущения... однако, уже летом, когда оставление царской семьи в Царском Селе сделалось совершенно невозможным, мы — Временное правительство, получили категорическое официальное заявление о том (из Англии.— Д. В.), что до окончания войны въезд бывшего монарха и его семьи в пределы Британской империи невозможен». Тогда-то и отправили царя с семьей в Тобольск. Решая попутно такие «задачи», Временное правительство пыталось любой ценой набросить на революцию смирительную рубашку. Стремясь сохранить власть за буржуазией, как говорил тот же Керенский, они были намерены дать «наговориться народу».

Революция в этот момент как бы захлебнулась революционной фразой. Двоевластие усыпляло бдительность. Официально вроде бы вся власть принадлежала Временному правительству, державшему в руках старый аппарат государства, а рядом гудел в калейдоскопе революционных будней Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Сожительствовали две диктатуры рядом; ни одна пока не обладала полной властью, ни одна пока не могла лишить другую ее атрибутов.

Но двоевластие, как социальная двусмысленность, не могло затормозить революционное творчество масс. Например, по инициативе большевиков 2 марта в «Известиях» был опубликован знаменитый приказ № 1. Он провозгласил введение демократических начал в армии: выборность комитетов в частях, отмену военных чинов и титулов, поддержку распоряжений властей лишь в случае одобрения Советами, необходимость соблюдения революционной дисциплины, уравнивание солдат и офицеров в гражданских правах. Князь С. П. Мансырев, бывший член Государственной Думы, в своих воспоминаниях пишет, что Чхеидзе категорически утверждал, что «приказ исходит не от Совета, а лишь его некоторой части, а посему он должен быть аннулирован». Однако усилия военного министра Гучкова, Керенского, Чхеидзе дезавуировать революционный документ ни к чему не привели. Революция следует своей логике, а не директивам и распоряжениям ее временщиков.

Все это, повторяю, происходило до приезда многих большевиков в Петроград. Ленин еще только готовился прорваться в мятежную Россию, Троцкий приедет в город на Неве в начале мая, еще не зная окончательно, с кем он будет,— с меньшевиками или большевиками. Меньшевики и эсеры доминировали в Петроградском Совете, и с их помощью начало бесславно функционировать правительство, которое позже назовут коалиционным. Керенские, церетели, черновы, скобелевы заботились лишь об одном: как бы не допустить выхода «революционной энергии из-под контроля».

Все эти нюансы политической обстановки были пока незнакомы Сталину, который «ехал в революцию». Где остановиться, вопроса не было,— у Аллилуевых. В течение долгих лет ссылки он если и получал от кого-нибудь регулярно письма, то, видимо, лишь от Сергея Яковлевича Аллилуева, своего будущего тестя, большевика, вошедшего в нашу историю прежде всего тем, что в драматические дни июля 1917 года он укрывал у себя В. И. Ленина от преследований Временного правительства.

Революции совершаются не партиями. «Не Государственная Дума — Дума помещиков и богачей,— в восставшие рабочие и солдаты низвергли царя»,— писал в марте В. И. Ленин. Но во главе этих восставших должна быть их партия. Все помыслы Ленина были в России, где, как он понимал, мало было устроить тризну на месте останков самодержавия. Нужно было идти дальше. Непременно дальше!

Особую роль до приезда В. И. Ленина сыграло Русское бюро ЦК, в которое были кооптированы новые лица, и среди них И. В. Сталин. Бюро утвердило состав редакции «Правды», в которую он также вошел. Возобновление выхода пролетарской газеты (легально!) имело огромное мобилизующее значение.

Как проявил себя Сталин в Февральской, а затем и в Октябрьской революциях? Какова была его подлинная роль? Кем он был в революции: лидером, аутсайдером, статистом? Анализ документов, партийных материалов, свидетельств участников позволяет ответить на этот вопрос.

Долгое время освещение роли Сталина в революции было выдуманным, фальшивым. В «Краткой биографии» утверждалось, что «в этот ответственный период Сталин сплачивает партию на борьбу за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Сталин совместно с Молотовым руководит деятельностью Центрального Комитета и Петербургского комитета большевиков. В статьях Сталина большевики получают принципиальные руководящие указания для своей работы». Сказано как о вожде, лидере революции, как будто заменившем на этот период Ленина. Как свидетельствуют исторические хроники,

оснований для такого вывода совсем не было, это чрезвычайно далеко от правды. Никаких «руководящих указаний» Сталин не отдавал. Приехав в Петроград, он стал одним из многих партийных функционеров революции. В документах этого периода редко-редко можно встретить фамилию Сталина в списке определенной группы лиц, исполнявших задание Центрального Комитета партии. Да, Сталин входил в высокие политические органы, но ни в одной области деятельности в эти месяцы он не заявил о себе громко. Его почти никто не знал, кроме узкого круга партийцев. У него абсолютно не было популярности. Такова правда.

Но не точен и Л. Д. Троцкий, описывая этот период деятельности Сталина в своей книге «Февральская революция». «Положение в партии,— указывал он,— еще больше осложнилось к середине марта, после прибытия из ссылки Каменева и Сталина, которые круто повернули руль официальной партийной политики вправо». Троцкий рассуждает, что если Каменев, в течение ряда лет оставаясь с Лениным в эмиграции, где находился главный очаг теоретической работы партии, вырос как публицист, оратор, то Сталин в качестве так называемого «практика» без должного теоретического кругозора, без широких политических интересов и без знания иностранных языков был неотделим от русской почвы. Фракция Каменева—Сталина все больше превращалась в левый фланг так называемой «революционной демократии» и приобщалась к механике парламентарно-закулисного «давления» на буржуазию. Троцкий обвиняет в своей книге Сталина в оборончестве, что не всегда соответствовало истине. Но нельзя не уловить в его рассуждениях и верные нотки об отсутствии масштабности дооктябрьского мышления Сталина, что порой вело к узкому практицизму, ограниченному рамками лишь ближайшей перспективы. Сталин был лишен и революционной страсти.

Но Февраль не застал полностью Сталина врасплох. Несмотря на длительный период депрессии, он верил, что революция неизбежна. Для него истина была неотделима от веры в нее. Если истина не облекалась в одеяние веры, она для Сталина была неполноценной. В этом, может быть, и нет ничего негативного, но здесь всегда таится опасность проявления догматического мышления. Сталину вера в программы, курсы, решения, «линии» всегда помогала сохранять твердость и уверенность в правильности своих действий. Быть или не быть революции зависело не от него. Но что она будет, в этом он никогда не сомневался. В это он просто **верил**. И всегда верил, что этот исторический акт произойдет еще при его жизни. Но неожиданно он почувствовал, что у дела, которому посвятил всю свою жизнь, как и у его личной судьбы, есть не просто исторический шанс, а нечто большее.

На вторых ролях

Двенадцатого марта Сталин был уже в Петрограде. Ни его, ни Каменева, ни Муранова, приехавших одним поездом, не встречала толпа. Петроград был занят своими революционными заботами, тем более что Сталин даже в партийных кругах был мало известен. Взяв в руки свой фанерный сундучок, Сталин отправился к Аллилуевым. В тот же день он встретился с несколькими членами ЦК. Вечером его ввели в состав Русского бюро Центрального Комитета и в состав редакции «Правды».

Фактически с середины марта руководство «Правдой» было возложено на Каменева, Муранова и Сталина. И уже в первые дни их работы газета допустила целый ряд заметных теоретических и политических сбоев, которые, конечно же, были не случайны. Сталин не обладал сильным самостоятельным мышлением, отточенной позицией, ясным пониманием сложнейшей диалектики предоктябрьской грозы. Он привык исполнять указания и был способен проводить «линию», а здесь решения нужно было принимать самому. Сначала этот сбой выразился в одобрении Сталиным для публикации статьи Каменева «Временное правительство и революционная социал-демократия», в которой Каменев прямо утверждал, что партия должна оказывать поддержку Временному правительству, ибо оно «действительно борется с остатками старого режима». Это явно противоречило ленинским установкам.

Буквально на следующий день Каменев, отличавшийся «скорописью», опубликовал еще одну статью — «Без тайной дипломатии», в которой фактически стал на позиции «революционного оборончества». Поскольку германская армия ведет войну, революционный народ будет, писал Каменев, «стойко стоять на своем посту, на пулю отвечая пулей и на снаряд — снарядом. Это непреложно». Подобные оборонческие воззрения Каменева не встретили тогда отпора со стороны Сталина, который еще слабо разбирался в хитросплетениях большой политики. Это проявилось, в частности, и в том, что уже на следующий день после материала Каменева Сталин сам допустил политическую ошибку в статье «О войне». Написанная в целом с антивоенных позиций, статья тем не менее делала вывод, идущий вразрез с ленинскими установками. Выход из империалистической войны Сталин видел в «давлении на Временное правительство с требованием изъявления им своего согласия немедленно открыть мирные переговоры».

Справедливости ради следует сказать, что позднее, в 1924 году, в своем выступлении на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС Сталин публично признает ту ошибку. Характеризуя свою позицию по отношению к Временному правительству в вопросе о мире, он скажет, что «это была глубоко ошибочная позиция, ибо она плодила пацифистские иллюзии, лила воду на мельницу оборончества и затрудняла революционное воспитание масс». Забегая вперед, скажем, что если в двадцатые годы еще были отдельные публичные признания Сталиным своих промахов, ошибок, то позже, по мере того как он становился «непогрешимым», о них не было и речи.

Не без влияния Сталина Бюро ЦК через неделю после публикации статьи «О войне» приняло резолюцию «О войне и мире», в которой сохранялась идея «давления» на Временное правительство с целью начала мирных переговоров. В отсутствие Ленина в партийном органе было сильно влияние Каменева, он оказался настоящим «героем» межвременья. Оборонческие, меньшевистские тенденции в марте заметно окрепли. Сталин не мог противостоять им из-за своего ограниченного влияния и авторитета. Даже в отсутствие Ленина, других видных руководителей партии, когда нужно было энергичное сплочение партии, вышедшей из подполья, Сталин не смог проявить себя. Свердлов, Каменев, Шляпников были более заметны и видны в той сложной обстановке уточнения политических ориентиров, определения тактических маршрутов движения партии. Сталин был во власти ветра событий.

Думаю, что Сталин не мог в то время и помышлять о том, что провозгласит Ленин менее чем через месяц,— о курсе на социалистическую революцию. В тех революционных маневрах, которыми Сталин был захвачен в марте, ему виделась уже достигнутая цель. В течение трех недель с момента приезда Каменева, Сталина, а позднее и других руководителей, исключительно остро чувствовалось отсутствие Ленина. На усредненном уровне интеллекта и революционной страсти решать сверхзадачи невозможно, а подняться выше этого уровня приехавший из Курейки Сталин не мог. В это время, писал в своих воспоминаниях небезызвестный меньшевик Суханов, «Сталин на политической арене был не более как серым, тусклым пятном». Другие члены Бюро — П. А. Залуцкий, В. М. Молотов (Скрябин), А. Г. Шляпников, М. И. Калинин, М. С. Ольминский — также не смогли в ряде вопросов последовательно проводить в жизнь установки, изложенные Лениным в его «Письмах из далека». Чувствовалось, что Сталин, Каменев, некоторые другие руководители не избавились полностью от иллюзий оборончества, веры во Временное правительство, считали едва ли не венцом достижений буржуазно-демократические завоевания.

Эти предоктябрьские эпизоды колебаний Сталина не были беспричинными. Сталин не обладал собственной концепцией реализации великой идеи. В Февральской революции и дни Октябрьского штурма рельефно проявились его слабые стороны: «мелкая» теоретическая подготовка, низкая способность к революционному творчеству, неумение (пока еще) переложить политические лозунги в конкретные программные установки. Никто и никогда не бросал Сталину упрека в том, что он уклонялся от борьбы, искал легких путей, боялся конфронтации с

политическими противниками, но внимательный исследователь заметит: у него, профессионального революционера, было уже тогда одно, среди других, весьма уязвимое место. И он знал о нем.

Когда возникала потребность идти в цех, на завод, в воинскую часть, на уличный митинг, у Сталина появлялось чувство внутренней неуверенности и тревоги, которые он, правда, со временем научился скрывать. Он не любил, да, пожалуй, и не умел хорошо выступать перед людьми. В одном из свидетельств начала двадцатых годов приводится оценка рабочего Кобзева, слушавшего Сталина во время митинга на Васильевском острове в апреле 1917 года: «Вроде все говорил правильно, понятно и просто; да как-то не запомнилось его выступление». Не случайно, что Сталин меньше, чем кто-либо другой из ленинского окружения, выступал перед людьми на митингах, встречах, манифестациях.

Выступать перед толпой, массами особенно было трудно, когда приехали Ленин и Троцкий, когда пошли на площади Луначарский, Володарский, Каменев, Зиновьев, другие блестящие ораторы. Троцкий, например, «облюбовал» постоянным местом своих выступлений цирк «Модерн», всегда забитый толпами народа. Нередко Троцкого несли к трибуне через головы на руках. Создавалось впечатление, что Троцкий содержание речи ставил на второй план, обращая особое внимание на эмоциональную сторону воздействия на сознание слушателей. «Первые недели своего пребывания в Петрограде,— писал в своих записках Суханов,— Троцкий, закончив очередное выступление в «Модерн», мчался на Обуховский завод, оттуда — на Трубочный, далее — на Путиловский, затем — на Балтийский, из Манежа — в казармы; казалось, что он говорил везде одновременно». Сталину было трудно, просто невозможно «тягаться» с этим цицероном революции. Троцкий упивался ростом своей популярности, не гнушался демагогии, но умел и зажечь людей. Сталин, слушая выступление Троцкого на каком-либо заседании или совещании, всегда испытывал к этому человеку устойчивую неприязнь. Троцкий же, особенно до Октябрьских событий, буквально «не замечал» Сталина. Однажды, когда еще Троцкий был членом Политбюро, Сталин бросил Товстухе о нем: «Меньшевистский перевертыш!»

Сталин предпочитал писать статьи, отклики, давать газетные реплики по поводу тех или иных политических событий. В период после приезда из ссылки в середине марта и по октябрь 1917 года Сталин, например, опубликовал в газетах «Правда», «Пролетарий», «Солдатская правда», «Пролетарское дело», «Рабочий и солдат», «Рабочий», «Рабочий путь», других изданиях около шестидесяти статей и заметок. Будучи посредственным публицистом с точки зрения литературного стиля, художественного слога, он был последователен и неизменно категоричен в выводах. Религиозные догмы, которые он отверг по содержанию, нравились ему за их строгую форму и ясность. Видимо, не случайно в его работах все было элементарно простым — в них не было мудреных терминов, сложных дефиниций, логических ухищрений. В большинстве его бесхитростных статей были ясно изложены простые истины, которые спустя десятилетия никогда бы не привлекли внимания людей, не будь их автором Сталин.

Более по душе ему была работа в «штабе», в управляющем органе, Бюро, Комитете, Совете. Уже в марте Бюро ЦК к имеющимся поручениям добавляет еще одно: делегирует Сталина в состав Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Бюро собиралось почти ежедневно, обсуждая самые разные вопросы революционной практики, поручая то одному, то другому его члену новые и новые задания. Так, Сталин принял участие в установлении регулярных связей с организациями партии в Закавказье, другими регионами страны. К этому времени во многих губерниях стали создаваться объединенные организации большевиков и меньшевиков.

Объективно говоря, наш традиционный взгляд на недопустимость таких объединений порой сомнителен. Тогда, когда это усиливало революцию в борьбе с самодержавием, а позже — с буржуазией, это могло, видимо, рассматриваться как практика политических компромиссов для достижения определенных целей. Сталин проявлял, в частности, большую энергию в разрушении, ликвидации таких объединенных организаций. А может быть, следовало попытаться усилить большевистское влияние на инакомыслящих? Бесспорно, когда соглашательство ставило под угрозу идеалы, программные установки, конкретные завоевания, этот разрыв был оправдан. Но концентрация усилий против меньшевиков и особенно против эсеров иногда наносила больше ущерба, чем пользы. Со временем это станет сомнительной традицией. Фашизм, например,в 30-е годы уже рассматривал нас через перекрестье прицела, а мы все еще видели в социал-демократах едва ли не «главного врага».

Ленин рвался в Россию, но сделать это было очень сложно. После тщательного продумывания всех возможных осложнений В. И. Ленин с группой русских эмигрантов, среди которых был и Г. Е. Зиновьев (Радомысльский), выехал из Швейцарии через Германию и Швецию в Россию. Уже 3 апреля на станции Белоостров (первой русской остановке) Ленина в 9 часов вечера встречали представители ЦК и Петербургского комитета РСДРП(б), делегации рабочих. Среди встречавших были Л. Б. Каменев, А. М. Коллонтай, И. В. Сталин, М. И. Ульянова, Ф. Ф. Раскольников, А. Г. Шляпников. Едва войдя в купе, обменявшись сердечными приветствиями с Лениным, вспоминал Раскольников, он сразу же был ошарашен вопросом Ильича:

— Что вы пишете в «Правде»? Несколько номеров удалось посмотреть, за которые мы вас здорово ругали...— В пути от Белоострова до Петрограда Ленин беседует с встретившими его товарищами о положении в партии; здесь же высказал Л. Б. Каменеву серьезные критические замечания о его статьях в «Правде», которыми он фактически поддерживал Временное правительство, а в оценке войны не раз сползал на оборонческие позиции.

Пафос встречи Ленина в нашей литературе весьма широко описан; это было подлинно великое событие. Революция, народ, партия встречали своего признанного вождя. Не бога, не жреца, не политического апостола, а подлинного лидера, обладавшего колоссальной духовной мощью, непререкаемым моральным авторитетом у революционных масс. Небезынтересно привести описание встречи В. И. Ленина его идейным противником, одним из меньшевистских лидеров и теоретиков, Н. Н. Сухановым (Гиммером). В своих в целом малоинтересных «Записках о революции», изданных в 1922—1923 годах, Суханов, бывший на встрече, описывает ее так:

«На Финляндском вокзале, в так называемую «царскую комнату» вошел или, пожалуй, вбежал Ленин, в круглой шляпе, с иззябшим лицом и — роскошным букетом в руках. Добежав до середины комнаты, он остановился перед Чхеидзе, как будто натолкнувшись на совершенно неожиданное препятствие. И тут Чхеидзе, не покидая своего прежнего угрюмого вида, произнес следующую «приветственную» речь, хорошо выдерживая не только дух, не только редакцию, но и тон нравоучения: «Тов. Ленин, от имени Петербургского Совета и всей революции мы приветствуем вас в России... Но мы полагаем, что главной задачей революционной демократии (и это было «солью», главной идеей речи Чхеидзе.—Д. В.) является сейчас защита нашей революции от всяких на нее посягательств, как изнутри, так и извне... Мы надеемся, что вы вместе с нами будете преследовать эти цели». Чхеидзе замолчал. Я растерялся от неожиданности....

Но Ленин, видимо, хорошо знал, как отнестись ко всему этому. Он стоял с таким видом, как бы все происходящее ни в малейшей степени его не касалось: осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и даже потолок «царской комнаты», поправляя свой букет (довольно слабо гармонировавший со всей его фигурой), а потом, уже совершенно отвернувшись от делегации Исполнительного комитета, ответил так: «Дорогие товарищи, солдаты, матросы и рабочие. Я счастлив приветствовать в вашем лице победившую русскую революцию, приветствовать вас, как передовой отряд всемирной пролетарской армии... Недалек час, когда по призыву нашего товарища Карла Либкнехта народы обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов... Русская революция, совершенная вами, открыла новую эпоху. Да здравствует всемирная социалистическая революция!»

Мы привели эту пространную выдержку Суханова потому, что даже человек, идейно глубоко расходившийся с Лениным, не мог без восхищения не отметить политической мудрости и интеллектуального изящества вождя российского пролетариата.

После знаменитого выступления с броневика Ленин и многотысячные колонны рабочих, солдат и матросов двинулись к зданию ЦК большевиков. Это было грандиозное ночное шествие революционной силы, вдохновленной возвращением политического вождя. С таким эскортом Ленин прибыл в сопровождении большой группы членов ЦК во дворец Кшесинской — «атласное гнездо придворной балерины», не дожившей впоследствии за рубежом до ста лет менее года. Опять начались приветственные речи. Для Ленина это было уже слишком. «Ленин претерпевал потоки хвалебных речей,— пишет об этом Троцкий,— как нетерпеливый пешеход пережидает дождь под случайными воротами. Он чувствовал искреннюю обрадованность его прибытием, но досадовал, почему эта радость так многословна. Самый тон официальных приветствий казался ему подражательным, аффектированным, заимствованным у мелкобуржуазной демократии, декламаторской, сентиментальной и фальшивой. Он видел, что революция, не определившая еще своих задач и путей, уже создала утомительный этикет». Ленину наконец удалось прервать этот поток революционных изъявлений и перевести встречу в рабочее русло.

Сталин позднее вспоминал, что уже вечером 3 апреля ему «многое стало значительно яснее». Ленин, прибывший «издалека», тем не менее лучше других видел и понял историческое своеобразие момента русской революции. На другой день Сталин, слушая выступление Ленина в Таврическом дворце, огласившего и прокомментировавшего свои знаменитые десять тезисов, вошедших в историю как «Апрельские», еще и еще раз поражался титанической мощи его ума. Тезисы не оставили камня на камне от тактики «постольку поскольку», показали опасность выжидательного, пассивного курса.

Однако для соратников Ленина признанный вождь не был «неприкасаемым». Не все оказались готовыми принять ленинскую программу. Кое-кто говорил: Ленин оторвался от русской действительности за границей, впал в крайний радикализм. Сталину после его осторожного доклада на мартовском совещании большевиков ленинские выводы звучали прямым укором. Суханов позже писал, что после ленинской речи «у многих закружилась голова». С Лениным не соглашались, критиковали, подвергали сомнению его выводы многие, а не только Зиновьев, Каменев и Троцкий, как нас потом у нас было принято считать. Так было и после революции — Ленин сам на этом настаивал. Прямо высказывать свои взгляды было нормой. Например, в мае 1919 года Антонов-Овсеенко прислал резкое письмо в ЦК с несогласием с ленинской оценкой военного положения на одном из участков Южного фронта. Ленин поручил специалистам из Реввоенсовета сделать компетентное заключение.

Ленин никогда не обожествлялся прежде всего потому, что он сам не позволял этого, ценил оригинальную, парадоксальную, неординарную идею, решение, мысль, подход. Поэтому скрытое восхищение Сталина ленинской духовной мощью не было данью уважения вождю, а в значительной мере способностью понять новизну ленинской идеи. К слову сказать, это могли сделать далеко не все и не всегда. Те же гениальные «Апрельские тезисы» (до партийной конференции) не были поддержаны большинством Петроградского комитета. Ленин не раз оставался в меньшинстве, но не делал из этого трагедии, как не подчеркивал и своего триумфа тогда, когда большинство было на его стороне.

Механическое, автоматическое большинство может быть менее ценным, чем положение, в котором выявлены, вскрыты различные позиции, точки зрения, новые оригинальные подходы. Если я считаю себя правым, то не страшно остаться и в меньшинстве. В этом случае, говорил Ленин, «лучше остаться одному, как Либкнехт: один против 110».

Ленинские тезисы на седьмой Всероссийской конференции РСДРП (24—29 апреля 1917 г.) легли в основу ее решений. Впервые было обнародовано, что 151 делегат конференции представляет 80 тысяч членов партии. И этой горстке — по сравнению с многомиллионным населением России — в ближайшие месяцы предстояло «потрясти мир». Ленин на конференции диалектически глубоко ответил на вопросы, поставленные русской революцией,— о переходе от ее демократического к социалистическому этапу, об отношении пролетариата и его партии к войне и Временному правительству, о роли Советов и завоевании в них большинства и многие другие.

На конференции развернулась жаркая полемика. Каменев подверг Ленина критике за то, что он якобы недооценивает сложившиеся возможности, а поэтому нужно работать в блоке с Временным правительством. Несогласие с Лениным выразили Смидович, Рыков, Пятаков, Милютин, Багдатьев. Придет время, и все эти выступления будут квалифицированы Сталиным как «предательские», «враждебные», «контрреволюционные». Их обязательно внесут в реестр «преступлений». После выступления А. С. Бубнова о формах контроля за Временным правительством «сверху» и «снизу» выступил Сталин в поддержку ленинских тезисов. Однако его речь была бледной и малоубедительной в силу слабой аргументации. Известно, что аргументы — это мускулы идей. Но убедительных доводов для отклонения поправки Бубнова Сталин не смог привести. Более весомым был его доклад по национальному вопросу, в котором проводилась мысль о том, что «организация пролетариата данного государства по национальностям ведет к гибели идеи классовой солидарности». Для пролетариата многонационального государства самый верный путь — создание единой партии. Поэтому предложения Бунда о так называемой «культурной автономии», говорил докладчик, неинтернациональны. Сталин добросовестно, но без блеска исполнил свою роль «твердого практика».

Знакомясь с документами той поры, решениями ЦК, стенограммами партийных форумов, телеграммами революционных органов,— быстро замечаешь, что не в пример (я, конечно, не говорю о Ленине, который все время был в эпицентре революции, где бы он ни находился) Зиновьеву, Каменеву, Троцкому (приехавшему в Россию из эмиграции лишь в мае 1917 года), Бухарину, Свердлову, Дзержинскому, другим активным деятелям Сталин упоминается в этих материалах крайне редко, хотя в собрании сочинений И. В. Сталина и в его «Краткой биографии» назойливо проводится магистральная мысль: Сталин всегда был рядом с Лениным. Например, в третьем томе сочинений прямо утверждается: «В. И. Ленин и И. В. Сталин руководят работой VII (Апрельской) Всероссийской конференции большевистской партии», «Десятого октября ЦК создает для руководства восстанием Политическое бюро ЦК из семи человек во главе с В. И. Лениным и И. В. Сталиным». «24—25 октября В. И. Ленин и И. В. Сталин руководят октябрьским вооруженным восстанием». Подобные утверждения, а на них «учили» миллионы людей не одно десятилетие, неимоверно далеки от истины.

Вновь возвращаясь к протоколам, стенограммам, дневникам, мемуарам, в которых упоминается Сталин, приходишь к выводу, что в революцию Сталин вошел не как выдающаяся личность, властитель дум, пламенный трибун и организатор, а как малозаметный функционер партийного аппарата. Например, в хронике, подготовленной комиссией по истории Октябрьской революции в 1924 году, Сталин за четыре месяца (июнь—сентябрь 1917 г.) упоминается всего девять раз, а, допустим, Савинков — более четырех десятков раз, Скобелев — более 50, Троцкий — более 80 раз. Можно спорить, что такой «статистический» способ оценки политической активности несовершенен. Разумеется, но какую-то грань роли личности, преломленную через призму общественного мнения, он улавливает. Да, Сталин был членом ЦК, работал в «Правде», был в ряде других органов, советов и комиссий, но, кроме того, чтобы перечислить «членство» в различных комитетах, мало что можно сказать о конкретном содержании его деятельности. Главная причина такого положения заключается, на наш взгляд, в слабой способности Сталина к революционному творчеству.

Он был хорошим исполнителем, но не обладал богатым воображением. Не случайно, что на мартовском совещании большевиков в своем докладе Сталин не смог предложить ничего конструктивного, кроме предупреждения: «Не форсировать события». Ни одной крупной идеи, оригинального решения, нового под-

хода Сталин выдвинуть не смог. За три недели до приезда Ленина Сталин, будучи членом ЦК, не смог проявить себя как руководитель российского масштаба. После приезда Ленина стала рельефно ясной причина популярности Владимира Ильича и незаметности бывшего ссыльного из Курейки. Ленин всегда выражал интересы народа, решая задачи сегодняшнего дня, видел будущее. Сталин же был выразителем интересов аппарата, функционеров. Ленин искал любую возможность для общения, диалога с народными представителями, Сталин ограничивался контактами с представителями организаций и комитетов.

Конечно, то, что Сталин в 1917 году был в тени, проистекало не только от его социальной пассивности, а от характера уготованной ему роли исполнителя, для которой у него были несомненные данные. Сталин был неспособен в переломные, бурные месяцы 1917 года подняться над обыденностью, повседневностью. Многие из тех, кто находился рядом с ним в то время, были более яркими индивидуальностями. Маловероятно, что в то время Сталина снедали амбициозные устремления. Его постоянное присутствие на вторых ролях медленно, но исподволь, незаметно создавало ему, однако, стабильный политический авторитет среди большевистских лидеров. На VII (Апрельской) конференции Сталин вновь был избран в состав Центрального Комитета партии.

После приезда Ленина меняется и «Правда». Владимир Ильич становится редактором центрального органа партии. Соглашательские, оборонческие нотки, явно прослушивавшиеся в газете, когда ею руководили Каменев и Сталин, исчезли. Ленин придавал работе «Правды» исключительное значение. В здании, что на набережной Мойки (дом 32/2), Ленин ежедневно проводил по нескольку часов, нередко засиживаясь до глубокой ночи. К нему в «Правду» шли рабочие, солдаты, матросы, провинциальные работники партии. Активно сотрудничали в газете А. Е. Бадаев, М. И. Калинин, М. К. Муранов, М. С. Ольминский, Г. И. Петровский, М. И. Ульянова, П. Ф. Куделли. Продолжал работать в газете и Сталин, правда, выступал он, как правило, с небольшими заметками, репликами, сообщениями по вопросам текущих политических событий. В это время Сталин часто встречается с Лениным, теперь уже полностью разделяя его курс на социалистическую революцию. Мартовские сбои соглашательства, недооформленность позиции по ряду ключевых вопросов у Сталина незаметно отошли в прошлое, но он оставался «человеком для поручений».

Вооруженное восстание

С приездом Ленина роль Сталина стала более определенной: он регулярно выполнял задания партийного руководства. Находясь в тени, редко попадая в поле зрения революционных масс, Сталин оказался нужным человеком для руководства по части конспиративных вопросов, установления связей с комитетами, организации текущих дел на разных этапах подготовки к вооруженному восстанию.

Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих и солдатских депутатов, избранный на I Всероссийском съезде (3—24 июня), не был большевистским, подавляющее большинство делегатов представляли эсеров и меньшевиков. Наряду с Лениным, Дзержинским, Каменевым, Подвойским, Шаумяном и другими известными руководителями большевиков в состав ЦИК вошел и Сталин. Решения съезда, как и ЦИК, были соглашательскими. Особенно это проявилось после разгрома Временным правительством июльской мирной демонстрации. Стало ясно, что мирным путем социалистическую революцию осуществить не удастся. Ленин писал позже, что «наша партия исполнила свой безусловный долг, идя вместе со справедливо возмущенными массами 4 июля и стараясь внести в их движение, в их выступление возможно более мирный и организованный характер. Ибо 4 июля еще возможен был мирный переход власти к Советам». Но эсеро-меньшевистские лидеры уже «скатились на самое дно отвратительной контрреволюционной ямы», пойдя на сговор с Временным правительством, которое бросило войска на мирную демонстрацию. Двоевластие кончилось. Наступил новый этап подготовки социалистической революции.

Сталин по поручению ЦК организует с другими товарищами переход Ленина на нелегальное положение. Некоторое время В. И. Ленин находился на квартире С. Я. Аллилуева. Здесь 7 июля состоялось совещание членов Центрального Комитета партии, где наряду с Лениным, Ногиным, Орджоникидзе, Стасовой и другими присутствовал и Сталин. Шел спор, как реагировать на требование властей отдать себя в руки «правосудия». Известно, что Ленин до этого совещания заявлял: «В случае приказа правительства о моем аресте и утверждения этого приказа ЦИК-том, я явлюсь в указанное мне ЦИК-том место для ареста». Мнения разделились. Вначале многие высказывались за явку на суд — при даче определенных гарантий со стороны ЦИК. Но Либер и Анисимов (члены ЦИК, меньшевики) заявили, что «никаких гарантий они дать не могут». В условиях разнузданной травли в печати против Ленина и других руководителей партии большевиков становилось ясно, что реакция ждет расправы над вождем. После долгих обсуждений убедили Владимира Ильича отказаться от явки на суд и скрыться на время вне Петрограда. У Сталина, нужно отдать ему должное, с самого начала не было колебаний. С категоричностью, свойственной его натуре, Сталин однозначно сказал:

— Юнкера до тюрьмы не доведут. Убьют по дороге. Нужно надежно укрыть товарища Ленина...

Для такого заявления было более чем достаточно оснований. В своих мемуарах Половцев, в частности, пишет, что офицер, посланный в Териоки задержать Ленина, спросил его:

«Как доставить этого господина — в целом виде или по кускам?

Я ответил ему с улыбкой, что люди, которых арестовывают, часто совершают попытку к бегству...»

На Сталина была возложена задача обеспечить отправку Ленина в безопасное место. При этом, безусловно, учитывался опыт Сталина как конспиратора. С помощью верных людей план выезда Ленина из Петрограда был тщательно выработан и продуман.

В эти дни, полные драматизма и социальной напряженности, в личной жизни Сталина происходит важное событие: он знакомится с дочерью С. Я. Аллилуева Надеждой, своей будущей второй женой, которая была моложе его на двадцать два года. Семью Аллилуевых Сталин знал с конца девяностых годов, со времени своего пребывания в Баку. Кстати, дочь Сталина Светлана Аллилуева в «Двадцати письмах другу» утверждает, что в 1903 году Сталин спас свою будущую жену, когда та, будучи двухлетней девочкой, свалилась с набережной в море, а он вытащил ее. Для Надежды Аллилуевой это предание, возможно, казалось романтичным, не лишенным налета мистики.

В тот памятный вечер Надя, вернувшись домой, застала в квартире много незнакомых людей. Ее стали осторожно расспрашивать об обстановке на улицах. Девушка возбужденно рассказывала, что, говорят, виновники июльского восстания — не кто иные, как «тайные агенты Вильгельма», которые уже бежали на подводной лодке в Германию, и главный среди них Ленин. Узнав, что герой ее уличных сведений находится у них в квартире, младшая Аллилуева была страшно смущена...

Собравшиеся еще раз сделали свой вывод: предложение Орджоникидзе и Ногина о неявке в суд правильное — над Лениным готовится расправа. Решили, что В. И. Ленина после гримировки и переодевания нужно направить сначала в Сестрорецк, а затем в Финляндию.

С. Я. Аллилуев позже вспоминал:

«Вечером мы все отправились на Приморский вокзал. Впереди шел Емельянов. За ним на небольшом расстоянии Владимир Ильич и Зиновьев, а я и Сталин шли сзади всех. Поезд уже стоял... трое отъезжающих сели в задний вагон. Мы со Сталиным дождались благополучного отбытия поезда, повернули обратно».

Сергей Яковлевич Аллилуев в своих воспоминаниях допустил неточности. Зиновьева среди провожавших не было — он сам в это время находился на нелегальном положении. Загримированного Ленина сопровождали, кроме С. Я. Аллилуева, рабочий В. И. Зоф и И. В. Сталин. Одним из связующих звеньев Ленина с ЦК станет отныне Сталин.

Есть все основания полагать, что Ленин ему полностью доверял, давал инструкции, советы. Так, накануне VI съезда партии Сталин встречался с Лениным. Естественно, никаких стенограмм этих встреч нет, но печать мысли и воли Ленина лежит на всех важнейших документах съезда. Ленин радовался, что присутствовавшие делегаты представляли около 240 тысяч членов партии,— за четыре месяца рост партии в три раза! Вождь революции видел в этом факте важное доказательство и подтверждение верности взятого курса. Ленинские работы «Политическое положение», «К лозунгам», «Ответ» и другие легли в основу резолюций, принятых съездом. Съезд специальной резолюцией подтверждает верность решения о неявке Ленина на суд. Линия на вооруженное восстание, выдвинутая Лениным, съездом была подтверждена.

С тех пор Сталин, несмотря на занятость, стал часто бывать у Аллилуевых: его, черствого, холодного человека, тянуло к чистому и наивному полуребенку, своей будущей жене. На политической арене он вновь едва заметен. Партия наполовину оказалась в подполье. По поручениям Ленина Свердлов и Сталин ведут необходимую работу. В массах Сталин по-прежнему неизвестен, но в аппарате ЦК его роль повысилась.

А тем временем события, несомые, как сухие листья осенним ветром, набивают ткань предоктябрьского бытия. Были здесь события будничные и комические, трагические и подлинно исторические. Мы не будем их ни оценивать, ни комментировать, а приведем лишь некоторые, чтобы почувствовать политический колорит времени. Вот как об этом времени сообщали петроградские газеты, как они запечатлены в архивах.

26 июля открылся VI съезд РСДРП(б). Анкеты заполнили 171 человек, при этом из них отбывали тюремное заключение 110 человек в течение 245 лет, на каторге были 10 человек в течение 41 года, всего подвергались аресту 150 человек 549 раз, были эмигрантами 27 человек в течение 89 лет. Съезд по поручению организационного бюро открывает Ольминский. В президиум выбраны Свердлов, Ольминский, Ломов, Юренев и Сталин, почетными председателями — Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Коллонтай, Луначарский.

8 августа 1917 года. Великий князь Кирилл водрузил над своим домом красный флаг, а Николай II, теперь уже бывший император, записывает в своем дневнике, что начинает читать «Тартарена из Тараскона».

24 августа Керенский посещает бывшего царя, чтобы в беседе подготовить его и близких к «отъезду в безопасное место». Николай (и вновь спокойно!): «Я не беспокоюсь. Я верю вам...»

28 августа генерал Корнилов послал верховному командующему войсками Московского военного округа телеграмму: «В настоящую грозную минуту, дабы избежать междоусобной войны и не вызвать кровопролития на улицах Первопрестольной, предписываю вам подчиниться мне и впредь исполнять мои приказания». Верховный ответил: «С ужасом прочитал ваш приказ не подчиняться законному правительству. Начало междоусобной войны положено вами, и это, как я вам говорил,— гибель России. Можно и нужно было менять политику, но не подрывать последние силы народа во время прорыва фронта. Присягу не меняю как перчатки...»

10 октября Ленин после долгого перерыва присутствовал на заседании Центрального Комитета. Заседание состоялось на квартире меньшевика Суханова, жена которого была большевичкой. Председательствовал Свердлов. Ленин констатировал: «Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для перехода власти... Надо говорить о технической стороне. В этом все дело».

12 октября в «Речи» появляется сообщение, что закончилось дело Сухомлинова. Ему дана бессрочная каторга, а его жена оправдана.

16 октября в Петрограде состоялось заседание ЦК РСДРП(б) с представителями других партийных организаций. Несколько страничек из Центрального партийного архива говорят нам об этом заседании. Присутствовали Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Сокольников, Ломов. Бокий из Петроградского комитета сообщает о готовности и настроениях в районах: «Боевого настроения пока нет, но боевая подготовка ведется. В случае выступления массы поддержат».

Крыленко от Военного бюро сообщает, что у них резкое расхождение в оценке настроения. В полках настроение поголовно наше.

Выступал еще раз Бокий, затем Володарский, Ровин, Шмидт, Шляпников, Скрыпник, Свердлов, другие члены ЦК. Сталин молчит...

Обсуждался вопрос о вооруженном восстании. Принята следующая резолюция, предложенная Лениным: «Собрание призывает все организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания...» За резолюцию подано 19 голосов, против — 2. Избран практический центр по организационной подготовке восстания в составе: Бубнов, Дзержинский, Урицкий, Свердлов, Сталин.

«Рабочий путь» сообщает, что «русская революция низвергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед «громкими именами», она их брала на службу либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Их, этих «громких имен», отвергнутых потом революцией,— целая вереница: Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич и вообще все те старые революционеры, которые только тем и замечательны, что они «старые». Мы боимся, что лавры этих «столпов» не дают спать Горькому. Мы боимся, что Горького «смертельно» потянуло к ним, в архив. Что ж, вольному воля!.. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов...».

24 октября вечером В. И. Ленин из Выборгского района перешел в Смольный, в Военно-революционный комитет. Той же ночью отряд юнкеров явился в дом № 6 по Финляндскому проспекту с целью арестовать редакцию газеты «Рабочий путь» и В. И. Ленина, но отрядом Красной гвардии он был разоружен и препровожден в Петропавловскую крепость. В этот же день состоялось заседание ЦК. Рассматриваются вопросы: доклад Военно-революционного комитета; о съезде Советов; о Пленуме ЦК. Каменев предлагает, чтобы сегодня без особого постановления ни один член ЦК не мог уйти из Смольного. Троцкий считает необходимым устроить запасной штаб в Петропавловской крепости и послать туда с этой целью одного члена ЦК. Каменев вносит предложение, что в случае разгрома Смольного надо иметь опорный пункт на «Авроре». Сталина на заседании нет...

В ночь на 25-е Военно-революционный комитет перешел к штурму Зимнего дворца, где окопалось Временное правительство...

25 октября. Заняты Николаевский вокзал, осветительные учреждения. Крейсер «Аврора» подошел и отдал якорь у Николаевского моста. Павловский полк на Миллионной улице, близ Зимнего дворца, выставил пикеты, останавливает всех, арестовывает, направляет в Смольный институт. Командой моряков занят государственный банк без сопротивления. Петроградские казачьи полки отказались выступать в поддержку Временного правительства. Выключены телефоны штаба и Зимнего дворца. Занят Варшавский вокзал. Из «Крестов» освобождены политические заключенные. Подразделения Измайловского полка заняли Мариинский дворец и потребовали от членов предпарламента очистить помещение. Павловским полком занят Невский проспект. Чем занимается Сталин — неизвестно.

В 14.35 под председательством Троцкого открылось экстренное заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Под шумные аплодисменты Троцкий заявил, что Временного правительства больше не существует, предпарламент распущен, освобождены заключенные, в действующую армию посланы радиограммы о падении старой власти. Судьба Зимнего дворца должна

решиться в ближайшие часы. Затем встреченный бурной овацией выступил впервые после долгого перерыва открыто появившийся Ленин:

— Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась!

Известно, что организационная подготовка восстания была возложена на Военно-революционный центр из членов ЦК (куда вошли пять человек, в том числе и Сталин), а также на Военно-революционный комитет при Петроградском Совете, который проводил огромную работу по мобилизации революционных сил для решающего приступа. В своем историческом письме 24 октября к членам ЦК Ленин убеждал партийное руководство:

«Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.

Нельзя ждать! Можно потерять все!!

...Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало! Промедление в выступлении смерти подобно!»

Ленинский призыв нашел благодатную почву в общественном сознании — социалистическая революция победоносно свершилась. Ее первые результаты были закреплены на Втором Всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов, открывшемся вечером 25 октября. В президиум съезда избраны большевики: Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Склянский, Ногин, Крыленко, Коллонтай, Рыков, Антонов-Овсеенко, Рязанов, Муранов, Луначарский, Стучка, а также левые эсеры Комков, Спиридонова, Каховская, Мстиславский, Закс, Карелин, Гутман. Сталин в событиях этих дней просто затерялся. Находясь в Военно-революционном комитете Петроградского Совета, он занимался исполнением текущих поручений Ленина, передавал циркулярные распоряжения в комитеты, принимал участие в подготовке материалов для печати. Ни в одном архивном документе, с которыми мне удалось ознакомиться, касающемся этих исторических дней и ночей, его имя не упоминается. Сталин подобен «невидимке»...

На съезде Мартов пытался предложить резолюцию о необходимости мирного разрешения кризиса; эсер Гендельман от имени ЦК ПСР навязывал резолюцию, осуждающую «захват власти» (но даже среди эсеров она собрала лишь 60 голосов при 93 против). Бунд выступил против захвата власти, как и правые эсеры. Меньшевики-интернационалисты и другие группировки покинули съезд. А между тем к двум часам ночи Зимний дворец был занят. Широкому читателю сегодня мало что говорят фамилии бывших министров Временного правительства Кишкина, Пальчинского, Рутенберга, Бернацкого, Вердеревского, Маниковского, Салазкина, Маслова и других, которых по приказу Антонова-Овсеенко заключили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. А съезд до самого утра продолжал работу...

Джон Рид так описывал его атмосферу: всюду вокруг — между колоннами, на подоконниках, на каждой ступеньке, ведущей на сцену, да и на краю самой сцены — публика, также состоящая из простых рабочих, простых крестьян, простых солдат. Кое-где в публике щетинятся штыки. Измученные красногвардейцы, опоясанные патронными лентами, спят на полу у колонн. Зал не отапливается, лишь от тел исходит живое тепло, и на стеклах высоких окон выступает иней. Воздух сизый от табачного дыма и дыхания.

На этом съезде были приняты знаменитые ленинские Декреты о земле и мире. Съезд избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) в составе 101 человека, в котором у большевиков уже было 62 места, однако в руководстве партии не было единства. Каменев, Зиновьев, Ногин, Милютин полагали необходимым поделить власть с другими группировками. В качестве одного из условий создания коалиционного социалистического правительства соглашатели требовали устранения из него Ленина и Троцкого. Развернулась ожесточенная политическая борьба. На стороне Ленина оказались Бубнов, Дзержинский, Сталин, Свердлов, Стасова, Троцкий, Иоффе, Сокольников, Муранов, некоторые из которых в будущем еще не раз качнутся в сторону от «линии» партии.

Как вел себя Сталин в критические дни Октября? Почему его имя крайне редко встречается в революционных хрониках, хотя он регулярно, почти всегда, входил в различные руководящие органы?

Сначала несколько свидетельств. Вот как оценивает роль Сталина в революции «Краткая биография И. В. Сталина». В ней говорится, что «Ленин и Сталин — вдохновители и организаторы победы Великой Октябрьской социалистической революции. Сталин — ближайший сподвижник Ленина. Он непосредственно руководит всем делом подготовки восстания. Его руководящие статьи перепечатываются областными большевистскими газетами. Сталин вызывает к себе представителей областных организаций, инструктирует их и намечает боевые задачи для отдельных областей. 16 октября Центральный Комитет избрал Партийный центр по руководству восстанием во главе с тов. Сталиным». И фактически все. Апологетика явная: только Ленин и он, Сталин. Руководит он не иначе, как путем «вызовов» и «инструктажей», но это уже взято из практики и терминологии 30-х годов. Авторам биографии было трудно сказать что-то конкретное, ибо Сталин в дни революционного апогея ничем не «руководил», ничто не «направлял» и никого не «инструктировал», а лишь эпизодически исполнял текущие поручения Ленина, решения ВРК при Петроградском Совете. Это был малозаметный функционер.

Сталин продолжал писать небольшие статьи, комментирующие партийные решения. Действительно, 24 октября, когда Керенский распорядился закрыть центральный орган партии «Рабочий путь», Сталин с отрядом красногвардейцев принял меры по защите пролетарской газеты. И уже днем 24 октября в номере была опубликована невыразительная, совсем не в духе времени статья Сталина «Что нам нужно?», где он продолжает говорить о необходимости созыва Учредительного собрания. Фактически сталинская статья каким-то образом перекликается с печально известным письмом Зиновьева и Каменева «К текущему моменту» от 11 октября, в котором эти две мечущиеся фигуры выступают против решения ЦК о подготовке вооруженного восстания. Зиновьев и Каменев писали, что «мы держим револьвер у виска буржуазии» и что, мол, под этой угрозой она не сможет сорвать Учредительное собрание. Сталин тоже в канун восстания счел возможным вновь вернуться к идее «учредиловки». Одновременно, правда, он доказывал, что «правительство Кишкина — Коновалова необходимо заменить правительством Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Сталин вошел в первое Советское правительство, став народным комиссаром по делам национальностей. Но, войдя в «обойму» партийных лидеров, решавших все важнейшие вопросы революции, никогда ни в одном деле в 1917 году Сталин не проявил крупной инициативы, творческого начинания, не выдвинул перед ЦК какой-либо оригинальной идеи. Это был человек из второго-третьего эшелона руководства, и все последующие славословия об исключительной роли Сталина в революции не соответствуют действительности. Она, эта роль, сочинена.

Сталин, включенный почти во все возможные революционные органы, между тем почти ни за что конкретно не отвечал. Но внимательный, цепкий взгляд многое видел. Его удивляли энергия Троцкого, работоспособность Каменева, импульсивность Зиновьева. Сталин несколько раз видел и Плеханова, к которому почему-то испытывал чувство наподобие уважения. Его поразили резкие слова Плеханова на одном из митингов: «Русская история еще не смолола той муки, из которой будет испечен пшеничный пирог социализма».

Как мы знаем, блестящий пропагандист марксизма и один из основателей Российской социал-демократической рабочей партии на этом не остановился. Плеханов Апрельские тезисы Ленина назвал «бредом», осудил Октябрьскую социалистическую революцию, а впоследствии и Брестский мир. Отторгнутый стихией революции, Плеханов, разочаровавшись в действительности, не «соответствующей» его теории, удалился в Финляндию. Октябрь он принять не мог, но и бороться против него не захотел. Его политические принципы были нравственными.

Когда 4 июня 1918 года на объединенном заседании ВЦИК, Моссовета, про-

фессиональных и рабочих организаций Москвы, на котором присутствовал и Ленин, почтили память умершего Плеханова минутой молчания, Сталин был удивлен. Для него человек, выразивший публичное несогласие с его делом, навсегда становился врагом. Так же он считал излишней на этом заседании траурную речь Троцкого, некролог Зиновьева в «Правде». Для Сталина революция была лишь борьбой. Или — или. Или союзник, или враг. Бинарная логика Сталина, если он не был готов поддержать одну из сторон, допускала лишь выжидание, не больше. Почести покойному Плеханову Сталин в душе назвал «либерализмом», недостойным революционеров. Его товарищи по партии еще будут иметь возможность убедиться в последовательности убеждений будущего «вождя».

Спустя три года после Октябрьского вооруженного восстания группа участников тех событий собралась на вечер воспоминаний 7 ноября 1920 года. Был приглашен и Сталин, но он не захотел участвовать в вечере. Пришло много людей, в том числе Троцкий, Садовский, Мехоношин, Подвойский, Козьмин, другие участники событий. Сохранилась стенограмма этого вечера. Очень часто вспоминали о Ленине, говорили о Троцком, упоминали Каменева, Калинина, Зиновьева, Ногина, Свердлова, Ломова, Рыкова, Шаумяна, Маркина, Лазимира, Чичерина, Вальдена, других творцов рождения нового мира. Никому в голову не пришло назвать имя Сталина ни в связи с деятельностью Военно-революционного комитета, ни с конфликтом из-за вывода гарнизона, ни в свете работы большевиков среди солдат и матросов. А ведь почти все упомянутые выше и многие, многие другие мчались в те исторические часы на «Аврору», перехватывали вызванные Керенским батальоны самокатчиков, организовывали захват банка, телеграфа, вокзалов. Сталин остался для всех незаметным статистом, неспособным на революционное творчество.

Будущий единодержец очень болезненно переживал свою «незаметность», малозначительность. В тридцатые годы Сталин мог спокойно слушать об Октябре лишь в свете деяний «двух вождей». Сначала подлинных героев революции «подвергли» умолчанию, «исторической чистке» и корректировке, а затем в трагические 37—39-е годы устранили и физически. К сороковым годам активных руководителей Октябрьского вооруженного восстания уже можно было пересчитать по пальцам. Остались, как правило, те, кто создавал новую «октябрьскую биографию» вождя. Чем меньше становилось ветеранов революции, тем гипертрофированнее изображалась роль Сталина в дни Октября.

Естественно, Троцкий, сделавший после двадцать девятого года Сталина основным объектом своих критических изысков, пишет об октябрьском периоде деятельности Сталина весьма резко. В своей работе «Сталинская школа фальсификаций» он утверждает, что на заседаниях в семнадцатом Сталин, как правило, отмалчивался, следовал официальной колее, проложенной Лениным, «но мы не найдем у него ни одной самостоятельной мысли, ни одного обобщения, на котором можно было бы остановиться. Где представлялся случай, Сталин становился между Каменевым и Лениным». Здесь Троцкий, видимо, имеет в виду несколько случаев, когда Сталин, поддерживая Ленина, вместе с тем пытался защищать Каменева с его политическими зигзагами, в том числе и на страницах печати. Какое-то время и после возвращения Сталина и Каменева из Туруханской ссылки между ними сохранялись довольно дружеские отношения. В последующем, особенно в тридцатые годы, и Каменев, и Зиновьев в трагические для себя минуты будут пытаться заставить Сталина вспомнить старую «дружбу», но они его плохо знали...

После смерти Ленина Троцкий опубликовал очерк об ушедшем вожде. На одной из страниц своей работы он приводит такой диалог:

«— А что,— спросил однажды меня Владимир Ильич вскоре после 25 октября,— если нас с вами убьют, то смогут ли справиться с делом Свердлов и Бухарин?

— Авось не убьют,— ответил я смеясь.

— А черт их знает,— сказал Ленин и сам рассмеялся.

После появления очерка... члены тогдашней «тройки» — Сталин, Зиновьев и Каменев — почувствовали себя кровно обиженными моими строчками, хотя и не пытались оспорить их правильность. Факт остается фактом: Ленин не назвал в числе преемников эту троицу, а назвал лишь Свердлова и Бухарина. Другие имена просто не пришли ему в голову».

Затем этот же фрагмент Троцкий приводит во втором томе своих воспоминаний «Моя жизнь». Брать их полностью на веру едва ли стоит, зная честолюбие и властолюбие Троцкого, в душе считавшего, что лишь он может быть «наследником» Ленина на стезе вождя партии. Можно с одинаковым основанием полагать, что Троцкий задним числом пытался в 1924 году очерком упрочить свои позиции и репутацию в борьбе за власть.

Известно, что Сталин всегда очень болезненно реагировал на любые сведения, просачивающиеся в печать, которые высвечивали его более чем скромную роль в Октябре. Именно в значительной степени этими мотивами было продиктовано выступление Сталина в ноябре 1924 года на пленуме ВЦСПС, изданное отдельной брошюрой в Госиздате лишь в 1928 году. В своей речи Сталин так анализирует роль Троцкого в Октябрьском вооруженном восстании. «Да,— говорил Сталин,— Троцкий хорошо дрался в дни Октября. Но в период Октября хорошо дрался не только тов. Троцкий, недурно дрались даже такие люди, как левые эсеры, стоявшие тогда бок о бок с большевиками. Но спрашивается, когда Ленин предложил избрать практический Центр по руководству восстанием, почему он туда не рекомендовал Троцкого, а предложил Свердлова, Сталина, Дзержинского, Бубнова и Урицкого. Как видите,— продолжал Сталин,— в состав Центра не попал «вдохновитель», «главная фигура», «единственный руководитель восстания» — Троцкий. Как примирить это с ходячим мнением об особой роли тов. Троцкого?» Здесь Сталин вновь передергивает факты. Ходом восстания руководил Военно-революционный комитет, а не практический Центр.

Как видим, два известных деятеля партии спустя несколько лет после революции пытаются, с одной стороны, подчеркнуть свою особую роль в свершении вооруженного восстания, а с другой — принизить, умалить вклад своего политического и личного оппонента. Хотя в дни Октября не могло быть явления, которое позже назовут кабинетным руководством, роль Сталина была ограничена подготовкой указаний, директив ЦК и их передачей революционным органам. Нет ни одного документального свидетельства его непосредственного участия в боевых действиях, организации вооруженных отрядов революции, выездов в части, на корабли, заводы с задачей подъема масс на решение конкретных тактических и оперативных задач. Волею обстоятельств Сталин оказался в штабе революции, на ее центральной сцене, но... в качестве статиста. Интеллектуальных данных, нравственной привлекательности, зажигающего энтузиазма, клокочущей энергии, которые так любит революционное время, у него не оказалось. В революции, в самом ее эпицентре, всегда была фигура Ленина. Много ниже Троцкий. Еще ниже — Зиновьев, Каменев, Свердлов, Дзержинский, Бухарин... За ними — целая когорта большевиков ленинской школы, где-то в ее рядах и Сталин. «Двух вождей» в революции не было. Если, допустим, сказать бы в 1917 году Крестинскому, Радеку, Раковскому, Рыкову, Томскому, Серебрякову, десяткам других большевиков о том, что через полтора десятка лет в «официальной истории» будет сообщено, что революцией руководили два вождя — Ленин и Сталин, они, думаю, сочли бы это даже не шуткой, а бредом. Но, увы! История, ее поток необратимы. Только мысленно можно задать эти вопросы тем, кого давно уже нет... Сталин стал «героем» задним числом.

Хотя Сталин был членом партии с конца 90-х годов прошлого столетия, членом ЦК с 1912 года, членом различных Советов, комитетов, редакций, наркомом по делам национальностей, это все ему создавало лишь официальный (в известном смысле бюрократический) статус среди революционеров. Присутствие Сталина на многочисленных заседаниях, совещаниях, конференциях поддерживало его имя на уровне лица, входящего в высшие эшелоны руководства. Все это позволило ему узнать, изучить широкий круг людей, глубже постичь механизм аппаратной работы, набраться политического опыта. А главное, Сталину, как он надеялся, удалось добиться мнения В. И. Ленина о себе как надежном политическом

работнике, способном не только на прямолинейные решения и действия, присущие простому исполнителю, но и на умелые компромиссы, лавирование, выделение главного звена в широком спектре возникающих проблем. В октябрьском большевизме Сталин был центристом, умеющим выжидать и приспосабливаться.

В Октябрьскую революцию Россия вышла из берегов. Социальное половодье все сметало со своего пути. Главный месяц главного года новой истории Советской России оказался исключительно бурным и триумфальным для большевиков. Сравнительно небольшая партия еще в канун 1917 года в течение нескольких месяцев превратилась в мощную политическую силу. Однако «медовый месяц» был слишком кратким. Отодвинутые, казалось, проблемы заявили о себе уже в конце незабываемого года грозными, смертельными опасностями. Большевики, захватывая власть, обещали народу землю, хлеб, мир. Землю они начали давать. Земля давала надежду на хлеб. Но мир зависел не только от большевиков; как нельзя аплодировать одной ладонью, так и нельзя мира добиться лишь одной стороне. Тем более мира справедливого, демократического, без аннексий и контрибуций... Как его достичь, если полчища Габсбургов и Гогенцоллернов уже топтали западные земли России?

Вождь революции проявил невиданную прозорливость и волю. Если мы не подпишем мир, тяжелый, несправедливый, то «крестьянская армия, невыносимо истощенная войной, после первых же поражений — вероятно, даже не через месяцы, а через недели — свергнет социалистическое правительство». Речь шла, таким образом, о судьбах революции. На совещании ЦК по вопросу о мире столкнулись две полярные точки зрения — Ленина и левых коммунистов.

Мы знаем, что Троцкий, возглавивший на этом этапе советскую делегацию в Брест-Литовске, несмотря на то, что соотношение сил в ЦК к моменту его отъезда изменилось в пользу мира, неожиданно сделал авантюристический шаг. На очередном заседании 10 февраля 1918 года после непродолжительных дебатов по частным вопросам Троцкий вдруг заявляет о разрыве переговоров. «Наш солдат-пахарь,— говорит он,— должен вернуться к своей пашне, чтобы уже нынешней весной мирно обрабатывать землю, которую революция из рук помещика передала в руки крестьянина. Наш солдат-рабочий должен вернуться в мастерскую, чтобы производить там не орудия разрушения, а орудия созидания... Мы выходим из войны, мы отдаем приказ о нашей демобилизации наших армий... В связи с этим заявлением,— продолжал Троцкий,— я передаю следующее письменное и подписанное заявление:

«Именем Совета Народных Комиссаров, Правительство Российской Федеративной Республики настоящим доводит до сведения правительств и народов, воюющих с нами, союзных и нейтральных стран, что, отказываясь от аннексионистского договора, Россия со своей стороны объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным.

Российским войскам одновременно отдается приказ о полной демобилизации по всему фронту.

Народный комиссар по иностранным делам Л. Троцкий.

Члены делегации: В. Карелин, А. Иоффе, М. Покровский, А. Биценко.

Председатель Всеукраинского ЦИК Медведев».

Выступая через три дня на заседании ВЦИК, Троцкий пытался доказать, что его решение «революционирует» рабочее движение на Западе, что лозунг «ни мира, ни войны» поддержан даже немецкими солдатами.

Пресловутый лозунг «ни мира, ни войны» открывал агрессору дорогу в глубь России. В истории и по сей день авторство этой фразы приписывают Троцкому. Однако еще в апреле 1917 года французский посол в Петрограде Палеолог в своем донесении в Париж так оценивал военные возможности русского союзника: «На нынешней стадии революции Россия не может заключить ни мира, ни вести войну». Знал ли Троцкий о «приоритете» оценки французского посла, сказать трудно. Ленин настаивал принять германские грабительские условия, ибо действовать иначе значило погибнуть. Семью голосами против четырех решение о подписании мира было принято. 3 марта Г. Я. Сокольников без обсуждений подписал протокол о мире.

Позиция Сталина выглядела бледной. Скажем сразу, его роль по большей части была пассивной не столько из-за несогласия с той или иной позицией, а просто в силу недостаточной ясности для него всей этой сложной и динамичной проблемы. 23 февраля, например, на заседании ЦК, когда Ленин с целью оказать давление на своих товарищей пошел (в критической ситуации!) на угрозу выхода из правительства и ЦК в случае отклонения его предложения подписать мир, Сталин дрогнул и заколебался, успев, правда, задать вопрос: не «означает ли уход с постов фактического ухода из партии?» — на что Ленин ответил отрицательно.

Троцкий изображает положение следующим образом. У Сталина не было четкой позиции по этому острейшему вопросу. «Он выжидал и комбинировал. Старик все еще надеется на мир,— кивал он мне в сторону Ленина,— не выйдет у него мира. Потом он уходил к Ленину и делал, вероятно, такие же замечания по моему адресу. Сталин никогда не выступал. Никто его противоречиями особенно не интересовался. Несомненно, что главная моя забота: сделать наше поведение в вопросе о мире как можно более понятным мировому пролетариату,— была для Сталина делом второстепенным. Его интересовал «мир в одной стране», как впоследствии — «социализм в одной стране». В решающем голосовании он присоединился к Ленину. Лишь несколько лет спустя, в интересах борьбы с троцкизмом, он выработал для себя некоторое подобие «точки зрения» на брестские события». В речи на VII съезде партии Троцкий заявил: «Я воздержался от голосования в Центральном Комитете при решении этого важнейшего вопроса по двум причинам: во-первых, потому, что я не считаю решающим для судеб нашей революции то или другое наше отношение к этому вопросу... По вопросу о том, где больше шансов: там или здесь,— я думаю, что больше шансов не на той стороне, на которой стоит тов. Ленин... Только тов. Зиновьев с самого начала стоял на точке зрения немедленно подписать мир». Говоря о тех, кто настоял на подписании мира, Троцкий заявил, что этот путь имеет «некоторые реальные шансы. Однако это есть опасный путь, который может привести к тому, что спасают жизнь, отказываясь от ее смысла».

Ленин не побоялся обвинений в «капитулянтстве», «отступлении», «сдаче на милость империализма», которыми осыпали его левые эсеры, левые коммунисты, люди фразы и люди, прямолинейно, примитивно понимавшие суть революционной чести. Оставались с ним в эти драматические дни единомышленниками Стасова, Свердлов, Сокольников, Смилга и Каменев. В минуты решающих голосований Сталин оставался с Лениным, но, повторяю, было ясно, что и в этой ожесточенной игре он играл роль политического статиста.

Российская Вандея

Вожди Октября часто в своих речах искали аналогии и примеры из истории Великой Французской революции. В начале восемнадцатого года, менее чем через полгода после победоносного Октябрьского восстания, у них появился повод вспомнить Вандею — обширную область в Западной Франции между Бретанью и Луарой. В июне 1793 года Вандея восстала. Новое никогда не принимается сразу всеми, и для неграмотных мужиков, подстрекаемых загнанными в угол богатыми собственниками и фанатичным духовенством, революция представала в виде загадочного чудовища, пожирающего без разбора все устоявшееся и привычное. Кровавая междоусобица охватила Бретань, Нормандию, Пуату, Бордо, Лимож. Вандея стала эпицентром провинциальной контрреволюции. «Вандея обратилась,— отмечал П. А. Кропоткин,— в гнойную рану республики», став символом жестокой гражданской войны, усугубляемой иностранным вмешательством. В Советской России зрела собственная Вандея.

Передышка была недолгой. Уже в марте — апреле 1918 года началась иностранная военная интервенция, возродившая надежду у буржуазии и помещиков на реванш. Повсюду — мятежи, контрреволюционные выступления белого офицерства, казаков, кулаков, националистов. Страна, разрушенная четырехлетней вой-

ной, оказалась не просто в огненном кольце, она была сама вся в пламени войны. У республики не было границ, были одни фронты.

В Париже, Лондоне, Берлине, Токио, Вашингтоне, десятках других столиц мира были уверены: Россия в агонии. На это время приходится одна из самых крупных волн эмиграции. Буржуа, помещики, промышленники, профессура, значительная часть творческой интеллигенции, крупные чиновники покидали Россию. В своих статьях, заявлениях, обращениях многие из них живописали не только ужас, который пришел в страну после захвата власти «торжествующим хамом», но и предрекали скорый конец Советов. М. И. Калинин, выступая несколько лет спустя по поводу публикаций в белогвардейских «Днях», писал в «Известиях»: «Сейчас вы — жертвы, несущие невзгоды гражданской войны, но и ваши невзгоды, как бы они ни казались вам велики, являются каплей в море народного страдания от 1914 до 1917 года. Вы не видели народных мук, вы их заглушали патриотическим воем».

Конец Советской власти казался недалеким, тем более что началась настоящая охота на комиссаров. В Петрограде эсер Канегиссер выстрелом сражает Урицкого; в июле убит белогвардейцами Нахимсон, известный комиссар латышских стрелков; комиссар продовольствия Туркестанской республики Першин сражен мятежниками в Ташкенте. Самый страшный удар в восемнадцатом году контрреволюция нанесла в Москве: после выступления перед рабочими завода Михельсона в Ленина стреляла эсерка Фанни Каплан.

Кровавая межа раскалывает Россию. Вандея гражданской войны, когда брат мог идти на брата, отец сражался со своими сыновьями, захлестнула многострадальную Россию. Слова Жана Жореса, обращенные к Вандее 1793 года, словно были написаны и для характеристики гражданской войны в России: «Сколько неистовых страстей загорается в этих городах, ощутивших почти у самого сердца острие ножа! Какая ненависть вспыхнет завтра! Сколько репрессий и против врага, и против тех, кого заподозрят в том, что они были его сообщниками, помогавшими ему активными действиями или своей инертностью!». По своей ожесточенности и непримиримости гражданская война в России сродни той глубокой классовой ненависти, которая разделила народ на два враждующих лагеря. Жизнь падает в цене. Классовый зов сильнее сострадания, жалости, мудрости, рассудительности. Страна залита кровью соотечественников. Войну эту вели не только вооруженные силы соперничающих классов, в ней фактически участвовала и большая часть населения. Главным катализатором и вдохновителем этой войны была иностранная военная интервенция. «Всемирный империализм,— определял В. И. Ленин,— который вызвал у нас, в сущности говоря, гражданскую войну, и виновен в ее затягивании...» ЦК объявляет военное положение в стране, создает Реввоенсовет Республики во главе с Троцким. Главнокомандующим вооруженными силами назначается Вацетис, его сменит С. С. Каменев. В ответ на белый террор начинается террор красный.

В гражданской войне Сталин более заметен. Хотя он по-прежнему на вторых ролях, поручения Ленина, Центрального Комитета теперь более сложны и ответственны. На правом фланге Восточного фронта к середине восемнадцатого года важную роль стал играть Царицын, и не столько из-за военных соображений, сколько из-за продовольственных трудностей. Сталин посылается туда как особый уполномоченный ЦК по продовольственному снабжению. 31 мая В. И. Ленин подписывает постановление СНК от 29 и 30 мая 1918 года о назначении И. В. Сталина и А. Г. Шляпникова общими руководителями продовольственного дела на юге России, облеченными чрезвычайными правами. У Ленина, по-видимому, уже сложилось устойчивое мнение об одном из наркомов Советского правительства как надежном исполнителе. Немногословный кавказец редко задавал вопросы, публично никогда не подвергал сомнению принимаемые ЦК решения, спокойно брался за любое поручение. Казалось, что он был доволен уготованной ему ролью незаметного, но надежного функционера. Так же спокойно Сталин воспринял свое направление в Царицын. Перед отъездом на юг ему сообщили, что Ленин в добавление к постановлению СНК отдал распоряжение ответственному работнику Наркомвоена С. И. Аралову выделить отряд в 400 человек (в том числе обязательно 100 латышских стрелков) для отправки его вместе со Сталиным.

Сразу же Сталину пришлось решать военные задачи: Царицын оказался в плотном кольце казачьего окружения. Он возглавляет Военный совет округа, и за короткое время Военному совету удается объединить разрозненные части, провести мобилизацию, сформировать несколько новых дивизий, ряд специальных частей, колонну бронепоездов, создать рабочие отряды ополчения. По просьбе Сталина Ленин направляет срочную телеграмму Главному управлению водного транспорта с предписанием немедленно и беспрекословно исполнять все приказы и распоряжения чрезвычайного уполномоченного СНК наркома И. В. Сталина.

Царицын был объявлен на осадном положении. Какое-то время Сталин до относительной стабилизации положения действовал, как военный диктатор. В своих ежедневных телеграммах в Москву он, требуя снаряды, патроны, вооружение, не проявлял панических настроений: «Революционной рукой наведем порядок и удержим фронт». Сталин, находясь в штабе, пишет большое количество «бумаг» с указаниями своим подчиненным частям и учреждениям, одновременно требуя помощи от центра. Так, на телеграмму Сталина от 9 июня 1918 года с просьбой дополнительной отправки денег и товаров для заготовки хлеба Ленин ему отвечает о предпринимаемых мерах в этом отношении, просит обеспечить охрану поездов, а саботажников и хулиганов арестовывать. Сталин через голову командующих, Главкома, Реввоенсовета Республики часто напрямую обращается прямо к Ленину с мелкими, рутинными вопросами.

Положение Царицына стало более прочным, когда сюда пробились из Донбасса части бывшей 5-й армии под командованием Ворошилова. Интересно отметить, что свои донесения Сталин не направлял Троцкому, хотя оперативно оказался в его подчинении. Для большинства телеграмм Сталина характерно отсутствие глубоких обобщений, политических оценок, прогнозов. Они, если так можно сказать, сугубо эмпиричны. В результате принятых мер Царицын за короткий срок подготовился к осаде. Несмотря на помощь Деникину со стороны предателя, бывшего царского офицера Носовича, штурм Царицына не принес успеха белогвардейцам. В последующем Царицын, как и другие места, где бывал во время гражданской войны Сталин, приобрел не просто легендарное, а прямо-таки мистическое значение в нашей истории.

Сталин, не обладая оперативными, тактическими познаниями, в критические моменты битвы за Царицын проявил диктаторские замашки, «твердую руку». В записке в центр Сталин пишет: «Гоню, ругаю всех, кого нужно, надеюсь, скоро восстановим положение. Можете быть уверены, что не пощадим никого — ни себя, ни других — а хлеб все же дадим. Если бы наши военные «специалисты» (сапожники!) не спали и не бездельничали, линия фронта не была бы прорвана. И если она будет восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им». Измена Носовича, ряда других бывших офицеров царской армии усилила и без того подозрительное отношение Сталина к военспецам. Нарком, облеченный чрезвычайными полномочиями в вопросах продовольственного дела, не скрывал своего недоверия к специалистам. У него были последователи. Не случайно В. И. Ленин в своей речи по военному вопросу на VIII съезде партии осудил партизанщину и однозначно сказал, что «на первом плане должна быть регулярная армия, надо перейти к регулярной армии с военными специалистами». Сталин не возражал Ленину, но даже в конце тридцатых годов корпоративная принадлежность красного командира к царскому офицерству в прошлом служила отягчающим обстоятельством.

Реввоенсовет Южного фронта в составе И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, председателя Царицынского Совета С. К. Минина и командующего фронтом П. П. Сытина работал недружно. Сталин считал, что решения, даже незначительные, должны приниматься коллегиально, а Сытин как командующий пытался в соответствии с военной логикой избежать бесконечных «согласований» и «уточнений» принимаемых решений. Сталин дает в Москву понять, что Сытин не заслу-

живает доверия. Сытин отвечает специальной запиской в Реввоенсовет Республики, в которой утверждает, что Минин, Сталин и Ворошилов ограничивают его деятельность как командующего фронтом, требуя согласования всех, даже мелких вопросов с Военным советом, что резко осложняет оперативное управление. Сталин одержал верх — в начале ноября Сытин был отозван с поста командующего. В результате многочисленных телеграмм Ленину, Реввоенсовету Республики Сталин в конце концов получает полномочия, с помощью которых он ставит военспецов в положение постоянно контролируемых. Сталин знал, что Троцкий из Москвы и из своего поезда, на котором он непрерывно курсировал с фронта на фронт, держал сторону военспецов. Уже тогда между ними не раз вспыхивали телеграфные стычки, которые развили глубокую неприязнь друг к другу, перешедшую во враждебность, а в конце концов и ненависть.

Сталин не утруждал себя посещением окопов, лазаретов, сборных мест и наблюдательных пунктов — он был постоянно в штабе, без конца слал депеши, вызывал комиссаров, командиров, требовал донесений, сводок, угрожал трибуналом, посылал людей для контроля. Уже в годы гражданской войны Сталин не раз прибегал к крайним мерам: распоряжениям о расстреле саботажников, подозрительных военспецов, лиц, которые, по мнению особого уполномоченного, вредили делу. Так было в Царицыне, Перми, Петрограде. Ленин в своей речи на VIII съезде прямо говорит о расстрелах Сталина в процессе его работы в Царицыне, о разногласиях по этому вопросу, которые были между ними. Сталин в этой войне чувствовал себя более уверенно, чем в октябре семнадцатого. Он был похож на комиссара Конвента Каррье, описанного Ж. Мишле, который считал естественным безудержное выплескивание жестоких страстей и насилия во имя достижения цели. Уже тогда, в гражданской войне, Сталин поверил во всемогущество насилия, которое, по его мнению, всегда оправданно в отношении врагов.

Стиль его работы многим не нравился. Наиболее проницательные командиры не могли не почувствовать уже в то время, что у этого человека железная хватка, его трудно «столкнуть» на случайное решение, повлиять на его замысел. Интересно в этом отношении письмо Антонова-Овсеенко, написанное им 19 мая 1919 года в Центральный Комитет РКП(б), в котором он сетует на «несправедливое отношение к нему, как командующему Украинской армией». Жалуясь на слабую поддержку Центром его деятельности, он тем не менее отмечает, что «Лев Давидович это понимает» (речь идет о Троцком), но что «стоило тов. Сталину цыкнуть, как украинские товарищи перешли от интриг к делу». Антонов-Овсеенко этим косвенно подтверждает способность Сталина влиять на положение дел на фронте.

Не зная тонкостей оперативного искусства, Сталин напирал на дисциплину, пролетарский долг, революционную сознательность и часто на угрозы «революционной кары». После Царицына он почувствовал себя значительно увереннее среди своих сотоварищей по Центральному Комитету и Совнаркому. К этому времени в кругу партийных руководителей, членов Центрального Комитета, «военруков» Сталин был уже достаточно известным человеком. Правда, бывая на фронтах гражданской войны, выполняя задания Ленина, он каких-то особых военных талантов не проявил. Оценка оперативной обстановки, выводы из соотношения сил, выдвижение оригинальной стратегической идеи — здесь у нас нет каких-либо достоверных объективных свидетельств, подтверждающих его «высокие способности». «Нажимной» стиль, впоследствии укоренившийся как командно-бюрократический, может считать своим автором прежде всего Сталина. Его оперативные установки весьма упрощены, если не сказать — примитивны. Как пример можно привести запись разговора по прямому проводу члена Реввоенсовета Южного фронта И. В. Сталина с членом Реввоенсовета 14-й армии Г. К. Орджоникидзе в октябре 1919 года. Орджоникидзе доложил Сталину, что армия готовится отбить обратно город Кромы, нужны подкрепления. Сталин отвечает:

— Смысл нашей последней директивы в том, чтобы дать вам возможность собрать полки в одну группу и истребить лучшие полки Деникина. Повторяю — истребить. Ибо речь идет об истреблении. Взятие Кром противником — эпизод, который всегда можно исправить, основная же задача — не пускать полков ударной группы поодиночке, а бить противника единой массивной группой, в одном определенном направлении.

Силовой напор в указаниях члена Реввоенсовета Южного фронта всегда ощущается, чего нельзя сказать о военном искусстве руководителя, хотя именно о полководческом искусстве Сталина в тридцатые годы и позже написано немало книг и защищено диссертаций. Особенно апологетичны работы К. Е. Ворошилова о Сталине как «величайшем полководце всех времен», а ведь он был не военный руководитель, а политический представитель Центра, уполномоченный, в ряде случаев член Реввоенсовета. Многие члены ЦК проявили себя в гражданской войне более продуктивно, чем Сталин. Это прежде всего Антонов-Овсеенко, Гусев, Берзин, И. Н. Смирнов, Смилга, Сокольников, Лашевич, Муралов, Фрунзе, Орджоникидзе...

Как бы там ни было, личное участие Сталина в гражданской войне отмечено не только исполнением им своих обязанностей комиссара двух наркоматов, но и заметно в политическом, пропагандистском и собственно в военном отношениях. В ходе гражданской войны Ленин часто использовал Сталина как специального уполномоченного ЦК, человека, направленного для инспекции, выправления дела, получения подробной информации для Центра. Так, в июне 1918 года В. И. Ленин телеграфирует Сталину о том, что распоряжения правительства, направленные флоту в Новороссийск, должны быть безусловно выполнены, в противном случае виновные будут объявлены вне закона. В телеграмме предлагается Сталину направить в Новороссийск авторитетного работника, способного провести в жизнь приказ о потоплении Черноморского флота. Выступая в том же месяце на конференции профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы, В. И. Ленин, отвечая на вопрос о судьбе Черноморского флота, объяснил ситуацию, добавив: «Народные комиссары — Сталин, Шляпников и Раскольников, приезжают скоро в Москву и расскажут нам, как было дело».

В. И. Ленин, инструктируя Сталина перед поездками на фронт, видел в нем не только члена ЦК, но и одного из представителей многонациональной страны, судьба которой в огромной степени зависела от союза России с другими советскими республиками. Готовя проект постановления Политбюро по защите Азербайджана, Ленин собственноручно написал: поручить Сталину через Оргбюро «выудить отовсюду максимальное количество мусульман-коммунистов для работы в Азербайджане».

Роль политического руководителя в отдельных «главах» гражданской войны Сталин исполнял неоднократно. Так, во время первой контрреволюционной попытки ликвидировать Советскую власть с помощью мятежа генерала Краснова Сталин по поручению В. И. Ленина вместе с Ф. Э. Дзержинским, Г. К. Орджоникидзе, Н. И. Подвойским, М. С. Урицким, Я. М. Свердловым принимал участие в организации обороны Петрограда, мобилизации наличных сил для разгрома мятежников. По предложению Ленина Сталин выполнял конкретные задания по приведению в боевую готовность войск Петроградского гарнизона, строительству оборонительных рубежей, созданию отрядов Красной гвардии на заводах и фабриках.

Уже здесь многие имели возможность убедиться в напористости и непреклонности невысокого грузина, диктовавшего директивы, отдававшего распоряжения голосом, не терпящим возражений. Но одновременно наблюдательные партийцы замечали не только напористость, но и мстительность, злопамятность. В декабре 1918 года Сталин вместе с Ворошиловым обвинил в дезорганизаторстве члена Реввоенсовета Южного фронта А. И. Окулова. По настоянию Сталина Ленин принимает решение: «Ввиду крайне обострившихся отношений Ворошилова и Окулова считаем необходимым замену Окулова другим». Ленин, согласившись в данном случае со Сталиным, на VIII съезде партии сказал свое слово в защиту Окулова: «Тов. Ворошилов договорился до таких чудовищных вещей, что разрушил армию Окулов. Это чудовищно. Окулов проводил линию ЦК, Окулов нам докладывал о том, что там сохранилась партизанщина». В этой же речи Ленин подверг резкой критике Ворошилова за насаждение партизанщины: «Не было ни-

каких военных специалистов, и у нас 60 000 потерь. Это ужасно». Ведь именно против этого и боролся Окулов.

В июне следующего года в Петрограде у Сталина вновь произошла стычка с Окуловым, который требовал подчинения Петроградского военного округа командованию Западного фронта. В результате настойчивых требований чрезвычайного уполномоченного ЦК РКП(б) и Совета Обороны в Петрограде Ленин поручает зампредреввоенсовета Склянскому отправить от имени его, Ленина, телеграмму: отозвать Окулова, «дабы конфликт не разросся». Но в итоге Сталин все припомнит Окулову в конце тридцатых годов.

Пожалуй, в гражданской войне Ленин начал активно использовать Сталина еще с момента ликвидации мятежа Духонина. Когда 9 ноября 1917 года В. И. Ленин находился у аппарата прямой телеграфной связи со ставкой Духонина, рядом с ним были Сталин и Крыленко. Монархист Духонин игнорировал распоряжения Советского правительства, и тогда после краткого совещания здесь же, у прямого провода, Ленин передал в Ставку короткий приказ: Духонин отстраняется от поста главнокомандующего армией и вместо него назначается народный комиссар по военным делам прапорщик Н. В. Крыленко. Через день новый главком в сопровождении отряда в 500 бойцов выехал в Ставку, где в стычке со сторонниками мятежников Духонин был убит.

В. И. Ленин, Реввоенсовет Республики использовали Сталина и для расследования причин поражений, катастроф на отдельных участках фронта. Это было необходимо, поскольку не только неорганизованность характеризовала действия войск на ряде направлений, но иногда и прямые предательские действия отдельных попутчиков революции, замаскировавшихся монархистов и белогвардейцев. В декабре 1918 года потерпела крупную неудачу 3-я армия в районе Перми, что создавало серьезную угрозу соединения Колчака с войсками контрреволюции на севере и частями английских, американских и французских войск, оккупировавших значительные территории у Мурманска и Архангельска. ЦК РКП(б) командировал в Вятку специальную комиссию во главе со Сталиным и Дзержинским. Посланцы-уполномоченные действовали решительно и без промедлений. Группа лиц, признанных ответственными за поражение, была предана военному трибуналу, слабые командиры и комиссары отстранялись от руководства войсками, были сделаны акценты на усиление политической работы с красноармейцами, укрепление дисциплины, улучшение снабжения. Сталин, всегда относившийся к командирам из военспецов с подозрением, используя действительные факты измены некоторых бывших офицеров, действовал круто, безжалостно. В итоге принятых мер 3-я армия (совместно со 2-й) в январском контрнаступлении смогла восстановить положение. В своем донесении в Центр он пишет, что в «результате принятых мер боеспособность войск восстановлена. В тылу армии идет серьезная чистка советских и партийных учреждений. В Вятке и уездных городах организованы революционные комитеты. Очищена и наполнена новыми работниками губернская чрезвычайная комиссия...».

Оценки Сталина, как всегда, категоричны. Вот, например, как был оценен Реввоенсовет 3-й армии. Он «состоит,— писал Сталин,— из двух членов, из коих один (Лашевич) командует; что касается другого (Трифонов), так и не удалось выяснить ни функции, ни роли последнего: он не наблюдает за снабжением, не наблюдает за органами политического воспитания армии и вообще ничего не делает. Фактически никакого Реввоенсовета третьей армии не существует». В докладе Сталин, не называя Троцкого, прозрачно «намекает» на слабую роль «некоторых руководителей» Реввоенсовета Республики, ограничивающих свою работу отдачей лишь «общих распоряжений».

По указанию Сталина большая группа работников была отдана под суд военного трибунала. И тут перегибы Сталина пришлось исправлять: после обсуждения доклада уполномоченных на заседании ЦК 5 февраля 1919 года было решено «всех арестованных комиссией Сталина и Дзержинского в 3-й армии передать в распоряжение соответствующих учреждений». В этой поездке Сталин ближе узнал Дзержинского и, похоже, проникся к нему уважением за обстоятельность в делах и решительность, ведь решительность и волю он ценил больше всего — дефицита этих качеств у самого Сталина никогда не было.

Иногда его «решительность» проявлялась в категоричных требованиях и к Центру. В своем письме к В. И. Ленину с фронта 3 июня 1920 года он потребовал скорейшей ликвидации Крымского фронта. Нужно, писал Сталин, «либо установить действительное перемирие с Врангелем и тем самым получить возможность взять с Крымского фронта одну-две дивизии, либо отбросить всякие переговоры с Врангелем, не ждать момента усиления Врангеля, ударить на него теперь и, разбив его, освободить силы для Польского фронта. Нынешнее положение, не дающее ясного ответа на вопрос о Крыме, становится нестерпимым». В. И. Ленин прямо на этом письме написал Троцкому: «Это явная утопия. Не слишком ли много жертв будет стоить? Уложим тьму наших солдат. Надо десять раз обдумать и примерить. Я предлагаю ответить Сталину: «Ваше предложение о наступлении на Крым так серьезно, что мы должны осведомиться и обдумать архиосторожно. Подождите нашего ответа. Ленин. Троцкий».

Получив ответную записку Троцкого, где говорилось, что Сталин, обращаясь непосредственно к Ленину, нарушает сложившийся порядок (по его мнению, об этом должен был бы доложить командующий Юго-Западным фронтом А. И. Егоров), Ленин приписал: «Не без каприза здесь, пожалуй. Но обсудить нужно спешно. А какие чрезвычайные меры?»

Несмотря на попытки Ленина наладить отношения Сталина и Троцкого, они у них были холодно-настороженными. Будущий генсек болезненно воспринимал рост популярности Троцкого, считал ее незаслуженной. Во время редких приездов в Москву в Реввоенсовете Республики ему показали несколько телеграмм схожего содержания. Приведем одну из них:

«Председателю Реввоенсовета тов. Троцкому.

В первую годовщину Октябрьской революции... граждане села Кочетовки Зосимовской волости Тамбовской губернии постановили переименовать село, назвав его вашим именем — село Троцкое. Мы просим разрешить нам называть наше село дорогим для нас именем вождя и вдохновителя Красной Армии. Председатель совдепа С. Нечаев». К слову говоря, первые переименованные города в Советской России (нынешние Гатчина и Чапаевск) еще в гражданскую войну стали носить имя «Троцк».

Сталин, находясь в оперативном отношении в подчинении Троцкого, часто его игнорировал, а иногда действовал и вопреки директивам. Так, будучи в Царицыне, через голову высшего органа пытался отдавать распоряжения девятой армии — последовали протесты. Реакция Троцкого в поддержку Раскольникова и командования девятой армии была такова:

«Вполне присоединяюсь к протесту товарища Раскольникова против вмешательства о т д е л ь н ы х лиц (разрядка моя.— Д. В.) из Комиссариата Национальностей в распорядки на фронте. Соответственное заявление мною сделано Комиссариату Национальностей...».

Отмена некоторых военных распоряжений Сталина Троцким больно уязвила уполномоченного, который никогда не забывал обид.

В военной переписке Ленина встречаются несколько раз фразы, выражающие удивление обидчивостью и препирательством Сталина. Так, на одну из телеграмм Ленина о необходимости помочь Кавказскому фронту Сталин ответил: «Мне не ясно, почему забота о Кавфронте ложится прежде всего на меня... Забота об укреплении Кавфронта лежит всецело на Реввоенсовете Республики, члены которого, по моим сведениям, вполне здоровы, а не на Сталине, который и так перегружен работой». Ленинский ответ был твердым и лаконичным:

«На вас ложится забота об ускорении подхода подкреплений с Юго-Запфронта на Кавкфронт. Надо вообще помочь всячески, а не препираться о ведомственных компетенциях.

20 февраля 1920 г.

Ленин».

Но и позже нотки капризности в донесениях Сталина слышны весьма отчетливо. Четвертого августа этого же года Ленин запросил телеграммой Сталина:

«Завтра в шесть вечера назначен пленум Цека. Постарайтесь до тех пор прислать Ваше заключение о характере заминок у Буденного и на фронте Врангеля, а равно и о наших военных перспективах на обоих этих фронтах. От Вашего заключения могут зависеть важнейшие политические решения.

Ленин».

Сталин обескуражен. С одной стороны, он, видимо, не хочет нести ответственность за возможные «важнейшие политические решения», а с другой — он никогда не отличался прогностическими способностями. В телеграмме он отвечает, что «война есть игра и всего учесть невозможно», а по сути предложения Ленина отвечает:

«Я не знаю, для чего, собственно, Вам нужно мое мнение, поэтому я не в состоянии передать Вам требуемого Вами заключения и ограничиваюсь сообщением голых фактов без освещения.

Сталин».

Да, это был исполнитель директив Центра. Но в случаях, когда от Сталина требовалось нечто большее, чем он хотел сам, в ответах и поведении «особого уполномоченного» явно чувствуются обида, недоумение, замешенные на капризности, которую так тонко уловил Ленин.

В начале девятнадцатого года стал намечаться перелом на фронтах гражданской войны в пользу революционных сил. Но уязвимым местом в работе была раздробленность Красной Армии, настоятельная необходимость тесного военного союза народов России. В апреле 1919 года Главком И. И. Вацетис и член Реввоенсовета Республики С. И. Аралов подготовили Ленину доклад, в котором на основе анализа положения дел ставили вопрос о подчинении всех вооруженных сил советских республик единому командованию. В. И. Ленин, изучивший доклад, предложил Реввоенсовету Республики «составить текст директивы от ЦК ко всем «националам» о единстве (слиянии) военном». В следующем месяце В. И. Ленин подготовил «Проект директивы ЦК о военном единстве». В нем говорилось, что для защиты революционных завоеваний необходимо «единое командование всеми отрядами Красной Армии и строжайшая централизация в распоряжении всеми силами и ресурсами социалистических республик». Сталину как народному комиссару по делам национальностей по поручению Ленина вменялось осуществить ряд мер в реализации этих идей. Однако Сталин, будучи народным комиссаром двух наркоматов, часто выезжая по поручениям Ленина на фронты, сам лично в то время мало занимался национальными отношениями, как, впрочем, работой и другого наркомата, который он возглавлял.

Позволю сделать одно отступление. В архивах сохранилась обширная почта Л. Д. Троцкому. Особенно много писал ему А. А. Иоффе, его давнишний сторонник и единомышленник. В одном из своих пространных писем (более чем на 20 страницах) Иоффе фактически просит протекции Троцкого на какой-либо влиятельный пост, возможно, народного комиссара РКИ. Иоффе пишет, что «если Сталина в интересах дела можно снять с поста Наркома РКИ, ибо он будет полезен на любом посту, а в РКИ не работает, то Чичерина все же нельзя снять с поста Наркома И. Д., ибо он нигде более полезен не будет». Трудно понять, почему Сталин будет «полезен на любом посту». Потому что «не работает»? Или Иоффе учитывал потенциальные возможности наркома? К слову сказать, в письме дается характеристика и другим деятелям, скорее всего через призму личных амбиций Иоффе. Так, например, он пишет, что «Карахан, в сущности, является заведующим хозяйством Наркоминдела и ни на что другое не способен. Что касается Чичерина, то он обладает большим достоинством, умея сделать вполне своею идею, поданную ему сверху... Но у него тот недостаток, что никаких собственных идей у него никогда не возникает».

Писал А. А. Иоффе и Ленину. На что получил ответ такого содержания:

«Во-первых, Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что «Цека — это я». Это можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления...

Во-вторых... Как же объяснить дело? Тем. что Вас бросала судьба. Я это видел на многих работниках. Пример — Сталин. Уж, конечно, он-то бы за себя постоял. Но «судьба» не дала ему ни разу за три с половиной года быть ни наркомом РКИ, ни наркомом национальностей. Это факт...

Крепко жму руку. Ваш Ленин».

В течение гражданской войны Сталин еще не раз посылался, как и многие другие товарищи из Центра, уполномоченным, чрезвычайным уполномоченным ЦК на различные фронты. Так, весной 1919 года Сталин с мандатом чрезвычайного уполномоченного постоянно находился либо в Петроградском Совете, либо в штабе войск обороны. Как всегда, методы его работы были диктаторскими: отстранение несправившихся, предание суду тех, кого он считал повинным в создавшемся положении, налаживание снабжения, «перетряска» управляющих органов. В штабе Западного фронта, как и в 7-й армии, оборонявшей Петроград, был раскрыт заговор; заговорщики, естественно, расстреляны. Митинговая бесшабашность медленно уступала место деловой собранности и революционной решимости. В соответствии с воззванием «В защиту Петрограда» руководители обороны города Ремезов, Томашевич, Позерн, Шатов, Петерс, приехавший Сталин, другие товарищи готовили отпор контрреволюции. За оборону Петрограда Сталин, как и Троцкий, был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

Раньше дело изображалось так: там, куда посылался Сталин, обстановка менялась в лучшую сторону. Это было не всегда так. К тому же добавим, что, как правило, Сталин ехал в составе группы и реализовывал установки Ленина и ЦК. Собственно в военном плане его заслуги более чем скромны, но уже с восемнадцатого года товарищи в руководящем ядре партии знали: это не просто самоотверженный исполнитель, но и специалист по «чрезвычайным мерам». Уже тогда у Сталина начали проскальзывать нотки самовосхваления.

В телеграмме Центру из Петрограда Сталин сообщает: «Вслед за «Красной горкой» ликвидирована и «Серая лошадь». Орудия на них в полном порядке, идет быстрая очистка и укрепление всех фортов и крепостей. Морские специалисты уверяют, что взятие «Красной горки» с моря опрокидывает всю морскую науку. Мне остается лишь оплакивать так называемую науку. Считаю своим долгом заявить, что я и впредь буду действовать таким образом, несмотря на все мое благоговение перед наукой».

Когда Сталин возвращался из очередного выезда, его использовали в аппарате ЦК для текущих дел. Ряд телеграмм с фронта свидетельствует, что Сталин уже в то время обладал определенной реальной властью. Так, 15 ноября 1921 года Троцкий в телеграмме Сталину пишет: «Необходимо твердо и окончательно урегулировать вопрос о закавказских национальных бригадах и военных складах». Троцкий далее говорит о необходимости провести через Политбюро три решения в этой области. Сталин поручает готовить соответствующие постановления. Это одна из редких телеграмм Троцкого Сталину — они старались как бы не замечать друг друга. Сталина возмущало, что Предреввоенсовета Республики разъезжал по фронтам в особом поезде в сопровождении одного, а то и двух бронепоездов, специального большого отряда затянутых в кожу молодых красноармейцев. Комфорт, с которым воевал Троцкий, был для Сталина вызывающим. Но где-то в душе он завидовал (и ненавидел одновременно) блестящей речистости председателя, его энергии, привлекательности для людей. Когда Троцкий публично заявлял: «Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни», Сталин не осуждал этой линии, в душе он был с ней согласен. В критических ситуациях он сам прибегал к этим мерам, да и не только он. 12 мая 1920 года член Реввоенсовета Юго-Западного фронта доносил:

«Предреввоенсовета Республики тов. Троцкому.

На фронте 14 армии были случаи позорного бегства частей во время наступления поляков. Отдан приказ расстреливать каждого десятого из сбежавших.

Берзин».

Вандея гражданской войны жестока и к врагам, и к своим. Сталин это считал в порядке вещей и все больше убеждался в «универсальности», широких возможностях для достижения желанного результата методов насилия. Как вспо-

минал полковник царской армии Носович, бывший начальник оперативного отдела одной из армий Южного фронта (перебежавший затем к белым), Сталин не проявлял колебаний, если был уверен, что перед ним враги. Так, в Царицыне были арестованы инженер Алексеев, два его сына и несколько бывших офицеров, которых обвинили в причастности к контрреволюционной организации. Резолюция Сталина была лаконичной: «Расстрелять». Люди немедленно, без всякого суда, были расстреляны. Сталин глубоко уверовал в безотказность карательных средств, способных обеспечить нужный политический «результат».

На заседании ЦК РКП(б) 25 октября 1918 года среди других вопросов обсуждалось письмо Сталина о саботаже в деле снабжения 10-й армии. Сталин решительно настаивал отдать под суд военного трибунала командующего фронтом и членов Военного совета. Заседание ЦК, которое вел Свердлов, решило, однако, иначе: «Никого к судебной ответственности не привлекать, а поручить т. Аванесову произвести расследование и результаты доложить в ЦК».

Почувствовав силу, способность влиять на события, текущие процессы хотя и локального значения, но достаточно заметные, Сталин в ряде случаев начинает проявлять свой «характер», который в будущем станет одним из источников многих бед. Будучи членом Реввоенсовета Южного фронта, Сталин разошелся во мнениях с членом Реввоенсовета Республики Смилгой в отношении определения направления главного удара по войскам Деникина. В рассуждениях Сталин был резок, груб, нетерпим. Для него было важно не просто настоять на своей точке зрения, но и одновременно унизить своего оппонента. Вместо терпеливого обсуждения с товарищами (ведь все они члены совета) плюсов и минусов тех или иных предложений занял непримиримую позицию, близкую к озлобленному неприятию других точек зрения. К слову сказать, В. И. Ленин через три года в одной из последних своих записок отметил проявление при решении важных дел озлобленности у Сталина. Но «озлобление вообще,— заметит Ленин,— играет в политике обычно самую худую роль». Сталин, если с ним не соглашались, спорили, на помощь призывал авторитет Центра, указания, директивы Москвы, выражал сомнения в благонадежности человека. Практически все, с кем у него были конфликты (а их было немало) в гражданскую войну, жестоко поплатились за это через два десятилетия. Сталин обладал злой памятью.

Свое несогласие он выразил рядом телеграмм и писем в Политбюро, Ленину, Главкому С. С. Каменеву. В частности, в телеграмме от 14 ноября для Политбюро он в ультимативной форме потребовал принятия его плана наступления через Донбасс. Сталин требовал прекращения вмешательства Троцкого в дела фронта, отзыва С. И. Гусева с поста члена Реввоенсовета Республики и «немедленной отмены» прежнего плана борьбы с Деникиным. Политбюро, изучив все обстоятельства военно-политической ситуации, одобрило в своей директиве идею, предлагавшуюся Серебряковым и Сталиным,— главный удар наносить через Курск, Харьков, Донбасс. Вместе с тем Политбюро записало в своих решениях о недопустимости Сталиным «подкреплять свои деловые требования ультиматумами и заявлениями об отставках». К слову сказать, Сталин еще не раз в своей политической жизни в начале двадцатых годов прибегнет к ультиматумам и дважды в 1924 году подаст в отставку с поста Генерального секретаря, но в обоих случаях его отставка не будет принята.

Будучи довольно длительное время членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта, Сталин достаточно быстро нашел общий язык с его командующим А. И. Егоровым, будущим Маршалом Советского Союза, крупным военачальником, который с ведома и одобрения Сталина во времена кровавой чистки будет репрессирован. Был даже эпизод, когда Сталин (редчайший случай!) заступился за сослуживца. За неудачи на фронте в Москве рассматривалось предложение Троцкого о замене А. И. Егорова на посту командующего фронтом. Спросили мнение Сталина. Оно оказалось весьма своеобразным.

«Москва, ЦК РКП, Троцкому.

Решительно возражаю против замены Егорова Уборевичем, который еще не созрел для такого поста, или Корком, который как комфронт не подходит. Крым проморгали Егоров и Главком вместе, ибо Главком был в Харькове за две недели

до наступления Врангеля и уехал в Москву, не заметив разложения Крымармии. Если уж так необходимо наказать кого-либо, нужно наказать обоих. Я считаю, что лучшего, чем Егоров, нам сейчас не найти. Следовало бы заменить Главкома, который мечется между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом, путается в ногах и путает комфронта, не умея дать ничего положительного.

14 июня 20 г.

Сталин».

Скорее всего Сталин «защитил» Егорова потому, что предложение исходило от Троцкого. А что касается тех, кто «проморгал Крым», то ведь здесь тоже был и Сталин. Уже в двадцатом году Сталин мог безапелляционно заявить о Главкоме: «путается в ногах». Моральная ущербность Сталина давно стала его жизненным атрибутом. По мере упрочения положения эта ущербность станет в будущем все более опасной и зловещей. Следя за этой эволюцией, иногда задаешься мыслью: а было ли у Сталина вообще понятие совести?

Со времен гражданской войны Сталин знал близко не только Егорова, но и многих других советских полководцев, рожденных революцией,— Тухачевского, Крыленко, Корка. После первых крупных успехов в борьбе с буржуазно-помещичьей Польшей войска Красной Армии, как известно, потерпели серьезную неудачу. Почти через двадцать лет Сталин вменит в вину Егорову, Тухачевскому, другим военачальникам «преступную медлительность, продиктованную предательскими замыслами». Ему и в голову не придет, что он как член Военного совета также полностью несет ответственность и за удачи, и за поражения.

Когда 2 августа 1920 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение выделить крымский участок Юго-Западного фронта в самостоятельный Южный фронт, Сталин внес предложение передать Западному фронту 12-ю, 14-ю армии и 1-ю Конную. Быстро передачу осуществить не смогли, а 13 августа Егоров и Сталин донесли Главкому, что армии фронта уже втянуты в бои в районе Львов — Рава Русская и «изменение основных задач армиям в данных условиях осуществить невозможно».

Когда же Главком С. С. Каменев направил командованию Юго-Западного фронта новую директиву о передаче 12-й и 1-й Конной армий Западному фронту, Сталин отказался подписать директиву, подписал ее лишь член Военного совета Р. И. Берзин. Пока шли эти препирательства, увязки, согласования, время было упущено. Вывод 1-й Конной армии из сражения на Львовском направлении начался лишь 20 августа, и оказать помощь Западному фронту она не успела. Конечно, вина за стратегический просчет лежит на Реввоенсовете Республики, на Главкоме, командовании фронта. Но ведь еще 5 августа Сталин сам внес предложение о передаче трех армий Западному фронту, а в решающий момент затормозил дело, что имело тяжелые последствия. Никаких усилий по реализации собственного предложения, утвержденного в Москве, Сталин не приложил. Он в такой же мере виновен в крупной неудаче, как Троцкий, Тухачевский, Егоров, другие должностные лица. Но, естественно, Сталин и не думал признавать собственного просчета, у него уже тогда рождались задатки «непогрешимости».

Ленин еще раз показал, что в оценке любых ситуаций никогда нельзя отступать от правды. Анализируя истоки неудачи, В. И. Ленин говорил, что когда наши войска подошли к Варшаве, они «оказались настолько измученными, что у них не хватило сил одерживать победу дальше, а польские войска, поддержанные патриотическим подъемом в Варшаве, чувствуя себя в своей стране, нашли поддержку, нашли новую возможность идти вперед. Оказалось, что война дала возможность дойти почти до полного разгрома Польши, но в решительный момент у нас не хватило сил». Весьма характерно, что в последующем военные летописцы, подчеркивая «особые» заслуги Сталина в деле «перелома» на Южном, Восточном, Северо-Западном фронтах, никогда не вспоминали его роль в польской кампании.

Несмотря на большую загруженность, частые поездки, заседания, Сталин не прекращал своего участия в пропагандистской деятельности. В годы гражданской войны им опубликовано более трех десятков статей по различным вопросам борьбы с классовым врагом. Наиболее заметные среди них — «О Петроградском фронте», «К военному положению на юге», «Новый поход Антанты на Россию» —

напечатаны в «Правде». По-прежнему статьи Сталина просты, бесхитростны, доступны и категоричны. Таковой его идеологическая продукция останется на всю жизнь.

Абстрагируясь от всего того, что Сталин еще совершит в будущем страшного, непростительного, и не считая его «злодеем» от рождения, нельзя отрицать определенных заслуг Сталина в гражданской войне. Но это заслуги «уполномоченного», человека для поручений. Никакого «решающего вклада», как стали писать позже, Сталин не вносил, хотя с самого начала революции он входил в высшие органы партии, был одним из тех, кто одновременно исполнял несколько должностей. Сталин был наркомом по делам национальностей, наркомом госконтроля, членом Реввоенсовета Республики, членом Военных советов ряда фронтов (поочередно), членом Совета труда и обороны. Постепенно, исподволь, особенно к исходу гражданской войны, положение Сталина окрепло, он стал одним из основных членов руководящего ядра партии.

Внимательный анализ деятельности Сталина в это время показывает, что он уступал многим партийным лидерам. Как теоретик, он был не больше чем популяризатор; не славился ораторским искусством, так важным в моменты исторических революционных потрясений; никто не мог о нем сказать, что это «душевный», «добрый» человек. Моральными качествами, которые принято относить к добродетелям, Сталин был явно обделен, но он имел нечто другое, чего не имели Зиновьев, Каменев, Троцкий, Рыков, Томский, Бухарин, другие вожди революции и молодого социалистического государства. Сталин неожиданно для многих проявил редкую целеустремленность и одержимость конкретной идеей. При достижении поставленных руководством целей его воля, твердость, решительность производили впечатление на людей, с которыми он работал. Нельзя не видеть, что Сталин как руководитель сформировался в значительной мере в годы гражданской войны. Он почувствовал власть, понял ее механизм в центре и на местах, уверился в том, что нажим, давление, насилие в критические моменты способны дать желаемые результаты.

В среде руководителей партии немало товарищей было из интеллигенции, или, как однажды, уже в конце двадцатых годов, с сарказмом заметил Сталин, «были писателями». Он никогда публично не развивал эту тему прежде всего потому, что В. И. Ленин был тоже и «интеллигент», и «писатель», и «эмигрант». Но гений этого человека была столь велик, что Сталин, выдвинув позже концепцию «второго вождя», который был всегда «рядом с Лениным», не допускал каких-либо прямых личных выпадов против действительного, бесспорного вождя партии и революции. Когда Ленин критиковал Сталина (по вопросу «автономизации», монополии внешней торговли, фронтовым делам, другим), тот всегда обычно быстро соглашался с ленинскими доводами. Духовная, интеллектуальная «власть» Ленина над Сталиным была полной.

Кто знает, не подстереги так рано смертельная болезнь Владимира Ильича, как дальше пошло бы становление Сталина как руководителя «второго-третьего» ряда?! На одном из партийных или советских постов? Кто знает, хотя для всех нас, теперь уже много знающих об этом человеке, сама мысль о Сталине — руководителе любого масштаба — отзывается болью и протестом.

Самое редкое мужество —
это мужество мысли...
А. Франс.

Глава вторая. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ВОЖДЯ

Мог ли кто предположить по окончании гражданской войны, что в плеяде блестящих революционеров — соратников Ленина находится и тот, кто станет его преемником, не будучи талантливее, умнее, ярче других? Мог ли сам Сталин даже думать при жизни Ленина, что именно он станет во главе партии, а фактически и всего народа? Мог ли кто-нибудь тогда сказать, что стечение объективных

обстоятельств, несостоявшихся решений, исторических случайностей вынесет Сталина на самый высокий гребень власти в гигантском государстве? Едва ли. Скорее всего и сам Сталин, пока Ленин был здоров, думал лишь о том, чтобы не выпадать из общей, весьма высокой по своему интеллектуальному и нравственному уровню когорты его соратников.

Ленин редко жаловался на здоровье. Он был крепышом, способным выдерживать колоссальные физические и духовные нагрузки. Достаточно мысленно представить, сколько Ленин написал (сам, без обязательных теперь помощников и референтов) гениальных вещей только в годы революции и гражданской войны! И это при том, что на его плечах лежала колоссальная ответственность за судьбы самой революции, ее настоящего и будущего. Пока Ленин был здоров, вопрос о его соратниках, окружении никогда не вставал в плоскости возможных преемников, «наследователей» его роли. Но как только в конце 1921 года появились первые признаки нечеловеческого переутомления, а затем и болезни, все большее количество людей невольно стало обращать внимание на тех, кто рядом с Лениным....

«Первые слухи о болезни Ленина,— вспоминала Н. И. Седова,— передавались шепотом. Никто как будто никогда не думал о том, что Ленин может заболеть. Многим было известно, что Ленин зорко следил за здоровьем других, но сам, казалось, не был подвержен болезни. Почти у всего старшего поколения революционеров сдавало сердце, уставшее слишком от большой нагрузки. Моторы дают перебои почти у всех, жаловались врачи. Есть только два исправных сердца,— говорил профессор Гетье.— Это сердца у Владимира Ильича и Троцкого». Как писали потом в «Известиях» известные профессора Ферстер, Осипов, Абрикосов, Фельберг, Вейсброд, Дешин и наркомздрав Семашко, «начало болезни В. И. Ленина относится к концу 1921 года; точное время начала болезни определить трудно, т. к. по всем данным она развивалась медленно и постепенно подтачивала его могучий организм в расцвете его деятельности, причем сам Владимир Ильич не обращал на свою болезнь должного внимания. В марте 1922 года врачи, исследовавшие Владимира Ильича, еще не могли обнаружить никаких органических поражений ни со стороны его нервной системы, ни со стороны внутренних органов вообще, но ввиду сильных головных болей и явлений переутомления ему было предложено отдохнуть в течение нескольких месяцев, вследствие чего он переехал в «Горки». Однако скоро вслед за этим, в начале мая, обнаружились первые признаки органического поражения мозга. Первый приступ выразился общей слабостью, утратой речи и резким ослаблением движения правых конечностей... Благодаря сильному организму и заботливому уходу окружающих в июле уже наступило существенное улучшение, настолько закрепившееся в августе и сентябре, что в октябре Владимир Ильич вернулся к своей деятельности, хотя и не в прежнем размере. В ноябре он произнес три большие программные речи».

По нынешним меркам Ленин был еще молод. С момента возвращения в Россию в апреле 1917 года Ленин практически не отдыхал. Будучи уже больным, рассказывают его секретари, он как-то заметил, что лишь дважды «отдохнул» за все эти годы. Первый раз, скрываясь в Разливе от ищеек Временного правительства (но мы-то знаем, что за это время им был создан гениальный труд «Государство и революция»); второй — по «милости» Фанни Каплан, стрелявшей во Владимира Ильича. Работал он по четырнадцать — шестнадцать часов в сутки.

Ленин, почувствовав первые сигналы серьезного недуга, понимал, что в его отсутствие, возможно, произойдет нечто такое, что способно привести к расколу в партийном руководстве. Думается, уже в конце 1921 года Владимир Ильич попытался по-особенному взглянуть на своих соратников. Может быть, уже тогда у него впервые родилась идея «Завещания». В ноябре 1922 года, словно предчувствуя новые приступы жестокой болезни, Владимир Ильич, передавая библиотекарю Ш. М. Манучарьянц просмотренные книги, особенно просит оставить у него книгу Ф. Энгельса «Политическое завещание (Из неопубликованных писем)». На обложке пишет: «Сохранить на полке. 30.11.1922. Ленин».

Менее чем через месяц, едва оправившись от тяжелого приступа в ночь на 26 декабря, Ленин продиктует Л. А. Фотиевой третью часть «Письма к съезду».

Именно оно, это письмо, свидетельствует, что, несмотря на боли и страдания, тревоги сегодняшнего бытия, Ленин все время думал о грядущем, о том, что будет после него. Ленин был вождем без официального статуса, в силу исключительных интеллектуальных и нравственных качеств. Кто же был рядом с ним? Почему они оказались на гребне революции? Как выглядел Сталин в плеяде ленинских соратников? Попытаемся ответить на эти вопросы.

Плеяда соратников

Подлинным мозгом страны на рубеже двадцатых годов стал Центральный Комитет партии, возглавляемый Лениным. В то время его численный состав был небольшим. Например, X съезд избрал ЦК в составе 25 членов и 15 кандидатов, незначительно увеличился ЦК и на XI съезде, последнем, которым непосредственно руководил В. И. Ленин,— 27 членов и 19 кандидатов. Пленумы Центрального Комитета проводились при жизни Ленина обычно один раз в два месяца. В составе ЦК сложилось ядро, главным образом из московских товарищей, на долю которых выпадала основная тяжесть текущей работы, решение хозяйственных вопросов и военного строительства, налаживание тесных отношений с национальными отрядами партии и определение курса по отношению, допустим, к «децистам», «рабочей оппозиции», реализации нэповской политики и т. д. При этом некоторые члены этого, как бы теперь сказали, «неформального», «неинституционного» ядра сами часто примыкали к тем или иным группировкам, «платформам», фракциям. Все было внове: партия стала правящей, ее власть реальной. Поэтому от политических позиций, моральных качеств, профессионализма руководящих работников ядра зависело очень многое.

Ленин был единственным членом ЦК, которого на всех послевоенных съездах — X, XI и XII (хотя на нем он не присутствовал) — избирали единогласно! Его влияние, опыт, теоретические труды, вся линия поведения были уникальны по мощи своего воздействия на Центральный Комитет партии и его руководящее ядро. Особенно это все остро почувствовали, когда Ленин заболел.

Сталин, выступая с организационным отчетом на XII съезде партии 17 апреля 1923 года, подчеркнул: «Внутри ЦК имеется ядро в 10—15 человек, которые до того наловчились в деле руководства политической и хозяйственной работой наших органов, что рискуют превратиться в своего рода жрецов по руководству. Это может быть и хорошо, но это имеет и очень опасную сторону: эти товарищи, набравшись большого опыта по руководству, могут заразиться самомнением, замкнуться в самих себе и оторваться от работы в массах... Если они не имеют вокруг себя нового поколения будущих руководителей, тесно связанных с работой на местах, то эти высококвалифицированные люди имеют все шансы закостенеть и оторваться от масс». Так говорил Сталин при жизни Ленина. Все содержание этой части доклада пронизано ленинской идеей постоянного обновления руководящего ядра. Через полтора десятка лет эволюция взглядов Сталина приведет его к совершенно другим выводам, хотя даже в 37—38-м годах он часто на словах будет говорить одно, а поступать полярно противоположно. Но тогда, в начале двадцатых, разрыва слова и дела у него еще не просматривалось. В докладе на съезде, развивая мысль о руководящем ядре партии, по сути, соратников и учеников Ленина, Сталин сформулировал свою мысль следующим образом: «Ядро внутри ЦК, которое наавострилось в деле руководства, становится старым, ему нужна смена. Вам известно состояние здоровья Владимира Ильича; вы знаете, что и остальные члены основного ядра ЦК достаточно поизносились. А новой смены еще нет — вот в чем беда. Создавать руководителей партии очень трудно: для этого нужны годы, 5—10 лет, больше 10 лет; гораздо легче завоевать ту или другую страну при помощи кавалерии тов. Буденного, чем выковать 2—3 руководителей из низов, могущих в будущем действительно стать руководителями страны».

Можно, видимо, согласиться с выводами Сталина о необходимости постоянного обновления состава ЦК. Но каким же он, этот состав, был тогда молодым по нынешним меркам! Ленин, которому едва перевалило за пятьдесят, был самым «старым»! Не случайно порой соратники между собою называли его Стариком.

Основная группа членов ЦК — это сорокалетние революционеры. Возраст, который еще древние греки называли периодом акме — счастливым венцом жизни, ибо считалось, что именно к сорока годам достигается гармония умственных и физических сил, пора наивысшего расцвета.

Прежде чем рассмотреть штрихи к портрету некоторых соратников Ленина, бросим им всем без исключения запоздалый и бесполезный теперь уже упрек. Он краток: соратники не берегли Ленина. Они его любили, ценили, уважали, но... не берегли. Посмотрите, чем занимался Ленин в обычные дни своей работы. Конечно, все главные, кардинальные решения проходили через его руки. Однако рядом было так много такого, что уже тогда называлось «мелочовкой», «вермишелью», «текучкой». Ленин занимается вопросами подвоза топлива в Иваново-Вознесенск, ведет переписку с членом коллегии Наркомтруда А. М. Аникстом о снабжении шахтеров одеждой, занимается вопросом изготовления динамо-машин; пишет проекты десятков текущих документов, постановлений, торговых договоров; занимается решением вопроса о распределении пайков; рецензирует по просьбе товарищей книги и брошюры; выясняет вопросы, поднятые в письме к нему инженером П. А. Козьминым об использовании ветряных двигателей для освещения деревни...

Конечно, все эти вопросы важны. Их решение Лениным навсегда вошло в историю как поразительный пример глубокой, конкретной, непосредственной работы высокого руководителя.

Но почему же все-таки соратники не освободили Ленина от решения этих и многих других текущих вопросов? Тот же Троцкий регулярно выезжал на рыбалку и охоту, на отдых в Подмосковье, брал отпуска для написания своих трудов, Сталин, не жалевший себя на работе, ведавший организационными вопросами в ЦК, тоже не искал путей, чтобы радикально разгрузить вождя революции от многих текущих, часто рутинных дел. Бывало даже наоборот. Когда Ленин еще не оправился от приступов болезни, Сталин, например, 28 июля 1922 года советовал ему принять для беседы корреспондента. Ленин был вынужден отказаться. Хотя позже, когда в декабре 1922 года Пленум ЦК возложит специальным постановлением на Сталина персональную ответственность за соблюдение режима, установленного врачами для Ленина, он сочтет допустимым угрожать Н. К. Крупской за его «нарушение».

С определенной степенью точности можно сказать, что в руководящее ядро партии, состоявшее из плеяды соратников В. И. Ленина, в начале двадцатых годов входили следующие товарищи: Н. И. Бухарин, Ф. Э. Дзержинский, Г. Е. Зиновьев, М. И. Калинин, Л. Б. Каменев, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, Я. Э. Рудзутак, А. И. Рыков, И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, Л. Д. Троцкий, М. В. Фрунзе. Возможно, также стоит причислить к ядру Молотова, Пятакова, Петровского, Радека, Смилгу, Томского. Конечно, это были люди с самой разной революционной судьбой, образованием, различными личными симпатиями и антипатиями. Почти половина из ближайших ленинских соратников провела годы в эмиграции, участвовала в многочисленных социал-демократических, социалистических и просто гуманитарно-культурных конференциях, конгрессах, совещаниях. Сталин выпадал из этой «обоймы». Судьба сформировала Сталина не столько как революционера, сколько как функционера идеи, исполнителя директив и «линий». Сталин раньше, чем кто-либо другой в ленинском окружении, понял и почувствовал возможности аппарата, его силу. Большинство же тех, кто входил в ленинскую когорту, явно недооценивали роль безличных структур власти. У Сталина исподволь складывалось свое отношение к каждому члену руководящего ядра. Эти люди, которые, по словам Сталина, «навострились в деле руководства», были очень разными.

Сталин, например, первое время чувствовал себя весьма неуверенно, сталкиваясь с красноречием Троцкого, его высокомерием, самомнением. Но позже он поймет, что это чаще человек позы, фразы, красивого слова. В революции и гражданской войне Троцкий «блеснул» — качества трибуна ему очень помогли. Пришла широкая популярность, появились сторонники. Нашлись люди, которые видели в нем не просто «второго» человека, но и будущего лидера партии. Троцкий являл

собой человека, у которого самая сильная сторона заключалась не в организаторском таланте, а в ораторских способностях. Благодаря им Троцкий мог вести за собой людей, зажигать их на фронтах гражданской войны, искусно подогревая свою популярность. Но когда пришла пора монотонных будней, стал быстро «линять», тускнеть. Для Троцкого главное — лозунг, трибуна, эффектный жест, а не черновая работа. Будущий генсек, пожалуй, раньше многих разглядел и сильные, и бутафорские грани этого человека. Сталин, учитывая большую популярность Троцкого, на первых порах хотел установить с ним если не дружеские, то хотя бы лояльные отношения. Был даже эпизод, когда Сталин пытался наладить более тесные отношения с Троцким при помощи Ленина. Об этом, в частности, свидетельствует телеграмма Владимира Ильича Троцкому 23 октября 1918 года. В ней излагалась беседа Ленина со Сталиным, оценки членом Военного совета положения в Царицыне и желание более активно сотрудничать в Реввоенсовете Республики. В конце телеграммы Троцкому Ленин писал:

«Сообщая вам, Лев Давыдович, обо всех этих заявлениях Сталина, я прошу Вас обдумать их и ответить, во-первых, согласны ли Вы объясниться лично со Сталиным, для чего он согласен приехать, а во-вторых, считаете ли Вы возможным, на известных конкретных условиях, устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин. Что же меня касается, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налаживания совместной работы со Сталиным».

Однако из этого ничего не получилось. Троцкий не скрывал своего высокомерного отношения к человеку, интеллектуальный уровень которого, по его мнению, во многом был ниже, чем у него. Сам Троцкий пишет о Сталине так: «При огромной и завистливой амбициозности он не мог не чувствовать на каждом шагу своей интеллектуальной и моральной второсортности. Он пытался, видимо, сблизиться со мной. Только позже я отдал себе отчет в его попытках создать нечто вроде фамильярности отношений. Но он отталкивал меня теми чертами, которые составили впоследствии его силу на волне упадка: узостью интересов, эмпиризмом, психологической грубостью и особым цинизмом провинциала, которого марксизм освободил от многих предрассудков, не заменив их, однако, насквозь продуманным и перешедшим в психологию миросозерцанием». Сталин в нескольких выступлениях высоко отозвался о роли Троцкого в революции и гражданской войне, но это абсолютно не изменило его холодного отношения к нему.

Интересные характеристики членов ядра ЦК содержатся в «Революционных силуэтах» А. Луначарского, вышедших в 1923 году, в «Портретах и памфлетах» К. Радека, в книгах и статьях Н. Дуделя, М. Орахелашвили, Н. Подвойского, М. Рошаля, В. Бонч-Бруевича, А. Слепкова, И. Левина. В этих работах, как и многих других, раскрывается облик ленинских соратников, портреты тех, кто пришел с Лениным в революцию, кто победил в ней и приступил к созданию первого в мире социалистического государства.

Заметное место среди этой плеяды занимали Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев. В историю они вошли своеобразным «дуэтом». Были близки по взглядам друг другу, почти никогда не полемизировали между собой, как правило, придерживались одинаковых позиций. Лидером в этом тандеме всегда был Зиновьев (Г. Е. Радомысльский), долго занимавший видное положение в партии. В его бурной политической карьере были высокие взлеты и оглушительные падения. Вступив в партию еще в 1901 году, Зиновьев долгие годы провел в эмиграции, занимаясь литературным трудом. В дни Октябрьского восстания и Зиновьев, и Каменев, как известно, здорово подмочили свою революционную репутацию. В. И. Ленин позже напишет, что «октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не является случайностью».

Апогеем политической деятельности Зиновьева было пребывание в течение почти семи лет на посту председателя Исполкома Коминтерна. Его перу принадлежит множество статей, которые он активно пытался издавать отдельными сборниками, брошюрами и даже в специальном собрании сочинений. Вот образчик стиля Зиновьева: «Идущий к своей победе международный пролетариат в лице своих отдельных отрядов еще не раз и не два собьется с пути и, обливаясь кровью, будет искать новую дорогу. Разгромленный в первой мировой империалистической войне, распятый и обманутый лжевождями из Второго Интернационала, международный пролетариат еще не освободился от кошмарного ощущения бездорожья».

Многие свои лучшие качества Зиновьев отшлифовал, долгое время близко общаясь с Лениным еще со времени эмиграции. А. Луначарский в своих «Революционных силуэтах» идет особенно далеко в оценке роли Зиновьева. Он считал, что Зиновьев был одной из опор Ленина, что именно он «из тех 4—5 человек, которые представляют по преимуществу политический мозг партии». Луначарский пишет, что все считали Зиновьева «ближайшим помощником и доверенным лицом Ленина».

Зиновьев был великолепным оратором, широко известен партии, клокотал вулканической энергией, но в его настроениях были частые перепады. То необузданный оптимизм, то уныние — вплоть до упадка или «холодной» истерики. Его нужно было постоянно взбадривать, «заводить». Долгое время он относился к Сталину снисходительно, даже высокомерно. Несколько раз, правда, беззлобно, где-то в начале двадцатых годов Зиновьев подтрунивал над стилем сталинских статей, страдающих тавтологией и сухостью. Некоторые из его многочисленных статей весьма содержательны. Например, статья «Из первых боев за ленинизм», в которой Зиновьев тонко, аргументированно показывает несостоятельность претензий Троцкого на особое положение в партии.

Будучи руководителем Петроградской партийной организации, Зиновьев в свое время пытался проявить твердость и даже диктаторские замашки, хотя в момент приближения Юденича к колыбели революции откровенно растерялся. И эту растерянность заметил тогда И. В. Сталин, мысленно оценивший Зиновьева как «хлюпика», часто проявлявшего тем не менее тщеславие и обостренное честолюбие. До смерти Ленина Сталин старался поддерживать с Зиновьевым и Каменевым почти дружеские отношения. Когда В. И. Ленин проводил в начале ноября 1922 года узкое совещание в составе Зиновьева, Каменева, Сталина, вполне могло сложиться впечатление, что эта «тройка» очень сплочена, дружна и едина. Но так могло казаться только какое-то время — у каждого из троицы важное место занимали и личные амбициозные планы. Кто мог знать, что именно по инициативе Сталина Зиновьев будет дважды исключен из партии и затем восстановлен и что в третий раз, в 1934 году, исключение будет означать скорую гибель. Впрочем, точно такая же судьба ожидала и другую половину «дуэта» — Каменева.

Зиновьев считался одним из лучших ораторов партии. Не случайно на XII и XIII партийных съездах ЦК в отсутствие Ленина именно ему поручал делать основные, политические отчеты. Зиновьев был одним из тех, кто одобрял наличие ядра в политическом руководстве. Выступая в 1925 году на XIV съезде партии, Зиновьев говорил: «Владимир Ильич хворал... мы должны были первый съезд проводить без него (XII съезд.— Д. В.). Вы знаете, что были разговоры о сложившемся ядре в Центральном Комитете нашей партии, что XII съезд молчаливо сошелся на том, что это ядро и будет вести, конечно, при полной поддержке всего Центрального Комитета нашу партию, пока встанет Ильич».

Зиновьев долго считался (как и Каменев) одним из близких друзей Сталина. Когда его в 1926 году вывели из состава Политбюро, Зиновьев полагал, что это ненадолго. Накануне нового, 1927 года они с Каменевым, захватив бутылку коньяка и шампанское, неожиданно явились на квартиру Сталина, благо жили близко друг от друга. Казалось, «мировая» достигнута. Говорили на «ты», вспоминали былое, друзей, но не говорили о деле. Коба был хлебосольным, тепло принял старых «друзей», разговаривал просто, душевно, как будто не он в июле и октябре добился их ухода из Политбюро. «Дуэт» ушел окрыленным, однако Сталин уже давно решил, что эти люди, так много знавшие о нем, больше генеральному секретарю не нужны.

Будет еще один случай, когда они придут (нет, их приведут!) к Сталину вместе. В 1936 году они оба уже сидели в тюрьме, написали письма «вождю», и тот вдруг откликнулся. Бывшие соратники Ленина, бывшие члены Политбюро, не без оснований рассчитывавшие на высокое положение в партии и государстве

после смерти Владимира Ильича, войдут в кабинет человека, которого они когда-то так недооценили. Кроме Сталина, там были Ворошилов и Ежов. Поздоровались. Сталин не ответил, как, впрочем, не последовало и приглашения сесть. Расхаживая по кабинету, Сталин предложил сделку: вина их доказана, на новом суде могут приговорить к «высшей мере». Но он помнит их прошлые заслуги. (Наверное, у Зиновьева и Каменева при этих словах что-то дрогнуло внутри.) Если они на процессе все признают, особенно непосредственное руководство их подрывной деятельностью со стороны Троцкого, он спасет их жизни. Постарается спасти. А затем добьется, чтобы их и освободили. Решайте. Так нужно для дела... Наступило долгое молчание. Зиновьев, более податливый и слабый, негромко скажет: «Хорошо, мы согласны». Он привык решать и за Каменева. Через два месяца их расстреляют.

Вот что рассказывал мне в Сибири в 1947 году один заключенный, которого, помню, звали Борисом Семеновичем. Сам он «сел» в тридцать восьмом году, до этого работал в «органах», в той тюрьме, где сидели бывшие соратники Сталина. Он и сопровождал их на последнее «свидание» к нему. Когда ночью пришли за Зиновьевым и Каменевым, то вели они себя по-разному. Они оба написали Сталину не одно прошение о помиловании и, видимо, надеялись на милость (ведь обещал же!), но тут почувствовали, что это конец. Каменев молча шел по коридору, нервно пожимая ладони. Зиновьев забился в истерике, и его вынесли. Менее чем через час они перешагнули через роковую линию. Они, как никто другой, укрепляли позиции Кобы. Плата за «услуги» — их жизнь.

Л. Б. Каменева (Розенфельда) Сталин знал ближе по ссылке в Туруханском крае, о которой мы уже говорили. Сталин еще тогда отметил в нем хорошую эрудицию и какую-то импульсивность: способность быстро приходить к определенным решениям, но так же быстро и отказываться от них. На отношение Сталина к Каменеву сильно влияло то обстоятельство, что тот был заместителем Ленина в Совнаркоме (наряду с должностью председателя Моссовета) и часто вел пленумы, заседания Совнаркома, неоднократно председательствовал на партийных съездах. Еще при Ленине Каменев, как правило, председательствовал на заседаниях Политбюро. Хотя Зиновьев и Каменев были заметными ораторами и публицистами, эти люди были без твердого «стержня», способны в критическую минуту, в переломный момент сделать зигзаг в своем поведении, осуществить маневр, преследующий прежде всего личные цели. К сожалению, свою борьбу со Сталиным они, хотели того или нет, перенесли в сферу аппарата, партийной машины, но уже тогда у них в этой области шансов на успех было мало, хотя оба руководителя обладали незаурядными способностями, высокой интеллигентностью, настойчивостью в достижении цели.

Ленин, зная о слабостях Зиновьева и Каменева, тем не менее активно на них опирался. Особенно это относится к Каменеву, который неоднократно выполнял многие личные поручения Ленина. Было известно, что Каменев хорош для переговоров, улаживания различных щекотливых дел в партийной среде. Каменев был менее популярен, чем Зиновьев, однако более основателен, более интеллигентен. У него были свои идеи, он был способен на достаточно глубокие теоретические обобщения, был смел и решителен. В историю войдут слова, которые Лев Борисович Каменев произнес 21 декабря 1925 года (как раз в день рождения Сталина), выступая на XIV съезде партии:

«Мы против того, чтобы создавать теорию «вождя», мы против того, чтобы делать «вождя». Мы против того, чтобы Секретариат, фактически объединяя и политику и организацию, стоял над политическим органом. Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была организована таким образом, чтобы было действительно полновластное Политбюро, объединяющее всех политиков нашей партии, и вместе с тем, чтобы был подчиненный ему и технически выполняющий его постановления Секретариат... Следовало бы начать с того, что я сказал бы, что лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб... Именно потому, что я неоднократно говорил это т. Сталину лично, именно потому, что я неоднократно говорил группе товарищей-ленинцев, я повторяю это на съезде: я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба. Эту часть своей речи я начал словами: мы против теории единоличия, мы против того, чтобы создавать вождя!»

Это были мужественные слова. Более того, из публично сказанного против единовластия Сталина, которое тогда еще только-только начинало проглядываться, это были самые вещие слова предупреждения. За одно это Каменев заслуживает уважения. Урок мужества мысли, который преподал партии В. И. Ленин, он усвоил, похоже, лучше других. Но почему же тогда «группа товарищей-ленинцев», как их назвал Каменев, не поддержала трезвые, пророческие предложения одного из членов руководящего ядра? В этом виноваты не только «товарищи-ленинцы», близоруко оценившие ситуацию, но и сам Каменев. Его беспринципные шараханья в борьбе со Сталиным то к Троцкому, то от него создали впечатление (недалекое от истины), что движущие мотивы его поведения были в значительной мере связаны с личными амбициями. Каменеву не суждено было стать той личностью, которая «остановила» бы Сталина. Вместо ослабления Сталина произошло укрепление его позиций: ведь Каменев «атаковал» генсека, будучи «оппозиционером».

Между Троцким, Зиновьевым и Каменевым отношения были сложные. Несмотря на то, что Каменев был зятем Троцкого, близких связей между ними, по существу, не было. Все дело в том, что и Троцкий, и Зиновьев претендовали на лидерство в партии, особенно тогда, когда выяснилось, что ситуация со здоровьем у вождя опасная. Троцкий, написавший свои сенсационные «Уроки Октября», в самом неприглядном свете показал роль Зиновьева и Каменева в революции. Последние, как известно, потребовали выведения автора «Уроков» из Политбюро и исключения из партии. Но Сталин был еще не тот, каким он станет в конце двадцатых — тридцатых годах. На XIV съезде партии он скажет по этому поводу, что ЦК ограничилось снятием Троцкого с поста наркомвоена. «Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым потому, что знали, что политика отсечения чревата большими опасностями для партии, что метод отсечения, метод пускания крови — а они требовали крови — опасен, заразителен: сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего,— что же у нас останется в партии?».

Эти слова Сталина съезд встретил аплодисментами, а через три-четыре минуты после них, продолжая свое заключительное слово, Сталин скажет в связи с запрещением издания журнала «Большевик» в Ленинграде: «Мы не либералы. Для нас интересы партии выше формального демократизма. Да, мы запретили выход фракционного органа и подобные вещи будем и впредь запрещать». Эти слова были встречены уже бурными аплодисментами. Делегатам нравились твердость и решительность Сталина. Знали ли они, что пройдет не так уж много времени, и Сталин созреет для «метода отсечения», и на гильотину беззакония взойдут очень многие из них?! А от революционной демократии едва ли что останется, кроме формальных атрибутов...

Забежим немного вперед. Когда Каменев, выброшенный из руководящей обоймы, стал директором Института мировой литературы, Сталин во время очередного доклада Ягоды бросил:

— Посматривайте за Каменевым... Думаю, что он связан с Рютиным. Лев Борисович не из тех, кто быстро сдается. Я его знаю больше двадцати лет. Это враг...

И Ягода «посматривал». В 1934 году Каменева арестовали, судили, дали пять лет. Вскоре вновь судили — срок увеличили до восьми лет. Через полтора года поставили точку. Вечную.

Выполняя свои обязанности, Сталин внимательно приглядывался прежде всего к членам Политбюро, другим авторитетным товарищам из ЦК. Для себя он отметил, что самую влиятельную часть ядра составили те, кого он про себя называл «писателями». Так он именовал бывших эмигрантов. Он не мог не

отметить, что все они отличались большим интеллектом, теоретической подготовленностью, высокой общей эрудицией. Это вызывало у Сталина внутреннее раздражение: «Пока мы тут готовили революцию, они там читали да писали...»

Однажды он сказал об этом почти открыто. Когда одного товарища утверждали уполномоченным ЦК при губкоме, выяснилось, что он едва умеет читать и писать. Но Сталин бросил на весы решения свое мнение:

— За границей не был, где же ему было выучиться!.. Справится.

В ленинском окружении было немало выдающихся лиц. Сталин мог заметить, что Бухарин, Рыков, Томский хотя и не составляют какой-то особой группы, весьма тяготеют к экономическим, хозяйственным, промышленным вопросам. Это были хорошие экономисты, «технократы». К сожалению, позже, в 30-е годы, да и десятилетия спустя после Великой Отечественной войны такого рода деятелям практически не находилось места в верхних эшелонах власти. Их места, как правило, занимали администраторы-бюрократы типа Кагановича и Маленкова. Впрочем, при директивно-командном стиле работы крупные экономисты, такие, как Вознесенский, и не были нужны.

В этой троице (Бухарин, Рыков, Томский), конечно, выделялся Бухарин. Уже в его первой книге «Политическая экономия рантье» чувствовалась глубина проникновения в генезис хозяйственных отношений. В 1920 году появился первый том «Экономики», в которой Бухарин намеревался раскрыть процесс трансформации капиталистической экономики в экономику социалистическую. Захваченный вихрями борьбы, меняющихся обстоятельств, Бухарин так и не написал второго тома. В «Экономике» он утверждал, что «капитализм не строили, а он строился. Социализм, как организованную систему, мы строим. Самое главное для нас — найти равновесие между всеми элементами системы». Сталин, обладавший лишь примитивными, начальными экономическими знаниями, внимательно присматривался к Бухарину.

Особых осложнений в отношениях между ними в то время не было: ведь Николай Иванович был покладистый, «мягкий интеллигент». Порой складывалось впечатление, что Сталин и Бухарин близкие друзья, да и жили они в Кремле в соседних квартирах. Вскоре будущий генсек понял, что у Бухарина нет амбициозных планов. Бухарин считал, что при всей колоссальной значимости Ленина для революции, партии ее высший орган — Центральный Комитет. Ему были непонятны и неприятны борьба за лидерство, трения, начавшие проявляться между отдельными членами Политбюро. Не случайно, что довольно долго он старался не занимать определенной позиции по поддержке то ли «триумвирата», то ли Троцкого. Его выступления в дискуссиях и речи впоследствии Троцкий назвал «странным миротворчеством». Думается, несостоявшийся лидер не прав: Бухарин превыше всего ценил авторитет Ленина, хотя часто и жарко с ним спорил, и коллективное мнение Политбюро.

К Рыкову Сталин всегда относился настороженно. Не только потому, что тот после смерти Ленина заменил его на посту Председателя Совнаркома. Рыков был исключительно прямой, откровенный человек. Благодаря таким чертам характера Рыкову не всегда удавалось устанавливать с сослуживцами хорошие отношения. Например, известен случай, когда И. Т. Смилга направил жалобу в ЦК РКП(б), в которой просил освободить его от должности заместителя Председателя ВСНХ и начальника Главтопа ввиду невозможности сработаться с А. И. Рыковым. Ленин, ознакомившись с письмом Смилги, пишет записку Сталину, в которой рекомендует пока воздержаться от освобождения Смилги, полагая, видимо, что отношения между партийцами могут и должны быть улажены.

Рыков обычно говорил в лицо то, что думал. И писал так же. В 1922 году он написал работу «Хозяйственное положение страны и выводы о дальнейшей работе». По существу, Алексей Иванович выступил в поддержку нэпа, против попыток решить экономические проблемы путем директивных методов. С именем Рыкова связаны ГОЭЛРО, Днепрострой, Турксиб, рост кооперативного движения, первый пятилетний план, другие памятные «заделы» социалистического государства. Именно Рыков пытался в последующем убеждать Сталина и его сторонников, что социализм должен совершенствовать, развивать товарно-денежные отношения, не ограничивать хозяйственную самостоятельность непосредственных производителей. Увы, разговор шел словно на разных языках...

Уже когда Сталин в конце двадцатых годов имел большой политический вес, Рыков однажды после обсуждения очередных директив по коллективизации бросил ему в лицо: «Ваша политика экономикой и не пахнет!». Генсек остался невозмутимым, но реплики не забыл. Сталин вообще ничего не забывал: его холодная компьютерная память цепко держала в своих ячеях тысячи имен, фактов, событий. Он не забыл и того, что Ленин очень ценил Рыкова,— в сочинениях вождя фамилия Рыкова упоминается 198 раз, не многим меньше, чем Сталина. Будучи Предсовнаркома СССР, с 1926 года Рыков возглавляет Совет труда и обороны, комитет по науке и содействию развитию научной мысли. Сталин не забыл, как Рыков, выступая в марте 1922 года на Пленуме Моссовета, сказал, что недопустимо вновь скатываться к методам «военного коммунизма», подверг резкой критике тех, кто нападал на нэп, назвав эти наскоки «необычайно вредными и опасными», требовал отказаться от методов насилия в деревне, где нужно, по его словам, соблюдать «революционную законность». Когда спустя много лет А. И. Рыков в последний раз в своей жизни выступит на Пленуме ЦК, отвергая чудовищные обвинения в шпионаже, диверсиях, терроре, Сталин почему-то вспомнит, что партийный псевдоним Рыкова в подполье был — Власов... И еще: Рыков вошел в первое Советское правительство в качестве наркома внутренних дел. Но через несколько дней, совершив ошибку, подал в отставку в знак протеста против того, что все правительство было не коалиционным, а большевистским. Сталин злорадно усмехнется: «Всегда такой был».

Бухарина и Рыкова как-то особенно волновала судьба русского крестьянства, в то время как Троцкий (да и Сталин в душе с ним соглашался) считал, что «это — материал для революционных преобразований». Нельзя было не видеть, сколь большой популярностью в народе пользовались Бухарин и Рыков. Они ходили без охраны, были очень доступны, отзывчивы. Простые люди всегда эти качества руководителей высоко ценят, Сталин же эту простоту и доступность называл «заигрыванием с народом». Даже естественное поведение порядочного человека для него было подозрительным.

Так же с недоверием Сталин всегда относился к М. П. Томскому (Ефремову). Участник трех революций, видный профсоюзный работник умел отстоять свою точку зрения. Сталин долго терпел этого «друга Рыкова», пока не ввел в Президиум ВЦСПС Кагановича и Шверника, которые «вытеснили» из Президиума его председателя. Когда 22 августа 1936 года на даче в Болшеве Томский покончил жизнь самоубийством, Сталин сказал:

— Его самоубийство — подтверждение вины перед партией...

Но мы сегодня знаем, что все было наоборот — то была крайняя форма протеста.

Заметное место в ядре партии занимали Ф. Э. Дзержинский и М. В. Фрунзе. Бухарин называл Дзержинского «пролетарским якобинцем». Это был один из старейших членов партии и организаторов социал-демократии Польши и Литвы. К. Радек, оценивая позже роль Дзержинского, отмечал: «Враги наши создали целую легенду о всевидящих глазах ЧК, о всеслышащих ушах ЧК, о вездесущем Дзержинском. Они представляли ЧК в качестве какой-то громадной армии, охватывающей всю страну, просовывающей свои щупальца в их собственный стан. Они не понимали, в чем сила Дзержинского. А она была в том, в чем состояла сила большевистской партии,— в полнейшем доверии рабочих масс и бедноты». У Сталина были хорошие отношения с Дзержинским, особенно после ряда совместных выездов с ним на фронты в годы гражданской войны. Скупой на возвышенные оценки, Сталин сказал после преждевременной кончины Дзержинского: «Он сгорел на бурной работе в пользу пролетариата».

Не очень броским внешне, но чрезвычайно обаятельным был М. В. Фрунзе. Сталин, сам испытавший годы тюрем и ссылок, с особым уважением относился

к Арсению, так иногда и после революции называли Фрунзе старые товарищи. Все знали, что в 1907 году Михаил Васильевич был дважды приговорен к смертной казни, провел долгие недели в камере смертников, на каторге. Мало кто тогда в деталях знал, сколь большую работу провел Фрунзе для достижения победы на Восточном, Туркестанском, Южном фронтах. Сталин, сам обладавший недюжинной решительностью, изумлялся спокойной манере руководства этого пролетарского полководца, способного на высшее проявление политической и военной воли. За короткое время пребывания на посту наркомвоенмора Фрунзе поразил всех глубиной интеллектуальных выкладок о военной доктрине, предложениями по реформе вооруженных сил, взглядами на оперативное искусство в современной войне.

Не подстерегли Фрунзе нелепая, а в известной мере и загадочная смерть от довольно простой и по тем временам операции (как потом оказалось, и вовсе не обязательной), можно было бы предположить, что роль Фрунзе в высшем партийном и государственном руководстве стала бы еще более весомой.

Фрунзе страдал язвенной болезнью желудка, предпочитал консервативное лечение, тем более обострение проходило. Но консилиум делает заключение: «Нужна операция». По ряду свидетельств (книга И. К. Гамбурга «Так это было», Б. Пильняка «Повесть непогашенной луны» и др.), Сталин с Микояном приезжали в больницу, говорили с профессором Розановым и настаивали на операции. Незадолго до операции Фрунзе написал записку жене: «Я сейчас чувствую себя абсолютно здоровым, и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции. Тем не менее оба консилиума постановили ее делать».

После смерти Фрунзе многие медики высказали мнение, что операция не была необходимой. Сталин на похоронах М. В. Фрунзе скажет: «Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу. К сожалению, не так легко и далеко, не так просто подымаются наши молодые товарищи на смену старым». Кое-кто увидел в этих словах сокровенный, известный лишь одному Сталину смысл. Но не будем гадать: у нас нет доподлинных доказательств для категорических выводов. Ясно одно: Сталин чувствовал, что Фрунзе смог бы сыграть на политической сцене выдающуюся роль. Сталин помнил и то, как относился Ленин к Фрунзе. Э. М. Склянский рассказывал ему о поддержке Лениным «умного предложения» М. В. Фрунзе, в то время командующего войсками Украины и Крыма, о том, что нужно призывать в армию молодежь преимущественно из голодающих губерний. Все, чем занимался Фрунзе, несло печать его незаурядного, оригинального ума.

Крупным организатором в ЦК был Я. М. Свердлов. У Якова Михайловича, как пишет Луначарский, полностью отсутствовало личное честолюбие, это был классический, самоотверженный исполнитель: «У него были ортодоксальные идеи на все, он был только отражением общей воли и общих директив. Лично он их никогда не давал, он только их передавал, получая от ЦК, иногда лично от Ленина». Когда он говорил, вспоминал Луначарский, то его речи походили на передовицы официальной газеты. Но он обладал и тем, в чем сравниться с ним могут не многие,— блестящим знанием малейших нюансов положения в партии, великолепными организаторскими способностями. Можно даже сказать, что до момента, когда было принято решение иметь в секретариате первое лицо — Генерального секретаря ЦК, эти обязанности уже выполнял Я. М. Свердлов. Сталину нравилось, как Свердлов деловито, немногословно вел заседания ЦК. После ранней кончины Свердлова В. И. Ленин дал ему самую блестящую оценку: такие люди незаменимы, их приходится заменять целой группой работников.

Сталин, входя в когорту ленинских соратников и учеников, должен был, по идее, воспринять немало ценного из общения с вождем, его окружением, однако этого не произошло. Многое, заложенное в нем в ранние годы — скрытность, холодный расчет, ожесточенность, осторожность, бедность чувств,— со временем не только не исчезло, но и развилось до предела. В характере Сталина начало просматриваться еще одно качество, которое Гегель называл «пробабилизмом». Суть его заключается в том, что личность, совершающая какой-либо нравственно неблаговидный проступок, старается внутренне оправдать его какими-то своими особыми доводами. Сталин, убедившись в том, что общепризнанный вождь серьезно болен, начал исподволь большую «игру» с целью максимального упрочения своего положения в руководстве. На первых порах он пытался доказать себе, что это нужно в интересах защиты ленинизма. Позже принцип «пробабилизма» займет важное место в арсенале политических средств Сталина. Люди должны знать, полагал Сталин: все, что делает он,— во имя блага народа.

Думаю, что многие из окружавших Ленина людей долго не могли «раскусить» Сталина. Для некоторых он казался просто исполнителем, для других — неплохим представителем национальных отрядов партии, для третьих — обычной посредственностью, коих всегда бывает немало в руководящих кругах любых режимов и систем.

Да, соратники Ленина недооценили Сталина, зато он «раскусил» всех, даже тех, кто был близок к Ленину,— Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Томского, Рудзутака, Коснора, Евдокимова, многих других. Ведь это он «заметил», что в гражданской войне руководили Красной Армией почти исключительно «враги народа»: Троцкий, Блюхер, Егоров, Уборевич, Дыбенко, Муралов, сотни и тысячи других «предателей». Ленин не догадывался, а Сталин, видите ли, проницательно «разглядел», что «командиры промышленности» почти сплошь были «вредителями»: Пятаков, Зеленский, Серебряков, Лифшиц, Гринько, Лебедь, Семенов, тысячи других; только Сталин смог «рассмотреть», что во главе советского международного ведомства также были сплошь «шпионы»: Крестинский, Раковский, Сокольников, Карахан, Богомолов, Раскольников... А сколько других «даурушников» «раскусил» член руководящего ядра, «разоблачил» практически во всех сферах жизни народа! Едва ли такой могла быть простая «посредственность» — Троцкий здесь ошибся. Робеспьер, выступая в Конвенте 5 февраля 1794 года, заявил: «Первым правилом нашей политики должно быть управление народом — при помощи разума и врагами народа — при помощи террора». Каким дуалистичным и неуниверсальным был метод Робеспьера! Сталин свое правило политики сделал монистическим: управлять и теми, и другими одним методом — насилием.

Скажем еще раз: Троцкий, конечно же, ошибался в том, что Сталин был «выдающейся посредственностью». Это выглядит похвалой: у посредственности не бывает явных врагов, как и друзей. У Сталина и тех и других было предостаточно, скоро об этом узнает вся партия, весь народ. Сыграв самую незаметную роль в революции, несколько активнее проявив себя в гражданской войне, Сталин почувствовал: люди из ленинского окружения, имея, возможно, преимущество перед ним во многом, в чем-то ему и уступают. Если бы он знал Гегеля, то мог хотя бы мысленно произнести: «Человек — господин своей судьбы и своего назначения».

(Продолжение следует.)

Иван САВЕЛЬЕВ

В наши дни

* * *

Мы стареем — подрастают дети.
Сбереги их, время, сохрани...
С дерева уставшего столетья
Падают на землю листья-дни.

Сколько стало прахом да золою!..
Но один, подкрашенный зарей,
Все висит меж небом и землею —
Держится, уже полуживой.

Он судьбой отпущенное прожил.
Но пока не догорел дотла,
Слышит близкое дыханье кожи
Вросшего в земную твердь ствола.

Черный ветер не отсек от силы
Матери — трепещет в высоте...
Так и я на дереве России —
Лист ее — держусь, не отлетев.

День надежд не погребен веками...
И, ловя глазами горизонт,
Становлюсь то кроной, то корнями,
От разгула тризны защищен.

* * *

Ах, жизнь! Распахнутое лето...
Расправив дерзкие крыла,
Была ты музыкой и светом.
И черным космосом была.

И, увлечен твоим потоком,
С глядящим в будущность лицом,
Я был порой твоим пророком,
Но чаще все-таки — слепцом.

Но путь мой был не мною начат,
Родившись в дебрях старины.
И слепота моя, и зрячесть —
Из той далекой глубины.

И если я прозрею ныне
И надышусь свободой всласть,
То та грядущая пустыня
Земли погибнет, не родясь...

Планка высоты

Не снижайте планку высоты,
За ее сниженьем — отрешенье
От вошедшей в вашу кровь мечты,
От всего, что жаждет продолженья.

Как бы ни был ты велик иль мал,
Обладатель адского терпенья,
Только раз отступишься — обвал
Подомнет лавиной недоверья.

Что бы ты потом ни говорил,
Что бы ты потом уже ни делал, —
Не борец ты, если отступил,
Ты — предатель и души и тела.

Нет! Признав единственную власть
Над собою — опыт лет минувших,
Лучше вместе с планкою упасть,
Высотой последней задохнувшись...

* * *

Куда твои прибились волосы —
Как волны по реке годов?
Где голос твой? Не слышу голоса.
И не предчувствую шагов.

И не предвижу воскрешения.
А жизнь — как времени печать.
И даже, память-утешение
Устала сердце утешать.

Словам изношенным: «Мы разные» —
Уже на выручку не мчусь.
И праздник свой забвенье празднует
Обрывом дней, отлетом чувств.

Но между нынешней пустынею
И прошлой верой: жить — любить, —
Судьба с твоим проходит именем,
Пытаясь дни одушевить...

Со всех сторон

Как преждевременны посулы —
Быть тишине! —
Посул смешон:
Нас обволакивают гулы
Со всех сторон. Со всех сторон.

И голос тишины унижен
Восторгом техники. И сплошь
Уже деревьев шум не слышен.
Не слышен снег. Не слышен дождь.

Но слышу, слышу — боже правый,
Как не задумаешься тут! —
Свой одинокий голос травы
Сквозь гул вселенский подают...

* * *

Как ты, сердце, восхищенно пело,
Принимая годы на авось...
Золотое время отшумело,
Время увяданья началось.

Я себя таким припоминаю,
Что готов — у жизни на краю! —
Босоногому доверясь маю,
Маяться в своем глухом краю.

И, рожком снабженный и сумою —
Сумкою холщовой, что мала,
Я готов пастушеской зарею
Гнать коров вдоль сонного села.

Эти Розы, эти Майки, Крали
Будут снова парня изводить.
Мы себя и землю обокрали,
А могли совсем иначе жить.

Никуда я лет своих не дену,
Но перед последнею зарей
Я свою погибшую деревню
Все живее чувствую душой.

* * *

Суетня идет, возня
И ужасная грызня
За спиною у меня.

Леонид Мартынов.

Слова — увы — не устарели...
Как много кануло — и что ж?
Покамест мы не поумнели,
И в правду приправляем ложь.

О, эта горькая приправа!
Она с того еще горька,
Что правда левых, правда правых
От правды далеки пока.

А опыт столькими накоплен!
И все яснее ясно мне:
Пока они ломают копья,
Их строки падают в цене.

И все же примем, как награду,
Ту — только наших дней — печать:
Нам истину уже не надо
Ценою жизни добывать...

●

Сергей МИХАЛКОВ

Кавардак

Сцены нравов с драматическим финалом в двух актах, шести картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Жолудев Петр Петрович — ответственный работник, 60 лет.
Жолудев Иван Петрович — директор магазина «Днета», его брат, 60 лет.
Софья Карповна — его жена, 45 лет.
Спрутов Валерий Константинович — литератор, 50 лет.
Вероника Павловна — его жена, 35 лет.
Зябликов Орест Иванович — литератор, 45 лет.
Зябликова Лида — его жена, 30 лет.
Сугробов — литератор, редактор.
Кувалдина Агнесса Леопольдовна — критик.
Жозефина — манекенщица.
Зина — продавщица.
Сытов — скульптор.
Первый писатель.
Второй писатель.
Вася — шофер.
Посетитель.
Рабочие.

Действие происходит в наши дни.

ПЕРВЫЙ АКТ

Первая сцена

Кабинет директора магазина «Днета». Иван Петрович Жолудев продолжает говорить по телефону. В кресле возле стола сидит Вероника Павловна Спрутова и терпеливо ждет окончания разговора. В кабинет заглядывает Посетитель.

Посетитель. Разрешите? *(Ждет.)*

Жолудев *(отрываясь от трубки)*. Вы видите, что я занят?

Посетитель *(прикрывает за собой дверь)*. Извините.

Жолудев *(продолжает разговор)*. Слушаю тебя, Андрей Тарасович, слушаю... Нет, если вы нам не подкинете к празднику дефицит, мы останемся без плана. Это я тебе честно говорю. *(Слушает.)* Пока только шампанское, остальное все сняли. Коньяку я бы взял. Молдавский? Пойдет. Что? С ветеранами все в порядке. Они у нас к празднику обеспечены: красную икру по баночке — даем, растворимый кофе отечественный — даем, конфеты «Алые паруса» и печенье «Малютка» — даем. Ну, и прочий ассортимент. Не понял? Понял. Присылай часам к шести вечера. Завтра? Хорошо, можно и завтра. Тогда с утра, а то мне в управление на совещание ехать. Ладно. Бывай здоров. Привет супруге. *(Кладет трубку.)* Извините, Вероника Павловна, что заставил вас ждать.

Спрутова. Ради бога, Иван Петрович! Ради бога, не беспокойтесь. Я же понимаю...

Жолудев. Чем могу быть полезен? Внимательно вас слушаю.

Спрутова (*не сразу*). У нас, Иван Петрович, событие!
Жолудев. Какое же, если не секрет?
Спрутова. У Валерия Константиновича новая книга вышла.
Жолудев. Скажите пожалуйста! Он мне совсем недавно говорил, будто что-то пишет.
Спрутова. То, что он пишет, то еще из печати не вышло, а вот то, что он в прошлом году закончил, то только что издали. (*Достает из хозяйственной сумки две книги.*) Валерий Константинович просил меня передать вам один экземпляр со своим автографом. (*Передает книгу.*) А эту книгу передайте, пожалуйста, вашему брату Петру Петровичу. Валерий Константинович его очень уважает. Здесь тоже автограф.
Жолудев (*рассматривает книгу*). Спасибо. Почитаем. Хорошо издали. И переплет твердый, и бумага отличная. А каким тиражом ее отпечатали? (*Смотрит.*) Двадцать пять тысяч! Не маловато ли? Я полагаю, что книга с таким названием быстро разойдется! «Змий»! Кажется, у Гоголя есть что-то похожее?
Спрутова. «Вий»!
Жолудев. Вот именно, «Вий»! Похоже, не правда ли? (*Помолчав.*) Все книжные магазины затоварены, а посмотришь — читать-то и нечего! Как бы это в самом деле нам в издательствах порядок наладить? В духе перестройки! У нас в торговле, к примеру, то, что сгнило,— списывают, а вот у издателей, видно, наоборот: то, что не идет, то они печатают. По знакомству, что ли?
Спрутова. Вы совершенно правы, Иван Петрович! Я с вами не могу не согласиться. И ведь вот что любопытно: бездарность себе дорогу пробивает, а талант скромничает. Взять хотя бы моего Валерия Константиновича. Ведь он настоящий труженик «вечной ручки», а ведь даже никакой премии не имеет. Только один поощрительный диплом ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Но ведь это же не то!
Жолудев. Мухомор в лесу издалека виден, а белый гриб под елочкой сидит себе и вида не подает. Правда, пока его ножичком не срезали.
Посетитель (*заглядывая в кабинет*). Разрешите?
Жолудев. Вы видите, я занят!

Посетитель скрывается.

Жолудев (*прячет книгу в ящик стола*). Ну, взятку я от вас получил.
Спрутова. Боже мой! Какая же это взятка? Это же авторский экземпляр!
Жолудев. Шучу, шучу... Мы взяток не берем... Так чем же я могу быть вам полезен, Вероника Павловна?
Спрутова (*осторожно*). Сами понимаете, Иван Петрович... Вышла книга — новинка, надо кое-кого пригласить домой на ужин.
Жолудев. Как не понять! Русский обычай. Надо обмыть!
Спрутова. Я думала, рынком обойдусь, но Валерий Константинович настоял, чтобы я вас навестила, а заодно и книги передала.
Жолудев. За книгу огромное человеческое спасибо. Сегодня же полистаю на ночь. Я ведь только на ночь и читаю. Страниц двадцать одолею и тогда уж засыпаю. Ну а как самочувствие самого-то? Он ведь, кажется, не так давно в клинике лежал?
Спрутова. Обследование проходил. Слава богу, ничего серьезного не нашли. Но вот нервы... нервы... Придет домой с собрания в Доме литераторов, места себе не находит, так его всего трясет. Такого там наслушается...
Жолудев. А чего они там между собой не поделили, эти ваши литераторы? На службу не ходят — сиди и твори в свое удовольствие. Полный хозрасчет. Чем больше натворишь, тем больше получишь! А они, я по «Огоньку» сужу, все чего-то спорят, бочку друг на друга катят. Когда же они угомонятся и в норму войдут? Их же призывают!

Спрутова. Да никогда они в норму не войдут!
Жолудев. То есть это почему же они не могут в норму войти? Мы же входим.
Спрутова. Групповщина у них там образуется.
Жолудев. Как понять?
Спрутова. Одни, значит, с одними заодно, а другие с другими. Этих издают, а тех не печатают. Одного премируют, а другой без значка всю свою творческую жизнь мается. Вот каждый за себя борьбу и ведет. Кто в чинах, тому легче пробиваться. А который писатель без власти, тому тяжелее, а то ему и вовсе ходу нет.
Жолудев. А ваш Валерий Константинович при власти или как?
Спрутова. Он в приемной комиссии работает, новых писателей в союз принимает. Власти, конечно, не много, но с ним считаются.
Жолудев (*в задумчивости*). Да-а-а... Лучше бы сидели по домам и сочиняли для народа. Как это говорится, литература — это... штука посильнее Фауста... Нет, так сказать, единства? Это нехорошо. Не в духе времени. (*Неожиданно.*) Вероника Павловна! Вы не сочтите меня нахалом, но есть и у меня к вам нижайшая просьба. Давно я собирался вас попросить, да как-то не было подходящего момента. Я бы и сам к Валерию Константиновичу обратился, да мы с вами чаще видимся, вы к нам чаще наведываетесь. (*Достает из ящика стола объемистую папку и кладет ее перед собой на стол, прикрыв ладонью.*) Вот! Не смогли бы вы, Вероника Павловна, передать эту папочку в руки вашему супругу и попросить его ознакомиться с ее содержимым? Дать, так сказать, свое заключение. Я тут и письмецо на его имя приложил, изложил в нем, так сказать, существо просьбы. И от брата записочка тоже приложена. За меня просит. Если, конечно, это вас не затруднит... Както никак мы с вами давно знакомы, и на кого мне еще можно рассчитывать, как не на старых друзей? А дело деликатное...
Спрутова (*принимая папку и пряча ее в хозяйственную сумку*). Я вас понимаю, Иван Петрович, и Валерий Константинович вам, безусловно, не откажет. Он вас и вашего брата Петра Петровича очень уважает.
Жолудев. Ну и отлично. А брату я вместе с книгой передам от вас привет. А теперь, как говорится, вернемся к нашим баранам. Как я понимаю, вы хотите накрыть праздничный стол?
Спрутова. Не скрою. Напитками мы запаслись, а вот что касается остального...
Жолудев. Сейчас исделаем! (*Нажимает кнопку селектора.*) Кто это?
Зина. Это Зина, Иван Петрович!
Жолудев. Кашкина, что ли?
Зина. Кашкина, Иван Петрович!
Жолудев. А где Антонина Васильевна?
Зина. Отошла на минуточку, Иван Петрович!
Жолудев. Зина, ты книжки читаешь?
Зина. Читаю, Иван Петрович!
Жолудев. Кто твой любимый писатель?
Зина. Штирлиц, Иван Петрович!
Жолудев. Ясно. Так вот что, Зина Кашкина!
Зина. Слушаю вас, Иван Петрович!
Жолудев. Сейчас к вам в стол заказов поднимется одна дама. Встреть ее как положено. Познакомься. Это супруга известного писателя Спрутова. Читали его произведения?
Зина. Не помню, Иван Петрович!
Жолудев. Современную литературу надо читать.

Зина. Хорошо, Иван Петрович!

Жолудев. Передай Антонине Васильевне мое распоряжение: отпустить гражданке Спрутовой по возможности все из наличия! Поняла?

Зина. Поняла, Иван Петрович!

Жолудев. Молодец, Зина! Далеко пойдешь. Замуж еще не вышла?

Зина. Нет еще, Иван Петрович!

Жолудев. Выйдешь — позови на свадьбу! Приду с «Золотым» шампанским! Выполняй мое указание! *(Выключает селектор.)* Значит, так, Вероника Павловна! Вы поднимаетесь сейчас на второй этаж в стол заказов, спрашиваете там Зину Кашкину и дожидаетесь Антонину Васильевну.

Спрутова. У вас там раньше была Анна Тимофеевна.

Жолудев. Она в декретном. Антонина Васильевна и отпустит вам все, что вы ей продиктуете. *(Пишет что-то на листке из блокнота и передает листок Спрутовой.)*

Спрутова. Что это?

Жолудев. А это вам от меня лично. Сверх плана. Из моего фонда. Пять банок дальневосточных экспортных крабов. Я думаю, этого количества вам хватит на хороший салат.

Спрутова. Что вы, Иван Петрович! Это роскошь! Их же нигде нет!

Жолудев *(уклончиво)*. Бывают...

Спрутова выходит. Жолудев снимает трубку телефона. Заглядывает Посетитель.

Посетитель. Теперь можно?

Жолудев. Я занят. *(Набирает номер телефона.)*

Посетитель *(нерешительно)*. Я от Антона Антоновича.

Жолудев *(кладет трубку, меняя тон)*. Что ж ты за дверью стоишь? Заходи.

Посетитель заходит. В руках у него большая сумка.

Вторая сцена

Квартира Спрутовых. Вечер. Вероника Павловна включает программу телевизора и выключает звук. Из кабинета выходит Спрутов. Он в пижаме. В руках у него листы рукописи, которую он читал.

Спрутова. Валерий! Ты еще не переоделся? Они же сейчас все придут! Иди и переодевайся! Я тебе на кровать свежую сорочку положила.

Спрутов *(сердито)*. Ладно. Успею. *(С возмущением.)* Нет, ты только подумай, что я должен читать!

Спрутова. А что ты должен читать?

Спрутов. То, что ты мне принесла из «Диеты» в этой чертовой папке!

Спрутова *(спокойно)*. Что такое? В чем дело? Что я принесла? Очевидно, рукопись?

Спрутов. Рукопись! Дребедень, которой я должен засорять себе мозги! Черт знает что! Каждый хватается за перо и строчит что в голову взбредет.

Спрутова. Ты имеешь в виду то, с чем тебя просил ознакомиться Иван Петрович Жолудев?

Спрутов. Вот именно! Плод его досужей фантазии!

Спрутова. Валерка! Не надо так нервничать. Мало ли что тебе приходится читать по работе в приемной комиссии.

Спрутов. А я не читаю. Другие читают. Я только голосую.

Спрутова. Так что же он там насочинял, наш директор-кормилец?

Спрутов. «Документальная повесть в личных наблюдениях и переживаниях. Штрихи из жизни торгового работника». И мало того, что он просит меня пройтись по ней «беспощадным карандашом известного писателя», подработать и отредактировать отдельные места, он еще имеет глупость — или наглость, я уж не знаю! — предложить мне соавторство! Как это тебе нравится: Жолудев и Спрутов? Хорошая парочка! Это уже ни в какие ворота не лезет! Да у меня своей работы по горло: начата пьеса, задуман сценарий. Неужели он серьезно думает, что я буду возиться с его писаниной?

Спрутова. Он мне сказал, что все изложил тебе в приложенном письме и что есть еще записка с просьбой от его брата Петра Петровича.

Спрутов. О содержании письма я тебе уже сказал, а его брат, так тот с высоты своего высокого поста просто чуть ли не дает мне указание. Вот, изволь *(читает записку)*: «Уважаемый Валерий Константинович! Зная ваши дружеские отношения с моим братом и ваш профессиональный опыт, прошу проконсультировать его записи. Ваш П. Жолудев». Хорошо, что еще от руки написал, а не на бланке своего Комитета.

Спрутова. Какой же выход ты видишь из этого положения? Только не нервничай! Спокойнее... спокойнее...

Спрутов. Какой выход? Я бы эту писанину выбросил в мусоропровод, не будь тут замешаны эти два желудя.

Спрутова. Выбросить в мусоропровод ты ее не можешь. Это тебе ясно. Ясно и то, что они оба решили тебя прижать в угол. Один со своего поста в «Диете», где мы снабжаемся, а второй со своего влиятельного поста, от которого ты так или иначе зависишь. Вот и попробуй тут отвертеться!

Спрутов. Честнее было бы просто и убедительно им обоим высказать свое отрицательное мнение. Вернуть рукопись и отказаться. Ну, посоветовать обратиться в какую-нибудь редакцию.

Спрутова. С твоим рекомендательным письмом?

Спрутов. Этого еще не хватало! Как можно это рекомендовать? Засмеют.

Спрутова. Давай, Валерий, по порядку? Иван Петрович рассчитывает на твою конкретную помощь. Это ежу понятно! Его брат Петр Петрович подкрепляет этот расчет своей запиской. Он ведь знает цену своей номенклатурной подписи.

Спрутов. Я это понимаю. А что делать?

Спрутова. Надо вывернуться, но с умом.

Спрутов. Подскажи!

Спрутова *(не сразу)*. Зябликов!

Спрутов. Что Зябликов?

Спрутова. Зябликов! Надо к этой ситуации подключить Зябликова. Ореста Ивановича. Твоего закадычного друга! Ты сам говорил, что у него бойкое перо и он мастак по литературной обработке чужой писанины. Подумай! Зябликов!

Спрутов. Как это мне сразу в голову не пришло? Ну, Вероника, ты у меня просто Генеральный штаб! Действительно, это идея!

Спрутова. Он как раз сегодня у нас будет на ужине, ты его и уговори. Тебе он вряд ли откажет.

Спрутов *(в раздумье)*. Тут же надо все переписывать заново. Пересочинять. Править авторское косноязычие.

Спрутова. Неужели там ничего нет? Я имею в виду рукопись.

Спрутов. Как тебе сказать? Кое за что зацепиться можно. Есть нелепые, но живые наблюдения... профессиональный жаргон... торговые махинации. Но это будет адовый труд для того, кто возьмется за данный материал.

Спрутова. Уговори Зябликова! Уговори!

Спрутов. Попробую. Кстати, он на днях просил меня выступить

на приемной комиссии в защиту какого-то графомана, который его одолел. Он был литературным обработчиком его воспоминаний, так теперь этот товарищ рвется в Союз писателей.

Спрутова. Пообещай ему свою поддержку. И уговори взять рукопись Жолудева на себя и поработать над ней. Пообещай гонорар.

Спрутов. Из собственного кармана?

Спрутова. Игра стоит свеч. Если ты потребуешь гонорар от Жолудева, это подорвет в его глазах весь твой авторитет. Он, правда, предлагает тебе соавторство, но ты, надеюсь, на него не пойдешь?

Спрутов. Этого еще не хватало!

Спрутова. А вернуть рукопись с отказом, на это ты, я понимаю, тоже не пойдешь?

Спрутов. Ты права.

Спрутова. Остается Зябликов!

Спрутов. Чем черт не шутит! Попробую уговорить. Да-а-а, ситуация!

В передней звонок. Спрутов уходит в кабинет. Спрутова идет встречать гостей. Возвращается вместе с Зябликовым.

Зябликов. Как здоровье нашего классика?

Спрутова. Спасибо. Хорошо. В рабочем настроении.

Зябликов. Видел сегодня на прилавке его «Змия». Покупают.

Спрутова. Ваше-то как самочувствие, Орест Иванович?

Зябликов. Дышу. Но дыхания уже не хватает. Перекрывают кислород.

Спрутова. Как прикажете понять?

Зябликов. Вчера на собрании творческого объединения прозы выносили ногами вперед наше литературное руководство. Организуется группа захвата. Только вы от меня ничего не слышали, я вам ничего не рассказывал.

Спрутова. Захвата чего? О каком захвате идет речь?

Зябликов. О захвате власти.

Спрутова. А чем это вызвано?

Зябликов. Тем, что некоторым кажется, что если захватить власть, то их будут больше издавать и переиздавать.

Спрутова. Вы выступали?

Зябликов. Боже упаси! Я никогда не выступаю в экстремальных ситуациях. Береженого бог бережет!

Спрутова. Там что же, голосовали?

Зябликов. Я в это время выходил из зала.

Спрутова. Вы сейчас над чем-нибудь работаете?

Зябликов. Только что закончил работу над одними мемуарами. Так называемая литературная запись воспоминаний генерал-майора в отставке Михаила Андреевича Атакова. Заказ Воениздата. Если бы вы, Вероника Павловна, только знали, сколько сейчас появилось этих мемуаристов, не владеющих литературным слогом! Люди бывалые, их нельзя не уважать, но ведь даже воспоминания надо уметь записать. А если нет такого дара? Представьте себе: вчера рано утром звонок в дверь. Выхожу в переднюю, смотрю в глазок. Пожилой бородатый человек стоит, ждет, чтобы его впустили в квартиру. Рискнул. Впустил. Входит. Здоровается за руку. И прямо с ходу, тут же, в передней, обращается ко мне: «Будем работать?» И протягивает мне две толстенных папки. «В этих папках,— говорит,— вся моя жизнь на фронте и в тылу врага. Ты, я слышал, умеешь переписывать. Перепиши! В долгу не останусь! Мне твой адрес дали в Союзе писателей. Вот я и пришел к тебе с утра пораньше».

Спрутова. Наглость какая!

Зябликов. С трудом выпроводил его. Сослался на здоровье, попросил позвонить мне месяца через три. Сказал, что уезжаю лечиться на кумыс. Одним словом, ушел он со своими папками огорченный и явно оскорбленный. Даже не попрощался. Вот так-то, Вероника Павловна!

Спрутова. А зачем вы вообще соглашаетесь на такую работу? Вы же сами можете писать. Я читала ваши очерки, рассказы. Вы творческая личность.

Зябликов. Уговаривают, Вероника Павловна! А я подчас отказать не могу. Посопротивляюсь, посопротивляюсь и даю согласие. И, знаете ли, по ходу работы увлекаюсь материалом. Пишут ведь свои воспоминания люди с богатым жизненным и боевым опытом, прошедшие войну в партизанских отрядах, в лагерях смерти. Люди заслуженные, но, к сожалению, не владеющие пером.

Спрутова. Вы, значит, за них пишете, а они пожинают лавры?

Зябликов. Иные потом даже пытаются вступить в члены Союза писателей. Обижаются, если им отказывают. Жалуются во все инстанции. И такие случаи были. А бывает и так: при первом издании книги моя фамилия как литературного обработчика значится на титульном листе, а при повторном издании она исчезает вместе с гонораром. Но я не жалуюсь. Я вообще избегаю конфликтов. Хотя, конечно, бывает обидно. Не скрою.

Появляется Спрутов.

Спрутов. Явился, великомученик пера! Здравствуй!

Зябликов. Привет классику! *(Целуются.)* Ну как? Отмечаем сегодня твоего «Змия»? Надеюсь, нечто аналогичное будет на столе?

Спрутов. Будет, будет...

Зябликов. Кто еще приглашен на это событие?

Спрутов. Сугробов со своей дамой, с которой мы еще не знакомы, и Кувалдина собственной персоной. Ты, да я, да мы с тобой! Вот и вся честная компания! Ну, и во главе стола моя Вероника!

Зябликов. Ты мне все настроение испортил. Ненавижу я эту Кувалдину. Бандитка пера! Ты читал, как она против наших застойных выступила? А вчера на собрании объединения! Что она там несла, ты бы только послушал!

Спрутов. Не хожу я на эти собрания. А ко мне она сама напросилась. Обещала рецензию на моего «Змия».

Зябликов. Это она неспроста. Что-нибудь ей от тебя нужно.

Спрутов. Поживем — увидим. Наверное, дачный участок.

Зябликов. Экстремистка, каких свет не видел!

Спрутов. Но критик способный.

Зябликов. Как говорят, на все способная. Такие, как она, по трупам шагают, если это им выгодно. Только я тебе этого не говорил.

Спрутов *(улыбаясь)*. Вот сколько лет я тебя, Орест, знаю и не перестаю удивляться. Ты человека ненавидишь, а при встречах с ним целуешься! Зачем? Что тебя побуждает лезть к нему со своими поцелуями?

Зябликов. И буду целоваться! Я со всеми своими врагами целуюсь! Пусть думают, что я их люблю. Врагов надо обнимать!

Спрутов. Чтобы задушить! А ты их лобызаешь.

Зябликов. Я же не в губы целуюсь, а в щеку. Чмокнул — и все! Жалко, что ли?

Спрутов. Ну ладно, это в конце концов твое дело, как с кем здороваться. Скажи мне лучше, у тебя на сегодняшний день много работы?

Зябликов. Что ты имеешь в виду? На днях сдал в издательство мемуары одного автора, пока свободен. А что?

Спрутов. Возьмешься за один материал? Листов десять. Очень нужно!

Зябликов. Кому нужно?

Спрутов. Не скрою, мне нужно! Мне!

Зябликов. Тебе лично?

Спрутов. Мне лично!

Зябликов. А что за материал? Большая дребедень?

Спрутов. Воспоминания. Одним словом, по твоей части. Прочтешь — увидишь.

Зябликов. Много работы?

Спрутов. Нужно, честно говоря, всю ее перелопатить, заново переписать. Довести до кондиции. Не в службу, а в дружбу! Я в долгу не останусь. Ты же меня тоже на днях кое о чем просил.

Зябликов. Да, ты мне обещал!

Спрутов. Я помню.

Зябликов *(мнется)*. Хотел немного передохнуть, поехать в Дом творчества. Выбил себе путевку.

Спрутов. Вот там и поработаешь. Совместишь отдых с работой.

Зябликов *(не сразу)*. А кто автор?

Спрутов *(уклончиво)*. Так... один... товарищ...

Зябликов. С последующим выходом на издательство?

Спрутов. Возможно. Но тут уж я позабочусь. Теперь ведь и за свой счет книги издавать можно. Надо, Орест! Надо! Помоги!

Зябликов. Срок?

Спрутов. Как получится. Но лучше не тянуть.

Зябликов. Хорошо. Все равно ты с меня не слезешь. Я же тебя знаю.

Спрутов. Орест! За мной никогда не пропадало. Услуга за услугу. Идет?

Зябликов. Только ради тебя. Ладно уж... возьмусь. Но поклянись, что это останется между нами! Поклянись!

Спрутов *(смеется)*. Клянусь!

Зябликов. Перекрестись!

Спрутов. С чего это я буду креститься? Я же неверующий!

Зябликов. Все равно перекрестись!

Спрутов. Пожалуйста! *(Крестится.)* Ну и чудак же ты, Орест!

Зябликов. Где рукопись?

Спрутов. После ужина я ее тебе дам.

Звонок в передней. Появляются Вероника Павловна, открывавшая дверь, Сугробов с Жозефиной и Кувалдина.

Сугробов *(представляя свою даму)*. Познакомьтесь, пожалуйста! Это Жозефина.

Жозефина. Жозефина Анатольевна! Московский Дом мод!

Все знакомятся. Зябликов целуется с мужчинами. Даме целует руку.

Спрутов *(тихо, Зябликову)*. Ты бы уж и ее заодно чмокнул! Все же приятнее.

Кувалдина *(расслышав)*. На это Орест Иванович не способен — СПИДа боится!

Жозефина. Что это вы говорите? У кого СПИД?

Зябликов *(торопливо)*. Нет, нет... Вы не поняли...

Кувалдина. Валерий Константинович! Последнюю новость слышали?

Спрутов. Какую новость?

Кувалдина. На журнал «Рассвет» идет Порожняков.

Спрутов. Я это предполагал. Его Жолудев поддерживает, Петр Петрович.

Зябликов. Какой Жолудев?

Сугробов. Тот, который еще с дуба не свалился. Я так и думал, что последнее слово будет за ним. Непотопляемый желудь!

Кувалдина. Если Порожняков примет журнал, вам, Валерий Константинович, там не печататься. У них своя команда!

Спрутов. У меня с Петром Петровичем Жолудевым свои отношения. Посмотрим.

Зябликов *(обращаясь к Кувалдиной)*. Агнесса Леопольдовна! Прочитал сегодня вашу статью о наших «ведущих». Прекрасно! Прекрасно! Давно надо было выступить на эту тему, внести ясность. Товарищи! Рекомендую всем ознакомиться со статьей Агнессы Леопольдовны! Все молчат, а она выступила, не постеснялась.

Сугробов. Где она напечатана?

Зябликов. В «России» пять колонок. Очень своевременно и в духе нового мышления. По всем прошлась. Никого не пропустила: у кого какие тиражи и прочие подробности.

Кувалдина. Не перехвалите, Орест Иванович, зазнаюсь. Да, что-то я вас вчера на собрании не видела.

Зябликов. Как же, я был. Я возле двери сидел. Лично я вас не только видел, но и слышал ваше яркое выступление. Вы очень смело выступали! Как всегда!

Жозефина *(неожиданно)*. Товарищи! Вы не знаете, почему «Березку» закрыли? У одного моего знакомого на руках десять тысяч чеков осталось! Представляете, что это такое? Трагедия!

Сугробов. Он что же, их накопил, что ли? Работал за пределами?

Жозефина. Не накопил, а наскупал! А теперь вот сидит на мели.

Сугробов. Не знал, душенька, что вы с такими знакомыми водитесь! Вы бы меня хоть предупредили о ваших опасных связях.

Жозефина. Никакие это не связи! И никакой он мне не знакомый. Просто приятель одной моей сослуживицы. Да и с той я тоже не очень-то... Просто иногда в одной сауне встречаемся.

Спрутов возвращается из кабинета с пачкой книг. Молча раздает всем по книге.

Сугробов *(рассматривая книгу)*. Прилично издали.

Жозефина. Это про алкоголиков? А можно мне какую-нибудь другую? Я не люблю читать про пьяниц. *(Возвращает книгу автору.)*

Спрутов *(сухо)*. Другую я еще не сочинил.

Спрутова *(в дверях)*. Прошу всех в столовую!

Спрутов *(Кувалдиной)*. Вам я даю два экземпляра. Один с автографом, лично для вас, а второй на всякий случай. Интересно было бы знать ваше мнение.

Зябликов. Агнесса Леопольдовна! Помните у Толстого: «Что касается критиков, то часто под их руками большие писатели делаются маленькими, глубокие мелкими и мудрые глупыми»?

Кувалдина. Вы имеете основания мне на что-то намекать?

Зябликов *(испуганно)*. Нет, это я просто так... почему-то вспомнил...

Кувалдина. А я уж подумала, будто вы...

Зябликов. Что вы, Агнесса Леопольдовна! Вы всегда объективны! И потом, у вас такие возможности. Вас-то уж не знать!

Все проходят в столовую.

ВТОРОЙ АКТ

Третья сцена

Квартира Зябликовых. Орест Иванович в изнеможении полулежит на тахте. Рядом с ним сидит Зябликова.

Зябликова *(не сразу)*. Оря! Посмотри на себя в зеркало. На кого ты стал похож? На кого ты работаешь? Зачем? Ты бы мог в Доме творчества работать на себя или вообще ничего не писать, а гулять и отдыхать. Ты же только недавно закончил мемуары этого ветерана, который из тебя всю душу вынул. Ну ладно, дело сделано, рукопись пошла в набор, генерал доволен, а ты?

Зябликов. Я тоже доволен, что книга пошла в печать. По ходу работы я сам стал почти полковником.

Зябликова. Чужая книга! А сколько ты в нее вложил себя? Какой мерой это измерить? Ты губишь свои способности ради чужих амбиций! А ведь было время...

Зябликов *(помолчав)*. Лида! Не мучь меня. Я устал.

Зябликова. Зачем тебе все это надо?

Зябликов. Надо.

Зябликова. Что значит «надо»? Кому надо?

Зябликов. Лида! Ты все равно до конца меня не поймешь. Ну возьмем, к примеру, тот материал, который я за два месяца пребывания в Доме творчества превратил в сносное произведение. Да, я переписал заново то, что мне дали. Придумал название. Придумал жанр. Ради чего я это делал?

Зябликова. Вернее, ради кого?

Зябликов. Ради Спрутова. Он просил. Его просили. И я согласился, Лида! Я не нашел в себе сил отказать Валерию Константиновичу. Он мне тоже не раз шел навстречу. А потом, Лида, ты же знаешь мой характер — я не боец!

Зябликова. Ты был другим, когда писал своего «Черного лебедя»!

Зябликов. Когда это было? Двадцать лет назад. Да! Тогда я верил в себя. Но моему лебедю подрезали крылья! Они уже не отрастут!

Зябликова. Орест! Ты несчастный человек. Мне тебя жаль.

Зябликов *(садится на тахте)*. Ты права, Лида! Я человек, которого можно было бы и пожалеть. Да! Теперь я пишу предисловия и послесловия, под которыми ставят свои подписи маститые литераторы, даже не удосужившись прочитать, что я написал. Меня просят написать положительную аннотацию на произведение, которое собираются выдвинуть на премию. И просит не кто-нибудь, а сам автор этого произведения. И я пишу эту аннотацию, потому что не хочу в его лице иметь недруга. Ты думаешь, что я рассчитываю на благодарность? Те, кто анонимно использует мое доверие и мой труд, в лучшем случае вынуждают меня принять участие в товарищеском ужине, где я сижу за одним столом с тем, кому я создал временное подобие литературной известности.

Зябликова. И тебя при этом не мучает совесть?

Зябликов. Мучает.

Зябликова. Я не знаю человека, которому ты когда-нибудь в чем-либо отказал. Тебя бессовестно используют бессовестные люди и людишки.

Зябликов. Я же тебе сказал, что я не боец. Я раб своего характера.

Зябликова. Мне больно на все это спокойно смотреть. За кого ты в этот раз сделал эту работу? За кого?

Зябликов. Я тебе скажу. Но ты дашь мне честное слово, что никому, никогда этого не скажешь. Поклянись!

Зябликова. Хорошо. Никому никогда не скажу. За кого же?

Зябликов. За Ивана Жолудева.

Зябликова *(с удивлением)*. Это что еще за фрукт?

Зябликов. Кажется, директор магазина «Диета».

Зябликова *(в ужасе)*. И твоя фамилия будет напечатана на титульном листе этого произведения?

Зябликов. Нет. Работа сделана анонимно. Я выполнил личную просьбу Спрутова.

Зябликова. А он сам не мог проделать то, что сделал ты в ущерб своему здоровью?

Зябликов. Он никогда этим не занимался.

Зябликова. Ну а зачем ему-то нужна эта твоя работа?

Зябликов. Видно, нужна, раз он меня упросил.

Зябликова. И это будут издавать?

Зябликов. Не знаю... Знаешь, что любопытно? Я переписывал рукопись этого неизвестного мне автора, как свою. Мне дали полную свободу, лишь бы что-нибудь получилось. И, представь себе, получилось! Не бог весть что, но сносное произведение, основанное на документальном материале, дневникового характера.

Зябликова. Боже мой! За кого же это я вышла замуж? За негра! За поденщика! А я-то наивно полагала, что выхожу за талантливого литератора с будущим! Неужели, Орест, дорогой, ты не можешь выдавить из себя раба? Возьми себя в руки, сходи наконец к психоневрологу, пусть он тебе внушит, что ты боец, и в один прекрасный день ты вышвырнешь за дверь очередного литературного вампира! Откажешь бездарности в протекции! Выступишь на собрании с принципиальных позиций! Покажешь себя настоящим литератором и человеком!

Зябликов. Не смогу, Лида!

Зябликова. Я вчера наблюдала, как ты общался с этим... как его... редактором...

Зябликов *(подсказывает)*. С Сугробовым.

Зябликова. Да. Я ведь знаю, как ты к нему относишься. Ты мне не раз о нем рассказывал. А вчера в Доме литераторов ты говорил с ним как с самым близким тебе человеком. При встрече расцеловал в обе щеки. Прощаясь, опять же, чуть ли не в губы.

Зябликов. Ты преувеличиваешь. Я никогда в губы не целую.

Зябликова. Одним словом, мне было противно наблюдать эту сцену. А эта твоя присказка «лапочка», когда ты разговариваешь с кем-нибудь по телефону... Это вошло у тебя в привычку. Тот же Спрутов, какой он для тебя «лапочка»? А главное, если бы эти люди, с которыми ты общаешься подобным образом, тебя уважали! Так ведь нет же!

Зябликов. Лишь бы не пакостили.

Зябликова. А ты уверен, что любой из них остановится перед тем, чтобы тебе не напакостить, случись подходящий момент? Они же все, тобой обласканные и целованные, сразу от тебя отвернутся.

Зябликов. Лида! Как же ты недальновидна! Именно поэтому я делаю все, чтобы избежать этого момента. Меня все считают человеком, готовым любому оказать помощь.

Зябликова. Вот именно, любому! Без разбора! Порядочному и подлецу. Бездарному и таланту. Это не доброта, мой дорогой! Этому есть другое название!

Зябликов. Какое же?

Зябликова. Не знаю... Бесхребетность... беспринципность... всеядность... Нельзя быть для всех добреньким! Надо помогать достойным людям! Ради них можно идти на любые жертвы, но по-рабски

всем угождать... Нет, Орест! Я уйду от тебя! Я с тобой разведусь!

Зябликов *(нежно)*. Ты же меня любишь!

Зябликова. Люблю. Потому и киплю! Как мне тебя перевоспитать?

Звонок в передней. Зябликова выходит. Появляется Спрутов. Он в плаще. В руках шляпа.

Спрутов. Привет, Орест!

Зябликов. Здравствуй, классик!

Спрутов. Ты мне звонил?

Зябликов. Звонил. У меня все готово.

Спрутов *(нетерпеливо)*. Покажи!

Зябликова *(в дверях)*. Вы бы разделись, Валерий Константинович!

Спрутов. Тороплюсь, Лидочка! Тороплюсь. Меня ждут. Опаздываю.

Зябликова прикрывает за собой дверь.

Зябликов *(достает из ящика стола рукопись в папке, передает ее Спрутову)*. Вот!

Спрутов *(принимая рукопись)*. «Кавардак»? Занятное название!

Зябликов. Название среднеазиатского мясного блюда, когда в глиняном горшке все перемешано.

Спрутов. «Кавардак»! Смешно и загадочно. Итак, что же у нас получилось? Иван Жолудев. «Кавардак». Ироническая проза». Так... Ну, и что ты думаешь?

Зябликов. По поводу?

Спрутов. Удобоваримое блюдо?

Зябликов. Я старался. По-моему, автор должен быть доволен.

Спрутов. Можно издать?

Зябликов. В журнале вряд ли, но если за свой счет... Теперь ведь это можно... Почему не издать при желании и при определенных личных затратах? Предосудительного здесь ничего нет.

Спрутов. Сколько тут авторских листов?

Зябликов. Что-нибудь до десяти.

Спрутов. Будем посмотреть.

Зябликов. Смотри, Валерий! Я твою просьбу выполнил. Я свое дело сделал. С твоего благословения подготовил для наших читателей очередного графомана. Издать книгу за свой счет он сможет, но писателем он не станет. За это я ручаюсь!

Спрутов. Это его дело. Это меня мало беспокоит. Ты меня выручил, и тебе огромное спасибо за дружбу!

Зябликов. Но, Валерий! Мы с тобой договорились, что никто об этом не должен знать! Ни одна живая душа! Поклянись, что ты меня не предашь! Никто не должен знать, что я приложил здесь свою руку! Обещай!

Спрутов. Обещаю!

Зябликов. Поклянись!

Спрутов *(крестится)*. Клянусь!

Зябликов. Я ничего не знаю, ничего ведать не ведаю. Ты передаешь рукопись автору, а уж он пусть с ней распоряжается по своему усмотрению. Так что смотри, Валерий! Я в любом случае откажусь, если ты меня предашь! Оригинал я сжег!

Спрутов *(улыбаясь)*. У Жолудева мог остаться второй экземпляр, но я полагаю, что, получив эту рукопись, он его тоже теперь сожжет в своем дачном камине. Я пошел. Мы с тобой рассчитаемся.

Зябликов. Ладно. Между друзьями какие могут быть расчеты? *(Пытается в дверях облобызать друга.)*

Спрутов *(уклоняясь от поцелуя)*. У меня начинается грипп. Еще заразишься! Завтра увидишь Кувалдину. Кстати, Кувалдина пишет рецензию на моего «Змия».

Зябликов. Значит, с участком у нее все в ажуре?

Спрутов уходит. В передней хлопает дверь.

Зябликова *(появляясь в дверях)*. Дорогой мой! На этом мы ставим точку! Больше ты не пишешь за других! Будешь писать за себя! Дальше я этот позор терпеть не собираюсь! И не отвечай мне! Молчи!

Четвертая сцена

Квартира Жолудевых. Софья Карповна хлопочет вокруг красиво убранного стола. В передней слышны мужские голоса. Появляются Жолудев и шофер Вася. Они начинают вносить в комнату пачки упакованных книг.

Жолудев *(жене)*. Соня! Я думаю, книги лучше всего сложить в темной комнате?

Софья Карповна. А много таких пачек?

Жолудев. Пятьдесят! По двадцать книг в каждой. Тысяча экземпляров.

Софья Карповна. Куда тебе столько?

Жолудев. Я же за свой счет издал! Все — мои. *(Шоферу.)* Вася, давай таскать! *(Уносят книги через столовую в указанное место.)*

Звонок телефона.

Софья Карповна *(снимает трубку)*. Слушаю. Товарищ Спрутов? Добрый вечер. Нет, нет, об этом не может быть и речи. Мы вас ждем. Петр Петрович? Обещал быть. Нет, нет, без вас невозможно. Вместе с вашей супругой! Хорошо. Обязательно. *(Кладет трубку.)*

Жолудев и Вася все еще продолжают носить пачки с книгами.

Жолудев. Кто звонил?

Софья Карповна. Спрутов.

Жолудев. Придет?

Софья Карповна. Придет. Я сказала, что Петр тоже будет.

Жолудев. Его-то как раз и не будет. Его куда-то вызвали. По-моему, на самый верх. *(Шоферу.)* Много еще пачек там осталось?

Вася. Пачек десять.

Жолудев. Ну, эти ты один перетаскаешь. А то я запарился.

Вася. Я бы и один перетаскал! А вы посидите, отдохните.

Жолудев. Ладно. Таскай. Я тебе свою книжку еще не подарил?

Вася. Нет еще. А вы ее сами написали, Иван Петрович?

Жолудев. А то кто же? Пушкин? Да! Завтра подашь мне машину к девяти.

Вася. Завтра у меня техосмотр, Иван Петрович.

Жолудев. Знать ничего не знаю. Ко мне ровно в девять. Договорись там со своим начальством.

Вася. Пусть тогда ваш секретарь в гараж позвонит.

Жолудев. Ладно. А ты пока таскай книги. Ко мне скоро гости придут. *(Жолудев в изнеможении опускается в кресло, утирает пот со лба.)* Соня, у нас все готово?

Софья Карповна. Как видишь! *(Показывает на стол.)*

Жолудев *(помолчав)*. Соня! Скажи честно, могла ты подумать, что я стану писателем?

Софья Карповна. Не могла. Ты же мне ничего не показывал.

Жолудев. Это неважно, что я книгу за свой счет издал. Подумаешь, три тысячи рублей. Зато тысяча экземпляров!

Софья Карповна. Куда нам столько? Не торговать же ими?

Жолудев. Ну, во-первых, экземпляров сто придется раздарить с автографами. Коллективу магазина. В управлении. В министерстве. Десятка два отдам Петру, пусть он в Комитете ответственным товарищам преподнесет. Соня! Это же престижно! Книжка-то с портретом автора! *(Вспомнив.)* Да! *(Выходит. Возвращается с несколькими книгами. Перед каждым прибором на столе кладет по книге.)*

Софья Карповна. В управлении уже знают, что ты книгу написал?

Жолудев. Знают. Уже шутят: «Из нашего желудя скоро дуб вырастет!»

Софья Карповна. Ты мне хоть дай почитать, что ты там насочинял. Ты же мне ничего не показывал. Я абсолютно не в курсе.

Жолудев. Я хотел тебе сюрприз преподнести. Знаешь, я и не думал, что так получится. Но сейчас сам удивляюсь. Вроде это даже не я писал! И все этот Спрутов. Вот кого надо дефицитом обслуживать! За полтора месяца книгу издали. У него приятель есть, Сугробов, редактор. Тот лично в печать подписал, и дело пошло. Теперь только в газете рекламу дать надо, чтобы какой-нибудь критик статейку тиснул. У Спрутова и такой есть. Он сегодня его на ужин приведет. Кувалдина его фамилия.

Софья Карповна. А кого ты еще позвал?

Жолудев. Да вот, пожалуй, и все! Я из наших никого не приглашал, чтобы лишние разговоры не пошли. С ними я потом посижу, в другой обстановке. *(Помолчав.)* Соня! Знаешь, о чем я сейчас думаю?

Софья Карповна. О чем?

Жолудев. А может, мне вообще уйти из нашей системы? Возраст у меня пенсионный. Начну книги писать!

Софья Карповна. А на что жить будем? На твою пенсию? Никакой пенсии не хватит, если за свой счет книжки издавать.

Жолудев *(укоризненно)*. Соня! Неужели мы с тобой не обеспечены на всю оставшуюся жизнь? Я же тридцать лет в торговле работаю!

Софья Карповна. Ну, смотри сам... Ты только с кондачка не решай этот жизненный вопрос. С Петром посоветуйся. Сейчас время, сам знаешь, какое. Перестройка! Гласность!

Жолудев. Вот, может, мне и перестроиться? Уйти в литературу! Я ведь, сама знаешь, на каком горячем месте сижу! Спасибо, брат с положением. А как его там не будет? Да-а-а... Всего за три куска — и сразу тысяча экземпляров! Сто книг в село пошлю. В библиотеку. Может, они со временем ей мое имя присвоят. Все-таки односельчанин! Можно гордиться!

Звонок в передней. Софья Карповна спешит встретить гостей. Появляются Сугробов, Спрутов с женой и Кувалдина.

Спрутов *(здоровается)*. Как-то мы все сразу возле лифта объединились.

Жолудев. Очень хорошо. Значит, и ждать никого не надо. Впрочем, я еще одного товарища пригласил. Он скульптор. Немного опоздает, новую работу сдает. Он по надгробиям специалист.

Сугробов. Надеюсь, гости получат по книге от автора?

Жолудев. Все предусмотрено.

Кувалдина. Почитаем, почитаем.

Софья Карповна. Тогда давайте сядем к столу.

Спрутов. А Петра Петровича разве мы ждать не будем?

Жолудев. К сожалению, его вызвали наверх. Звонил, что очень сожалеет. Всем просил передать привет.

Спрутов *(разочарованно)*. Жаль, жаль...

Все рассаживаются за столом.

Кувалдина. Я вижу, что в этом доме продовольственная программа уже решена.

Сугробов. И хозяева не являются членами общества трезвости!

Жолудев. Представьте себе, я лично заместитель председателя общества. У нас весь коллектив «Диеты» вовлекли в борьбу с алкоголизмом. Всех охватили. Но было бы смешно...

Спрутов. Можете не продолжать. Без слов понятно. Было бы действительно смешно.

Жолудев *(наполняя рюмки)*. Итак, дорогие товарищи! Мне приятно отметить день рождения моего скромного сочинения. Но первый свой тост я хотел бы поднять за уважаемую супругу нашего классика литературы, за Веронику Павловну! У нее легкая рука. Она была первой, кому я в своем рабочем кабинете с трепетом душевным вручил свою заветную папку. Моя супруга, например, не держала ее в руках.

Софья Карповна. Жены всегда узнают все в последнюю очередь.

Жолудев. Так выпьем же за здоровье Вероники Павловны и за благополучие ее семьи!

Все встают. Чокаются.

Спрутов. А какое удачное название вы придумали для своей книги. Просто удивительное название: «Кавардак»!

Жолудев. А что? Всякий заинтересуется. Правда, немножко напоминает что-то неприличное... Но то, да не то!

Звонок в передней. Софья Карповна спешит встретить запоздавшего гостя. Появляется Сытов.

Сытов. Общий поклон всем! Простите за опоздание. Но я предупредил.

Жолудев. Мы только что сели за стол! Вы как раз вовремя. Вот ваше место! Пожалуйста, штрафную! *(Подает рюмку.)*

Сытов. Не откажусь.

Жолудев. Ну, как там у вас прошло?

Сытов. Отлично прошло. Могу вам даже показать фотографию надгробия.

Выходит из-за стола в переднюю. Возвращается с папкой. Достает из папки большую фотографию. Все передают ее из рук в руки, рассматривают.

Жолудев. А бюсты вы тоже делаете?

Сытов. Непременно. У вас есть заказчик? Могу вылепить.

Жолудев. А в каком материале?

Сытов. Сначала в гипсе, ну а потом уж и в бронзе отлить можно.

Жолудев. И в какую цену? Приблизительно!

Сытов. По договоренности, если частным образом.

Жолудев. Частным, частным...

Сытов. Можно договориться. Я недорого возьму.

Жолудев. И натурально получается?

Сытов. Вы имеете в виду портретное сходство? Не сомневайтесь! Многие остаются довольны.

Софья Карповна. Что за деловые разговоры? Товарищи! Что же вы ничего не едите?

Жолудев. Мы едим. Все очень вкусно.

Кувалдина. У вас как в образцовом кооперативном кафе!

Софья Карповна. Но бесплатно!

Жолудев. У нас семейный подряд. Я обеспечиваю продуктами, жена готовит.

Софья Карповна. Угощайтесь, товарищи! Что-то, я смотрю, икру никто не берет.

Кувалдина. Боязно как-то, не ровен час, еще привыкнешь.

Софья Карповна. Крабы, товарищи, крабы! Попробуйте этот салат!

Все едят. Выпивают. Переговариваются.

Спрутов *(поднимается с рюмкой в руке)*. Друзья! Прошу тишины! Я хотел бы что-то сказать. Разрешаете? Итак, я прошу всех выпить до дна за Ивана Жолудева — автора книги «Кавардак»! Я со всей ответственностью отмечаю незаурядный дар автора, выступающего со своей первой книгой. Да, это ироническая проза! Да, это в какой-то степени документ нашего времени, сочетание трагического и смешного! Повествование идет от первого лица. Это первый шаг в литературу! Пока первый. Прошу вас, товарищи, выпить за «Кавардак»! Но! Не было бы никакого «Кавардака», если бы кто-то не помог издать ее за счет автора. Этот человек среди нас, за этим столом!

Сугробов. Не надо, друзья! Не надо! Я сделал максимум, что от меня зависело.

Жолудев. За максимум!

Спрутов. За максимум! Ура!

Все чокаются.

Пятая сцена

Кулуары Дома литераторов. Беседуют два писателя.

Первый писатель. Ты когда-нибудь читал произведения Ивана Жолудева?

Второй писатель. Какого Жолудева?

Первый писатель. Ивана Жолудева.

Второй писатель. Нет, не читал. А что он написал?

Первый писатель. Документальную повесть «Кавардак».

Второй писатель. Первый раз слышу.

Первый писатель. Ну так вот, я тебя сейчас просвещу. Написал одну повестушку. Ироническая проза. Издал за свой счет. Кувалдина расхвалила в еженедельнике: «талантливо», «оригинально», «самобытно», ну и так далее. В Союз рекомендован лично Спрутовым, Кувалдиной и Сугробовым. Тот на комиссии выступал с вдохновенной речью. По одной книжице, изданной за свой счет, прошел большинством голосов. Трое воздержались. А теперь книжка включена в план издательства.

Второй писатель. Молодое дарование?

Первый писатель. Сам увидишь. Да вот и он, собственной персоной.

Появляется Жолудев в сопровождении Зябликова. Зябликов здоровается с обоими писателями. Целуется с ними.

Зябликов. Разрешите вам представить Ивана Петровича Жолудева! Можете его поздравить. Вчера принят в члены нашего Союза. Автору книги «Кавардак» присуждена премия Министерства торговли СССР!

Знакомятся.

Жолудев *(с достоинством)*. Звонили с киностудии, хотят по моей книге фильм снимать. Я в этом деле не искушен. Думаю, пусть снимают, если хотят.

Первый писатель. У нас многие литераторы подолгу ждут, чтобы их приемные дела рассмотрели. И не по одной книге имеют. Я уж не говорю о переводчиках. Вам явно повезло, поздравляем!

Жолудев. Спасибо. Сам не ожидал.

Первый писатель *(Зябликову)*. А вас, Орест Иванович, тоже ведь можно поздравить?

Зябликов. С чем?

Первый писатель. Как же! Говорят, ваш роман «Черный лебедь» будет печататься?

Зябликов *(неуверенно)*. Да! Кажется, с ним все в порядке.

Второй писатель. Сколько лет он у вас в столе пролежал?

Зябликов. Пятнадцать лет.

Первый писатель. Ну что ж, тогда действительно можно поздравить!

Зябликов. Спасибо. *(Весело.)* Помните, у Пришвина: «Нужны ценности положительные, чувства небывалые, мысли — подчиненные великому целому — вот что должен давать писатель!»

Зябликов и Жолудев уходят.

Первый писатель *(не сразу, вслед ушедшим)*. Способный литератор этот Зябликов! Но последнее время все больше за других писал.

Второй писатель. А этот Жолудев, не из тех ли, за кого пишут? Что-то я раньше о нем никогда не слышал. Не слышал, но лицо знакомо... *(Вспомнив.)* Батюшки! Я же как ветеран к нему в «Диету» за праздничным заказом ходил!

Шестая сцена

Квартира Жолудевых. Иван Петрович беседует с женой.

Жолудев. Куда же мы его поставим?

Софья Карповна. Уж и не знаю, куда. Может быть, в спальню?

Жолудев. Временно, временно.

Софья Карповна. А потом куда?

Жолудев *(неуверенно)*. Можно отправить в родное село...

Софья Карповна. А там куда?

Жолудев. К примеру, в библиотеку. Сто экземпляров книг я им уже выслал наложенным платежом. Все с автографами. Я же сказал, что, может, со временем библиотеке и мое имя присвоят.

Софья Карповна. За какие заслуги?

Жолудев. Все-таки их односельчанин. В писатели выбился. Можно гордиться.

В передней звонок. Софья Карповна спешит открыть дверь. Слышны мужские голоса. В комнату вносят гипсовый бюст Жолудева. За рабочими появляется Сытов.

Рабочие. Куда его? Где ставить?

Жолудев. Поставьте пока здесь. Возле окна. *(Показывает.)*

Сытов. По-моему, работа удалась. Софья Карповна, ведь похож Иван Петрович, правда?

Софья Карповна. Похож. Вот только выражение лица...

Сытов. Вы хотите сказать, слишком значительное? Может быть... Но я лепил с натуры, и Иван Петрович на меня именно так смотрел.

Жолудев. Я же не мог улыбаться!

Сытов. Где вы собираетесь его устанавливать?

Жолудев. Мы еще не решили. Может быть, в саду... на даче...

Сытов. Как надгробие эта работа была бы незаменима.

Софья Карповна. Мы пока об этом не думаем. Мы еще поживем.

Сытов. Бога ради, я совсем не то хотел сказать. Я вообще...

Жолудев. Мы с вами в расчете?

Сытов. За вами осталось пятьсот рублей.

Жолудев. Скидки не будет?

Сытов. Да нет уж, как договаривались. За бюст Ленина я беру три, поскольку он у меня в серии. А вас я с натуры лепил. С вас четыре куска.

Жолудев. Ну что ж! Тогда получите!

Сытов. Благодарю покорно. Разрешите откланяться?

Прощается. Уходит.

Софья Карповна. Ваня! Ты совсем сдурел! Зачем тебе этот бюст? Книжку за свой счет издал — со мной не посоветовался. Бюст вылепил — то же самое. Как снег на голову. Что люди скажут? Кого ты удивить хотел?

Жолудев. Да уж и сам не знаю. Решил — и вылепился. В конце концов пока мы ему место определим, можно в гараже держать.

Софья Карповна. Совсем у тебя разум помутился с твоим «Кавардаком».

Жолудев. Ты рецензию на мою книгу читала?

Софья Карповна. Читала.

Жолудев. Я Сугробову за издание две больших банки черной икры отвалил.

Софья Карповна. Господи! Три тысячи за издание книги, четыре тысячи за бюст и еще икра... За что? За что?

Жолудев. Ничего ты, Сонюша, не понимаешь! Меня теперь на все языки переведут. Даже на арабский! Спрутов и тут обещал помочь. А это знаешь, что значит?

Софья Карповна. Где же эта ваша гласность?

Жолудев. Гласность? А какую ты хотела бы гласность? Чтобы все все знали? Чтобы знали, что у тебя три шубы? Чтобы знали, что мы нужных людей со служебного входа подкармливаем? Ты какой гласности ждешь? Ты у Петра спроси, как они там у себя перестраиваются. На словах они уже все перестроились, а на деле... Каждый за свое кресло двумя руками держится. Ну вот что! Я сейчас пройду в контору ЖСК. У них там сегодня заседание правления, так я каждому члену правления по книжке раздам. Мы же квартиру менять собираемся. А у них как раз скоро четырехкомнатная освобождается.

Выходит. Возвращается с пачкой книг и уходит. Софья Карповна садится на стул и долго молча рассматривает скульптуру. После большой паузы она поднимается и, достав оренбургский платок, прикрывает им бюст мужа. Звонок телефона. Софья Карповна снимает трубку.

Софья Карповна. Слушаю. Зоя, это ты? Что с тобой? Почему у тебя такой загробный голос? Что случилось? Нет, Петр к нам не заходил. Чем ты убита? Не понимаю. Депрессивное состояние? Почему у тебя такое состояние? Преподавала всю жизнь историю СССР? Растерялась? Зоя! Возьми себя в руки. Читай газеты. Перестраивайся. Все же перестраиваются! Рухнули все представления? Зоя! Ничего не рухнуло. Просто меняется курс! Следи за печатью, там все написано, как надо понимать линию. Краткий курс? Что «Краткий курс»? Зоя! Читай журнал «Коммунист»! Марксизм-ленинизм остается, но теперь надо изучать по-новому! Понимаешь, по-новому? Учебники будут переделывать. Что? Все равно не будешь читать Бухарина? Тебе поздно переучиваться? Выходи на пенсию! Стаж у тебя есть. И успокойся, пожалуйста! Не надо из-за перестройки входить в депрессивное состояние! Не надо! Мало ли что! *(Звонок в передней.)* Кто-то звонит. Пойду открою. Может быть, это как раз он! Зоя, звони! И выкинь все из головы! *(Звонок повторяется.)* Зоя! Я тебе потом перезвоню!

Кладет трубку. Идет открывать. Появляется Петр Петрович Жолудев.

Петр Жолудев. Соня! Иван дома?

Софья Карповна. Скоро будет. В правление дома вышел. А ты с ним договаривался?

Петр Жолудев. Да нет, не договаривался. Так зашел, по-родственному.

Софья Карповна. Я только что с Зоей говорила. Что с ней?

Петр Жолудев. Она в депрессии. Ее можно понять. Столько лет общественным наукам посвятила, а сегодня вроде как у разбитого корыта оказалась. Книги, учебники, по которым лекции читала, которые у нее настольными были, кому они теперь нужны? Вчера на дачном участке целую охапку брошюр закопала.

Софья Карповна. А зачем было закапывать? Можно было просто выбросить.

Петр Жолудев. Неудобно было бы перед людьми, если бы увидели. *(Помолчав.)* Да-а-а... Знаешь, Соня, я ведь тоже решение принял. Я ведь тоже мучаюсь.

Софья Карповна. Что так? Какие-нибудь неприятности по работе?

Петр Жолудев. Нет, Соня! Особых неприятностей нет, но решение я уже принял.

Софья Карповна. Какое же? Только не пугай, пожалуйста.

Петр Жолудев. Справлю шестидесятилетие и подам заявление об уходе с работы. У меня, понимаешь, такое внутреннее чувство, как будто уйти пока меня никто не вынуждает, а вроде ждут, чтобы я сам ушел.

Софья Карповна. Чем это вызвано? Ты же такой награжденный!

Петр Жолудев. Временем. Временем, в котором я жил и в котором сейчас живу. Дело, понимаешь, не в том, чтобы я считал себя представителем тех старых кадров, которые скомпрометировали себя в пору застоя. Я ведь, честно тебе скажу, и тогда многое вокруг себя и дальше видел, и понимал, но жил в русле того общего мышления, к которому нас столько лет приучали. Но разве я, коммунист Петр Жолудев, в чем-то виноват? Высунься я тогда, разве меня верхние эшелоны поняли бы и поддержали? По тем-то временам? А ты, Соня, знаешь и Иван знает, что работал я честно, не жалел ни сил, ни времени... Взяток не брал. А мог бы брать, но не брал. Думал, что работаю на партию, как многие такие же, как я, коммунисты! И бюрократом я не был — сам от них натерпелся. И все же не покидает меня какое-то непонятное чувство вины... Вроде: одно думал, другое говорил, третье делал...

Софья Карповна. Ну, это ты, Петя, уже напрасно!

Петр Жолудев. Иван-то как? Слыхал, он какую-то книжку издал?

Софья Карповна *(вздохнув)*. Издал. Уходит из «Диеты» — уже заявление ему подписали. Хочет на литературную работу переключаться.

Петр Жолудев *(обратив внимание на скульптуру)*. Ну-ну! Что это у тебя там платком прикрыто?

Софья Карповна *(стягивает с бюста платок)*. Полюбуйся!

Петр Жолудев *(оторопев)*. Кто это? Это вы что, мне ко дню рождения припасли? Это что, мой портрет?

Софья Карповна. Это — Иван! Но вы же близнецы, вот он и на тебя похож! Только без бородавки на щеке! Видишь?

Петр Жолудев *(не сразу)*. Чего ради он решил себя увековечить? Зачем это он? Сегодня не о бюстах думать надо. На бюстах сегодня далеко не уедешь! *(Помолчав.)* Соня! Хочешь, я тебе сейчас одно письмецо зачитаю? Зоина племянница Света прислала. *(Достает конверт.)*

Софья Карповна. О чем она пишет?

Петр Жолудев. *(Достает из конверта письмо, начинает читать.)* «Послушайте, если у нас сейчас действительно перестройка, а не как будто перестройка, я должна, я имею право писать эти строчки. Послушайте, мне сейчас двадцать два года, а я ни черта не знаю историю нашей страны. От этого открытия просто дурно делается. Из школы я вынесла только одни мысли, что наша страна самая первая, самая лучшая, самая, самая!!! Мы, мы, мы! Нет, я люблю Родину! Сейчас понимаешь, как убог учебник истории в школе, он как бы специально создан для того, чтобы люди ничего не знали и не узнали. Нет, там есть о XX съезде партии, есть о культе личности, ну и что из этого? Я — слепой котенок с аттестатом о среднем образовании. А вы, каждый причастный к настоящей перестройке, обязаны и должны сделать все, чтобы я и тысячи таких, как я, знали правду. Не бойтесь, что мы не поймем каких-то сложностей в политике. Поймем! Научимся понимать, и тогда мы воистину станем гражданами нашей страны. И исчезнет в нас психология муравья: «Я, такая маленькая букашка, тащу свою соломинку и помалкиваю». Поймите, у меня растет сын! Он начинает задавать взрослые вопросы, и я должна ему отвечать. Что мне отвечать? Правду? Дайте мне правду!» *(Тяжело вздохнув, прячет письмо в конверт.)* А какую правду я способен ей дать?

Большая пауза.

Внезапно в тишине гипсовый бюст Ивана Петровича Жолудева распадается на две половины.

●

Олег ДМИТРИЕВ

Из лирики

Судьба

Вышел он вечером в сад—
Снять бы усталость.
Вроде стоит снегопад,
Так показалось.

Ветки сверкали слюдой,
Холод был сносный.
Вот и стоял он, седой,
Простоволосый.

Сделал затяжку одну,
Сделал другую,
Молодость вспомнил, войну
И дорогую,

Ту, что нашел-потерял
В городе дальнем...

Так вот—курил и стоял
В свете печальном.

Где-то далече звучал
Голос соседки.
Ветер лениво качал
Голые ветки.

В светлом металось окне
Счастье-семейство.
То ль наяву, то ль во сне
Шло это действо.

Падал разреженный снег,
И под черешней
Жизнь простоял человек,
Добрый и грешный.

Дóма

И снова жизнь замельтешила,
Заполнив день делами сплошь.
И за машиною машина
Летит—проспект не перейдешь!
И я по улицам тенистым,
Где люд приезжий бестолков,
Лечу заправским хоккеистом,
Увиливая от толчков.
Звонят трамваи, телефоны...
В свои безмерные края
Зовет меня неугомонно
Столица милая моя.
Мелькают лица, лица, лица,
Звучат слова, слова, слова,
Да у меня не закружится
Ни на секунду голова.
Не кажется бедламом, горем
И мукой мой родной предел..
А я еще вчера над морем
В надмирной тишине сидел.
Людей почти и не встречая,
Бродил опушкою лесной,
Вдыхая запах молочая,
И птицы пели надо мной.
Меня охватывала дрема
И овевали ветерки...
А где же я очнулся?
Дома.
Считаю, многим вопреки,
Жить здесь —
не тяжкая работа,
Не наказанье, наконец,
Московского водоворота
Неукоснительный пловец!

Милость

Мне надежды не дала никакой,
Лишь легонько оттолкнула рукой.
Разрешила по себе тосковать.
Разрешила — так о чем толковать?

Было милостью с ее стороны
Нарушать мои короткие сны,
Чтоб в окне, где занимался рассвет,
Мне мерещился ее силуэт.

Было милостью с ее стороны
Заставлять меня в пределах страны
И в иных краях похожих искать,
Чтобы сердце защемило опять.

Было милостью с ее стороны
В Третьяковку гнать, а там, со стены,
На меня глядит, в себя влюблена,
Не сама она и все же — она.

Было милостью с ее стороны
Подарить еще мне чувство вины,
Что любой обиды выше стократ.
Перед нею я во всем виноват.

* * *

Знаем, несильно старясь
И головой белея, —
Кроме трудов, остались
Тризны и юбилеи.

Вот и идти с цветами
Надо на те и эти,
Хоть мы мудрей с годами
И уж давно не дети.

Навзничь цветы ложатся
В память о добром друге.
Те же цветы стремятся
Другу живому в руки.

Начало поколенье
Счеты сводить с веками
Возгласом сожаленья,
Радостными словами.

Как день рожденья греет
И тяготят поминки!
Время как будто делит
Сердце на половинки.

Тризны и юбилеи, —
Встретимся в час свиданья
Нашего поколенья
Радости и страданья.

* * *

Болота, дремучие леса были их (русских) союзниками, и они превосходно справлялись с встречавшимися на пути трудностями.

Пауль Карел.
«Война Гитлера против России».

Он, немец, не зря полагает,
Вернее, он судит точь-в-точь:
На Родине все помогает —
Леса, и болота, и ночь.

Ну, что же, осваивай опыт,
Ну, что ж, проявляй интерес.
На Родине стены помогут —
И ночь, и болото, и лес.

У вас, что ль, болота пропали,
Остались в лесах только пни,
Когда мы к Берлину вас гнали
И ночью и в ясные дни?!

Да вспомнит ли наша пехота,
Свободу земле принеся, —
Ну, где они, ваши болота,
Дремучие ваши леса?!

Перевал «Рио-Рита»

Ветер здесь завывал,
Снег кололся сердито.
Этот злой перевал
Кто назвал

«Рио-Рита»?
Перед самой войной
В поредевшей столице
От мелодии той

Было некуда скрыться.
Аргентинский мотив,
Что-то зная заране,
Жил всему супротив
В патефонной мембране.
Все сведя к пустяку
В миг забвения краткий,
Заменял он тоску
Грустью легкой и сладкой.
И в колымских горах,
Постигая их норов,
Переламывать страх
Научил он шоферов.
Пой, баранку верти,
Будет все шито-крыто:
Самый трудный в пути
Перевал «Рио-Рита».

Переходят на шаг,
Надрываются «ЗИСы».
Ритмы танца в ушах,
Хоть метельные спицы
В лобовое стекло
Ударяют со звоном!
Пронесло?
Пронесло!
Серпантином по склонам...
В смене дней и годин
Эта песня забыта.
Помнит только один
Перевал «Рио-Рита»
Аргентинскую грусть,
И по этой причине
Все ветра наизусть
Здесь ее разучили.

Возвращение к жизни

Думал, стоит он у края жизни,
А оказалось — у края леса.
На проявленье такое жизни
Он посмотрел не без интереса.

Думал, стоит он у края жизни,
А оказалось — у края поля.
На проявленье такое жизни
Вдруг загляделся он поневоле.

Думал, стоит он у края жизни,
А оказалось — у края тракта.
На проявленье такое жизни
Он посмотрел по-иному как-то.

Думал, стоит он у края жизни,
А оказалось — у края неба.
На проявленье такое жизни
Вдруг загляделся он, вздрогнув нервно.

Небо и поле, лес и дорога...
Чтобы начать ему жизнь сначала,
Как оказалось этого много!
Раньше-то этого было мало.

Так он вернулся к семье и дому,
Руки навстречу им простирая.
Может быть, вышло все по-другому,
Если бы не постоял...
У края.

●

Александр БУДНИКОВ

Мамонт

РАССКАЗ

Он был ровесником века, но время на него не работало. Взгляды его вполне зависели от первотолчка, полученного от уроженцев торговой деревни Маклаковки. Ни читать, ни писать не мог, но никогда об этом не сожалел и не испытывал в грамоте никакой нужды. Когда смотрел телевизор, не понимал связи событий в фильмах. Видел какие-то отрывки, секундные эпизоды и обязательно сопровождал их репликами вроде: «О! Баба вон пацанку свою укачивает!», «О! Мент в кабинет заходит! Кажись, майор, брыдла!», «О! За политику снова ботают!» Передачам об искусстве и литературе давал краткое и отвратительное определение: «Склизь гонят!» Телевизор был ему непривычен.

Имя он носил дикое — Мамонт и в молодости явно этого зверя напоминал. Я познакомился с ним в конце шестидесятых, когда он начал уже ссыхаться необратимо, легчать телесно. Кончик носа был у него полуоткушен — на толстой коже явственно различались зажившие следы чьих-то острых зубов. Задубевшее лицо, изборожденное шрамами и глубокими, резкими морщинами, делилось на несколько квадратов и треугольников и казалось составленным из глиняных черепков. При взгляде на эту физиономию сама собой приходила мысль, что никакой парикмахер за нее не возьмется. Однако Мамонт Нефедович — за ним водилось и отчество — на спор за полстакана брился без зеркала перед толпой изумленных мужиков. Причем делал это с успехом и топором, и ножом, и стекляшкой от разбитой бутылки, и расплющенным, наточенным о кирпич гвоздем, и чем попало. Рубаху в брюки заправлял только спереди, да и то не всегда; воротник и манжеты не застегивал. Стригся первое время по-лагерному коротко, под ежика. Обувался нелепо — например, в сандалии при пальто и ушанке. Перчаток и шарфов не признавал, а скорее даже не замечал их отсутствия.

Не знаю, для чего судьбе понадобилось свести меня с этим монстром. Мы с ним довольно долго были соседями.

Нам с женой посчастливилось снять частный дом на окраине, за который мы отваливали приличную по тем временам для глухого райцентра сумму — пятнадцать рублей в месяц. Нам шел тогда двадцать четвертый год, ни образования, ни толковой специальности у нас еще не было, но мечты и желания, как это и положено в молодости, опережали наши возможности. Наш сынишка жил у моих родителей и привык к ним, а нам ничего не оставалось, как околачиваться поблизости. Снятая нами квартира была по счету третьей и тоже временной. Хозяйка ее, престарелая бабка-мусульманка, уехала в Москву к сыновьям. А уж надолго или накоротко — на то была ее воля. Мусульманский домик был небольшой и почти сплошь состоял из окон. В простенках красовались привезенные бабушкой с базара из Казани зеленые стекла в деревянных лакированных рамах. На зеленом стеклянном поле горел золотом непонятный арабский шрифт — стихи из Корана. Мутное старинное зе́ркало над столом было испещрено памятными заметками, оставленными богатыми бабушкиными сыновьями. Памятки эти, по всему судя, выцарапывались алмазным перстнем.

«Сяит был здесь 15.9.56».
«Эрфан был здесь 2.5.62».
«Хамзя был здесь 4.1.67».

Надписи повторялись многократно и занимали чуть ли не половину зеркала. И теперь, спустя много лет, причесываясь перед зеркалом по утрам, я вспоминаю имена этих людей.

До пришествия Мамонта нашим соседом был его старший брат Январий по прозвищу Налим. Мои родители переехали в райцентр недавно, людей как следует не узнали и поэтому не догадывались, что дед Январий нам земляк. Лишь после того, как я упомянул имя соседа, отец рассказал мне, что Январий эмигрировал из Маклаковки еще до нэпа, а при нэпе содержал в городе тарантасную мастерскую. В войну работал механиком на швейной фабрике. А ко времени нашего с ним соседства он был уже просто седеньким старичком-пенсионером. Раза два-три в неделю, воздев на хромовые сапоги старенькие калоши, он выбирался в магазин за провиантом. К нему никто не ходил. Его пятистенный сосновый дом, вознесенный на кирпичный фундамент, стоял почему-то не на улице, а посреди огорода. Вдоль забора стучали сучьями на ветру древние засохшие яблони. Землю дед Январий по слабосильности не копал и только несколько раз за лето скашивал ярко-зеленый мох. Ни крапива, ни одуванчики на огороде у него не росли.

В то лето моя жена поступила заочно на агрофак, а я пошел в педагогический институт — мне с детства хотелось стать учителем рисования. Мы возмечтали выучиться и, утвердившись в независимости, возвратиться в свою деревню, на родную землю, не очень-то ласкавшую нас до этого. Мы были вполне исправными колхозниками и, помнится, не думали уезжать, но, когда я ушел служить в армию, наш бригадир повелел моей жене ухаживать за его скотиной. Вернувшись домой, я с ним повздорил, и дело кончилось тем, что он круто возненавидел и нас, и заодно и наших родителей.

После установочной сессии я взял расчет на заводе: случайно встретившийся знакомый, бывалый человек, зная, что я могу хорошо работать, уговорил меня податься на стройку. Я упросил жену отпустить меня на несколько месяцев: бывалый человек уверял, что я смогу заработать не меньше четырех тысяч. У меня сразу же возникла идея купить на время учебы дом — тогда, думалось мне, мы с женой сумеем взять к себе сына. Квартирные хозяева не очень-то жаловали детей.

«Бригада-ух», в которую я попал, возводила двухэтажное здание конторы в отдаленном степном совхозе. Вкалывали по пятнадцать часов и без выходных. Шли дожди, и было не по-летнему холодно. Одежда наша не просыхала. Под ногами чавкала грязь, мокрая бетономешалка хлестала током. Питались мы горелой кашей и макаронами. Кашу кипятили в пустой воде, а в макароны бросали кусок соленой говядины величиной с кулак — для навара. Всех мучила изжога. Обед готовили на костре по очереди. В перекуры пили чифир, пуская по кругу полулитровую стеклянную банку. Работали молча, зверски. Вечером я валился с ног, остальные же, к моему удивлению, час-другой либо скандалили азартно, либо играли в карты. Двое парней моего возраста уходили на танцы в клуб. Лишь через несколько дней я понял природу этой сверхчеловеческой энергии. Мои коллеги-шабашники курили «дрянь», внутривенно «поролись» ею и попросту употребляли ее вовнутрь. Я поймал несколько упоминаний о мастырках (папироска с дозою анаши), колесах (таблетки), шприцах («Самая лучшая машинка — на два куба!»), а потом случайно нашел пустую ампулу. Прочитав название, затоптал ее в грязь поглубже.

Меня ни во что не посвящали, ибо деньги, взятые на прокорм авансом, шли на водку и «дрянь». Истинную сумму аванса от меня скрыли. Жена дала мне десять рублей, но деньги у меня сроду не держались, и червонец исчез в первый час знакомства с бригадой. В конце недели я демонстративно потребовал у бугра полтинник и, получив его, заявил, что беру без отдачи. Принес из сельмага пачку маргарина, запустил ее в свою кашу целиком и отобедал с большой приятностью. Бригада облизывалась и иронически рассуждала, отчего мухи никогда не садятся на маргарин. На другой день, изъяв полтинник тем же манером, я купил себе полкило комового сахара. На третий — соленой рыбы. Сил поприбавилось. Бригадир наконец увидел, что я обо всем «догнал», и сразу предположил, что своими действиями я вынуждаю его принять и меня в компанию.

— За аванец не помышляй,— заявил он мне без свидетелей.— Долю все равно не получишь. Но если порешься — то, конечно, пожалуйста...

Я заверил его, что беру деньги единственно для поддержания сил: иначе мне никак не угнаться за теми, кто заглатывает с утра по пачке таблеток против кашля. Бугор не усомнился в моих словах — ведь мой бывалый знакомый поручился за меня если не буйной головой, то, во всяком случае, битой мордой.

— Чувак деловой! — говорил тогда мой знакомый.

И бригадир, памятуя об этом, начал выдавать мне по рублю в день, а то и по два. Я баловался маслом и сыром, угощал «пацанов» индийским чаем. Иногда, сочинив глазунью из купленных в деревне яиц, звал бригадира. Он брал из запасов, сберегаемых на случай явления прораба, начатую бутылку, и мы «базлали за жисть и за погоду» минут десяток — в то время, когда другие метали раствор на стены. Угощал я начальство не из угодничества, а просто поступал по обычаю. Бугра полагалось по возможности «уважать». Он был тут и царь, и бог и распоряжался каждым из нас по своему усмотрению. То, что я требовал денег на еду, осуждения у него не вызвало. «Качнул пацан за права — ну, и добился! Справедливо!» И хотя выдаваемая мне сумма была на порядок меньше, чем у других, я все же благоразумно счел, что это лучше, чем ничего, и смирился. И вообще с некоторых пор я старался просто вкалывать и молчать. Както мы сидели на корточках вдоль стены и курили. Вдруг бугор ударил одного из парней. Оба они вскочили, парень замахнулся, но бугор уже поигрывал невесть откуда взявшимся топором. Все это происходило прямо над моей головой. Я знал, что меня не тронут, и сидел с равнодушным видом — как того требовал уголовный «этикет». Но я знал также, что при малейшем подозрении в чем-либо мне сначала поставят синяк на всякий случай, а уж потом начнут разбираться и извиняться. А мне этого не хотелось.

Мы застеклили одну из комнат первого этажа, провели туда свет и расставили рядком раскладушки. В освободившейся будке соорудили из водочных ящиков как бы письменный стол. Кончивший шесть классов бугор разложил на нем чертежи и с умным видом иногда мерекал над ними.

Вот тут-то и появился на стройке Мамонт. Я увидел его, когда он, уже изрядно поддатый, вышел от бригадира и, молча выхватив у кого-то мастерок, принялся лихо штукатурить фасад. Из-под пиджака у него свисали сзади майка и серая нейлоновая рубашка. Мокрая кепка исходила горячим паром. Показав класс, он возвратил хозяину мастерок и вытер руки о довольно приличные штаны. Бугор ласково взирал на него из будки.

— Облепишь весь етаж спутря и снаружа! — объявил великий бугор.— И я тебя не обижу! На подхвате вот етого пацана используй.

И он указал Мамонту на меня. Тот снова выхватил у ближнего парня мастерок, зажал в руке половчее и пнул пустое ведро.

— Раствор, паскуда!

Я быстро схватил ведро, подобрал на крыльце другое и побежал к бетономешалке. И носился до обеда как угорелый. Хоть я и управлялся с подхватом, Мамонт поминутно выражал недовольство, сыпал оскорбления и придирки и раза два замахивался на меня мастерком. Но, когда я перетаскал весь раствор, он помог мне загрузить бетономешалку. Правда, делал он это как бы нехотя, молча и с мрачно-бешеным выражением лица. А после обеда, когда все сели на корточки, закурили и пустили по кругу банку с чифиром, гнусный Мамонт опять придрался ко мне:

— Ты, сукарна, как хлебаешь чифу?

— А что?

— Коротким глотком хлебай! Здеся тебе не Сусуман!

Бугор, сидевший рядом со мной, вполголоса пояснил:

— Ты, пацан, вопросы Мамонту не гони. У него же авторитет! Мужик четвертак отбухал! Если ему спонадобится, так он тебе сам, без вопросов без твоих за все растолкует...

— О! — поощрил бригадира довольный Мамонт и то ли засмеялся, то ли заплакал.

Это было так неожиданно, что все притихли. Но Мамонт, конечно же, смеялся — видимо, его повело с чифира.

— Уважаю чифу грузинскую, второй сорт! — для красного словца изрек бригадир.— С нее волокуша мягкая...

— О! — снова подхватил Мамонт.— Ванька Плаха в точности так же говорил! Откуда за него знаешь?

— Жрали вместе на зоне.

— Эт-та ниплоха! — одобрительно сказал Мамонт.— Эт-та ниплоха! Ты мне годишься! Найдешь меня в городе по адристу...— И он вдруг назвал нашу улицу и дом соседа Налима; я был далек от восторга и потому промолчал, конечно.

На другой день приехал пьяный прораб и, поблевав в бетономешалку, косноязычно передал новость — стройку, самовольно начатую совхозным директором, пока заморозить, а «сабашников» рассчитать и выбить из пределов усадьбы. Причем рассчитать по обычным строительным расценкам. А это значило, что даже остатки аванса надо будет нести обратно в контору. Бригадир смотался туда и, вернувшись, все же наградил каждого полсотней рублей. Плюс пропитое и пущенное на «дрянь».

— Гуляй, рванина! — горько посоветовал он.

Я засобирался домой. Мамонт забеспокоился тоже. Он разбудил дрыхнувшего на «письменном столе» прораба, нахлобучил ему на лысину мокрую измятую шляпу и одернул его новый синий халат. Прораб покорно сел за руль «джипа» и повез нас на полустанок. Бригада разбрелась по деревне пьянствовать, и никто нас не провожал. Всю дорогу Мамонт проникновенно рассказывал прорабу, что едет к хворому братцу Январию и хотел было заработать на гостинцы попутно, да не судьба. А с другой стороны, ему на все наплевать — брат не жилец на свете и денег у него, словно у дурака махорки... Я таращил на Мамонта глаза и едва ли не вслух ужасался будущему соседству.

Брата своего Налима Мамонт нашел в больнице покойником. А жена рассказала мне, что соседи, выносившие деда к санитарной машине, заперли его дом и отдали ключ ей на хранение. Ночью мы услышали некий треск и звяканье стекол. Я выбежал неодетый на крыльцо и прислушался. Тут на улице поднялась стрельба, мгновенно привлекшая внимание конного милицейского патруля, и из соседского огорода кто-то вымахнул аж прямо через ворота. Надо сказать, молодежь на нашей окраине жила тогда развеселая и часто развлекалась стрельбою из ружейных обрезов. В дождливые ночи в грязи по колено и в черном мраке патрулировать наш куток на машинах или пешком было очень и очень затруднительно, и милиция содержала десяток всадников. Зимой, чтобы кони не застаивались, патруль стерег коллективные сады — особенно рьяно после того, как поселковая шпана взяла моду играть на чужие участки в карты и, проигравшись, вырубать на них под корень деревья. В конце семидесятых годов, в особо пьяные времена, отзвуки поселковой канонады долетели аж до Москвы. Оттуда приехал представитель, собрал молодежь в клубе, организовал акт братания и предложил сдать обрезы. Вроде бы сдали, помнится.

На рассвете мы осмотрели Налимов дом и ахнули — заднее окно было высажено, одна рама валялась на лужайке, другая в комнате на ковре. Шкаф был открыт, ящики стола выдвинуты — грабитель, видимо, искал деньги. Старинное пианино неизвестно почему оказалось зверски изуродовано. Двери, ведущие в другие комнаты, были заперты, и мы туда заходить не стали. Хотели позвать соседей, но тут явился пьяный в доску наследник и, утвердясь у воротного столба, заревел несусветное, новыми поколениями забытое:

— Бо-о-ожа, царя хране-е-е!..

Тело своего брата Мамонт домой не привозил — как после выяснилось, подогнал катафалк прямо к моргу и похоронил Январия без поминок. Я повесил новому соседу на шею ключ, кое-как вставил рамы и удалился, имея мысль никогда не наведываться в этот дом.

И почти до самой зимы так-таки и не общался с Мамонтом. Впрочем, ему тоже было не до меня. Всю осень к нему вереницей тянулись на поклон уголовники, они несли водку и приводили нарядных, визгливых шлюх. Урки нас не тревожили, поскольку мы не задавали им никаких вопросов, не сплетничали на улице об их экспансивном поведении. Некоторые, при-

мелькавшись, вежливо здоровались с нами. А случалось, и курили со мной на лавочке у ворот, рассуждая глубокомысленно о последних политических новостях, что, однако, не мешало им через час-другой мочиться прямо с высокого Мамонтова крыльца в виду наших окон. Чаще всех бывал у Мамонта мой бывший бугор. И целую неделю гостил белогорячечный и всклокоченный оборванец Ванька Плаха.

В ноябре, несколько, видимо, очухавшись, сосед вдруг заметил поврежденное заднее окно и искореженное пианино. И произвел дознание. Злодеем, посягнувшим на имущество новоявленного пахана, оказался удалый молодец по прозвищу Керя. Жил он на самом краю кутка, в местности, именуемой «горячей точкой», — там в куче стояли хлебопекарня, кондитерская фабрика, мясокомбинат, винцех, маслозавод, топсбыт и лесопилка. Вполне естественно, что на этом приволье Керя жил припеваючи — не голодал, не мерз, не испытывал недостатка в вине и в девках и, что главное, отродясь нигде не работал. Мамонт возмутился не самим фактом преступления — ведь Керя не знал, что тихий Налим призовет и оставит столь властного наследника, — а тем, что разбойник не явился к нему с повинной. На следствии, происходившем посреди улицы, Керя был вытоптан в снегу и сознался, что искал деньги, но не нашел. А услышав милицейские трели, сыграл от злости на «пиянине» ломиком и смотался.

Вечером он привел на вожжах со своего двора вскормленного батонами поросенка. Ужасный Мамонт, стоя в майке на огороде, чесал поросенка за ухом и то ли смеялся, то ли плакал. Его голос проникал в наш дом даже через двойные рамы. Жена сказала, что ей тоскливо и страшно, и ушла посумерничать к родителям.

Посреди ночи несносный Мамонт разбудил нас, торжественно вперся в дом и положил на мои рисунки здоровенную ковригу свинины. Я пил с ним на кухне чай и несколько раз подряд выслушал пространный рассказ о чрезвычайной сытости поросенка.

— В дуплё кулак не залазит! — орал сосед возбужденно. — Бутору нет совсем, одно сало! — И еще уверял, что за ним никогда не заржавеет, что не уважить «суседа» он не может.

— Зачем ты взял мясо? — испуганно взметнулась жена, когда Мамонт унялся и ушел.

— Занадом! Попробуй-ка не возьми! Для Мамонта мы хорошие соседи — вот он нас и благодарит. Да ты не бойся, ворованное он нам не принесет...

И впоследствии Мамонт тоже обращался со мной вполне прилично — насколько это было возможно для него, но я знал: очутись я среди его собутыльников — сразу получу от него и лошака, и баклана, и все остальное. С его заслугами разговаривать со мной на равных при свидетелях-урках он не имел права. Так уж в уголовном мире заведено. Иногда мы занимали у него деньги, и он у нас тоже занимал — дело соседское. Если у него сидели приятели, я вызывал его на крыльцо. Если он был один — смело заходил в дом. Через несколько недель после ночного угощения свининой я нашел в нашем почтовом ящике перевод для Мамонта на сотню рублей — сосед своим ящиком обзаводиться не помышлял. Бумажка была прислана из далекого северного леспромхоза. Пришлось пойти и отдать ее.

Был уже конец декабря, стояли довольно сильные морозы, но дверь у Мамонта оказалась открытой настежь. Прямо напротив двери, на покрытом мешковиной столе, покоилась мерзлая свиная туша. Рядом с ней надсадно верещал телевизор. А хозяин громко храпел на кровати у стены, выставив из-под трех одеял босую посиневшую ногу. Я выключил телевизор, разбудил Мамонта и с выражением прочитал ему бумажку.

— О! — выдал он свое обычное междометие и бодро загулял босиком по грязному ледяному полу. — Эт-та ниплоха!.. Эт-та ниплоха!.. А я уж и спозабыл за эту премию...

Я хотел было удалиться, но Мамонт жестом остановил меня и достал из-под кровати бутылку. Вытер пальцем «маленковский» стакан и вопросительно поднял брови. Я дал согласие на один глоток, ибо еще не ужинал да надо было закончить чертежи.

— А мы сичас сальца насподжарим! — гордо заявил Мамонт и, взяв топор, пошел с ним на тушу.

— Ты, Нефедыч, обулся бы, — посоветовал я, и Мамонт мимоходом надел подшитые валенки. — Да погоди с топором-то! Давай-ка тушу к месту определим.

Мамонт послушался, и мы поволокли свинью по сугробам через весь огород к сараю. Открыв какой-то штуковиной замок, сосед не стал скрывать удивления. По всему судя, в сарай до этого дня он не наведывался. Внутренность ветхого помещения напоминала товарный склад. Со всех сторон громоздились штабеля коробок и ящиков, покрытые посеревшим от пыли и времени брезентом.

— О! — вскричал Мамонт. — И тута тожа! И в доме яшшики невпротык, и на погребе, и в подполе, и на подловке... — Он выругался, махнул рукой и полез с веревкой на штабель. Мы подтянули тушу, Мамонт привязал веревку к стропилам и, отвернув брезент, подал мне сверху один из ящиков. Дома он вскрыл его. В ящике рядами лежали лакированные коробки красного дерева.

— Уж не брульянты ли? — предположил Мамонт с большой надеждой.

Но в коробках оказались бронзовые чертежные инструменты ручной работы. Мамонт пнул инструменты валенком, снова отправился в сарай и притащил сразу два ящика. В одном были шелковые дамские платья, в другом — бельгийские напильники, завернутые в промасленную окаменевшую бумагу. Мамонт плевался и досадовал. Достал ящик из подпола и нашел в нем толстые восковые свечи, принес еще один из соседней запертой комнаты — в нем были цейсовские бинокли.

— На! — сказал он, бросая мне антикварную готовальню. — Авось тебе эт-ти чиркуля пригодятся.

— Оно так! — произнес я в смятении. — Да ведь эта вещь дорого теперь стоит! Не здесь, а в большом городе, конечно.

Мамонт заинтересованно расспросил меня и, уяснив, какие возможности открываются перед ним, сказал откровенно:

— Кабы знал, так, быть можа, не подарил бы! А если уж дал по глупости, без догону — забирай! Чего там... Эх, рановато брат Январий гавкнулся! Не дождался поры, когда ему лавочку дозволят открыть... Кто бы помоложе на его месте...

Этот нежданный купеческий припадок весьма меня озадачил.

— Экий ты невнимательный, Нефедыч! — воскликнул я довольно растерянно. — Неужто ты не замечал никогда, что у нас на любой конторе красный флаг трепыхается? Какие могут быть лавочки?! Откуда ты вынырнул? Не скажи другому кому-нибудь — в момент психиатра вызовут.

— Колбасу в конторах не делают! — веско заявил Мамонт, наполняя стакан. — А в лавках она всякая продавалась!

Договорить нам не удалось. Услышав топот в сенях, Мамонт вдруг разорвал на груди рубаху и завопил:

— Я за свои слова!.. всигда!.. ат-вичаю!..

В дом к нему завалились урки. Я вынужден был молча взять готовальню и уйти.

В другой раз почтальонка бросила в ящик поздравительную открытку, написанную явно «по фене». Я пошел отдавать ее и увидел дикую картину. Сукин сын Мамонт колол на дрова икону. Возле печи валялись на скамье грудой еще с десяток досок.

— Кому оне тапeря нужны? — тупо пробурчал Мамонт, предупреждая мое возможное возмущение.

— А ты бы экспертизу в Москве навел... — посоветовал я со вздохом. — Но дружкам не рассказывай, убьют. Соблазн!

Я отобрал у него обломки и попытался составить из них изображение. Живопись еще различалась, икону хоть и с трудом, но можно было отреставрировать. Я обернул ее мешковиной, завязал и отдал Мамонту. Заметив, с какой серьезностью я вожусь с иконой, он несколько призадумался. Я вспомнил, зачем пришел, вынул из кармана открытку и прочитал ему марсианский текст.

— Так! — сказал Мамонт и по-деловому наморщил покатый лоб. — Пацаны в город в Вильнис в гости меня зовут... Уж так и быть, эт-ти досшечки я в Москве загоню... Все равно паровозы мимо нее не ходют.

— В музей в какой-нибудь обратись, а то влипнешь.

— Как жа! Как жа! — с напускной готовностью живо отозвался Мамонт. — Эт-та мы понимаем!.. Тока в музей, тока в музей... Ох, много ты мне хорошего изделал! Отмотал я на зоне четвертак да червонец на поселении, а ерундиции за культуру не поднабрался!.. Была вот, скажем, война. Веришь нет, а я за нее и не слыхал! Антиреса не было, что ли...

— Ничего себе! Да где же ты срок-то отбывал?

— А бес его знает... В Сибири лагерей много. Не ринтируюсь, сказать не могу. Да уж и спозабыл за это сичас...

— Ну, а упекли-то за что?

— Нас писят чилэк замели! Не я один такой нехороший!

Я приготовился было слушать дальше, но Мамонт дико всхрапнул надкушенным носом и вдруг с остервенением харкнул на иконы. Видя, что он начинает «заводиться» не по закону — без наличия уголовной публики, я резко поднялся с табурета и пошел к двери. Но Мамонт не отпустил меня. Он быстренько сварил чифир из «индийского слона» и вынул бутылку спирта. От выпивки я вежливо отказался. Мамонт влил хорошую дозу себе в чифир и пил свирепую смесь единолично. После пятого примерно глотка он начал врать непристойно, что закончил войну в Берлине, а на фронте был пулеметчиком. И что его ударило по каске осколком. И что вчера к нему «приканали пиянеры». Он возбудился до того даже, что стал показывать мне приемы стрельбы из пулемета и нахлобучил себе на голову железную чашку с остатками земляничного варенья. И затем замер. По канавам на его лбу струилась розовая густая жидкость. Он уронил голову на плечо и захрапел. Я осторожно снял с него чашку, поставил ее на стол и дал деру.

Вечером он пришел узнать, отчего вышло так, что вся его голова в варенье. Вел себя смирно и даже принес «слона» в большой алюминиевой кружке. Чай был с огня, и Мамонт нес его на продолговатой зеленой книге — на ней до этого стояла у него на столе сковорода. Я от нечего делать листнул книженцию, оказавшуюся первым томом старого энциклопедического словаря. Между листами аккуратно лежали сторублевки. А страниц в книге было-таки порядочно. Несколько десятков таких же зеленых запыленных томов стояло на длинной полке над ложем Мамонта. Но ни единой книжки он отродясь не открывал и, естественно, остался верен себе и на этот раз.

— Это очень ценная книга, товарищ Мамонт! — сказал я как можно внушительнее. — И она нуждается в лучшем обращении!

Мамонт вытянул ноги на середину кухни и даже не удостоил меня ответом. Он сидел ко мне боком и в мою сторону не смотрел. Никакая книга в его глазах ценности не имела. Я начал листать словарь и выкладывать на стол деньги. Мамонт повернулся и вздрогнул. Я положил перед ним словарь, налил себе остывшего чаю и ушел с кухни. Мамонт отправился домой. У него всю ночь горел свет — книг много и в одиночку листать их долго. К тому же и привычка нужна.

Вскоре мы с женой уехали на полмесяца на сессию, а когда воротились, увидели на соседском крыльце большой сугроб. Мамонт укатил в гости. И пропадал у друзей столь долго, что мы начали сомневаться в его существовании. Казалось, образ этого человека причудился нам в кошмарном сне.

Мой отец, хорошо знавший историю Маклаковки и собиравший все заметки и упоминания о ней в районной и областной печати, рассказал мне как-то о Мамонте, а потом даже отыскал газетную вырезку. Это были воспоминания одного старого чекиста, боровшегося с мамонтами в период возникновения колхозов.

Я знал, что первым председателем в Маклаковке был брат-близнец моего покойного деда Кузьмы Ивановича Захар Иванович. Как и полагается близнецам, братья удивительно походили друг на друга. Но только внешне. Характеры их были весьма различны. Кузьма, пройдя через ужасы первой мировой, сломался душевно и, хотя и привез серебряную медаль «За храбрость, 4 степ.», слыл тишайшим и безответнейшим мужиком в деревне. Брат Захар уехал после войны в губернский город и участвовал в революционных событиях. Вернувшись в Маклаковку с гражданской, он попытался организовать коммуну, но встретил сопротивление сограждан. С тридцатого года председательствовал в колхозе, а брат Кузьма работал у него кучером. В страшное лето сорок первого Захар Иванович сгинул на фронте без вести.

А дед Кузьма воевал и с немцами, и с японцами и вернулся с четырьмя медалями «За отвагу». Помню, он мне рассказывал, что первую медаль получил вовсе даже не за отвагу, а как бы просто за хитрость. Был он артиллеристом, а личного оружия в артиллерии в то время еще не полагалось. Налетели на них однажды кавалеристы. Вся батарея — врассыпную. Да от лошади далеко не убежишь. Дед бросился возле пушки наземь, и в суматохе немцы его не тронули. Правда, один из всадников, не видя около него кровавой лужи, достал его кончиком сабли, рассек затылок. Но дед сдержался, не дрогнул. Кроме него, спаслись батарейный командир и часовой. Лейтенант отстреливался из пистолета, а часовой из винтовки — на батарею полагалась одна винтовка для несения караульной службы. Они ранили настигавшую их лошадь и смогли добежать до леса. Немцы дали по лесу несколько залпов из карабинов, расколошматили прикладами орудийные прицелы и уехали. Может, и пушки подорвали бы, да снаряды на батарее кончились.

Рассказав мне об этом, дед, помнится, удивленно вопросил: за что медаль, спрашивается?

Он трудился до самой смерти, безропотно подчинялся многочисленным колхозным начальникам и даже своим зятьям ни в чем никогда не поперечил. Овдовел он довольно рано, но не женился. Ел, что дадут, и раз в пять лет покупал себе новую фуфайку. В соседней деревне тогда еще действовала церковь, и он изредка ее посещал. Его медали не сохранились — я проиграл их в чику в школьном саду.

Отец мой угодил характером в деда. На войне он был снайпером, но вспоминать о своих «охотах» не любил. Работал трактористом и сутками пропадал в колхозе. В раннем детстве я видел его очень редко — от силы в неделю раз. Был он настолько молчалив, что окружающие порой о нем забывали. Когда мы переехали в город, заводское начальство сразу же «положило» глаз на безотказного работягу, и отец возглавил бригаду слесарей-сборщиков. Характер его к этому времени несколько изменился. Отец стал не в меру впечатлителен и часто пускал перед телевизором слезу. «Тридцать лет на комбайне!» — проникновенно восхищался он и, утирая платком глаза, указывал внуку на героя.

Что касаемо Мамонта, то юная его жизнь при царе-батюшке протекала привольно и спокойно. Как ни удивительно для этого человека, детство он помнил хорошо и однажды, сидя со мной на лавочке, поделился воспоминаниями. Отец его торговал скотом, и Мамоня, будучи еще десятилетним мальчонкой, уже командовал артелью работников. Нерадивых по наущению папаши наловчился бить кнутовищем в лоб и делал это с большим удовольствием и удалью. Души в нем не чаявший родитель, очнувшись как-то после очередного длительного запоя, вдруг возмечтал приобщить Мамоню к грамоте. Да, видно, поздновато уж было. Утомившись дожидаться отца у подъезда губернского училища, Мамоня выпряг из тарантаса лошадь и ускакал домой. Покушение на культуру тем и кончилось. Отец сначала разозлился безумно, а потом успокоился и сторговал у директора училища рысака. И целый год с гордостью похвалялся маклаковцам поступком сына: кабы, мол, сплоховал Мамоня тогда, так и не оторвать бы почти задаром лошадь у дурака-директора.

К концу правления Александра Керенского Мамоне исполнилось семнадцать. Он начал обрастать усами и бородой, курил дорогие папиросы, пил стаканами водку и ничего не смыслил в политике. Центром мира для него была Маклаковка. Он сколотил от скуки ватагу и грабил обозы лесных углежогов-инородцев. Гуляя в бедных соседних деревнях, бил кнутом стекла и портил дочерей вдов-солдаток. Обозленные женихи вышибали его кольями из седла, но это было для него «ничаво».

При белых от фронта Мамоню «ослобонили по болести»: помог живший в городе старший брат Януарий. А от красных пришлось укрыться в лесу. Дезертиров в то тяжелое время ловить было некому, и Мамоня «спасался» почти открыто. Жил весело и, разумеется, не в одиночестве. В землянке, брошенной углежогами, тек рекой самогон, околачивались пришлые бедовые девки. Навестив однажды родителей и крепко выпив, Мамонт вышел на улицу с гармоникой и начал задавать песняка. Была

тогда у него, оказывается, любимая песня. Сидя со мной на лавочке, он спел ее, и по извечной мужской привычке накрепко запоминать все дурное она застряла у меня в памяти:

У меня есть руки,
На руках есть пальцы,
А на пальцах ногти,
Под ногтями грязь!..

Дикую песню Мамонта услыхал тогда приехавший с фронта в отпуск Захар Иванович. Он арестовал негодяя и сдал его военному комиссару. «Спасавшийся» вместе с Мамонтом лепший дружок Платоня был немедленно кем-то оповещен и на дерзость Захара Ивановича сильно вознегодовал. Избив подвернувшихся под руку непотребных девок, он вскочил на неоседланного мерина и помчался в деревню мстить за своего друга. Палил из обреза по Захаровым окнам, тот отстреливался из браунинга, но Платоня выгнал-таки его в чистое поле. Может, и застрелил бы, да на окраине соседней деревни была у Захара Ивановича вдова-милашка. На дворе у нее в глубоком старом колодце имелся хитрый тайник. Захар Иванович кое-как доскакал к ней на жеребой кобыле. Платоня на правах мстителя куражился у вдовы три дня, гулял с бездельными пьяницами из местных, и все это время Захар тосковал в колодце. Милашка, выходя за водой, незаметно опускала ему в бадье провизию. На четвертый день упившийся досиня Платоня разделил судьбу Мамонта. Захар Иванович сгреб его и отвез в телеге на призывной пункт. О покушении на свою жизнь Захар Иванович комиссару не доложил, иначе Платоню расстреляли бы без суда и следствия.

После войны Платоня затесался к Захару Ивановичу в друзья и уговаривал Мамонта поступить так же. Но тот гулял на деньги покойного папаши, и пока они у него не кончились, и слушать ничего не хотел. Армейская жизнь на его натуру не повлияла. Он охранял в обозе командирское барахло, ел сладко и, по его выражению, не просыпался. Припомнить о службе что-либо связное был не в силах. В Маклаковку воротился из госпиталя, куда угодил с приступом алкогольного психоза.

Захар Иванович собрал однажды на праздник всех деревенских фронтовиков, хорошо угостил и горячо убеждал записываться в коммуну. Демобилизованный кавалерист Платоня ему поддакивал. Многие согласились, другие обещали подумать, а Мамонт составил оппозицию. Он грязно выругал Захара Ивановича, пальнул из нагана в потолок и полез в драку. Его вышвырнули на улицу и решили, что этот дикий дурак не разбирается ни в текущем моменте, ни в мировой политике в целом.

Создание коммуны оказалось делом до отчаяния тяжелым. Жители Маклаковки, почти сплошь потомственные торговцы и проходимцы, держались крепко и смотрели на новое начинание с издевкой. Ясно осознавали свою силу и твердо верили, что «нищета» долго у власти не промается. Жили размеренно, избу-читальню обходили за полверсты и по старинке собирались покалякать у церковной ограды. Крупные воротилы перебрались в город под крыло Януария и постепенно составили костяк тамошних нэпачей. Жулье помельче отхватило догосрочный подряд на казенные лесные работы. А те, которые пробавлялись случайными махинациями и еще при царе жили с законом не в ладах, вдруг валом повалили в коммуну. Решили прикрыться ею и отсидеться до времени в безопасности — а там, бог даст, глядишь и отломится что-нибудь. Партийцы-фронтовики и комсомольцы оказались в коммуне в малом числе. Земля в Маклаковке была дурная, одна урезная глина, и хлебопашеством занимались всего-навсего семейств с десяток. Потому на первом же общем собрании коммунары постановили сделать упор на скотоводство. Для начала объединили своих коров и коней, а затем реквизировали гигантский птичник ближнего женского монастыря. Монашки разбрелись по окрестностям и стали мутить народ. Кончилось это тем, что какие-то злоумышленники-фанатики взорвали динамитом запруду на монастырском озере. Оно утекло в овраг, и тысячи уток и гусей остались без водоема. Запруду отремонтировали, но надо было дожидаться весны, чтобы озеро поднялось до прежнего уровня. В Захара Ивановича и в нескольких его партийцев-друзей стреляли и по ночам, и днем. Пальнули как-то раз по ошибке и в Кузьму. Пока прохивались — стреляли, видимо, для острастки. На нервы это, конечно, действовало. Захар Иванович исхудал от постоянной бессонницы, и виски у него тронула седина. Коммуну раздирали скандалы. Мелкие спекулянты не желали вникнуть в смысл общественного труда и работали абы как, через пень колоду. Хозяйство приходило в упадок, на глазах разворовывалось. Заводилой всех безобразий был паскудник Платоня. Вдобавок началась повальная пьянка, и Захар Иванович не мог найти способ прекратить это зло. Коммуна становилась посмешищем. Жулье откровенно радовалось, а монашки проповедовали о конце света.

Мамонт, просадивший капиталы отца, жил теперь на подачки Януария, а они были неудовлетворительно малы. И Мамонт запросился в коммуну. Платоня, выпив принесенную другом водку, врезал ему рукояткой нагана по зубам и вышиб из дома вон — не захотел позорить перед Захаром себя и собутыльников хлопотами за нагольного дурака: дурак, он и сам пропадет, и других за собой потянет, и всю веселую жизнь нарушит...

— Уж вот оне погуляли там! — рассказывал мне Мамонт. — Ох, погуляли! На закусон ли али просто так охота возьмет пожрать — сичас индейке голову тяп! Попадется гусак — и гусаку. Платоня невесту бросил, хоровод завел из монашек... Завидно мне было! А никак. Если, говорят, сунешься еще к нам, сучий потрох, мы те живо место определим!.. И пропились вдрызг. Запретили им эту лавочку. Платоня опосля обезножел, тлеть начал... Приду, бывало, к нему — сам водку пью, а ему спузырек с диколоном под нос: лопай, собачий депутат!.. Пил с превеликим удовольствием... Ну, и подох... Перед колхозами незадолго. А ты Кузькин внук, значит?

— Его.

— Умный был мажучок, гнилой... Лично я бабу у него мацал, а он кочумал, помалкивал... А вякнул бы, так я пришил бы сразу его... Платоня завернул к нему как-то вечерком, показал обрез да и говорит: слышь, Кузьма, пойду учителя-сукомольца пристрелю, надо, мол, эт-ту поганую породу изводить пассипенно... А то житья не дают! Ну, Кузьма-то Платоне не споверил, думал — так, по пьянке болтает... А тот пошел, замочил, вернулся и в окошко Кузьме сказал: готов! И Кузьма, конечно, кочум! И закочумаешь. Семья. Да добро бы хоть натуральная, а то девок восемь голов... Нет, вру. Последний, кажись, пацан был. Это твой отец, что ли?

— Он. А для чего Платоня деду-то моему сказал, куда идет?

— Из баловства. Поверье такое есть... разбойное. Чтобы после не проболтаться...

Жена до этого рассказала мне, как Мамонт, узнав от нее случайно нашу фамилию, в бешенстве заскрипел зубами, затрясся и побелел: он, видимо, подумал, что я потомок ненавистного ему Захара Ивановича. Но переживать такое было мне не впервой. К примеру, на отборочной тренировке в заводском клубе автогонщиков — я освоил этот вид спорта в армии — почтенный тренер злобно заявил мне, что команда обойдется и без меня. Как потом выяснилось, Захар Иванович погубил его папу. Папа ненавидел новую власть и держал у себя на чердаке хорошо смазанный станковый пулемет. До разговоров с тренером я тогда снисходить не стал, а просто показал директору нашего завода справку, гласящую, что податель ее занял первое место на соревнованиях военного округа. Директор, страстный автолюбитель, начал здороваться со мной за руку и всячески меня выделять, а тренер, разузнав отчество моего отца, в момент смягчился.

Если гражданин Мамонт и подобные ему, услышав мою фамилию, всего лишь скрипят зубами, то, узнав девичью фамилию моей жены, они наверняка изойдут кровавой пеной. Моя жена — единственная внучка нашего деревенского попа, умершего еще до войны. Казалось бы, в чем она могла провиниться перед Мамонтом? Но даром, что ли, он колол на дрова икону? Ох, ох, недаром.

Приведу газетный отрывок из воспоминаний чекиста:

«...К началу колхозного строительства нами в целом была закончена многотрудная работа по нормализации жизни края. На дорогах теперь никто не шалил, грабежи населения и акты покушений на жизнь сельских активистов и передовой интеллигенции совершенно прекратились. Мы получи-

ли благодарность, ходили в числе передовых и, если это выражение хоть как-то применимо к нашей работе, почивали на лаврах.

Какой опасной оказалась впоследствии наша успокоенность!

Однажды к нам зашел председатель одного из новых колхозов и передал список, в котором значилось до полусотни людей и, кроме того, против каждой фамилии указывался вид вооружения: винтовка, маузер, наган, пулемет и т. д. Список этот составил сочувствующий новому строительству священник. Верные старому, царскому обычаю, мятежники попросили его отслужить молебен в лесу, дабы господь даровал их оружию быструю, легкую победу. На молебне присутствовал одетый по-городскому эмиссар. Он держал речь, призывал повстанцев к скорой готовности, а затем записал названных ему жителей соседних деревень, на которых можно было бы вполне положиться. Отобедав в доме священника, он уехал.

К чести нашей сказать, отреагировали мы на этот сигнал проворно. Уже на другой день в подвале нашего учреждения томились ошарашенные неожиданным арестом господа эмиссары. Вместо них мы послали по деревням своих сотрудников. Еще три дня напряженной и опасной работы — и с помощью кавполка мы произвели почти одновременный ночной арест всех выявленных добровольцев несостоявшегося мятежа. А что было бы с краем, не прими мы экстренных мер? Мне и до сих пор страшно об этом думать.

Следствие показало обществу, какие ужасающие натуры могут скрываться в человеческом облике. Вот одна из мелких деталей следствия. Один из арестованных, сын торговца скотом, слывший в своей деревне всего лишь баламутом и пьяницей, разузнал о готовящемся мятеже и, на удивление добровольцам, тоже запросился в «баталион». Его прогнали и, кажется, даже поколотили. Тогда он поставил себе цель выслужиться и, не придумав ничего «подходящего» (по его выражению), встретил в лесу ехавшую в город на конференцию учительницу. Он ударил ее бутылкой по голове, раздел до белья и привязал к дереву на съедение комарам (на суде заявил, что был пьян и сделал это «озорства ради»). А чтобы она не закричала, втиснул ей в рот голыш и обмотал голову веревкой. Телегу и одежду учительницы он продал в городе, а на вырученные деньги приобрел седло и винтовку. После этого подвига мятежники приняли его к себе — и той же ночью он был уже под арестом. Боясь, что учительницу найдут и она выдаст его или кто-нибудь из друзей расскажет о его преступлении, он тут же, при аресте, сознался в своем злодействе и указал кавалеристам дорогу. Учительницу нашли живой, но, к несчастью, бедная женщина вскоре сошла с ума и скончалась в психиатрической лечебнице. Когда подследственному сказали об этом, он стал доказывать, что все это «несурьезно», что лично он «и вшу, и комара, и клопа» терпит сколько угодно и спокойно, что «бабенку, должно быть, леший защекотал» и т. д. Мужа этой учительницы, комсомольского вожака, за несколько лет до этого застрелил из обреза приятель ее палача — ко времени следствия уже покойник.

Мне хотелось встретиться со старым священником и душевно поблагодарить его. Я написал ему об этом, но оказалось, что сам он приехать в город не в состоянии. А меня постоянно занимали текущие дела, оказии побывать в деревне все не было и не было, и встреча наша, к сожалению, так и не состоялась.

Недавно мне все-таки удалось кое-что узнать об этом незаурядном человеке. Будучи еще студентом-семинаристом, он посещал нелегальные кружки, встречался с Кропоткиным и Плехановым. Напечатал даже статью о государстве и религии, но впоследствии отошел от политики из-за сугубо частных причин — по нездоровью. У него неожиданно и сильно обострилась врожденная болезнь сердца».

Как хорошо, что жили и действовали эти люди! Если бы не они, мы пресмыкались бы под ногами у диких мамонтов. Я не находил ни смысла, ни воли терпеть соседа как необходимое зло. Ужели зло мне так уж было необходимо? Выражение это, если рассудить здраво, попирает всякую логику — и нормальную, и формальную, и, быть может, даже машинную. Мы почему-то говорим «необходимое зло», но не говорим «ненужное счастье». Луна — худшее место в ближайшем космосе, вполне отвечающее натуре Мамонта, но он поселился не там, а именно у меня в соседях. И, выражаясь фигурально, от него во все стороны исходили флюиды зла. Необходимости в таком соседстве я не испытывал, но терпеть присутствие Мамонта все-таки приходилось. Правда, иногда мучила навязчивая мысль, что в целом мамонты оригинальные, смелые и сильные существа, что в иных природных условиях они оказались бы хорошо вписанными в ландшафт, что повыбили их напрасно, — вряд ли в том была историческая необходимость, наука врет. Эти мысли занимали меня как-то помимо воли. На деле же приручение реликтовых существ никак меня не прельщало.

...Он заявился домой в начале лета. Мы с женой готовились к сессии и сидели над книгами. Как-то вечером я вышел к воротам подымить и вдруг увидел, что к соседскому дому сворачивают с дороги два новеньких черных лимузина. Мотор задней машины при всем ее внешнем блеске явно работал с перебоями, стучал и троил. Ни одной черной «Волги» в нашем городе еще не было. Даже первого секретаря возили на белой, а председателя исполкома на зеленой. Из передней машины вылез, покряхтывая, Мамонт. Был он в клетчатой кепке и остроносых модных туфлях. На шее у него лихо сидел малиновый галстук-бабочка. На пальцах посверкивали камнями перстни. Остальное оказалось по-прежнему: дорогие брюки были измяты, а сзади из-под костюма свисали майка и желтая рубашка. Мамонт пренебрежительно кивнул мне и велел принести пилу. Но тут из другой машины выбрался мой директор и радостно окликнул меня. Оно и правильно: кто, как не я, местная автознаменитость, мог по достоинству оценить его покупку? Я вернулся, завел мотор и в двух словах объяснил директору, как ловко его надули. Он не поверил. Тогда я завел машину Мамонта и уж тут убедил его. И только лишь после этого степенно принес ножовку.

Увидев, с какой почтительностью «базлает» со мной «магнат», Мамонт пришел в ошеломление. Директор взял у меня ножовку и начал пилить верхнюю заборную слегу, заодно громко рассказывая мне, как торговал автомобиль и как счастливая судьба свела его с Мамонтом Нефедовичем. Директор, оказывается, занял у него приличную сумму. Тут Мамонт стряхнул наконец с лица остатки гипноза и кинулся отнимать у директора пилу. Через минуту они оттащили в сторону часть забора, и я загнал машину Мамонта в огород. Подъехали еще несколько «магнатов». Собрались соседские мужики. Мы переходили от одной машины к другой и до глубоких сумерек подробно обсуждали каждую марку. Отказать себе в таком удовольствии я просто не мог. По мнению всех, автомобиль моего соседа был выше всяких похвал. Мамонт испытывал блаженство. И оно простерлось так далеко, что он отвез нас с женой на сессию, а в выходной опять приезжал за нами. Не знаю, как и где он добыл водительские права: даже считать он умел только до десяти, а дальше начинал путаться — но с машиной управлялся неплохо.

В его доме перестали толпиться урки. Наступило спокойствие, если не благолепие. Мамонт обзавелся пижамой и, сидя со мной вечерами на скамейке, пытался говорить на человеческом языке. И вообще стремился походить во всем на «магнатов». Кушал он в ресторане, а после обеда делал в парке небольшой променад. Затем напивался где-нибудь и дрых до вечера. По сравнению с тем, каким он был прежде, Мамонт стал скрытен и молчалив. А если и разговаривал со мной, то о какой-нибудь чепухе.

— Как падки люди за барахло! — рассуждал он, зевая и почесываясь. — Оставил мне наследье Налимка — и враз меня на кутке зауважали. Но не все. Кто-то агнорирует мое счастье, капает. Недавно мент опять приканал: извините, Мамонт Нефедович, но откеля у вас застаринная, аж китайская посуда? Наследье, товаришш кипитаны! За брата, за Январия! В натуре!

Почти каждый день к нему приезжали одетые по последней моде торговые барбосы из больших городов. Но эту мелочь Мамонт даже и в дом не приглашал — загонял им антиквариат прямо на огороде. «Засветиться» он не боялся: забор у него был высокий, и огород просматривался только из наших окон. Мамонт выволакивал из сарая ящик, культурно восклицал «о!» и уходил домой с пачкой денег. Иногда ему ассистировал красномордый и расторопный Керя.

Однажды разнесся слух, что отец-покровитель окрестных алкоголиков и пуп кутка — начальник винцеха — проворовался в прах и для возмещения убытка взял у Мамонта полста тысяч под чудовищные проценты. Я склонялся к тому, что слуху этому можно верить.

В середине августа Мамонт сошелся с породистой крашеной блондинкой. В последние годы она была ресторанной директрисой, а в глупой молодости окончила театральное училище. Приемы игры не растеряла, и Мамонт возлюбил ее страстно. К великому нашему удивлению, он позвал нас на свадьбу. Перед гульбищем, которое имело быть в ресторане, совершили автопрогулку за город. Я возглавлял кортеж, вез невесту и жениха. Рядом со мной восседал засупоненный в зарубежную замшу Керя. Сзади, под мощным боком невесты, попискивала моя жена. Отросшие седоватые космы Мамонта были по-молодежному взлохмачены. Когда он поворачивался к невесте, я видел в зеркале его профиль. Мамонт плакал от счастья. И надкушенный его нос морщился, словно хобот.

Посаженым отцом жениха был сам начальник винцеха. Мы с моим директором были дружками, а Керя — аж тамадой. Мамонту ужасно хотелось, чтобы свадьба прошла «антилигентно», и он несколько раз тайно со мной советовался. Уверял, что «за своих» он надеется — люди вполне культурные. И точно, приглашенные урки были отобраны по принадлежности. Они вежливо улыбались, сидели величаво, как лорды, пили «сухость» маленькими глотками и зорко присматривали друг за другом. Гости со стороны невесты, на которых с непривычки не надеялся Мамонт, тоже не ударили лицом в грязь: уж кто-кто, а торговые люди вести себя за столом умеют. Когда поздравляли «молодых», к Мамонту подскочили две дочки и два зятя невесты. Они по очереди бойко расцеловали «папу». Он прослезился и заявил невесте, что все его состояние со временем будет «ихое».

Медовый месяц молодожены провели на далеком юге. Вместе с ними улетели туда мой директор и начальник винцеха с женами. Мамонт настойчиво приглашал и нас — с условием, что я пригоню туда его машину. Все расходы на наше содержание он охотно брал на себя. Но это было уж слишком. Одно дело — по-соседски погулять у него на свадьбе, но совсем другое — стать его служкой. Я ответил ему, что захворай он — я, пожалуй, и отвез бы его на юг, а машину не погоню. Мамонт, вместо того чтобы разозлиться вконец, к вящему моему неудовольствию, зауважал меня еще больше.

Зиму он провел в кооперативной квартире у жены, а весной они переехали жить на юг. Прощаясь со мной, Мамонт неожиданно вопросил:

— Что бы ты сказал за меня?
— Да жил тут мужик какой-то...
— А как меня звали?
— Не знаю, не интересовался.
— О! — искренне восхитился Мамонт. — И в кого ты такой гнилой?
— Не гнилой, а попросту с небольшим догоном.

Больше я его не встречал, но привет от него мне раза два передали.

Дом его купил многодетный мордвин-кузнец по имени Николай — видный высоченный мужчина с характером наивного и веселого подростка. Дай-то бог каждому такого соседа! Я сразу с ним подружился и помог ему устроиться на завод. Бегство из своей маленькой и глухой деревни Николай оправдывал так:

— Не вынесла душа поэта!.. Бабы наши очень превратно рассуждают, жену затутыкали совсем. Нету сберкнижки — не мужик! Не наколол дров на пятнадцать лет наперед — не мужик! Не поехал с артелью на зиму в Якутию лес валить — тоже не мужик!.. Вот и дай им эмансипацию... Убег! Не выдержал! И надеюсь, не пропаду. Я человек всесторонне развитый — хоть ковать, хоть паять...

Дом Мамонта скоро стал известен на улице как дом Кольки-мордвиненка. Мне почему-то чудилось, что мой новый сосед живет на кутке от веку. О Мамонте я старался не вспоминать.

г. Шумерля.

Мишши ЮХМА

Разговор с другом

С чувашского

* * *

— Ты видел, как туча напала на тучу
И сбила ее, словно ворон, под кручу?

— Ты видел ли дождь — эти слезы небес,
Что с кровью заката упали на лес?

— А ты проторил свою тропку-стезю?
Ты видел ли солнце, что слитком сарзю [1]

Упало в колодец за рощей берез,
Ты сок из которых, как слезы, берешь?

Хотелось ли плакать в бессилье, как им,
Ранимым, чья грусть — их терпению нимб?

Делился ли ты с другом каплей воды
И хлеба куском? Спас кого от беды?

Как лебедь от стаи, летевшей на юг,
Отстал ли? Крыло поддержал ли твой друг?

А мог без оружья сразиться с врагом,
Чтоб честь защитить и семьи и свой дом?

— Вопросы, конечно, твои хороши,
Ведь ты задаешь их от чистой души.

Но я беспредельно к себе очень строг,
А то бы не смог написать пару строк...

Перевел А. ХРОМОВ

* * *

Сломаешь плуг — другой изладишь вскоре,
Изменит друг — на год достанет горя.

Семью утратишь — на десяток лет
Тебе немилым станет белый свет.

Но коль с родным народом ты в разлуке —
До самой смерти не избудешь муки...

Перевел В. ТУР

[1] Сарзю — топленое масло *(чувашск.)*.

* * *

Хорошего коня не гонит к цели кнут.
И добрый человек поймет беду без слова.
Когда, мой друг, к тебе за помощью придут,
Не жди, чтобы тебя о ней просили снова.

Пчеле в полях нектар весной дает цветок,
И в улье будет мед — и плод созреет летом.
И если человек беду изжить помог,
То добрая молва расскажет всем об этом.

Хороший конь несет хозяина стрелой,
Без плети седока летит он по дороге.
И если человек с отзывчивой душой,
Ему, попав в беду, не кланяются в ноги.

Перевел М. ШАПОВАЛОВ

Иван ФИЛОНЕНКО

Особая экспедиция

ГЛАВЫ ИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ

3

На первом же после летних каникул собрании Вольного экономического общества был поставлен вопрос об участии, «которое подобало бы принять Обществу» в изучении бедствия, его размеров, причин, последствий и мер противодействия.

Предложение это было встречено с живейшим сочувствием, однако в ходе обмена мыслями признали, что ограничиться докладами и изучением «было бы неудобно для Общества, слывущего богатейшим в России».

Решили: создать временный комитет для всестороннего изучения неурожая, выделить 5000 рублей в пользу наиболее пострадавших селений. Конечно, это капля в море, поэтому в протоколе записали с оговоркой, что сумма эта «в смысле пожелания, чтобы ценою этой жертвы была оказана поддержка хотя бы только сотне дворов-хозяев (500 душ), и то лишь бы в будущую весну они могли выйти на полевые работы».

Вновь созданный комитет выработал для рассылки на места «циркулярное приглашение», запрашивающее подробные сведения о неурожае и голоде. В ответ пришли письма, но не с ответами, а с вопросом: какую правду желаете знать, настоящую или только официальную?

«Настоящую»,— ответили из комитета.

А вот на настоящую правду решились немногие. На 1250 разосланных приглашений откликнулось только 52 «наиболее отзывчивых из корреспондентов».

Первым прислал весьма пространные ответы крестьянин Московской губернии Н. С. Сергеев. Самым существенным средством к предупреждению неурожаев, писал он, будет «полный земельный крестьянский надел с лугами, пастбищами, выгонами и лесными отводами для отопления». И пояснял господам ученым: «Чтобы земля не истощалась, необходимо возвращать ей часть ее даров в виде естественных удобрений, но чтобы иметь естественное удобрение, необходимо иметь скот, а чтобы иметь скот, необходимо иметь для него корм; наконец, чтобы иметь корм, необходимо иметь естественные луга и пастбища».

Но, не дурак мужик, понимал, что владеющий землей должен иметь и знания — и сам, и дети его, а для этого нужны не церковноприходские школы, а сельскохозяйственные, ибо «как медику необходимо знание медицины, юристу — юриспруденции, так точно землевладелец должен знать качественные особенности почвы, естественные и искусственные средства подъема ее производительности и пр.».

Прочитав такое письмо, Докучаев мог с горечью упрекнуть коллег своих: вот, даже крестьянин понимает, что должен знать качественные особенности почвы, а что же вы, ученые мужи, отвергли мое предложение?

Нет, бедствие не было явлением неожиданным или следствием какой-либо внезапно проявившейся природной причины, писали в один голос все 52 корреспондента. И в доказательство ссылались на статистику: не реже, а чаще и чаще повторяются неурожаи и голодные годы. Недороды поражают все большее число губерний. Голод постигает Россию каждый третий год столетия. Особенно же участились они с того года, как пало крепостное право. С отменой его наши сельские хозяева внезапно очутились совершенно в непривычных условиях, остались наедине с землей без знаний и капитала. Что делать с ней? Принужденные отказаться от эксплуатации дарового труда и не умея организовать свои хозяйства на правильных сельскохозяйственно-экономических основаниях, хозяева обратились тогда к эксплуатации матушки-природы, ее лесов и земель. Центр

Окончание. Начало см. «Октябрь» № 9 с. г.

тяжести сельскохозяйственного производства переместился в нечерноземные губернии, где можно было получать доход от земли опять-таки без правильной организации хозяйств, без труда, без знаний, без затрат, а благодаря одному только естественному плодородию почвы.

Земли истощались, хозяйства не совершенствовались, а хозяева все более приноравливались лишь к выработке такого положения, при котором крестьяне, не имея достаточных наделов, вынуждены были арендовать землю по цене, какую назначит барин, и наниматься к нему еще с зимы за мизерную плату. В результате арендная плата во многих местностях России оказалась так высока, что далеко не всегда окупалась продуктами, получаемыми с арендованного участка, чаще урожай не окупал затрат и не вознаграждал труда, положенного крестьянином на обработку земли. С другой стороны, обычай дешевой наемки рабочих с зимы так усовершенствовался, что расход на рабочую силу в имениях был доведен до минимума — преобладал почти даровой труд, что и давало возможность хозяевам существовать и получать доход даже при самом никудышном хозяйствовании. Правда, и работы при этом исполнялись дурно, а в некоторых случаях и совсем не исполнялись.

Барин по-прежнему не желал платить за работу, а «вольный» безземельный мужик если и работал, то кое-как. Да и нанимался он не с весны, а с зимы только потому, что голод вынуждал: бери, что барин дает, иначе помрешь, не доживши и до весны.

Обычай этот, разорительный и для самих нанимателей, а еще более для нанимаемых, обычай, развращавший ум и душу нации, свято оберегался вчерашними крепостниками. Они предпочитали довольствоваться такой неверной и плохой, но дешевой работой. Гнали прочь любые советы изменить систему и строй своих хозяйств, организовать потребную им рабочую силу на таких условиях, при которых труд рабочих вознаграждался бы по заслугам и обеспечивались бы при этом интересы обеих сторон.

4

А между тем сведения, поступавшие в Петербург, рисовали картину жуткую: по всей вероятности, в 1891 году Россия недоберет более полумиллиарда пудов хлеба — обычно она ежегодно собирала в среднем до 4 миллиардов пудов. Продовольственной помощи требовали 29 губерний и областей России. При этом, как показывали достоверные данные, в 17 из них, наиболее пострадавших, нуждаются в неотлагательной помощи не меньше миллиона человек, их надо было если не накормить, то хотя бы дать каждому по куску хлеба. Как это сделать — толком в Петербурге не знали, но где-то по голодающим селам русских губерний уже ездили Лев Толстой, Чехов, Короленко и многие-многие другие, кто по зову совести отложил все дела и с головой окунулся в гущу голодающего народа. Они закупали хлеб, устраивали столовые и пекарни, чтобы не дать бедствующим умереть голодной смертью. Во главе всей благотворительной кампании был высочайше учрежден Особый комитет под председательством наследника цесаревича, которому через три года суждено было стать императором Николаем II.

Следом за Толстым, Чеховым, Короленко поднялись тысячи добровольцев, так что благотворительному комитету не пришлось подыскивать уполномоченных — они сами заявляли о себе уже начатой деятельностью. Не пришлось искать и формы помощи — уже зимой 1891—1892 годов по российским деревням курилось 1498 пекарен, в которых добровольцы выпекали хлеб для бесплатной раздачи голодающим, тогда же открылись 8115 столовых, в которых бесплатно питалось свыше 636 тысяч человек.

Отсюда, из петербургского комитета, в который стекались отчеты от добровольных уполномоченных по прокормлению, виделась радужная картина: по деревням дымят трубами пекарни, к ним стекается народ и, накормленный, уходит на работу, благодаря в душе бога, царя и кормильцев своих. Издали всегда картина краше, издали ни слез, ни горя не слышно и не видно, а потому и беда не кажется бедой.

Совсем иные чувства испытывали те, кто добровольно возложил на себя обязанность кормить толпы голодающих, те, кому надо было «разливать эти капли помощи в море нужды». «При мне,— сообщал Чехов, побывав в Нижегородской губернии,— на 20 тысяч человек было прислано из Петербурга 54 пуда сухарей. Благотворители хотят пятью хлебами пять тысяч насытить — по-евангельски».

В той же губернии за пуд муки крестьяне отдавали лошадь, которую нечем было кормить. По этой причине скот продавался по баснословно дешевым ценам, однако покупателей все равно не находилось.

В свободную минуту Вернадский торопливо писал своему учителю:

«Многоуважаемый Василий Васильевич,

письмо не застало меня в Москве — я был в имении в Тамбовской губернии,

где теперь на собранные деньги мы устраиваем целый ряд столовых. Трудно представить себе по описаниям то тяжелое впечатление, какое производит теперь деревня. Смертных случаев нет теперь — были смертные случаи от голода в конце ноября, но разорение полное: скота не осталось иногда и 1/4, который был в сентябре; в лучших случаях осталось 1/8, часть амбаров, дворов сожжена на топливо; сжигают и дома или продают их («проедают»); в зажиточных селах значительная часть начинает жить «на квартирах» и несколько семей живут в одной избе. Земля также запродана: по-видимому, мы будем иметь дело фактически с безземельным пролетариатом. Земского пособия совсем недостаточно — приблизительно выдают на 1/4 семьи. Никакой другой помощи (Красного Креста или Особого комитета) не чувствуется. В общем, тяжело. Нам удалось устроить теперь 13 столовых, где питается около 700 человек; столовых к середине месяца будет 18. Содержание человека в месяц стоит около 1 рубля. А надо несколько тысяч человек? Их устраивают двое моих друзей (один из них — Ваш ученик Л. А. Обольяников)».

Никакой другой помощи не было. Да и эту, от добровольцев, местные власти допускали неохотно. Господ дворян, все еще мечтавших о возврате крепостного права, раздражало это вторжение в их владения посторонних людей. Сходившись в собрания, бывшие крепостники разражались гневными речами: «Господа! Мы давно уже слышим это нытье и печалование о нужде и грозном голоде. Мы слышали это уже и прошлой весной в нашем уезде. Знаете ли, как мы распорядились (с ударением и расстановкой): не дали ни зерна, никто не умер, и поля оказались засеянными».

Этой же мерой — не дать ни зернышка — хотели обойтись и ныне.

Нужно было бить в набат. И Лев Толстой, переполнившись гневом, написал статью «О голоде».

На страницы русской печати царская цензура ее не пустила. Тогда Толстой отправляет статью своему переводчику в Лондон и 14 января 1892 года в газете «Дейли телеграф» она появляется под заглавием «Почему голодают русские крестьяне». Реакционные «Московские ведомости», категорически отрицавшие наличие голода в России, захлебнулись от гнева и объявили статью «открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя...» А тем временем в передовых кругах русского общества она ходила по рукам, пробуждая совесть, взывая к действию.

Нет, притесненная, по духу своему все еще крепостная Россия не молчала. То там, то тут раздавались вовсе не робкие голоса.

5

«Глубокоуважаемый дорогой Василий Васильевич! — писал Энгельгардт.— Знаю из газет, что вы будете читать лекцию о степях. Вы пишете, что в этой лекции думаете коснуться злобы дня, т. е. неурожая, голода. Не знаю, как вы приурочите злобу дня к вашей лекции. Злоба дня есть вопрос экономический и социальный. Ни почвенные, ни метеорологические, ни агрономические институты не могут предотвратить такие явления, как нынешний голод. Для этого нужно, чтобы изменились экономические и социальные отношения. Неурожай, недород всегда может случиться на такой обширной территории, как Россия. Но если народ богат, то он перенесет неурожай без труда, и голода не будет. У богатого народа всегда окажутся запасы и хлеба, и денег. А у нас даже при недороде небольшом сейчас же и голод. А почему? Потому что народ беден, всегда живет впроголодь, всегда голодает перед новью и ждет не дождется нового хлеба. Получился обыкновенный средний урожай. Сейчас мужик должен продать хлеба для уплаты податей, отдать долги, сделанные весной, продать хлеба, чтобы купить втридорога одежду, купить втридорога железа (ибо все пошлины в пользу толстосумов)... И за все про все должен отвечать хлеб, который нужно продать почем дадут. Не то, что запасы какие сделать, и приходит к тому, что у массы населения весною не хватает хлеба и при урожае. Приходится сидеть впроголодь, перебиваться, занимать хлеб и пр., чтобы отдать из нового урожая. Случился недород хлеба, который люди зажиточные, у которых хлеб заходил бы за хлеб, перенесли бы легко, а бедное население голодает. Случился неурожай, и вот ужасный голод в таких губерниях, которые считаются житницей Европы».

Докучаев получил это письмо Энгельгардта накануне своего выступления перед публикой. Прочитал и задумался: ссыльный профессор, конечно же, прав, и было бы куда как хорошо, если бы изменились экономические и социальные отношения в России. Прав и в том, что недород всегда может случиться на обширной территории государства Российского. Но... есть же причины, не зависящие от экономической и социальной злобы дня.

До каких же пор мы будем питаться не делом рук своих, своей энергии, своего знания, а, в сущности, манной небесной? До каких пор Россия, наде-

леиная сотиями миллионов десятин лучших в мире черноземных земель, будет страдать от недородов? Однако что толку от лучших земель, если мы не знаем ни своей земли, ни своей воды, ни климата, ни растительного и животного мира, ни даже нашего мужика. Отсюда наше полное бессилие в борьбе со стихиями, засухой, безводием, мглой, черными бурями, степным бесснежьем и прочими бедами, для успешной борьбы с которыми далеко не достаточно одних капиталов и власти... Странно, что мы, поедая иногда вместо хлеба мякину и осиновую кору, не можем понять такую простую истину...

Эти причины наших бед кроются в тех природных условиях, которые в равной степени действуют и будут действовать при любом государственном устройстве. И будет великая честь науке, если она укажет эти условия и найдет верный путь их улучшения, если она, ответив на вопрос: «Почему иссякают силы земли?», ответит и на другой: «Что можно противопоставить засухе?»

Да, Энгельгардт прав, у богатого народа всегда окажутся запасы и хлеба, и денег на случай недорода. Но недороды-то все равно будут, а значит, они будут изматывать даже зажиточный народ. Мы решительно ничего не сделали, чтобы приноровить наши пашни к засухам, чтобы разумно использовать наши речные, снеговые и дождевые воды. Мы до сих пор еще всю ответственность за наши урожаи преспокойно возлагаем на природу.

На этот раз Энгельгардт — сам практический хозяин — судил лишь о том, что видел в деревне. Перед взором Докучаева расстилалась вся Россия, ее степи и пашни, которые подвергаются, хотя и очень медленному, но упорному и неуклонно прогрессирующему иссушению. И дело не в изменении климата, а в том, что повсеместно растут, все больше углубляясь, овраги и балки. Развитие густой сети оврагов, почти сплошная распашка степей привели к исчезновению от века существовавших в степях западин, блюдец, озерков, в которых собирались снеговые и дождевые воды и которые питали сотни мелких степных речек.

А как поредели леса, защищавшие местность от размыва и ветров. Площади их местами уменьшились в три—пять и более раз. Результатом обеднения лесов и явились более суровые зимы и знойные сухие лета на юге России. Стало суше даже при сохранении прежнего количества падающих на землю атмосферных осадков.

«Если присоединить сюда,— записывает Докучаев свои мысли,— факт почти повсеместного выпахивания, а следовательно, и медленного истощения наших почв, в том числе и черноземов, то для нас сделается вполне понятным, что организм, как бы он ни был хорошо сложен, какими бы высокими природными качествами он ни был одарен, но раз, благодаря худому уходу, неправильному питанию, непомерному труду, его силы надорваны, истощены, он уже не в состоянии правильно работать, на него нельзя положиться, он может сильно пострадать от малейшей случайности, которую при другом, более нормальном состоянии он легко бы перенес или, во всяком случае, существенно не пострадал бы и быстро оправился. Именно, как раз в таком надорванном, надломленном, ненормальном состоянии находится наше южное степное земледелие, уже и теперь, по общему признанию, являющееся биржевой игрой, азартность которой с каждым годом, конечно, должна увеличиваться»...

Однако прав и Энгельгардт. И Докучаев с этой последней фразы делает сноску: «Здесь, как и во всей настоящей статье, мы ведем речь исключительно об естественных природных причинах и явлениях, вовсе не касаясь экономических и других сторон вопроса». Уточняет ие для защиты от возможных нападок в игнорировании экономических и социальных вопросов, а чтобы подсказать читателю, знакомому с жизнью народной, насколько усугубляются все эти беды при существующем порядке.

И, продолжая прерванную мысль, пишет: «Но само собой разумеется, что так дело продолжаться не может и не должно; никакой даже геркулесовский организм не в состоянии часто переносить таких бедственных случайностей, какая выпала в настоящее время на долю России. Безусловно, должны быть приняты самые энергические и решительные меры, которые оздоровили бы наш земледельческий организм».

Какие же меры? Прежде чем их назвать, Докучаев предупреждает, что, во-первых, они «должны быть цельны, строго систематичны и последовательны, как сама природа». А во-вторых, должны быть направлены против тех причин, которые подрывают наше земледелие, и к совершенному уничтожению того зла, «которое уже сделано частью стихийными силами, а частью и самим человеком».

И далее набрасывает пять «надо», которые не потеряют своего значения и через сто лет.

Надо заняться регулированием рек.

Надо приступить к повсеместному регулированию оврагов и балок.

Надо озаботиться устройством правильного водного хозяйства в открытых степях и на водораздельных пространствах.

Надо выработать нормы, определяющие относительные площади пашни, лугов, леса и вод.

Надо окончательно определить приемы обработки почвы, наиболее благоприятные для наилучшего использования влаги, и добиться большего приспособления сортов культурных растений к местным условиям.

Каждый из этих пяти пунктов Докучаев подробнейшим образом конкретизировал, по каждому указал возможные ошибки, допускать которые «нельзя и опасно в интересах дела, в интересах государства».

«Таковы принципы, таковы общие мероприятия, которые было бы крайне желательно в интересах настоящего и особенно будущего России осуществить, по возможности, в целом, во всей полноте»,— констатировал Докучаев.

А чтобы на практике испробовать эти меры «во всей совокупности, со всеми предосторожностями», чтобы убедить население в пользе этих мер, предлагал заложить в южной части России 4—5 участков. И указал лучшие для этого места на степных водоразделах между крупнейшими реками.

Вот какими мыслями решил Докучаев поделиться с публикой, которая придет на его лекцию 15 января 1892 года. Он выскажет их, а умные люди пусть думают, злобы дня он коснулся или будущего России.

6

В начале 1892 года на прилавках петербургских магазинов появилась книга «Неурожай и народное бедствие». Книга вышла без имени автора, однако раскупили ее быстро. Выручка от продажи, как распорядился аноним, шла в пользу пострадавших от неурожая крестьян Бобровского уезда Воронежской губернии — на содержание столовых.

Полагали — написал ее один из литераторов, участвующих в «кормлении» (туда, в Бобровский уезд, отправились Чехов и Суворин). Однако при внимательном чтении обнаруживали, что многие цифры и факты литераторам вряд ли могли быть известны. Скажем, кто из них мог знать, что на январь 1891 года в запасных хлебных магазинах европейской части России числилось в наличности более 94 миллионов пудов хлеба — вполне достаточно при любой нужде. Кто из пишущих мог знать, что в действительности, когда грянула беда, этого количества хлеба не оказалось, и что запас его составил менее четверти должного количества, а житницы Тульской губернии были и вовсе почти пусты. Кто из них также мог знать, что в пострадавших от неурожая губерниях хлеб сперва был (и немало — 115 миллионов пудов!), но почти весь затем вывезен крупными владельцами и продан ими за пределами своих губерний и за рубежами России.

Книга разила фактами, прямо говорила о том, что бедствие, которое охватило 29 губерний России, «не от одного неурожая проистекает», а от правительственной и финансовой политики, которая сначала заключалась в упорном замалчивании факта назревающего бедствия, потом в запоздалом воспрещении вывоза хлеба за границу и в такой же запоздалой и очень плохо организованной закупке зерна.

Вышнеградский первым мог догадаться, кто написал книгу, а догадавшись, крепко насолить автору. Но бывший министр финансов в это время сам был под неослабным огнем критики. Газеты, которые еще недавно советовали вывозить зерно за границу, чтобы «не испортить курсы», обрушились теперь на него, как на главного виновника бедствия. Так что и хотел бы насолить Ермолову, но не мог.

Да, Петербург уже знал, что книга эта написана именно Ермоловым, которого молва настойчиво прочила в министры земледелия как человека толкового, умного, образованного, хорошо знающего сельское хозяйство России.

В книге он предостерегал: от повторения подобных бедствий Россия никак не застрахована. Больше того, бедствия неминуемы до тех пор, пока мы будем идти «путем самой неразумной эксплуатации и расхищения природных богатств русской земли». Выход один: «только при немедленном вступлении на путь серьезного изучения и улучшения естественных условий русского земледелия, будущность нашего сельского хозяйства, а с ним и благосостояние русского государства, могут считаться обеспеченными. Иначе нас ожидает участь самая печальная и безотрадная, так как никакое богатство, никакая мощь русского народа не будут в состоянии вынести тех тяжелых испытаний, которые ныне переживает русская земля, если они будут периодически повторяться».

— Молодчина! — сказал Докучаев Анне Егоровне, прочитав эти строки.— Вот эту мысль и надо внедрять в умы наших чиновников.— И он тут же набросал:

«Если желают поставить русское сельское хозяйство на твердые ноги, на торный путь, если всерьез хотят лишить его характера азартной биржевой игры, если желают, чтобы было приноровлено к местным условиям страны, то нужно, чтобы были исследованы все естественные факторы, и исследованы не только всесторонне, но непременно во взаимной их

связи (почва, климат с водой и организмы). Без этого она навсегда останется биржевой игрой, хотя бы годами и очень выгодной».

— Очень интересная работа,— говорил Докучаев вечером, показывая ермоловскую книгу гостям, пришедшим «на огонек» без приглашения и даже без видимого повода,— просто знали, что у Докучаевых кто-нибудь обязательно будет и будут разговоры, споры, поэтому никто лишним не окажется. Многие уже читали эту книгу, поэтому тут же о ней и заспорили. Правда, спор вертелся главным образом вокруг упрека, который сделал Ермолов русской науке, будто бы «слишком далеко стоящей от потребностей жизни и игнорировавшей самые насущные ее запросы». Упрек этот считали не только незаслуженным, но и оскорбительным.

Докучаев, улыбаясь, что-то записывал.

— Как я вас понял, друзья мои, вы вот что хотели бы ответить любезному Алексею Сергеевичу.— Докучаев взял со стола листок, на котором только что писал, и прочитал: — Следует напомнить автору «Неурожая...», что люди науки уже десятки лет предостерегали кого следует о надвигающейся опасности, люди науки представляли, кому следует, десятки проектов и ходатайств об исследовании русских окраин, об изучении отдельных географических районов России, об исследовании оврагов и речек, об устройстве Почвенного института и организации почвенных исследований, об упорядочении водного хозяйства на юге России и прочее и прочее. Проекты эти обсуждались на съездах, поддерживались целыми обществами, но в конце концов люди науки неизменно получали на это приблизительно такие ответы: «нет средств, есть более важные потребности, у нас этот вопрос уже намечен, Россия велика — всего не исследуешь, ваша работа протянется десятки лет, и бог знает, что из нее получится». Все это А. С. Ермолов прекрасно сам знает.

— Знать-то он знает, да виноватых ищет не там.

— Что ж вы хотите от должностного человека? Хотите, чтобы он правительство обвинил и тех, кто препятствовал нашим начинаниям? Но тогда бы мы не читали вот этой книги. Главное не в том, что он и сам немало препятствовал, а в том, что сказал правду о народном бедствии. Нет, друзья мои, не согласен я с вами, любой поступок, любое дело надо судить по его достоинствам. Ермолов честно сказал о беде, и за это спасибо ему. Он другим дорогу проложил.

— Но вы же сами только что зачитали упрек ему.

— Упрек? Нет, я договорил то, что он сказать не решился,— на истинных виновников намекнул. Может, кто-нибудь это сделает еще откровеннее. Всю правду сказать одному человеку, да еще всю сразу, не дано никому.

Особая экспедиция

1

Докучаевская статья «Способы упорядочения водного хозяйства в степях России», опубликованная в «Правительственном вестнике», заставила задуматься многих.

«Перед грандиозным планом работ по обводнению края благоговею,— писал Измаильский автору статьи.— Но боюсь, что выполнение этого плана (займет) столько времени, что геологические условия страны, работающие в противоположном направлении, не дадут достигнуть желаемого».

Докучаев ответил: «Что касается осуществления моего прожекта, то действительно геологическая история может опередить человеческую, если его — прожект — будут осуществлять так, как это, к сожалению, обыкновенно делается на Руси. А, по-видимому, так оно и будет: все больше и больше убеждаюсь, что с Анненковым на этом пути далеко не уйдешь...»

Однако в конце мая 1892 года при Лесном департаменте состоялось особое совещание, а 5 июня директор Лесного департамента Е. С. Писарев уже докладывал министру Государственных имуществ М. Н. Островскому выработанное комиссией «Разъяснение цели и порядка действий Экспедиции».

Вот положения этого документа, подготовленного, без сомнения, самим Докучаевым:

«1) Цель названной Экспедиции заключается в улучшении естественных условий земледелия, с упорядочением водного хозяйства в степной полосе России посредством разного рода облесительных и обводнительных работ.

2) На первое время для действия всей Экспедиции избираются три особых участка, площадью каждый от 5 до 10 тысяч десятин из числа казенных оброчных статей на водоразделах Волга — Дон (Бобровский уезд, Воронежской губернии), Дон — Донец (Старобельский уезд, Харьковской губернии) и Донец — Днепр (Мариупольский уезд, Екатеринославской губернии). На сих участках Экспедиция производит предварительные исследования местных условий геологических, почвенных и климатических, причем осенью текущего года она обязана доставить министерству все данные для составления проектов и смет облесительных и обводнительных работ, а к концу мая предстоящего 1893 года — представить полную отчетность по своим исследованиям и изысканиям за весь первый год занятий.

3) Затем на основании проектов и смет, составленных по данным, выработанным упомянутыми исследованиями, приступлено будет к производству самих работ на участках, каковые работы должны состоять в следующем: 1) в укреплении оврагов и балок посредством живых изгородей и плетней, с облесением окраин и верховьев их; 2) в искусственном облесении песков и бугров, неудобных для пашни, в целях увеличения влажности воздуха; 3) в образовании искусственных водохранилищ на водоразделах в степях — сооружением плотин в естественных ложбинах и балках и устройством артезианских колодцев; 4) в задержании снегов в открытых степях посредством живых изгородей и 5) в охранении рек от засорения русла и берегов их от обвалов посредством разведения древесной растительности вдоль побережий».

Министр одобрил эти положения и «имел счастье довести до высочайшего сведения» о назначении Докучаева начальником Экспедиции. Государь не возражал...

2

Докучаев спешно созывал своих учеников, всех, кто уже бывал с ним в экспедициях по изучению почв Нижегородской и Полтавской губерний. Они еще не знали, зачем понадобились учителю,— сообщение в «Правительственном вестнике» о снаряжаемой экспедиции появится позже, оно их догонит уже в степи. Не знали, но догадывались по взволнованному тону профессора: предстоит какое-то новое дело. Сошлись, как и прежде, в доме № 18 по 1-й линии Васильевского острова.

Какие же они все молодые и энергичные! Докучаев относился к ним с отцовской любовью и гордился ими, увлеченными и честными служителями науки, готовыми во имя пользы Отечеству на любые лишения. А лишений выпадет им ой как много, особенно тем, кто отправится в Каменную степь,— ни кустика там, ни жилья. Докучаев своими глазами видел ее, когда обследовал южные черноземы, суровее места не встречал, потому и выбрал для закладки опытов.

Правда, в первых разговорах, в первых бумагах Каменная степь еще не упоминалась, название ее еще не вошло в обиход. Куда известнее был Хреновской бор, что в тридцати верстах от степи, поэтому и место предстоящих работ называли Хреновским участком.

Помощником начальника Экспедиции единогласно назвали Николая Сибирцева, оставленного Докучаевым после завершения почвенных исследований Нижегородской губернии для собирания и организации первого в России естественноисторического музея в Нижнем. Теперь это дело налажено, и Сибирцева, получившего от нижегородцев прозвание «премудрого», можно затребовать в Питер.

Метеорологом Экспедиции — тут и обсуждать нечего — будет, конечно же, Николай Адамов, ассистент по кафедре агрономии Петербургского университета.

Почвенно-геологическими исследованиями в степи займется магистрант Константин Глинка.

Лесовода, таксаторов, межевиков, наблюдателей на метеорологических

станциях в ближайшие дни откомандирует Лесной департамент. С Писаревым этот вопрос обговорен, и на места уже пошли телеграммы. Из Самары срочно затребован на должность лесовода Онисим Ковалев. Писарев отрекомендовал его как человека «особо похвального поведения», достаточно опытного в устройстве питомников, так как тот уже занимался в течение нескольких лет степным лесоразведением.

«Особо похвальное поведение» — вот главная черта, которая должна отличать и всех других кандидатов в Экспедицию. Таково было условие, выставленное Докучаевым Писареву. И указать таковых должны уже здесь, в Питере, а то губернские управители подсунут каких-нибудь бездельников.

...Но вот все будущие каменностепцы в сборе. Докучаев облегченно вздыхает — можно выезжать в степь и приступать к делу.

Степь... Плавно возвышаясь к горизонту, она вся была как на ладони. На всем этом пространстве, охватываемом взором, не видно ни деревца, ни кустика, ни ручейка.

Сидя на бричках, они всматривались в этот простор, в это степное раздолье, испытывая тревожно-щемящее чувство первопроходцев, которым здесь жить.

Они уже слышали немало рассказов, как во время июльской жары прошлого года дождевые тучи только и были над лесом,— выйдя в степь, облака медленно возвращались обратно, не обронив ни единой капли. «Лес да долы,— говорили старики,— притягивают тучи, а степь отталкивает их».

Степь... Лишь издали она казалась ровной, как стол. Приближаясь к ней, путники все отчетливее различали и пологие балки, избороздившие поверхность, виднелись западины-блюдца. В такой степи талые и ливневые воды быстро скатываются в балки и по ним уносятся а реки.

Кое-где обозначились одиночные халупы-времянки арендаторов казенной земли. Издали их можно было принять за кучи прелой соломы, облепанные с боков глиной. Эти низенькие избенки, одиноко стоящие в степи, могли быть разве что убогим и жалким прибежищем от непогоды для пастухов. Однако вокруг них была и пашня, и огород, и посевы. Значит, в хибарах жили, любили, рождались. Лоскутки обрабатываемой земли терялись в травянистых, залежных пространствах, размежеванных полосами бурьяна,— свидетельство того, что несколько лет назад арендатор-кочевник обрабатывал тут землю, а когда она истощилась, перестала кормить его, он забросил ее и перебрался на другое место, туда же и халупу свою перенес.

Кое-где по балкам можно было приметить остатки земляных насыпей — это арендатор пытался задержать и сохранить воду для себя и своего скота, но вода прорвала насыпь и ушла, оставив на месте пруда заилившееся, осокой поросшее сырое днище.

Да, человек не мог здесь жить и хозяйствовать без воды. Даже будучи арендатором, а не хозяином, он все же решался взяться за нелегкое и долгое дело, надеясь лишь на себя да на помощь своих ребятишек. Урывками, когда хозяйство давало короткую передышку, брал в руки лопату и шел сюда, в балку, чтобы отсыпать в давно начатую перемычку еще несколько тачек земли.

Правда, потом, с великим трудом сомкнув перемычкой берега, он не удосуживался обсадить свою плотину деревьями, чтобы те укрепили ее корнями и тем самым надолго сохранили творение рук его. Ему казалось, что такая гора земли, уплотнившись, будет лежать вечно. Но, придя сюда однажды, он обнаруживал огромную промоину в земляной преграде — и человек, как ни странно, терял всякий интерес к тому, что столько лет его занимало. Продолжая жить тут, за восстановление запруды больше не брался: то ли силы истратил, то ли убедил себя, что живет здесь временно.

Степь казалась безлюдной, дикой, первозданной. Однако едущие на телегах и бричках видели, что она, пусть и не была обжитой, освоенной, не была и девственной. Перед ними расстилалась залежная степь, выпаханная и отданная природе на излечение, на восстановление рождающей силы. Лишь кое-где, на балочных склонах виднелись белые от цветущего ковыля откосы, никогда не знавшие плуга.

Степь жила своими законами, и из обитавших на ней существ главенствовал вовсе не человек. Главным ее обитателем, как и в доисторических степях, был сурок-байбак. Куда ни глянь, всюду в траве серые столбики, это сурки сидят у своих нор на холмиках рыжей земли, вырытой из глубин. От обилия таких холмиков даже ровные пространства приобретали волнистую поверхность.

Однако главный обитатель был далеко не единственным. Докучаев знал это лучше всех, потому что много раз случалось ему ночевать в глухих хуторах, со всех сторон окруженных бесконечными степями. В этих захолустьях он любил выходить в тихую ночь на открытый воздух и вслушиваться а тишину. В такие минуты вспоминал чеховскую «Степь», приводившую его в восторг, и очень жалел, что не дано ему умения описывать вот так же.

О чем говорили едущие на телегах? О степи, конечно, о любимом, как часто шутил Докучаев, и наиболее удачном творении Зевса и Юпитера — о русском черноземе. Молодых его собеседников, покоренных совершенно исключительным воображением профессора, охватывало чувство удивления, «когда под его объяснениями мертвый и молчаливый рельеф вдруг оживлялся и давал многочисленные и ясные указания на генезис и на характер геологических процессов, совершающихся и скрытых в его глубинах!»

Спорили о том, какой была степь прежде и сильно ли отличается вот эта, теперешняя, от существовавшей много веков назад. Припомнили, конечно, степь, по которой ехал Тарас Бульба с сыновьями: в травах «всадника не было видно». И, конечно, опровергли Гоголя: то была не девственная степь, а бурьянная, бурьяны на залежах вон и сейчас в три аршина вырастают. Девственная, целинная степь была ковыльной, а ковыль вовсе невысок, самое большее по пояс.

Почти все они уже бывали в степях и знали, что байбак никогда не роет нору на бурьянистой залежи: ему нужен обзор далеко окрест. Значит, дожить до наших дней этот исторический зверек мог лишь в степи пусть и с густыми, но невысокими травами, в ковыльной степи.

Но, конечно же, сейчас их больше волновало не прошлое, а настоящее, поэтому много говорили о предстоящих работах.

Такие же группы ехали в Деркульскую степь Старобельского уезда Харьковской губернии и на Великоанадольский участок (продолжить дело Граффа) под Мариуполем.

В одной из этих групп, в великоанадольской, находился молодой выпускник Петровской академии, агроном Георгий Николаевич Высоцкий, которому будет суждено стать основоположником научного степного лесоразведения. Ну а пока что он смотрел по сторонам и, переполненный впечатлениями, сочинял «поэму»: «В июне все формальности свершили И в степь жрецы науки покатили, Взяв с собой для почвы буровы И папку для сушения травы. Для управления ж. наема рабочих, Для канцелярщины и всяких прочих Хозяйственных работ привлечены «Таксаторами» юные чины...»

Верили ли они в успех задуманного дела? Безусловно. Об этом свидетельствует уже то, что большинство из них включилось в Экспедицию по доброй воле и ни один никогда об этом не пожалел. Но каждый свято верил своему учителю, который говорил: «Трудность дела не может служить препятствием к тому, чтобы взяться за дело, когда есть люди, желающие что-нибудь делать».

Вот здесь, в степи, как на чистом листе бумаги, они и должны установить правильное соотношение между водою, лесом, полями, лугами и другими хозяйственными угодьями. Это соотношение нужно, чтобы создать равновесие между степным климатом, пашнею и культурной растительностью, какое когда-то существовало между климатом, девственной степью и дикой растительностью. Только при таком равновесии и можно будет оздоровить надорванный организм, крестьянин будет хозяйствовать на земле без риска и жить без постоянной угрозы голода.

Молодая наука возвышала их души. Учитель открыл им глаза на богатство России, стоящее, как он говорил, «неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа, богатств Сибири».

— Все это ничто в сравненни с предметом нашего разговора,— говорил профессор.— Нет тех цифр, какими можно было бы оценить снлу и мощь царя почв, нашего русского чернозема.

Два последних слова Докучаев произносил торжественно и гордо, потому что хоть и есть чернозем в других странах, да не тот — и солоноват, и питательными веществами беднее, и площади его не так велики. И с тем же торжестаом в голосе добавлял:

— Истинный почаенник, если ои любит науку н истину, если он думает о благе народном, не должен ни на минуту забывать, что наш чернозем был, есть и всегда будет кормильцем России.

Они, увлеченные ндеями учителя, готовы были поклясться, что не только не забудут этого, но и сделают вот здесь, в степи, все для того, чтобы выработать меры по оздоровлению русского чериозема и отаетить на труднейшнй вопрос, почему чернозем, царь почв, как величает его учитель, столь богатый питательными веществами, перестает кормить население.

Учителем Докучаев был там, в Петербурге, а тут ои строгий начальник Экспеднции, полководец, едущий во главе авангардного отряда. Для такой роли, и это признавали все, он обладал всеми даиными в изумительно счастливом их сочетании: широким и быстрым умом, способным легко ориентироваться в самых сложных условиях, железной волей, колоссальной энергией и работоспособностью, инициатиаой и смелостью, наконец, удивительной способностью убеждать, даже покорять людей...

Да, они ехали в степь, но думали, мечтали — в новую жизнь, которая открывалась только им и в которой они надеялись проложить новые пути к человеческому благополучию. А когда впереди свет, то кто же страшится идти на него! Тревоги и страхи вызывают лишь темнота н неизвестность.

3

Не знаю, где в степи они остановились: то ли ночевали под открытым небом, под телегой, то ли в халупе арендатора, нлн же ездили в блнжайшее село Орловку. Ближайшее, но не близкое — 12 верст до него. Ни в письмах, ни в официальиой переписке об этом нет ни слова.

Это не значит, что отправили Экспедицию и забыли о ней. Нет. В тот же месяц Писарев командировал в степь своего сотрудника Тура, начальника четвертого отделеиня Лесного департамента «по делам степного лесоразведения».

Тур выехал из Петербурга 21 июия, а вернулся 21 августа. В тот же день представил Писареву отчет.

Как свидетельствуют резолюции и документы, относящиеся к этому отчету, Писарев немедля распорядится изыскать деньги на постройку домов: по 750 рублей на дом для таксатора и по 550 рублей для кондуктора. Именно эти суммы указал в отчете Тур. В конце сентября в Каменной степи уже стояло три дома — в одном поселится таксатор, то есть Собеневский, в двух других — кондукторы, наблюдатели иа метеостанциях.

Через иесколько лет профессор Баракоа, один из участникоа Экспедиции, напишет в воспомннаниях: «Сам руководитель, разъезжая по необъятным простраиствам степей, наметил прежде всего места для метеорологических станций, втыкая колья н обозначая их иумерами». И дальше расскажет о том, что Докучаев выбрал для метеостанций идеальные места. И уточнит: идеальные для изучения всех особенностей открытой степи — на самых верхних точках перевалов, на которых древние кочевники так охотно насыпали курганы.

Но насколько выбор места удовлетворял научным требованиям, настолько же был неудобен для жилья человека, которому на себе приходнлось испытывать все невзгоды открытой степн, особенно зимой во время метели, когда иаблюдатель по нескольку дней бывал отрезан от мира.

Однако невзгоды выпадут им позже. А пока устраивались. На месте колышков, воткнутых Докучаеаым, устанавливали дождемеры, флюгера и другое необходнмое оборудоваине, поступающее из Петербурга в Хреновое, а оттуда на бричках — сюда, в степь. Бурнли скважины для замера грунтовых вод, рыли наблюдательные колодцы. Метеорологу Экспедицни Николаю Адамову хлопот хватало: надо было оборудовать больше десятка метеостанций на трех участках, а между ними — сотни километров, и везде надо успеть, иадо получить, доставить, установить, отладить, научить работать с приборами молодых ребят, ннкогда не аидевших подобных станций даже издали. Тут если не годы, то месяцы и месяцы нужны. Однако Докучаев знал, кому какое дело поручить, сам работал до изнеможения и от других требовал полной отдачи.

А по вечерам уставший профессор говорнл молодым своим помощиикам:

— В природе все красота, все эти враги нашего сельского хозяйства: ветры, бури, засухн н суховеи — страшны нам лишь только потому, что мы не умеем владеть ими. Они не зло, их только надо изучить и научиться управлять ими, и тогда они же будут работать нам иа пользу...

К августу обе метеостаиции в Камеиной степи были готовы. Тотчас же приступили и к наблюдениям за погодой, к изучению степного климата.

Это были первые а России метеостанции, расположенные не в городе, а в естественных природных условиях, чего Докучаев добивался на протяжении многих лет. Много лет ои доказывал, что «огромнейшая часть наших наиболее крупных станций, по самому положеиию их, изучает климат собственно Петербурга, а не окружающих его болот и пустырей, климат Харькова, Саратова, а не соседних с ними открытых степей, климат Нижнего Новгорода, Костромы, а не Ветлужской и Унженской лесной тайги».

Вот какой пробел ликвидирован! Станции в открытой степи действуют!

Главная физическая обсерватория, оценив всю важность метеорологических наблюдений в естественных условиях, отныне будет печатать их полностью в своих ежегодных «Летописях». Это, безусловно, свидетельствовало о полноте и высоком качестве иаблюдений. Так молодые люди «особо похвального поведения» подтверждали данную им в школе аттестацию.

Геодезисты в это время вели инструментальную съемку местности — им предстояло вычертить детальиый план в масштабе 100 сажен в дюйме. За одно лето они проложили на местности 500 верст нивелировочных линий. На съемочные планшеты нанесли подробную ситуацию степи.

Глинка, а потом и приехавший из Нижнего Сибирцев изучали геологическое строение степи и ее почвы, гидрографию и грунтовые воды. Ботаник Танфильев вел геоботанические исследоаания и фенологические наблюдения. Зоолог Силантьев изучал степную фауну.

Лесовод Ковалев еще только готовил землю для будущего лесопитомника, ио уже завозили семена древесных пород из Шипова леса, Хреиовского бора и Великоанадольского лесничества, уже прикидывали расположение в степи будущих лесных полос самого разного назначения: одни — для задержания и иакопления снеговых вод, другие — для защиты от ветра, третьи — для закрепления оврагов и балок.

«Магазинами влаги» называл Докучаев степные насаждения, поэтому, обозначив колышками места будущих метеостанций, он занялся размещением «магазинов» и тоже «выбрал места, наиболее отвечающие целям». Во всяком случае, надобности вносить какие-нибудь поправки не появилось и через сто лет.

Инженер Дейч уже обошел асе степные балки, сделал геологические изыскания и теперь был занят проектированием снстемы прудов, призваиных задержать стекающие с поверхности степи талые и ливневые воды.

Докучаев осмотрел шесть «предположенных прудовых водовместилищ» и с выбором места согласился. И записал для будущего отчета: «Пруды являются простейшим средством к сбережению от непроизводительной траты той

даровой и дорогой влаги, которую отпускает степям природа... в количестве относительно не столь малом, как привыкли думать».

И еще одна запись: «По сравнительной дешевизне устройства прудовые вместилища доступнее иных способов искусственного обводнения степей, почему выработка приемов пользования ими и опытный учет результатов заслуживают особого внимания».

А в качестве примечания добавляет: «Характерно, что различного рода ставки и пруды на степных участках значительно и быстро поднимают арендную плату за землю»...

Пруды эти сохранились. И сегодня, по прошествии без малого века, можно искупаться в их чистой воде, посидеть в прохладной тени вековых деревьев, оберегающих своими могучими корнями берега и плотины от размыва, а пруды — от заиления. Кажется, тут так все прочно и вечно, что, приди сюда еще через столетие, здесь будет так же тихо, надежно и уютно.

В сентябре недалеко от метеостанции Ковалев заложил первый древесный питомник в Каменной степи: для степных насаждений нужен будет свой посадочный материал.

Съемочные и нивелировочные работы в Каменной степи, которыми руководил Собеневский, закончили в середине ноября.

К этому же времени завершили и почвенные исследования. Они показали: всюду в степи, даже на выпаханных и оставленных по этой причине под залежь участках, был мощный чернозем (до метра толщиной!) и содержал он 8—9 процентов гумуса. И на такой-то земле, обладающей поистине богатырскими силами, случаются недороды!..

Что же нарушено в этом мощном черноземе с богатейшим содержанием перегноя? Почему его считают выпаханным? Не потому ли, что в девственной степи чернозем обладает зернистой структурой и представляет собой как бы самую лучшую губку, пронизанную мельчайшими порами и прекрасно пропускающую через себя воздух и воду? Неужели в этой-то структуре чернозема и есть его главное достоинство? Да, пожалуй. Выходит, чтобы возвратить чернозему прежнее плодородие, надо возвратить ему структуру девственных степей. Нужно, значит, озаботиться тем, чтобы сгладить следы неразумной культуры, обратившей эту чудную зернистую почву в пыль.

Через несколько лет, окончательно утвердившись в своем убеждении, Докучаев скажет слушателям:

— Я не могу придумать лучшего сравнения для современного состояния чернозема, как то, к которому я уже прибегал в своих статьях. Она напоминает нам загнанную арабскую чистокровную лошадь. Дайте ей отдохнуть, восстановите ее силы, и она опять будет никем не обогнанным скакуном. То же и с черноземом: восстановите его зернистую структуру, и он опять будет давать несравнимые урожаи.

4

Здесь я должен прервать повествование, чтобы поразмышлять, почему бумаги, испрашивавшие разрешения на прочтение публичных лекций, ходили по канцеляриям несколько месяцев, а с организацией Экспедиции было решено в считанные дни?

По-всякому истолковывалась эта поспешность позднейшими комментаторами. Однако все сходились в одном утверждении, что царское правительство торопилось создать видимость деятельности, и поэтому с большой помпой обставило организацию и отправку Экспедиции.

Мне кажется, это умозаключение ни на чем не основано. Во всяком случае, никаких подтверждений этому я не нашел.

Да, если думать, что никаких других мер правительством не предпринималось, то ему действительно нужно было бы поднять трезвон вокруг снаряжаемой Экспедиции. Но вспомним, как раз в это время генерал Анненков уже разворачивал общественные работы чуть не по всей России. По тому времени они казались до того масштабными, что на их фоне докучаевская Экспедиция была едва ли заметна. К тому же она снаряжалась для «производства опытов», тогда как Анненков разворачивал практические работы (что они окажутся напрасными, об этом мало кто догадывался).

Однако, чтобы прийти к окончательному выводу, вспомним еще одно утверждение комментаторов докучаевских трудов и его биографов. Они в один голос говорят, что инициатором Экспедиции в южные степи был, конечно же, сам Докучаев. Не скрою, мне тоже так хотелось думать, и я искал этому подтверждения. Но чем больше искал, тем сильнее сомневался, а потом сомнения мои переросли в уверенность: нет, инициатором был кто-то другой, не Докучаев.

Может, сам министр Островский?.. Нет, пожалуй. Он был стар и готовился уходить в отставку, а когда ушел, то многие деятельные люди вздохнули с облегчением. Даже директор Лесного департамента Писарев был рад смене министра, о чем и написал Докучаеву: «Я начинаю оживать духовно. У Ермолова много энергии, знаний и доброго почина. Совместная с ним работа делается крайне интересною». Да и Докучаев, конечно же, не забыл непоследовательности министра в деле организации почвенного комитета: ему говорил «да», и сам же отдал это дело на бесконечные обсуждения.

Директор Лесного департамента Писарев?.. Человек активный, всячески содействовал Докучаеву в делах Экспедиции. На просьбы откликался моментально, а главное — все их удовлетворял. И не случайно Докучаев, находясь в Экспедиции, свои письма и телеграммы в Лесной департамент адресовал только ему, Писареву, а не столоначальникам, занимавшимся обеспечением Экспедиции.

А может, Ермолов?.. Перечитывая письма Писарева Докучаеву, я задержался на следующей фразе: «Наша Экспедиция входит в программу нового министра, и необходимость этой Экспедиции выяснена в книжке «Неурожай и народное бедствие».

Вы, конечно, заметили, что министр и книжка попали в одну строку? Дело в том, что новый министр вновь созданного Министерства земледелия и государственных имуществ и автор «Неурожая...» — одно и то же лицо, А. С. Ермолов.

О нем высоко отзывались все прогрессивные ученые того времени, а Энгельгардт даже мечтал, чтобы министром вновь создаваемого министерства стал если не Менделеев, то Ермолов, человек честный, умный, деятельный, зарекомендовавший себя не словами, а поступками, к числу которых по праву относил и написание книги, в которой первым заявил обществу о народном бедствии. Конечно, он мог и поплатиться за этот смелый шаг, но молва опередила действия правительства. Молва поставила его во главе нового министерства задолго до его фактической организации. Значит, он, еще не став министром, мог подсказать идею и настоять, не теряя времени, на необходимости научной экспедиции с целью закладки опытов в южных степях, о чем писал и в книге.

Предвижу, как ополчатся ученые на эти мои рассуждения: зачем, мол, доказывать недоказуемое? А я уверен, что в конце концов доказательство найдется.

Заново вчитываюсь в письма: вдруг что-то пропустил в них. Самая оживленная переписка в эти весенние месяцы 1892 года была с Измаильским.

Так и есть! В письме от 20 мая Докучаев пишет: «А тут, почти канун моего отъезда из Питера, новое предложение со стороны Министерства государственных имуществ: взять на себя осуществление уже знакомого Вам проекта по регулированию водного хозяйства в южной России».

Читаю воспоминания С. А. Захарова, которого Докучаев взял с собой в свою последнюю поездку на Кавказ. В пути на ночлегах молодой ученый, ставший почвоведом под влиянием Докучаева, задает своему учителю важный

для нас вопрос: как родилась идея снарядить Экспедицию? И вот ответ самого Докучаева: «Наступил голодный год. Я прочел лекции о степях, где между прочим указывал на причины засухи и голодовок. Это обратило внимание кого следует, и я получил приглашение организовать всестороннее исследование природы степей на местах».

В ответе неясно лишь одно: кто именно обратил внимание. Может, Докучаев и сам не знал этого? Вряд ли. Тогда почему же не сказал? Тем более Докучаев всегда отличался объективностью, даже если речь заходила о противниках, — сделавшему доброе дело он всегда отдавал должное и никогда не таил своей благодарности.

Вот почему я думаю, что он назвал имя этого человека, но при публикации воспоминаний Захарова, а публиковались они в 1939 году, редакция журнала «Почвоведение» заменила это конкретное лицо на нейтральное «кого следует», не решившись упоминать царского министра.

В Каменной степи мне показали фильм «Василий Докучаев», снятый в 1961 году. Есть в этом фильме и Ермолов, которого играл Е. Копелян. Боже мой, какой же это стоеросовый помещик-степняк, представший на коне перед Докучаевым мрачной силой, олицетворяющей все мыслимое и немыслимое невежество.

Вскоре после этого я поехал в Зауралье к Терентию Семеновичу Мальцеву. Оказавшись в его богатейшей библиотеке, на всякий случай спросил, не доводилось ли ему читать труды Ермолова.

— Ну как же,— быстро откликнулся Мальцев,— Алексей Сергеевич Ермолов, первый наш министр земледелия, был очень толковым ученым. он меня очень многому научил.— И, к немалому моему удивлению, снял с полки несколько объемных томов. Подавая один из них, сказал: — Советую и вам почитать, если не читали, очень дельные мысли высказывает не только о системах земледелия, но и о российской жизни.

Эта книга и сейчас у меня на столе, среди трудов Энгельгардта, Измаильского и Докучаева.

Скажут: ну а почему бы не допустить, что инициатором Экспедиции был все же не чиновник, а ученый? Ведь в то время было немало выдающихся имен, Костычев, к примеру.

Костычев?.. Да, время поставило эти два имени, Докучаев и Костычев, рядом. Поставило в высшей степени справедливо. Но при жизни у них никогда не было не только дружбы, но и согласия. Больше того, Костычев, как никто другой, препятствовал всем начинаниям Докучаева, препятствовал так яростно, что министерским чиновникам приходилось уговаривать его сбавить пыл. Это был единственный человек, адресуясь к которому на совещаниях или заседаниях Ученого совета, Докучаев говорил «господин Костычев». Точно так же обращался к Докучаеву и Костычев.

Нет, не мог Костычев ходатайствовать об экспедиции, в основу опытных работ которой легли докучаевские положения.

Улучшить природу степей, доказывал Докучаев, можно лишь экологической системой мер. Он стоял на том, что все природные условия в равной степени важны, а поэтому и решать проблему спасения от засух и неурожаев нужно в комплексе, путем улучшения всех природных условий данной местности. Костычев считал, что решить эту проблему можно проще — совершенствованием агротехники, то есть тем, что Докучаев относил лишь к пятому «надо».

Это противостояние двух великих ученых не отменит даже смерть. И хотя время вроде бы и помирит их, сделает их имена неразлучными, однако костычевское направление в науке и через сто лет будет, даже не осознавая этого, враждовать с докучаевским и не даст ему проявить себя на больших территориях, не пустит за пределы Каменной степи.

Вспомним снова, с какой быстротой решилось дело. Уже одно это свидетельствует о том, что инициатива принадлежала высокопоставленному чиновнику,— предложения ученых никогда так быстро в жизнь не воплощались.

Снова и снова я листал и перечитывал свои выписки из писем, архивных документов и старых публикаций. Не может быть, чтобы кто-нибудь из сподвижников Докучаева, принимавших участие в Экспедиции, не обмолвился об инициаторе. Вот воспоминания Петра Федоровича Баракова. Он участвовал в Экспедиции, а в 1897 году, когда Докучаев заболел, принял от него должность руководителя. Бараков, как и Захаров, вспоминает лекции Докучаева, в которых профессор «обратился с мощным призывом реставрировать современные нам степи». И сразу после этого пишет: «Островский и Писарев предложили Докучаеву казенные земли для исследований».

Воспоминания эти написаны в 1914 году и тогда же опубликованы в одном из научных трудов, изданных в Саратове.

Подождите, подождите! Как же я столько раз читал «Труды Экспедиции» и не обратил внимания вот на эту фразу: «Заканчивая введение, мы не можем не принести здесь глубокой благодарности бывшему министру государственных имуществ, статс-секретарю М. Н. Островскому, министру земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолову и директору Лесного департамента Е. С. Писареву за высокопросвещенный почин в столь важном для России деле».

За почин, а не за содействие! И это не угодническое расшаркивание — Докучаев не только никогда не расшаркивался, но слыл в высшем свете грубияном, как раз за неумение льстить и угождать малополезным «болтунам».

Итак, Островский, Ермолов и Писарев. А я было вычеркнул первого из числа возможных инициаторов. Да, не зная всех фактов, не выноси суда ни одному человеку.

5

— Милостивые государи! Кто из нас не слышал те общие отголоски об обеднении России лесами, которые все громче и настойчивее раздаются в последнее время,— так начал свой доклад в заседании акклиматизационного ботанико-зоологического съезда в Москве 28 августа 1892 года один из ораторов. Кто он? Думаю, этот же вопрос задавали друг другу и собравшиеся. И поначалу, должно быть, недоумевали, зачем этот незнакомый господин говорит им, ботаникам и зоологам, о значении лесов. Должно быть, шел на заседание Лесного общества, а попал на съезд. И еще, наверное, думали, что уж в России-то печалиться о лесах смешно: куда ни поедешь — всюду на сотни верст леса и леса, света белого не видно.

А оратор, продолжая свою речь, призывал слушателей признать уничтожение лесов «злом всеобщим, злом государственным, к борьбе с которым должны быть привлечены все имеющиеся силы и средства».

Признаюсь, я читал и перечитывал этот доклад с огромным интересом — никогда еще не приходилось мне так остро ощущать трагическую судьбу отечественных лесов.

Сегодня мы многое забыли, многие страницы истории где-то затеряли. Только сейчас, работая над этой книгой, я впервые натолкнулся на «проект по лесному хозяйству», который вручил «Господину Министру Государственных Имуществ Михаилу Николаевичу Муравьеву» помещик Тульской губернии граф Лев Толстой в октябре 1857 года.

Так вот, в самом начале оргий в лесах Лев Толстой предлагал передать дело лесонасаждения «вольным промышленникам, обязанным за право владения землей очищать срубленные участки от пней и других пород и засаживать их определенным количеством положенного рода саженцев». Сколько вырубил, столько и засади снова лесом, чтобы не оголялась земля Отчизны.

Нет, ни Льву Толстому, ни многим другим писателям, озабоченным той же мыслью и в наши дни, не удалось понудить «вольных промышленников» восстанавливать вырубленное.

А вот это, думаю, послушать интересно всем, и не только участникам съезда, но и их детям, внукам и правнукам. Однако сначала задумаемся над вопросом,

заданным докладчиком: как, какнм образом в России, имевшей объемистый том специальных лесных законов, регламентнрующнх постановку дела до мельчайших подробиостей, в стране, где за самовольную порубку деревьев, за самовольный выпас скота в лесу крестьян пороли, штрафовали, отдавали в солдаты н ссылали на каторгу, каким образом в такой стране лесное дело могло дойти до столь ненормального положения, последствия которого все заметнее сказывались на таких трудно поправимых фактах, как обмеленне российских рек? Вон когда оно началось, еще в прошлом веке.

Надо думать, докладчнк был человеком не только знающим, но и смелым, желавшим докопаться до самых глубинных причин бедствий, коренившихся в самом обществе. Докапываясь сам, он и других побуждал осознать, что «сама законодательная власть не видела в лесе фактора, играющего видную роль в таких важных явлениях, как распределение атмосферных осадков, обилие речных вод, продолжительность весенних половодий», а видела в нем лишь поставщика древесины, пригодной на то или другое употребление.

Оратор счастливо сочетал в себе знание предмета с умением живописать. Даже представители тех самых «десятков тысяч других людей», присутствовавших на съезде, не могли не согласиться с той реальностью, которую столь ясно и четко он обрисовал — словно бы распахнул все окна с видом на безбрежные просторы России, на которых вершилось бездумное дело. И потрясающие душу звуки этой вакханалии заполнили зал съезда.

— Треском огласился воздух от падающих вековых гигантов на огромном пространстве средней, частию северной и южной полос России. Лес сводился тысячами, десятками тысяч десятин. Вырубленные пространства сплошь были завалены ветвями, сучьями и другими отбросами. Почва, освободившись от лесной защиты, открытая прямому действию солнечных лучей, скоро высыхала. Но еще скорее высыхал тот хлам, что был оставлен на ней. Случайно брошенная спичка неосторожного охотника, незагашенный костер беззаботного пастуха — и пожар довершал начатое человеком дело опустошения, и в какие-нибудь двадцать — двадцать пять лет там, где были непроходимые и непроглядные леса, явились пустыри... Вот вторая ближайшая причина нашего оскудения лесами. И, конечно, ни продававшим леса, ни рубившим их не приходила в голову мысль, что деятельность их влечет за собой такой общегосударственный вред, на поправление которого, если только оно возможно, потребуются целые десятилетия...

Беда готовилась, беда творилась собственными руками.

— И в самом деле,— продолжал тревожить делегатов съезда оратор,— если количество лесов уменьшилось настолько, что это повлияло на водность рек, а высыхание значительных пространств — на упадок грунтовых вод тех местностей, то ясно, что при наличном количестве лесов нельзя рассчитывать ни на поднятие грунтовых вод, ни на увеличение речных. Следовательно, чтобы достигнуть того и другого, нужно восстановить леса и оградить почву от высыхания, ибо какой бы интенсивности ни достигло сельское хозяйство, как бы высоко ни стояла его культура, но без необходимого количества атмосферных осадков и почвенной влаги никакие усилия сельских хозяев не приведут ни к чему, и страшный бич — засуха — заставит нас пережить, может быть, еще не одну тяжкую годину, подобную только что пережитой и еще переживаемой нами...

Ах, беспокойный человек, верящий в силу разума! Страстную речь свою он произносил с нескрываемой надеждой, что съезд, «компетентное слово которого будет услышано в самых отдаленных местах России», выскажется в таком же духе. Он веровал, что, высказавшись так, съезд «в значительной степени способствовал бы проведению в общество идеи о значении лесов не как древесины, а как фактора, значительно влияющего на успех сельского хозяйства, которое составляет силу и мощь земли Русской», идеи, которая, увы, и через сто лет не будет главенствовать а умах человеческих.

Нет, не пропали даром публичные лекции Докучаева, не зря писал он статьи в «Правительственный вестник». Идеи начинали служить Отечеству, о чем и свидетельствовали речи на съездах, статьи в газетах.

Сознание необходимости лесоразведения, сообщалось в публикациях, настолько проникло «в более интеллигентное общество сельских хозяев», что многие частные лица уже приступили к посадкам по своей доброй воле. К сожалению, труды этих пионеров составляли лишь каплю в море нашего степного безлесья.

Не замолчали и сами пионеры. Один из них с отчаянием взывал: «И когда-то голос наш дойдет и будет услышан тем, словом которого все на Руси зиждется, все движется, все работает на пользу Отечества...»

И он же в газете «Гражданин» 24 сентября 1892 года выступил со статьей «Размышления сельского хозяина», в которой доказывал:

«Лесоразведение должно быть обязательным, обязательною государственною повинностью для всех, занимающихся земледелием, а также для учреждений, интересы коих связаны с земледелием. Всякий земледелец, не исключая крестьянских обществ, должен иметь не менее определенного пространства земли, занятой лесными посадками или взрослым лесом. Основанное на таких началах лесоразведение могло бы оказать действительную ожидаемую от него пользу и повлиять на овлажнение климата целой местности».

В «интеллигентном обществе сельских хозяев», к которому относился и автор статьи, все отчетливее понимали, что «работать в убыток немыслимо, какова бы ни была привязанность к земле».

И хозяин, возвысившись до научного понимания проблемы, писал:

«Настала, однако, пора взяться за ум, за восстановление равновесия в природе, равновесия, нарушенного хищническою рукой цивилизованного человека. Теперь приходится позаботиться об обеспечении существования не только будущего поколения, но и настоящего, иначе нам останется только бежать, покинув все, куда глаза глядят — в Сибирь, в Америку, туда — где земля и природа все еще в состоянии дать пищу человеку. Попытки этих бегов мы уже видим».

Вот так. В те же самые дни тульский губернатор отрицал «наличность бедствия» по вверенной ему губернии, а тульский землевладелец едва сдерживал крик о скорейшей помощи в борьбе с общим стихийным врагом — повсеместным оскудением влагой. И все же не сдержался, крикнул:

«Вразуми же Бог того, кому вручена судьба нашего многомиллионного отечества, войти в положение нашего земледелия и тем спасти нас и детей наших от будущих бедствий и разорения».

Вразуми! Не блудного сына своего, не убогого умом домочадца — царя вразуми!.. Да такого не позволял себе ни один критик, а если и позволял, то лишь в доверительных разговорах с друзьями, в письмах, но не в статьях своих.

Вразуми!.. Я еще раз посмотрел на название газеты, опубликовавшей эту дерзкую просьбу, и поразился: «Гражданин»! Газета, издававшаяся на правительственную субсидию и которая уже в те годы открыто называлась черносотенной и ультраконсервативной. Редактировал ее князь Мещерский Владимир Петрович, «злейший враг даже умеренных реформ, вдохновитель реакционной политики Александра III».

Видно, не ожидал князь Мещерский такой дерзости от землевладельца-дворянина, опубликовал, не дочитав статью до конца.

Однако просьба сельского хозяина так и не дошла до российского императора.

Просьба не дошла, но идея степного лесоразведения крепла в сознании многих и многих земледельцев. Идея эта все настойчивее звучала и в ответах на вопросы Вольного экономического общества: в степных наших уездах ветрам гулять нет почти препон, потому что и в них самих, «кругом и около, до Азии уже не осталось задерживающих лесов». Так жить нельзя. Земледелие превратилось в игру «орлянку». Нужны пруды, нужны посадки по оврагам, по балкам, вокруг прудов.

6

В конце ноября участники Экспедиции завершили полевые работы и покинули Каменную степь. Но покинули ее не все: в ней оставались заведующий участком Конрад Собеневский и два наблюдателя — Изосим (Зомма) Белоус, откомандированный в Экспедицию Киевско-Подольским управлением, и Баранец, прибывший в Каменную степь в конце августа по окончании в Хреновом лесной школы, удостоенный за отличную учебу высшей награды.

Им первым предстояло прожить всю зиму в степи, на что не решались даже арендаторы. Трое в белом безмолвии. К тому же лишь двое будут жить по соседству, а третий на метеостанции в полутора километрах от них. Им первым выпало испытать все невзгоды открытой степи, вести каждодневные наблюдения да еще доставлять из Хренового за 30 степных верст весь инвентарь, который к весне должен быть на месте, потому что с весны начнутся все те практические работы, для выполнения которых и снаряжалась Экспедиция.

«Наконец-то я отоспался и привел себя в порядок,— сообщал Докучаев другу своему Измаильскому после бесконечных странствий по степям.— Семья вернулась с дачи, и я снова начинаю втягиваться в обычные зимние занятия».

Настроение у Докучаева хорошее, даже прекрасное: работы южной Экспедиции обеспечены, а это самое главное.

Сибирцев засел за «Предварительный отчет о деятельности Особой экспедиции». Отредактировав, Докучаев подписал его в канун Нового года. Потом садится и пишет «милостивому государю Михаилу Николаевичу Островскому» неофициальный отчет.

Я читал этот документ и думал: не зря мотался Докучаев по южным степям России. Он, сын России, зрел такие размеры стихийного зла, причиняемого хроническими засухами, бурями, суховеями, непомерным разрастанием оврагов, движущимися песками, усыханием водоемов, понижением грунтовых вод, выпахиванием и истощением почв, что не мог теперь отдыхать спокойно. Ему надо было выговориться, поэтому и сел писать неофициальный отчет. В нем он убеждал министра: «Необходимо привлечь к этой гигантской борьбе наше общество, потому что одному правительству едва ли справиться с невзгодами». Для этого «правительству предстоит прежде всего разъяснить самый вопрос — характер и размеры зла, а равно и способы борьбы с ним... Такое разъяснение должно стать достоянием всей грамотной России».

Он уже знал, что земства некоторых губерний приняли постановление о запруживании балок и обязательном полезащитном лесонасаждении. Как выразился Измаильский, «неурожай раскачал черноземную силу».

Раскачать-то раскачал, да на пользу ли?

А ну как вся эта тьма властей начнет так же спешно вразумлять крестьян, которые, движимые нехорошим предчувствием, уже на первых же шагах «враждебно смотрели на «барские» затеи».

Чтобы этого не случилось, Докучаев советует министру «выработать и издать новые законоположения о водном и лесном хозяйстве в степях России». Настаивает на расширении Экспедиции — нужны на первое время еще два участка: один на водоразделе Днепр — Днестр, а другой где-нибудь в Саратовской, Симбирской или Самарской губернии. Все участки сделать опытными станциями — «и тогда будут они по всей наиболее хлебородной части нашей черноземной полосы» служить «ж и в ы м, н а г л я д н ы м и б е с с п о р н ы м доказательством в о з м о ж н о с т и, п о л е з н о с т и и п р а к т и ч н о с т и новых мероприятий». Требует расширить задачи Экспедиции, «возложив на нее выработку, испытания и учет не только лесного и водного, но и з е м л е д е л ь ч е с к о г о хозяйства южной России, в и х в з а и м н о м с о ч е т а н и и и в о з д е й с т в и и», а для этого просит прикомандировать к Экспедиции опытного ученого агронома и пять молодых выпускников средних сельскохозяйственных школ.

Итак, 4 января 1893 года Докучаев подписывает неофициальный отчет министру, а 10 января высылает Измаильскому экземпляр «Предварительного отчета о деятельности Особой экспедиции». Он был доволен сделанным и поэтому торопился поделиться радостью своей с человеком, который лучше других понимал его.

Однако Измаильский прислал ответ, который заметно остудил Докучаева. «Думаю, что если я увлекаюсь культурными мерами,— писал он,— то в той же мере Вы увлекаетесь мерами облесительными; их значение, по-моему, под большим знаком вопроса. Практическое осуществление их в размерах, могущих иметь значение, представляется мне делом почти невыполнимым, если принять во внимание культурное и материальное положение страны. По-моему, главное значение Ваших работ — выяснить значение различных мер, а до их практического осуществления еще очень далеко...»

Спохватиться бы ему и не продолжать эту мысль, однако он решил договорить ее до конца:

«Я почти убежден, что Вы, глубокоуважаемый Василий Васильевич, сами лично придаете наибольшее значение первой части Ваших работ, а не практическому их осуществлению; об этом последнем по необходимости Вам приходится писать с несоответствующим их значению подчеркиванием. Это тоже одна из практических работ к осуществлению главной задачи».

Если бы так сказал кто-нибудь другой, если бы кто другой заподозрил его в хитрости, то Докучаев просто бы вычеркнул этого человека из числа своих знакомых. Он никогда не брался за дело, в успех и полезность которого не верил. Он никогда не хитрил ни в отношении к делу, ни в отношениях с людьми, поэтому многие считали его тяжелым человеком, поэтому в жизни у него было так мало друзей. И вот сказал ему такое человек, которого он называл приятелем, любил и будет любить до скончания жизни своей; именно ему он напишет последнее, предсмертное письмо.

Докучаев был обижен неверием друга и ответил Измаильскому не сразу: сослался потом на дела и разъезды. А сославшись и извинившись, написал, будто клятву отчеканил: «Я постараюсь (и если не помешают, то и с п о л н ю) дать то, что обещано мною в з а г л а в и и отчета; а может быть, и больше... Впрочем, будущее покажет лучше. Откуда взяли Вы, что мы идем по разным дорогам?»

Думается, неверие это было вызвано не только «культурным и материальным положением страны». Перечитаем еще раз первую фразу Измаильского: «Если я увлекаюсь культурными мероприятиями, то в той же мере Вы увлекаетесь мерами облесительными». Дело в том, что как раз в этот период Измаильский пришел к убеждению, что поднять уровень грунтовых вод на пашне («заболотить», говорил он) можно «строгим выполнением одного условия: чтобы вся атмосферная влага входила в почву». Но в отличие от Докучаева считал невозможным добиться этого одними агротехническими приемами. Докучаев ответил ему на это: «Сердечно боюсь, что Вам придется горько разочароваться в Ваших мечтах заболотить Дьячковскую степь при помощи чисто культурных земледельческих приемов».

Уже через год Измаильский признается Докучаеву в своей ошибке: «Грунтовые воды пополняются за счет атмосферной влаги не через всю поверхность почвы, а в исключительных местах; такими питающими пунктами являются прежде всего наши воронки и затем пруды, расположенные в верховьях, и различные заросли в открытых степях». Но как агроном-практик все еще колебался: «Что при нашей бедности логичнее: тратить на обводнение и облесение жалких и незначительных площадок или затратить раньше на изучение — в обширном смысле слова — всех условий, окружающих хозяина южных степей?..»

Докучаев одобрительно относился к поискам Измаильского, внимательно изучал его земледельческие приемы, потому что хотел применить их в ряду с другими мерами и на участках Экспедиции.

Как раз в это время Измаильский готовил свой труд «Как высохла наша степь?», который станет широко известен во всем научном мире. В нем он про-

следит историю оскудения степей и предупредит человечество: в недалеком будущем при таком хозяйствовании черноземные земли способны превратиться в пустыню. Однако Измаильский не только пугал, но и отвечал на многие не разрешенные наукой вопросы, касающиеся и прошлого, и настоящего. Он первым определил динамику влажности почвы в зависимости от рельефа местности и культурного состояния пашни, что давало возможность человеку хозяйствовать на земле разумно.

На основании многолетних полевых опытов Измаильский доказал: почвы тем в большем количестве вбирают в себя дождевую и весеннюю воду, тем меньше ее испаряют, чем структура этих почв ближе к зернистой структуре девственных степей. А раз это так, то часто повторяющиеся неурожаи от засух происходят не от изменения климата, а от нарушения человеком зернистой структуры почвы.

Все эти идеи Докучаев знал от него задолго до их опубликования. Знал и радовался тому, что наконец-то «наука проникла в темную область земледелия, в которой до сих пор господствует еще рутина». Поэтому-то в том же ответном письме Докучаев просит Измаильского посетить весной участки Экспедиции, «чтобы помочь нам организовать там пока небольшие опытные поля» — на первое время десятин по двадцать.

Измаильский с удовольствием принял предложение, и Докучаев явно подобрел, подробно пишет ему о целях, которых он намерен добиться устройством опытных полей. Делится и самой радостной перспективой: «Будем просить Вас взглянуть сельскохозяйственным оком и на все наши участки целиком. Весьма возможно (Ермолов так желает), что со временем и все наши участки превратятся в огромные опытные поля».

Ермолов, и это уже знали все, только что стал министром еще не учрежденного Министерства земледелия и государственных имуществ.

Вы помните, как ждал этого учреждения и этого назначения Энгельгардт. «Кому же и быть министром земледелия, как не Ермолову?» — писал он Докучаеву. Однако события этого так и не дождался. 21 января 1893 года Александр Николаевич Энгельгардт, представитель передовой русской интеллигенции, выдающийся ученый, сельский хозяин и химик, ссыльный профессор, положивший основание первой в России опытной станции по изучению минеральных удобрений, скончался от паралича сердца на 61-м году жизни.

Тяжело пережил эту утрату Докучаев. Умер друг и единомышленник. И с годами эта утрата будет сказываться все заметнее.

Ну а от Ермолова никаких особых подвигов Докучаев не ждал, но все же как всякий деятельный человек надеялся на лучшее: во главе министерства — ученый. И Экспедиция, как запиской уведомил Докучаева Писарев, теперь «входит в программу нового министра».

7

На этот раз съезжались в степь порознь. Первым, в двадцатых числах апреля, прибыл из Петербурга Николай Михайлович Сибирцев — на него Докучаев возложил все заботы по организации практических работ.

Вскоре из Новоалександрийского института приехал профессор Дейч. Ему первому предстояло начинать обустройство Каменной степи — надо было приступать к строительству плотин а степных балках.

Из Самары приехал Ковалев. Пора было завозить саженцы из Анадоля и других лесничеств, закладывать древесную школу. Высеянные осенью в питомнике семена липы, дуба, акации, сосны, как и всех других пород, взошли вопреки всем сомнениям хорошо и дружно.

Сибирцев с Ковалевым наметили в натуре места для первых защитных и снегосборных посадок: квадрат вокруг наблюдательного колодца — 1 десятина, и полосы в зоне метеостанции — 5 десятин.

Исполнение всех работ возлагалось на Собеневского. Стройка, распашка, посадка, наем рабочей силы и тягла — все на нем. И все надо успеть, все сделать хорошо. Он успевал и делал. Ни один из чинов Экспедиции ни разу не пожаловался на него Докучаеву. Хотя никто и не хвалил. Так бывает: есть люди, у которых дело вроде бы само собой делается, а они не шумят, не суетятся и никому в глаза не бросаются.

Правда, на двух других участках дела обстояли хуже. Все время что-нибудь да срывалось, накапливались и недоделки. Поэтому и в переписке чаще упоминались именно они. Однако Докучаев все больше привязывался душой именно к Каменной степи, где природные условия были куда хуже, чем в округе, а дела шли лучше.

В первых числах июля Докучаев, разделавшись с институтскими делами в Новоалександрии, торопится на степные участки — туда собирались приехать директор Лесного департамента Писарев и новый министр Ермолов. Там, на месте, с ними легче будет решить многие вопросы.

Однако Писарев, давно уже болевший, известил Докучаева, что уезжает на лечение в Мариенбад, и поэтому нынешним летом на участки не поедет. Но сообщал, что Ермолов будет непременно, и просил: «Было бы крайне важно для нашего общего дела, если бы вы, Василий Васильевич, могли показать наши начинания Ермолову лично».

Не знаю, приезжал ли министр на участки,— ни в письмах, ни в документах не нашел ни слова об этом. Если и приезжал, то, значит, ничего важного не случилось. Даже вопрос с организацией сельскохозяйственных опытов по-прежнему оставался нерешенным. А Докучаев только о них теперь говорил и писал. Уже был готов и проект этих опытов, составленный вызванным из Одессы профессором П. Ф. Бараковым.

Петр Федорович не первый раз работал с Докучаевым, под его началом он уже участвовал в почвенных исследованиях Нижегородской губернии. И работал неплохо, со знанием дела.

И все же Измаильский в агрономических иксах разбирался поосновательней. Жаль, что нет его в Экспедиции. Пусть хоть почитает, сделает свои замечания. И Докучаев посылает проект на хутор близ Диканьки — Измаильскому.

«В проекте Баракова всюду скользит книжка,— писал Измаильский, возвращая проект,— я стараюсь несколько более развить практическую основу, указавши на теоретические заблуждения, положенные в основу опытов».

В организации сельскохозяйственных опытов Докучаев был особенно щепетилен, ему хотелось услышать как можно больше разумных советов, чтобы сделать как можно меньше ошибок. И он решил опубликовать проект Баракова с замечаниями Измаильского, «именно с целью подвергнуть его критике» вынес его на всенародное обсуждение.

Опыты эти, мечтал Докучаев, помогут в дальнейшем приступить к созданию на каждом участке образцового хозяйства, тесно связанного с новыми, рациональными водными и лесными порядками.

Что же предлагал Бараков? Он был убежден, что сельские хозяева сами помогают засухе в ее опустошительных действиях. Помогают как беспощадным истреблением лесов, так и широкой распашкой земель в погоне за обширными посевами, дающими в благоприятные годы сравнительно высокие урожаи хлебов. Оголив черноземную степь и нарушив естественное зернистое строение почвы, человек с плугом открыл простор для разрушительной деятельности атмосферных вод и ветра. Неправильно обрабатываемая почва стала меньше впитывать влаги и уже по одному этому сделалась суше.

Впервые, пожалуй, было замечено, а в «Трудах Экспедиции» зафиксировано: стерня на полях оказывает довольно сильное влияние на защиту почв от выдувания, в степной зоне она играет ту же роль, что и живой травянистый покров...

Что «водные и лесные порядки» будут созданы, Докучаев уже не сомневался: в степи работали знающие, увлеченные своим делом гидротехники и лесоводы. Но вот знающего агронома все еще не было.

8

А работы в степи с каждым годом обретали все больший размах: по степным балкам уже голубели пруды, а вокруг, деля степь на квадраты, зеленели лесные полосы. Накапливался опыт, а с ним приходило и умение. И уже не по пять-шесть десятин посадок прибавляли за весну и осень, а по 15—20.

Однако все дальше отходил голодный 1891 год, все реже вспоминали засуху. Россия снова была с хлебом. Опять цены на него упали и достигли такого низкого уровня, до какого еще никогда не опускались: пуд ржи продавали за 30—35 копеек, а местами и того ниже, а ячмень и вовсе шел почти задаром — по 17—20 копеек. И на этом уровне цены держались довольно долго, что не позволяло крестьянам поправиться.

В декабре 1894 года Измаильский, по-прежнему управлявший имением Кочубея, писал Докучаеву с тревогой: «Наши великие люди поехали в Питер решать вопрос, как сельское хозяйство окончательно добить; теперь оно едва волочит ноги». И тут же объяснял: «Имею 300 тыс. пудов продажного хлеба и ожидаю от хозяйства убыток! Вот каково наше положение».

Ну, Кочубей не пропадет, он может подождать с продажей — к весне хоть чуть-чуть да подорожает. А крестьянину как быть? Ему, бедолаге, хоть плачь, а вези на базар сейчас и продавай.

Усмехнется читатель: мол, не сгущай краски, писатель, не придумывай. Но я ничего не придумываю — это сам министр земледелия засвидетельствовал: «От крестьян приходится слышать ужасающие пожелания дальнейших неурожаев».

И не сдержался, добавил с горечью: «Теперь ведь и в хороший год наш крестьянин зачастую впроголодь живет, вынужденный отвозить на базар и продавать за бесценок значительную часть собранного им хлеба,— немцев им кормить».

Да уж лучше опять неурожай — хлеб свою бы цену имел. Разговоры о борьбе с засухой все больше раздражали. Все меньше понимали: зачем? Бог захочет, так и на камушке родится хлеб, судили-рядили одни. Другие, люди ученые, пускались в долгие рассуждения: мол, вопрос о влиянии лесов на климат и урожай спорный, так что нечего и тратиться на все эти облесительные и обводнительные работы.

Крик протеста — две телеграммы, летевшие в Петербург. Одна — министру Ермолову:

«Ввиду крайней сложности и трудности задач экспедиции почтительнейше просил бы ваше превосходительство утвердить смету согласно личным переговорам смета и без того сильно сокращена мною — Докучаев».

Другая — директору Лесного департамента Писареву:

«Просил телеграммой Алексея Сергеевича и вас убедительно прошу не сокращать сметы опасно — Докучаев».

Ермолов, пришедший в ужас от пожеланий дальнейших неурожаев, на телеграмме написал: «Увеличение расходов я признаю ныне принципиально неудобным».

И из сметы были полностью вычеркнуты расходы на сельскохозяйственные опыты. Всего же Экспедиции выделялось на 1894 год 39 445 рублей. Такие суммы на иных опытных станциях составляли перерасход сметы, а не саму смету.

Будь жив Энгельгардт, не преминул бы утешить: вы, мол, и малыми средствами способны большие дела свершить, какие не под силу иным деятелям с миллионами. Однако почему же увеличивать расходы на работы в степи министр признал «принципиально неудобным»? Ведь они лично переговорили и договорились, что пора приступать и к сельскохозяйственным работам, на которые, условились, будет выделено 6360 рублей. Всего-то!

Может, ответ кроется вот в этой записке Писарева, которой он спешил уведомить Докучаева: «Статс-секретарь Михаил Николаевич Островский докладывал нынче государю о нашей Экспедиции и обещал представить его величеству отчет о ее деятельности: я полагаю, что наш бывший министр ждет Вас теперь с нетерпением, и было бы хорошо, если бы Вы пожаловали к нему утром между 11 и 12 часами 6-го сего января».

В назначенный день Докучаев вручил Островскому доклад по делам Экспедиции. Тот, без сомнения, представил отчет государю.

Как отнесся государь к деятельности Экспедиции, неизвестно. Однако именно после этого доклада Ермолов посчитал «принципиально неудобным» увеличивать расходы по Экспедиции.

Несколько лет спустя, когда очередной неурожай снова покарает Россию за беспечность, Ермолов печатно пожалуется на то, что опыты по обводнению степей и закреплению оврагов делались все более непопулярными в верхах, кредиты на эти цели год от года обрезывались, а потом и почти совсем прекратились.

«Когда я просил отпуска средств на оросительные работы,— писал Ермолов,— министерство финансов мне ответило, что цены на хлеб и без того стоят очень низкие (последствия неурожая 1891 года были к тому времени уже забыты), орошение же может повести только к дальнейшему перепроизводству хлеба в России».

Когда же заходила речь о необходимости закрепления оврагов, отвечали, что «и это совершенно лишнее, потому что земля, снесенная в одном месте, откладывается в другом, и, следовательно, страна в общем от этих размывов ничего не теряет».

Вряд ли доводы эти сочинялись в министерстве финансов. Уж на финансистов-то Ермолов нашел бы управу. Так рассуждал кто-то выше. Не сам ли государь России? Не потому ли стало «принципиально неудобным» добиваться увеличения расходов на работы в степи?

Правда, причина могла крыться и в другом. Именно в это время Ермолов добивается учреждения еще одной экспедиции, и тоже под крылом Лесного департамента. Ермолов же дал ей и название — «Экспедиция по исследованию источников главнейших рек европейской России». Начальником ее был утвержден генерал-лейтенант Тилло Алексей Андреевич.

В отличие от авантюрного по характеру генерала Анненкова Тилло пользовался давним и устойчивым уважением ученых России. Ныне имя его, много раз упоминаемое в трудах Докучаева, незаслуженно забыто. Не каждый из нас знает сегодня, что термин «Среднерусская возвышенность» ввел в нашу географию он, русский географ, картограф и геодезист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Это он измерил длину главных русских рек и составил карту высот местности — так называемую гипсометрическую карту европейской России.

Именно этой картой и была подтверждена правота Докучаева в его взгляде на почву как на вполне самостоятельное естественноисторическое тело, которое является продуктом совокупной деятельности грунта, климата, растительных и животных организмов, возраста страны, а отчасти и рельефа местности. Однако, как писал Докучаев, «все эти обобщения и соображения, сделанные нами 10 лет тому назад, хотя и оказываются, по существу, совершенно верными, но они были слишком общи и априорны; детальная проверка их точными фактами и цифрами была просто немыслима до получения нами вышеупомянутой карты А. А. Тилло».

Совместив почвенную карту Полтавской губернии с картой высот, Докучаев окончательно убедился: «Эта карта очень наглядно показывает замечательную связь между рельефом местности и характером почв». Ныне эта первая рельефная карта, побывавшая на Всемирной выставке в Париже, хранится в Центральном музее почвоведения в Ленинграде.

На той же выставке в Париже были представлены и почвенные карты верховьев Волги и Оки, составленные участниками экспедиции генерала Тилло. Географ занимался изучением почв вовсе не попутно. «Считая, что почвы — очень важный фактор в деле питания рек, Экспедиция отвела широкое место почвенным исследованиям»,— подтверждал сам Докучаев.

Они чтили друг друга. «Идя рука об руку по общей нам обоим дорогой стезе научной работы, судьба вознаградит нас и плодотворными результатами»,— писал Тилло Докучаеву.

Экспедиция ученого генерала исследовала все источники, питающие Волгу, Оку, Дон и Днепр. В этой грандиозной работе на огромной территории России принимали участие геологи, гидрологи, почвоведы, лесоводы. Сообща они делали одно общее дело — разрабатывали меры защиты источников от дальнейшего иссякания и заиления. И многие из этих мер осуществляли на практике.

Всюду по России закладывали при лесничествах древесные питомники для нужд частного лесоразведения. Крестьянам отпускали посадочный материал бесплатно, помещикам — по мизерным ценам. Дело лесоразведения Тилло мечтал превратить в общенародное. Как и Докучаев, он понимал: без участия населения огромные просторы России не благоустроить.

Однако мечтам его не суждено было сбыться. Те «десятки тысяч» освобожденных от крестьян лесовладельцев, кто еще недавно участвовал в оргии всероссийского лесоистребления, кто еще недавно «широкой рукой» вырубал леса вдоль всех рек и речек, сажать их снова не торопились. Сбыт саженцев из питомников был минимальным.

Алексей Андреевич Тилло умер в конце декабря 1899 года в возрасте 60 лет. Захирела и его экспедиция, материалы исследований не претворились в дела улучшения природы, а залегли навечно в архивах, где они и покоятся поныне.

Читал я эти материалы с мыслью о тех, кто отдавал жизнь свою на общую пользу. Сколько их было, этих подвижников! И как же неразумно растрачивалась их энергия! Способны были преобразить лик русской земли, а облагораживали лишь малый ее клочок. Да и на том надрывались и, умирая, вздыхали: «Как же трудно в России...» Трудно, даже если идея принадлежала министру. Потому что идеи эти, как и мечты людей талантливых, без отклика гасли в гуще народной массы.

Читал я извлеченные из архивных хранилищ материалы и думал: конечно, такая экспедиция, охватывающая своей деятельностью всю европейскую Россию, вполне могла заслонить Экспедицию докучаевскую, действующую в степи на трех небольших участках.

Да, деятельностью своей докучаевская Экспедиция охватывала значительно меньшую территорию, и поэтому выглядела менее эффектно. Однако след на земле, оставленный ею, не только не затерялся, но с годами становился все заметнее.

В Каменной степи целы и первые посадки, и первые пруды. К ним, первым, прибавлялись новые и новые.

...Шумят могучими кронами деревья — пытаются рассказать вдумчивому путнику свою вековую историю, забытую людьми. Иногда мне кажется, что начинаю понимать их рассказы. Это случается, когда я приезжаю сюда после того, как найду в архивах новые документы и узнаю из них то, чего никто уже не помнит. С новыми знаниями я иду в лесополосы, иду к прудам — и словно бы вижу тех, кто тут жил и творил. Возвращаюсь в прошлое.

Итак, 1894 год. Дел подвалило — «бездна, и ни от одного из них покамест нельзя отказаться». Докучаеву не хватало не дня, а суток. «Верьте,— просил он прощения за долгое молчание у своего друга,— был занят до красного каления своей собственной лысины!» Отоцкий, ученик его, напишет потом: «Это была не жизнь, а какое-то кипение в течение, по крайней мере, 18 часов в сутки».

В тот год в степи продолжалась посадка лесных полос, велось строительство прудов. Дело требовало от Докучаева хлопот, поездок, переписки с ведомствами и чинами.

В Петербурге начали издаваться «Труды Экспедиции, снаряженной Лесным департаментом, под руководством профессора Докучаева». Вышло подряд 10 выпусков-книжечек. Все под его общей редакцией.

Прочитав «Труды», Измаильский откликнулся с восторгом: «Увлечен

и поражен Вашей работой «Особой экспедиции». Я не думал, что так много уже сделано».

А «кипение» все усиливалось. На Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве Докучаеву дали самостоятельный почвенный отдел, оформление которого потребовало от него уймы времени и расходов, готовится он и к Нижегородской выставке, на которой тоже будет у него самостоятельный отдел.

Тут же (куй железо, пока горячо) настаивает на переработке и новом издании «Почвенной карты европейской России» с объяснительным к ней текстом. «Поручено мне»,— оповещал друзей Докучаев.

При Министерстве земледелия, при его Ученом комитете, создается Почвенное бюро, заведование которым также ложится на его плечи.

«Разве всего этого мало?» — спрашивал Докучаев в письме Измаильскому. Много, но это еще не все.

«Приведенный список,— запишет Отоцкий,— не заключает в себе и десятой доли тех планов, начинаний, проектов, которые постоянно роились в голове Докучаева и не осуществились лишь по не зависевшим от него обстоятельствам».

На него взвалили, а он охотно принял руководство им же возрожденным институтом в Новоалександрии. Принял временно, на несколько месяцев, а затянулось на годы. А это частые поездки под Варшаву, это множество хлопот, неприятностей, всяческих сношений и схваток с попечителем. Все преодолевал, потому что цель поставил: помимо общего образования, помимо изучения общих основ сельского хозяйства, помимо обстоятельного ознакомления питомцев с важнейшими методами, приемами и орудиями сельскохозяйственного производства, институт должен развить в учащихся «агрономичесиое мышление (критику), агрономический вкус и агрономический нюх», которые и дадут им умение «выйти с честью и удачею из целого ряда сельскохозяйственных иксов», встречающихся земледельцу на каждом шагу.

Однако даже в это напряженное время не пропускал (когда находился в Петербурге) ни одного заседания почвенной комиссии в Вольном экономическом обществе. И не отсиживался, а выступал, яростно полемизировал, обсуждал.

Успокаивал тревожившуюся за него жену: до Нового года, а там будет полегче.

Однако наступивший Новый год принес лишь короткую передышку. Уже 18 января Докучаев торопится на сессию Сельскохозяйственного совета при Министерстве земледелия: хлопотать об открытии при русских университетах двух новых кафедр — почвоведения и микробиологии. В портфеле у него уже лежали статья и докладная записка по этому вопросу. На сессии, где председательствовал сам Ермолов, Докучаев страстно доказывал:

«Почва и климат суть основные и важнейшие факторы земледелия, первые и неизбежные условия урожаев. Следовательно, раз мы желаем урегулировать последние,— желаем овладеть ими, мы прежде всего должны всесторонне, вполне научным образом изучить естественные, постоянные причины этих урожаев, именно почву, климат, а отчасти и организмы, особенно низшие. Только верно поставив почвенный, климатический и, если можно так выразиться, органический диагноз, мы в силах будем столь же верно определить, какие именно средства, те или иные удобрения, тот или иной способ культуры употребить в борьбе с нашей хронической болезнью, которая известна в России под именем недородов. Только при помощи вышеупомянутых исследований, которые также приведут в ясность и наши минеральные удобрительные туки и разъяснят нам жизнь грунтовых и почвенных вод, мы положим, наконец, главное и прочное основание к устранению того поразительного, можно сказать, обидного для нас факта, что в России, где такая масса роскошнейших земель, урожай наиболее распространенных хлебов — пшеницы, ржи и пр., в два-три раза ниже, чем в Англии, Голландии, Бельгии, Франции и Германии».

И опять, как и с организацией Почвенного комитета, поддержал Докучаева на сессии едва ли не один Архипов. Подавляющее большинство идею отвергло как ненужную роскошь. Снова не на его стороне был Костычев, недавно ставший директором Департамента земледелия и государственных имуществ.

Ах, как же обессилила, опустошила Докучаева эта сессия, на которой преобладало «пустое краснобайство и те благоглупости, которыми давно уже ад вымощен».

Страшно уставший, он уезжает в Новоалександрию.

Да, скажет потом один из тех, кто встречался с Докучаевым в эти дни, «как много у нас может сделать один человек с инициативою и как слаба работа многих учреждений, не согреваемых вдохновением».

Отоцкий напишет подробней: «В его маленьком кабинете, как на какой-нибудь крупной телефонной станции, сходились тысячи нитей, тысячи различных вопросов и дел: научных, учебных, административных, хозяйственных, этнографических, политических, личных; от самых крупных, которые отнимали сон, до самых надоедливых, вроде ссор кондукторских жен на участках или приема депутаций от дам по поводу танцевальных вечеров и т. п. И во все это приходилось вникать, все разрешать, потому что не было посредствующих бюрократических инстанций; да и не в натуре Докучаева было уклоняться от разрешения чего-либо».

В этом устало-возбужденном состоянии и уезжал Докучаев в Новоалександрию, в институт. Он покинул Петербург 30 января 1895 года.

Нет, это не последняя его поездка в Новоалександрию. Но я называю эту дату, потому что именно ее можно считать рубежной в жизни Докучаева.

До этого рубежа организаторская и научная деятельность Докучаева росла как снежный ком, а энергия его деятельности доходила до степени высшего напряжения.

«Однако,— вспоминал Отоцкий,— пока борьба велась на почве научной и общественной, притом по преимуществу в виде открытых турниров, Докучаев не обнаруживал особого утомления. Очень часто даже он, как Микула Селянинович, вставал с земли, по-видимому, с большими силами. Но в Новоалександрии характер борьбы изменился».

В состоянии предельного напряжения достаточно было какого-нибудь каверзного удара извне, чтобы силы надломились. И удар такой Докучаеву был нанесен в институте, который он спас от закрытия, реорганизовал его, вдохнул в него новую жизнь, открыл новые кафедры, отдал ему своих лучших учеников и сподвижников, в том числе и Сибирцева. Но не поладил с попечителем Варшавского учебного округа Апухтиным, который, по отзывам знавших его, «далеко не всегда отделял свои личные дела и симпатии от дел общественных». А точнее, Апухтин привык считать институт своей вотчиной, в летние месяцы пользовался институтским помещением в качестве дачи. Докучаев, приняв институт, этой привычке дал резкий отпор.

Апухтин как истинно русский чиновник не только не находил ничего предосудительного в своих притязаниях на общественное достояние, но и был уверен: все, что ему подчинено, ему и принадлежит. Он начинает опутывать Докучаева «сетью канцелярских придирок, проволочек, мелких уколов, кляуз, сплетен», исподволь втягивая его в ту борьбу, в которой он совершенно терялся, чувствовал себя беспомощным.

Докучаев покинул институт в конце лета 1895 года. На прощание сказал: «Никто не тревожит бесплодного дерева, но каждый бросает камни в то, на котором растут золотые яблоки».

Встретивший его Отоцкий записал: «Из Новоалександрии В. В. вернулся уже в очень угнетенном настроении, которое вскоре перешло в полную прострацию. Энергия упала; вера в свои силы тоже... Как бы предугадывая катастрофу, он торопится ликвидировать свои дела и сдает что можно на руки сотрудникам».

В сентябре Докучаев обращается с краткой запиской в Лесной департамент: доводит до сведения, что по причине болезни и совету врачей он некоторое время не сможет заниматься делами Экспедиции, а потому просит поручить временное исполнение обязанностей начальника Экспедиции своему старшему помощнику.

А через девять дней, не дождавшись ответа, Докучаев сам слагает с себя обязанности по Экспедиции, о чем ставит в известность Лесной департамент.

Все. Этот могучий, деятельный человек, работавший один за целые учреждения, в 49 лет оказался выведенным из строя, свободным от всех дел, которым еще недавно не было числа. Замкнувшись в квартире, в которой еще вчера было так людно и шумно, он прислушивается к себе. «Прострация и подавленность воли сопровождаются мучительным самоанализом и самоказнением». Друзья настойчиво советуют ему отдохнуть где-нибудь вдали от Петербурга. Он уступает этим настояниям, и Анна Егоровна увозит его сначала на лечение за границу, а потом на лето — в Погулянку, дачный поселок близ города Двинска (Даугавпилса).

А ему хочется, и пишет об этом друзьям, «немедленно уехать в благодатную Малороссию», на любимую Полтавщину. Он тосковал о ней всюду. Однажды в Новоалександрии Докучаев мимоходом задел ногой какую-то старую пепельницу-урну, она покатилась, издав протяжный дребезжащий звук. Василий Васильевич, рассказывали видевшие его в эту минуту, вдруг преобразился, просиял. Этот звук напомнил ему Малороссию, раннее утро и крик лелеки-аиста. С тех пор, отдыхая, он, как озорной мальчишка, норовил словно бы невзначай задеть урну — хотел услышать лелеку и, когда это удавалось, наслаждался: ему виделись милые сердцу полтавские черноземные степи, лик которых он запечатлел не только на картах, но и в памяти своей. Первое же письмо «на волю» из Погулянки он пишет на Полтавщину, Измаильскому: «Рассказывать подробно о своей болезни я покамест не могу; скажу только, что весь прошедший год я провел как в тумане, все время страдая сильнейшим расстройством нервов и полным упадком сил; апатия к жизни принимала временами безумные размеры...»

9

Поправлялся Докучаев чрезвычайно медленно и скачками. Но, поправляясь, тут же с жадностью входил в прежние свои дела. «Никакие уговоры близких, никакие доводы врачей не могли совладать с этой кипучей и неукротимой натурой»,— жаловались друзья. На все уговоры и доводы Докучаев отвечал одно: «Все мое спасение в работе!»

И принялся за пересмотр почвенной карты европейской России. Правда, отказался было от сложного и лихорадочно спешного дела, каким было устройство почвенного отдела на Нижегородской выставке. Однако тут же втягивается и в него. И, конечно, в дела Особой экспедиции, о чем извещал Измаильского: «Особая экспедиция, вверенная моему ведению и пережившая за время моей болезни, вместе с ее хозяином, острый кризис, теперь окончательно укрепилась, и ее существование обеспечено на многие и долгие годы...»

В июле Докучаеву кажется, что он совсем здоров, что пора ему оставить надоевшую Погулянку, которая к тому же стала не так хороша, как была весной. Его неудержимо тянуло на степной простор. И он радостно оповещает Измаильского: «20 сего месяца выезжаю».

Докучаев ехал с женой Анной Егоровной и племянницей Антониной Ивановной Воробьевой, жившей с ними.

Измаильский прислал за ними в Миргород лошадей, доставивших желанных гостей к нему на хутор Дьячков близ Диканьки.

Тут, на хуторе среди степного простора, друзья были счастливы, они давно не встречались, не беседовали, оба, слава богу, живы и здоровы, переполнены замыслами интересных дел.

Измаильский принял окончательное решение бросить опостылевшую службу у Кочубея, в имении которого все ощутимее замечались «признаки общепомещичьей болезни — оскудение». Однако, к великому сожалению Докучаева, отказался и от работы в Экспедиции. Его сманил капиталист из-под Луганска, «у которого денег много и полное желание поместить эти деньги в землю, устроивши хозяйство на американских началах». Этим-то и прельстился агроном Измаильский: при таких деньгах, думал он, можно будет устроить хозяйство на научных началах, не спрашивая на то разрешения в разных там советах и департаментах.

Видимо, Измаильский был так увлечен этой идеей и так размечтался, что даже Докучаев, давно и настойчиво уговаривавший его поступить в Экспедицию, согласился: предложение заманчивое уже тем, что «представляется столь интересное и выгодное дело». Правда, на всякий случай посоветовал оговорить с нанимателем некоторые условия: «Иначе Вы будете находиться в его лапах».

Однако что там какие-то предостережения, когда человеком овладела мечта!

Отдохнув у друга, Докучаев, как и задумал, проехал по всему намеченному маршруту, побывал на участках Экспедиции. На выставке в Нижнем Новгороде получил диплом 1-го разряда «За плодотворную деятельность по изучению русских почв, создавшую новое направление в области почвоведения и школу учеников-последователей».

Вскоре после отъезда Докучаева покинул хутор и Измаильский. Уехал в Луганск, где недалеко от города, в селе Александрове, принял под свое управление капиталистическое имение. Здесь он узнает, что его труд «Влажность почвы и грунтовые воды в связи с рельефом местности и культурным состоянием поверхности почв», изданный еще в Полтаве, удостоен Академией наук Макарьевской премии. Радоваться бы ему такой высочайшей оценке, торжествовать бы, что именно ему, как написал сам Докучаев, «в сущности, первому, принадлежит честь научно заглянуть в жизнь грунтовых вод». Наверно, и радовался, и торжествовал, поблагодарил Василия Васильевича, который, конечно же, и представлял книгу на соискание этой премии. Однако поблагодарил скупо, сдержанно, потому что все острее понимал: жить ему теперь неоплатным должником русской науки, «так как попал в такие жизненные условия, при которых нет никакой возможности помышлять о своих научных работах». И с горечью сознавал: нравственные качества теперешнего владельца таковы, что не вселяют и капли уверенности в возможность работать здесь, сохраняя свое имя незагрязненным.

Вот тебе и хозяйство на американских началах: не землей он теперь занимался, а строил то винокуренный завод, то мельницу. Что ни день, то неприятности. Да уж лучше иметь дело с помещиком-самодуром, чем с разбогатевшим биржевиком,— «в глубине души своей это мелкие жулики, каковыми они и являются в частной своей жизни, когда она ничем не задрапирована».

Как же нужно ему было сейчас участие Докучаева, он несколько раз писал ему, но — никакого ответа. Обращался к знакомым и наконец-то узнал: Докучаев снова надорвался, вернулся из Нижнего больным, теперь в лечебнице, очень плох...

10

На хутор Дьячков под Диканьку вызвался свозить меня Николай Иванович Гриб, один из старейших работников Полтавского опытного поля.

...Машина наша бежала мимо петровских редутов, мимо памятников русским воинам. Поля бранные, поля житные. Памятники ратаям во владениях оратаев. Сколько их, таких полей, по России!..

Хотелось просто молча смотреть по сторонам, оставаясь наедине со своими мыслями и чувствами. Николай Иванович Гриб, деликатнейший человек и прекрасный собеседник, тоже углубился в свои думы. Так мы доехали до поворота на Диканьку, где у обочины возвышалась триумфальная арка.

— Парадный въезд в имение Кочубея,— сказал Николай Иванович.— А по обеим сторонам дороги была каштановая аллея — сейчас тополевая, но решили вроде бы снова обсадить каштанами...

Слева у лесочка, перед самой Диканькой, показалась церквушка.

— Церковь Кочубея,— не оставил мое внимание без ответа Николай Иванович.— Сюда из Васильковки приезжала женщина просить бога, чтобы родился сын. Желание ее исполнилось — 20 марта 1809 года родился Николай Васильевич Гоголь...

Не совсем так. Юная Мария Ивановна, уже потерявшая двух младенцев, с надеждой и страхом ждала третьего. Вот и приезжала сюда, в эту церковь, чтобы выпросить у Николая-чудотворца заступничества и дарования ей здорового дитяти. Правда, в последние недели беременности уехала все же в Сорочинцы к знаменитому на всю Миргородчину доктору Михаилу Яковлевичу Трохимовскому, в доме которого и родился у нее сын, названный Николаем в честь чудотворца.

А машина бежала все дальше через поля. За Диканькой Николай Иванович развернул карту и, поводив по ней пальцем, сказал шоферу:

— Давай вот по этой дороге, напрямик выскочим.

Однако выскочить напрямик не удалось — увязли в непролазной грязи, так что пришлось долго пятиться назад, чтобы с горем пополам развернуться и выбраться на твердую дорогу. Она привела нас на центральную усадьбу колхоза имени Чапаева.

— Хутор Дьячков где-то рядом, на землях этого колхоза,— сказал Николай Иванович не совсем уверенно.

Не беда, спросить можно. Подошла женщина, вызвалась показать нам дорогу.

Вот и хутор Дьячков... Сколько раз он виделся мне при чтении писем и научных трудов, здесь написанных, не потерявших своего значения и поныне. Совсем не таким виделся. Слева от дороги лежал он, заезженный тракторами и машинами, заросший бурьянами,— редчайшее на ухоженной Полтавщине зрелище. Разбросанные там и сям хаты, к которым на нашей машине не проехать. Можно, пожалуй, добраться до животноводческого комплекса, да что нам на нем делать. Еще не так давно на его месте был старый парк, посаженный, должно быть, Измаильским. Раскорчевали — не пашню же занимать, да и кому он нужен, этот парк, будто тут горожане живут.

...В последний приезд Докучаева на Полтавщину его друга Измаильского здесь уже не было — уехал жить и работать под Луганск. Однако как же захотелось ему еще раз побывать тут — и Докучаев повез своих слушателей, земских статистиков, в Дьячков, чтобы ознакомить их там с типичными черноземными степями.

«29 июня, около 7 часов утра, 25 экскурсантов двинулись из Полтавы. Вскоре начался дождь, сначала маленький, а затем превратившийся чуть не в ливень».

Когда кавалькада экипажей прибыла в Дьячков, дождь перестал. Однако экскурсировать в степи по грязи было неудобно, и Докучаев предложил этот день провести так: «Ознакомиться с крайне оригинальным устройством этой экономии», потом послушать его лекцию и побеседовать о некоторых наиболее важных вопросах, которые в прежних беседах были недостаточно выяснены. На том и порешили.

«Экскурсанты осмотрели... элеватор, скотный двор, замечательный по своему общему плану и по оригинальному устройству кормового отделения, паровую мельницу и мастерские экономии».

Осматривая, Докучаев словно бы общался с давним своим приятелем, поэтому не преминул с гордостью указать:

«Все эти постройки созданы были во время управления Дьячковской экономией известным ученым, сельским хозяином, бывшим вице-президентом Пол-

тавского общества сельского хозяйства А. А. Измаильским по выработанным им самим планам».

Николай Иванович Гриб тронул меня за руку, перед тем что-то сказал, но сказанное до слуха моего не дошло. Я еще раз огляделся вокруг, выискивая взглядом старые строения. Но, кажется, ничего тут уже не осталось.

Нет давно ни элеватора, ни скотного двора, замечательного по своему общему плану, ни паровой мельницы, ни столовой — все пожгла, порушила война, истлело от времени. Лишь у самой дороги видны старые погреба с возвышающейся над землей кирпичной кладкой («В них,— сказал Николай Иванович Гриб,— и сейчас можно что угодно хранить») да одиночные кладовые тех времен.

— А хоть одно дерево осталось? — спрашиваю женщину с надеждой, что сохранились все же какие-то живые памятники.

— Нет. Только, может, вон тот Долгий лес в те годы был посажен? — Она указала на лесную полосу, уходящую от хутора вдаль.

Да, она была посажена Измаильским. Именно о ней говорил мне Николай Иванович Гриб в Полтаве. Вернее, сетовал на то, что единственная сохранившаяся полоса варварски вырубается, население окружающих деревень тянет оттуда кто вековой дуб, кто ясень.

Добраться к полосе тоже не было никакой возможности. Однако уехать, не постояв в ней, я не мог — пойдем пешком, хоть и далеко.

И вот мы стоим в полосе. Могучие деревья раскинули над нами кроны. Ветерок шелестит лишь в вершинах. Не полоса, а настоящий лес, женщина так и сказала: «Долгий лес».

А внизу пеньки, пеньки, пеньки. И хлам порубочных остатков. Как на лесосеке. Полоса явно безнадзорная, не нужная никому. Сохраняется только чудом. Могучие корни гонят в рост молодую поросль, которая и захватывает пустоты, не дает полосе исчезнуть. Человек пилит, рубит ее, а она возрождается и возрождается заново. Но надолго ли у нее хватит сил? Не захиреет ли в ближайшие годы этот памятник природы, памятник человеку, внесшему заметный вклад в отечественную науку?

В эту полосу Измаильский наверняка приводил Докучаева в ту последнюю их встречу вот на этой земле, которую они мечтали преобразить, сделать щедрее и краше. И они сделали ее краше, пусть и на небольших территориях. Но и это немало для одной человеческой жизни — передать потомкам землю лучшей, чем она была. А мы, потомки этих заботливых людей?.. Неужели нам ничего этого не нужно? Не нужна даже память о великих предках, прославивших нашу науку и Отечество?

Однако вспомнил Каменную степь, ее лесную красу, ее ухоженные полосы, сбереженные пруды и сам же опроверг все эти вопросы. Придет, и сюда обязательно придет хозяин, который не только сохранит, но и что-то восстановит, создаст музей, чтобы знали хуторяне, кто тут жил и работал до них. И как жил, как работал.

Я же был доволен уже тем, что побывал тут, что есть еще хутор и что жива еще лесная полоса, посаженная в одно время с первыми полосами в Каменной степи. А ведь, помните, Измаильский не соглашался с Докучаевым, думал «заболотить» Дьячковскую степь с помощью одних только агротехнических приемов, с помощью глубокой вспашки. Спорил, но лесную полосу все же посадил. Видно, опытом хотел проверить. Именно опыт и убедил его в правоте Докучаева. И насторожил: увлечение одной какой-нибудь идеей никому добра не приносит.

В те же самые годы конца XIX века, когда рождалась русская агрономическая школа и утверждалась наука о почвах, когда передовые умы России искали пути избавления от недородов, над этой проблемой работал и еще один человек, который даже в годы самых жестоких засух получал высокие урожаи. И получал он их на полях, обработанных не глубже пяти сантиметров специальными ножевыми культиваторами собственной конструкции. Его имя — Иван

Евгеньевич Овсинский. Это он написал книгу «Новая система земледелия», которая увидела свет в 1899 году, но до этого пять лет блуждала по редакциям и, по выражению самого Овсинского, агрономическими авторитетами была приговорена к смерти.

Уже много раз я задавался вопросом: почему же не обратили никакого внимания ни на агронома, ни на его опыт корифеи отечественной науки? Почему не заметил его Василий Васильевич Докучаев, зорко высматривавший все передовое в науке и практике? Почему Александр Алексеевич Измаильский никак не прореагировал на разговоры о новаторе, которые, конечно же, долетали до его слуха?

Ответа на эти вопросы я не находил. И вот читаю в письме Измаильского Докучаеву: «27-го у нас готовится большое сражение в Обществе. Князь Кудашев напечатал доклад «О способах сбережения почвенной влаги». Нахальная из нахальнейших работ. Бьющая на рекламу для Питера,— так думаю я. Иначе не понимаю цели изданий такой мошеннической штуки. Мы готовимся его разделать целым Обществом».

Полностью эта работа называется так: «О способах сбережения почвенной влаги при обработке озимого поля». Она была издана в Харькове в 1892 году и принадлежала перу полтавского землевладельца В. А. Кудашева, а излагал он в ней теорию мелкой вспашки.

На заседании Полтавского сельскохозяйственного общества, состоявшемся 27 мая 1892 года, Кудашева «разделали» в пух и прах.

Конечно, тут немалую роль сыграл авторитет Измаильского, проповедовавшего глубокую вспашку и убедившего всех в ее преимуществах и целесообразности. Он, Измаильский, и задал тон при «разделке» противника. Выступление его «По поводу доклада кн. Кудашева» тут же опубликовал «Журнал Полтавского сельскохозяйственного общества».

Ознакомившись с ним, Докучаев пишет Измаильскому: «Все Ваши возражения Кудашеву более чем справедливы; лично я высказался бы еще сильнее».

Поддержал Измаильского и Костычев, который считал, что в той местности, где проводил работу Кудашев, грунтовые воды находятся гораздо ближе к поверхности, чем в других местах Полтавского уезда, так что именно это и обеспечивало успех опыта. И, окончательно сокрушая Кудашева, написал: «Князь не усвоил себе даже метода исследования вопроса, о котором берется толковать: он не подозревает, что для того, чтобы сказать «я сберег влагу в почве», недостаточно привести размер урожая».

Однако за Кудашева заступилась петербургская газета «Новое время», опубликовав статью Эльпе «Труд кн. Кудашева и его критики» с возражениями Измаильскому и поддержкой теории мелкой вспашки.

Измаильский снова обращается к Докучаеву за поддержкой, но Василий Васильевич посчитал спор не только бесполезным, но и пустым. Откликнулся: «Бросьте Вы и Кудашева и Эльпе: право, не стоит заниматься исправлением неисправимых. И настоящего заправского дела не оберешься... Конечно, подобные господа очень неприятны, но все-таки, по-моему, тратить на них времени не стоит...»

И все. Больше о полемике ни слова. А она продолжалась, но без всякого участия первых лиц в науке.

Измаильский, убежденный в своей правоте, убедил в этом и Докучаева.

Ну, а что же Овсинский? Он пошел гораздо дальше Кудашева — отверг не только глубокую, но и мелкую вспашку отвальным плугом, предложив и применив на практике приемы безотвальной обработки почвы — принципиально новую систему земледелия. При этом, послушайте, что утверждал:

«Если бы захотели на погибель земледелия создать систему, затрудняющую извлечение питательных веществ из почвы, то нам не нужно было бы особенно трудиться над этой задачей: довольно было бы привести советы приверженцев глубокой вспашки, которые вопрос о бездействии питательных веществ в почве разрешили самым тщательным образом...»

Каково было слышать такое сторонникам глубокой вспашки? Если у Кудашева была «нахальная из нахальнейших работ», то у Овсинского и того хлестче.

Однако книга все же была опубликована, и в 1899 году Полтавское опытное поле получило задание испытать новую систему земледелия. В это время Измаильского на Полтавщине уже не было, но сельскохозяйственное общество, семь лет назад яростно восставшее против мелкой вспашки, не могло допустить победы «новой системы земледелия» — и все силы были направлены на то, чтобы доказать несостоятельность «теории» Овсинского, что и было успешно проделано,— многолетними опытами идею опровергли.

Вот уж поистине: принимая что-нибудь на веру, наука совершает самоубийство, отступая от истины, она убивает идею.

Пройдет без малого полвека, и идея эта возродится.

Возродится в ищущем уме колхозного опытника Терентия Семеновича Мальцева. И опять пойдет она, странная и непривычная, по тому же кругу: будет замалчиваться, опровергаться, дискредитироваться. А еще через два десятилетия найдет полное признание на Полтавщине. Именно здесь она обретет самых убежденных и преданных сподвижников...

Вот они, полтавские поля. Куда ни глянь, а вокруг хутора Дьячкова и дальше по всей Полтавщине лежат ухоженные, приготовленные к севу поля. И все они обработаны не отвальными плугами, а плоскорезами, орудиями безотвальной обработки почвы.

11

Докучаев лежал в лечебнице. А дома умирала от рака печени Анна Егоровна, его верный друг и соратник. Он находился в бредовом состоянии, и трагедия не коснулась его сознания. Жена уже скончалась, ее уже похоронили, а он все бредил и ничего не знал. Лишь через две недели пришел в себя, тогда и услышал об утрате.

Горе повергло его в страшное психическое расстройство: не несколько дней или недель, а несколько месяцев умственное бодрствование не покидало его ни днем, ни ночью.

Вышел Докучаев из лечебницы только в августе 1897 года, через полгода после смерти жены. Мучимый сильным шумом в висках, бессонницей, ослаблением памяти, слуха и зрения, пишет одно прошение об отставке из Университета, а другое — от должности начальника Экспедиции. Просил отставки от дел, которыми жил и без которых жизнь окончательно теряла для него всякий смысл.

Не берусь, не могу в полной мере представить, какие чувства испытывал Докучаев, когда на 54-м году жизни подавал эти прошения. Думаю, это было для него крушением, концом жизни. В полном сознании открытого перед ним ужаса он признался одному из своих учеников: «Боюсь, что мое здоровье потеряно навсегда; а так жить, без дела, без интереса, страшно тяжело, дорогой...» Так тяжело, что у этого гордого, независимого человека, «резко выделявшегося на фоне бледной русской общественности», вдруг вырвалась до слез трогательная просьба: «Вот тут-то я и буду просить Вашей помощи и Вашей дружбы, а может быть, и самопожертвования...»

— Увы,— скажет позже Отоцкий,— никакого самопожертвования от учеников не потребовалось, но зато оно все, целиком, досталось на долю его племянницы Антонины Ивановны Воробьевой, которая не покидала больного до последнего часа.

Ах, как не хочется мне оставлять Василия Васильевича именно сейчас, в момент тяжелейшего душевного состояния! Однако я не жизнь этого великого человека задумал написать, а деяния созданной им Экспедиции в Каменной степи. А она продолжала действовать. Исполнение должности начальника принял на себя Петр Федорович Бараков, профессор кафедры земледелия Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства, ученик Докучаева и участник чуть ли не всех его исследований. Это он разработал план сельскохозяйственных опытов на участках Экспедиции. Ему Докучаев и доверил продолжать начатое.

Новый начальник Экспедиции выхлопотал через Департамент земледелия две тысячи рублей на первоначальные расходы по организации полевых опытов и отдал их все в Каменную степь Собеневскому на устройство орошаемого поля...

А тем временем дело двигалось к закрытию Экспедиции. В департаментских заседаниях все громче печалились о напрасной трате денег на степных участках. Подливали масла в огонь и ученые, рассуждавшие о том, что никакого влияния на урожай лесные полосы не оказывают и оказывать не могут.

Докучаев, конечно, слышал эти разговоры, но ничего поделать уже не мог. И не только потому, что не было сил,— не осталось веры в разум тех, кто стоял во главе земледелия и земледельческой науки. Он уже не гневается, а как бы фиксирует факт, что «ближайший хозяин русского земледелия, Ермолов, кажется, совсем отупел, сидя на министерском кресле; сделался отчаянным формалистом,— подозрителен до невозможности».

Попытка опереться на общественное мнение, на общественное сознание тоже не принесла Докучаеву особой надежды. А сил и времени на организацию частных публичных курсов по сельскому хозяйству затратил много. Первую свою лекцию на этих курсах он прочитал 20 декабря 1898 года. Хотел убедить публику, что при всех недостатках уже многое сделано для борьбы со стихиями, что «путь намечен, остается лишь упорно и систематически продолжать начатое у нас с таким трудом дело».

А вернувшись с курсов домой, этот гордый человек сел писать письмо: «Дорогой друг Александр Алексеевич. Если можно, выручайте поскорее Вашего приятеля. Дело в том, что... я запустил свои собственные дела и несколько запутался в деньгах, задолжав до 800 р. Из них 500 р. подлежат уплате еще в августе, и я постепенно покрою их,—300 же рублей мне, безусловно, необходимы к 12 марта. Если можете занять у кого-либо или, может быть, деньги имеются у Вас, одолжите мне их, иначе я вынужден буду за бесценок продать свои коллекции, которые стоят от 5 до 10 тысяч. Во всяком случае, по получении сего потрудитесь телеграфировать мне немедля: да или нет?..»

Вверху на письме крупными буквами вывел два стыдливых слова: «Между нами».

Измаильский тут же прислал ему 300 рублей, а потом и еще 200. Докучаев успел вернуть ему долг, пусть и частями, но до рубля.

В первых числах февраля 1899 года по неизвестным мне причинам Конрад Эдуардович Собеневский сложил с себя обязанности заведующего участком и покинул Каменную степь. Покинул совсем не такой, какой принимал ее семь лет назад. По всей степи уже поднимались, набирая силу, лесные полосы.

Создатель современного учения о лесе, известный русский ботаник и географ Георгий Федорович Морозов, высоко оценивая роль Экспедиции и Докучаева «как невольного основателя лесного опытного дела в России», писал: «Большое значение имел В. В. и для степного лесоразведения; частью им самим, частью при его участии предложены некоторые новые способы облесения степи, но, главное, коренным образом изменилась самая постановка дела степного лесоразведения, которая стала более сознательной и ясной».

Верно. Однако надо уточнить, что самое деятельное участие принимал в этих вопросах Собеневский.

Пройдет много лет, и он снова вернется сюда, в Каменную степь, к своим уже повзрослевшим насаждениям, немало еще свершит — и снова уйдет в тень, в небытие. Странно, он так много делал, ему как степному лесоводу удавалось делать то, что никогда и ни у кого до него не выходило, однако известность совершенно обошла его стороной.

«Однозначащая с защитою государства...»

1

Я был счастлив, когда в Центральном Государственном историческом архиве, что на набережной Красного флота в Ленинграде, впервые натолкнулся на документы, содержащие некоторые биографические данные Конрада Эдуардовича Собеневского. Человек этот отдал Каменной степи чуть не всю свою жизнь: он вбивал первые колышки, руководил съемкой местности, обозначал на ней расположение будущих лесополос, прудов и водоемов, потом сам же и создавал их. Он не покидал Каменную степь и зимой: вел наблюдения за толщиной снежного покрова, за снеговыми заграждениями.

Он уехал отсюда накануне закрытия Экспедиции, в феврале 1899 года, в степное Оренбуржье, где тоже сажал лесные полосы, а потом несколько лет кочевал с семьей в пульмановском вагоне по всей Ташкентской железной дороге — руководил озеленением станций и посадкой защитных полос.

Вернулся в Каменную степь через 28 лет, на этот раз как сотрудник Всесоюзного института растениеводства,— его пригласил Николай Иванович Вавилов, аттестовавший Собеневского крупнейшим степным лесоводом. Вернулся, когда посаженные им лесополосы уже нуждались в санитарных рубках. И снова проработал здесь более десяти лет, создал новые лесополосы, заложил и выпестовал уникальнейший дендрарий-арборетум, который и сегодня поражает планировкой и набором древесных и кустарниковых пород всех континентов мира, вырастил из тех семян и саженцев, которые привозил Николай Иванович Вавилов из своих экспедиций по свету.

И вот об этом человеке, соратнике двух великих ученых, нам почти ничего не известно, хотя живы еще те, кто знал Собеневского и пел сложенные о нем шутливо-грустные песенки.

Одну из них мне напела Прасковья Федоровна Львова, приехавшая в Каменную степь в 1924 году и так и оставшаяся здесь жить.

Шумит Конрад доспехами — веселый, боевой!
Прощается с дубочками плакучею слезой.
Склонился пред березонькой, иа землю плащ упал.
Поильцам и кормильцам обет вернуться дал...

Надо же, без малого семь десятилетий прошло с той поры, а песенка о добром человеке не забылась, воскресла в памяти на старости лет.

Человек, который смело вступал в спор с корифеями отечественного лесоводства Высоцким и Морозовым, и в этих спорах оказывался правым; человек, который на рубеже 40-х и 50-х годов схватился в научном споре с Трофимом Лысенко, только что наголову разгромившим вавиловскую школу генетиков, принародно показал тому кукиш,— ушел из жизни тихо и незаметно.

Вот почему я был счастлив, когда находил в архивах то один, то другой документ, проливающий свет на биографию этого незаурядного человека. Теперь мне достоверно известно, что в 1890 году Собеневский окончил Петербургский лесной институт и уехал работать под Уфу помощником лесничего. Оттуда, как человека «особо похвального поведения», его и затребовал Писарев в Экспедицию на должность младшего таксатора. Вполне возможно, что кто-то из учеников Докучаева знал Собеневского еще по институту и посоветовал пригласить его. Было ему в то время 25 лет от роду.

В Каменной степи мне говорили: где-то должна быть докторская диссертация Собеневского. Мои собеседники не знали в точности, как она называлась и когда была написана, но диссертация где-то должна существовать, коли человек получил степень доктора сельскохозяйственных наук.

Помог мне в ее розыске декан лесохозяйственного факультета ленинградской Лесотехнической академии Борис Васильевич Бабиков.

И вот передо мной научный труд одного из сподвижников Докучаева, написанный в 1940 году, но нигде не опубликованный и мало кем за эти годы прочитанный. Я еще не знал, о чем он, но был уверен, что найду в нем много интересного и забытого.

Раскрываю переплетенную в твердую обложку диссертацию, читаю: «Полосное лесоразведение у нас и за границей». В Каменной степи ее предположительно называли «Историей степного лесоразведения», под этим названием я ее и искал. По сути верно, история, да еще какая! Та, которую мы забыли, утеряли, не знаем и потому, осмелюсь сказать, многое не понимаем не только в истории лесоразведения, но и в истории отечественной литературы. Не специальной литературы, а художественной, в чем и постараюсь убедить вас чуть позже.

Однако обратимся к истории, написанной Собеневским. Планомерные работы по созданию защитных насаждений начали военные поселенцы, которые по повелению Аракчеева были отправлены на жительство в степи юга России, в Мелитопольский и Бердянский уезды. Отправлены не для защиты южных границ, которым в это время уже никто не угрожал, и не для муштры. В поселения эти набирались так называемые сектанты-меннониты, вера которых не разрешала брать в руки оружие. Однако должны же и они исполнить свой долг перед Отечеством. Вот и пришла мысль поручить им мирное дело — посадку леса в степи. Мысль эта пришла Аракчееву при посещении имения Данилевского, деда известного писателя. У него он увидел посадки и защитные полосы в полях, а увидев, убедился, что дело это нужное и очень важное для государства.

Работу поселенцев организовывало и контролировало лесное ведомство. Оно уже установило и задание: каждый поселенец должен посадить две трети десятины леса в год.

Когда началась эта первая планомерная работа, точно неизвестно, но, судя по «Историческому обозрению 50-летней деятельности Министерства Государственных Имуществ», к 1841 году меннонитами уже было засажено 1425 десятин леса.

В 1841 году министр государственных имуществ граф Киселев, объезжая степную южную полосу России, самолично осмотрел меннонитские плантации. Они ему явно понравились, во всяком случае, убедили в том, что создавать леса в степи можно. Осмотр этот «повел к учреждению» в 1843 году Великоанадольской образцовой плантации в Екатеринославской губернии «с устройством при ней школы для лесников, как с целью выработки наиболее целесообразных способов для лесоразведения в степях и выбора соответствующих им древесных и кустарниковых пород, так и для образования из крестьянских мальчиков знающих свое дело лесников, которые могли бы приохотить к лесоразведению и древоводству тех крестьян, которыми населялись казенные земли на юге».

Выбор места и ведение дела были поручены подпоручику Корпуса Лесничих Виктору Егоровичу Граффу, два года назад окончившему Лесной и Межевой институт. Лесной департамент указал Граффу на Александровский (впоследствии Мариупольский) уезд, как наиболее безлесный.

Добравшись до места весной 1843 года и осмотрев 30 казенных участков, Графф избрал самый возвышенный и, как потом признали специалисты, представлявший больше всего трудностей для облесения не только своим безводьем и открытым возвышенным положением, но и своей тяжелой глинистой почвой.

Надо было страстно верить в дело, чтобы начать его именно здесь, в сухой степи, где не было ни кола, ни двора, ни зеленого участка.

Один из современников писал о Граффе: «С пылкою любовью юноши и с зрелым умом пожилого и опытного принялся за образцовое дело. Не говорю о затруднениях, с которыми он боролся, не имея ни опытных помощников, ни сведущих работников, он сам много лет трудился наравне с рабочими, указывая им путь к делу».

Здесь он женился, здесь в неустанных трудах провел 23 года своей жизни. Надо сказать, о нем не забывали. Уже на 5-й год работы в степи к нему

заехал тот же министр Киселев, осмотрел Великоанадольскую лесную плантацию и приказом объявил «сему усердному и отличному офицеру» «совершенную благодарность» за отличный порядок. Здесь он был последовательно произведен в поручики, в штабс-капитаны, капитаны, подполковники и полковники Корпуса Лесничих. Здесь он получил орден Святого Станислава сначала 3-й, потом 2-й ступени, Станислава с Императорской короной. По ходатайству Вольного экономического общества был награжден орденом Святой Анны 2-й степени за заслуги по лесоводству.

Преодолев все невзгоды, он создал 140 десятин леса, доказав наглядно «возможность успешного облесения степей, даже при самых неблагоприятных внешних условиях».

Отсюда Графф уехал летом 1866 года — был назначен ординарным профессором Петровской академии. Но уехал «живым мертвецом, вконец расстроив здоровье свое, жены и единственного сына». Он давно нуждался в основательном лечении, но не лечился — не мог оторваться от дела и — свидетельствовали современники — «по неимении средств, которых не умел выпрашивать».

В Москве он прожил лишь год с небольшим, почти постоянно болея. 25 ноября 1867 года в возрасте 48 лет Виктор Егорович фон-Графф, запасный лесничий, создатель Великоанадольского леса, скончался. Похоронили его «близ Москвы на кладбище села Владыкино, в двух верстах от Петровской академии».

Имя его как основоположника научного степного лесоводства с годами обрело известность во всем мире. Он учился разводить леса в степи у поселенцев-меннонитов, у него учиться будет все человечество.

«Этот лес надолго останется памятником той смелости, той уверенности и любви, с какой впервые взялись за облесение степи».

Словно бы продолжая эту мысль крупнейшего русского лесовода Турского, великий Менделеев добавил:

«И я думаю, что работа в этом направлении настолько важна для будущего России, что считаю ее однозначащей с защитою государства».

Лишь одной цели, поставленной перед ним, Графф все же не добился — «распространения между крестьянами лесоразведения». Во всяком случае, как свидетельствовали современники, цель эта «была мало успешна», потому что выпускники лесной школы исчезали в массе, как вода в песке, а окружающее население «враждебно относилось к делу лесоразведения, отчасти оттого, что наряжали бесплатно рабочих из ближайших сел на работы, отчасти же оттого, что они при успехе культур предвидели обязательную для себя посадку дерев».

Ну, а как умели на Руси вводить «обязательную посадку», об этом хорошо рассказал в одном из своих писем «Из деревни» Александр Николаевич Энгельгардт: «Надумали там в городе н а ч а л ь н и к и от нечего делать, что следует по деревням вдоль улиц березки сажать... Надумали, расписали сейчас наистрожайший приказ по волостям, волостные — сельским старостам приказ, те — десятским по деревням. Посадили мужики березки — недоумевают, зачем? Случилось в то лето архиерею проезжать — думали, что это для его проезду, чтобы, значит, ему веселее было. Разумеется, за лето все посаженные березки посохли... Приезжает весною чиновник... Где березки? — спрашивает.— Посохли.— Посохли! а вот я... и пошел, и пошел. Нашумел, накричал, приказал опять насадить, не то, говорит, за каждую березку по пяти рублей штрафу возьму. Испугались мужики, второй раз насадили — посохли опять. На третью весну опять требует — сажай! Ну, и надумались мужики: чем вырывать березку с корнями, прямо срубают мелкий березняк, заостривают комель и втыкают к приезду агента в землю — зелень долго держится... Не полезет же чиновник смотреть, с корнями ли посажено, ну, а если найдется такой, что полезет, скажут: «отгнило коренье»,— где ему увидать, что березка просто отрублена».

«Все такие мероприятия,— подводит итог своим горестным раздумьям Энгельгардт,— никогда ни к чему не приводят, всегда ловко обходятся к только наносят вред народу, затесняют его и, по мнению мужиков, делаются только им в «усмешку».

Это уж точно, во все времена умели русские чиновники так поставить дело, что и из доброго выходило худое, умели и добрым делом так измучить всех, что добро оборачивалось злом, которое порождало сопротивление и даже бунты. Так было в России с насаждением картошки и со множеством других нововведений. Не понимая идеи, не разобравшись в сути дела, чиновники начинали действовать не во имя торжества идеи, а во имя собственных действий, чтобы власть показать.

2

Ну а что же литература? Как она восприняла и отразила идею степного и защитного лесоразведения, «однозначащего с защитою государства»?

Собеневский в своей диссертации говорит об этом так: «В литературу идея защитного лесоразведения проникла значительно позднее его фактического начала». Правда, указывает он, еще в 1837 году «некто Ломиковский выпустил книжку «Разведение леса в сельце Трудолюбе», в которой описал результаты своих многолетних работ по лесонасаждению, начатому с 1809 года...»

Есть такая книга. Ее автор — помещик Миргородского уезда Василий Яковлевич Ломиковский.

«Относительно же лесоводства,— читаем в ней,— труды сии увенчались такими успехами, которые превзошли и собственное ожидание мое, ибо получить пустыню, а через 25 лет пользоваться уже строевыми деревьями, пригодными на жилые помещения и на всякие хозяйственные потребности, есть, конечно, успех, столь же отрадный, сколько удовлетворительный».

Но это, конечно, не главное, не то нас сейчас интересует, не древесина. Вот!.. «В уезде нашем довольно известно, что при общих и крайних неурожаях, бывших в 1834-м, 1835 годах, я имел счастье получать такой изобильный урожай, какой бывает в самые добрые годы».

А теперь отложу на время и диссертацию, и эту бесценную книжицу, пришедшую издалека. Почитаем знакомое всем и каждому произведение, написанное лишь лет на 12 позже названной книги.

« — Вот, поглядите-ка, начинаются его земли,— сказал Платонов,— совсем другой вид.

И в самом деле, через все поле сеяный лес — ровные, как стрелки, дерева; за ними другой, повыше, тоже молодник; за ними старый лесняк, и все один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова таким же образом молодой лес, и опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота стен, сквозь леса.

— Это все у него выросло каких-нибудь лет в восемь, а десять, что у другого и в двадцать не вырастет.

— Как же это он сделал?

— Расспросите у него. Это земледелец такой, у него ничего нет даром. Мало что почву знает, как знает, какое средство для кого нужно, возле какого хлеба какие дерева... Лес у него, кроме того что для леса, нужен затем, чтобы в таком-то месте на столько-то влаги прибавить полям, на столько-то унавозить падающим листом, на столько-то дать тени. Когда вокруг засуха, у него нет засухи; когда вокруг неурожай, у него нет неурожая».

Это путешествующий по России герой видит при въезде в поместье.

А вот что он видит при выезде.

«Целые пятнадцать верст тянулись по обеим сторонам леса и пахотные земли... в смешении с лугами. Ни одна травка не была здесь даром, все как в божьем мире, все казалось садом. Но умолкли невольно, когда началась земля Хлобуева: пошли скотом объеденные кустарники наместо лесов, тощая, едва подымавшаяся, заглушенная куколем рожь».

И еще одна сценка, но уже не из литературы, а из жизни, отстоящей от той почти на 150 лет, из нашей с вами жизни. Для точности укажу и время — осень 1983 года. Место — зауральское село Мальцево, дом знаменитого

кашего ученого хлебопашца Терентия Семеновича Мальцева. Сидим с ним, разговариваем.

И тут я приметил на табуретке книгу, которая, как мне подумалось, попала сюда случайно,— должно быть, забыл кто-нибудь из учителей. Ну, в самом деле, зачем Мальцеву могло понадобиться «Методическое руководство к учебнику «Русская литература для 8-го класса»?

— Расскажу сейчас, вот только приготовлю чай, а то что-то голодно стало,— откликнулся Терентий Семенович на мой вопрос.

Он взял с табуретки книгу и положил на колено.— На днях приезжали на экскурсию школьники из соседнего района. Разговорились. Вот я и поделился с ними, что очень нравятся мне слова из хорошо им известного литературного произведения: «Да, хлебопашец у нас всех почтеннее. Дай бог, чтобы все были хлебопашцы!» Ребята в голос: «Кто писатель, какое произведение?»

«Гоголь Николай Васильевич,— говорю.— «Мертвые души». Небось, проходили?»

«Проходили,— отвечают ребята,— Чичикова знаем, Ноздрева, Собакевича».

Вижу, учительница смутилась, однако за ребят все же заступилась: «Нет такого вопроса в программе, Терентий Семенович».

Может, и нет, только как же, думаю, учитель сельской школы пропускает такие прекрасные слова? Разве только потому, что помещик Костанжогло их произносит? Ну и что с того, что помещик? Это же позиция автора-патриота!..

Вернулся я домой, а успокоиться не могу — ответ учительницы из головы не идет. Взял в школьной библиотеке вот это «Методическое руководство», рекомендованное в помощь учителю Министерством просвещения РСФСР, и совсем расстроился. Действительно, основное внимание образам помещиков и чиновников губернского города, мимоходом — лирические отступления, но ни слова о тех размышлениях, на которые побудили автора все эти помещики и чиновники, образы которых рекомендуется изучать нынешним школьникам. А ведь размышления очень интересные...

Мальцев отложил «Методическое руководство» и достал из шкафа томик Гоголя, испещренный пометками:

— Почитай-ка вслух...

Читаю, что подчеркнуто:

« — Да,— сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова,— надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что в деревне тоска,— да я бы умер, повесился от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они в этих глупых своих клубах, трактирах да театрах. Дураки дурачье, ослиное поколенье! Хозяину нельзя, нет времени скучать. В жизни его и на полвершка нет пустоты — все полнота. Одно это разнообразье занятий, и притом каких занятий! — занятий, истинно возвышающих дух. Как бы то ни было, но ведь тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всего, что совершается в творении. Рассмотрите-ка круговой год работ: как еще прежде, чем наступит весна, все уж настороже и ждет ее; подготовка семян, переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка; установленье новых тягол. Весь <год> обсматривается вперед и все рассчитывается вначале. А как взломает лед, да пройдут реки, да просохнет все и пойдет взрываться земля — по огородам и садам работает заступ, по полям соха и бороны: садка, севы и посевы. Понимаете ли, что это? Безделица! грядущий урожай сеют! Блаженство всей земли сеют! Пропитанье миллионов сеют! Наступило лето... А тут покосы, покосы... И вот закипела вдруг жатва; за рожью пошла рожь, а там пшеница, а там и ячмень, и овес. Все кипит; нельзя пропустить минуты; хоть двадцать глаз имей — всем им работа. А как отпразднуется все да пойдет свозиться на гумны, складываться в клади, да зимние запашки, да чинки к зиме амбаров, риг, скотных дворов, и в то же время все бабьи <работы>, да подведешь всему итог и увидишь, что сделано,— да ведь это... А зима! Молотьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из риг в амбары. Идешь и на мельницу, идешь и на фабрики, идешь взглянуть и на рабочий двор, идешь и к мужику, как он там на себя копышется. Да для меня, просто, если плотник хорошо владеет топором, я два часа готов пред ним простоять: так веселит меня работа. А если видишь еще, что все это с какой целью творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход,— да я и рассказать не могу, что тогда в тебе делается. И не потому, что растут деньги,— деньги деньгами,— но потому, что все это дело рук твоих; потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилье и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслажденье? — сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего, сиял он весь, и казалось, как бы лучи исходили из его лица.— Да в целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает богу человек. Бог предоставил себе дело творенья, как высшее всех наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя. И это называют скучным делом!..»

Я читал и ловил себя на мысли, что тоже, как и те школьники-экскурсанты, размышлений этих не помнил и читал их как бы впервые. Значит, надо будет перечитать.

Перечитал — и сложное чувство овладело мной.

Нет сомнения, что Гоголь, уроженец Миргородского уезда, приезжая к родным в Васильевку, конечно же, бывал и в поместье Ломиковского, человека в уезде безусловно знаменитого, написавшего о делах своих книжку, о чем, конечно, в семье Гоголей знали — Василий Яковлевич часто навещал Марию Ивановну и даже, кажется, испытывал к ней сердечное влеченье. Так что, бывая, Гоголь проезжал, «как сквозь ворота стен, сквозь леса». Своими глазами видел, что вокруг засуха, а тут нет засухи, вокруг недород, а тут «изобильный урожай, какой бывает в самые добрые годы».

Выходит, Костанжогло в поэме — это Ломиковский в жизни? Не буквально, конечно, но, создавая положительный образ деятельного Костанжогло, автор ничего не выдумывал.

Однако литературная критика не только не приняла этой «идеальной картины», но и обвинила автора в фальшивой идеализации жизни, в абстрактном понимании человека. Гоголь, мучительно искавший положительное начало в действительности, в которой барахтались Чичиковы, Ноздревы, Маниловы и им подобные, верил в человека, в его духовные силы. «Мелкого не хочется,— писал он,— великое не выдумывается...»

Мелкого и без того было уже много. Белинский и Чернышевский ждали от Гоголя, что во втором томе «Мертвых душ» он нагребет огромную кучу навоза на весь этот помещичий строй. А он, наоборот, взял да и разгреб ее, среди всех этих пакостников, дармоедов, пустых мечтателей, дуроломов изобразил человека деятельного, хозяина рачительного, который делает полезнейшее дело «тихо, без шуму, не сочиняя проектов и трактатов о доставлении благополучия всему человечеству».

Понять гнев Белинского и Чернышевского можно, всю свою энергию ума и души отдавали они борьбе с ненавистным помещичьим строем. Но и художник Гоголь видел и понимал, что классу этому, к которому и сам принадлежал, еще жить и жить, еще править и править. И, конечно же, ему, патриоту, хотелось, чтобы правили лучше, разумнее, не растрачивая зря силы природные, силы народные. Понимал и видел, что, кроме Ноздревых, Маниловых, Кошкаревых, есть и Ломиковские. Так почему бы, если классу этому еще существовать и существовать, не создать образ не разрушающего, а созидающего хозяина? Нельзя же только поедать накопленное и ничего не делать. К тому же классы сменяются, а народ вечен и всегда будет нуждаться в добром примере.

Но в это же самое время литературные критики продолжали утверждать: «Образ Костанжогло явился крупной неудачей Гоголя. Попытка облечь в художественную форму реакционную идею не могла закончиться ничем иным, кро-

ме поражения». Где уж тут — вводить в школьную программу. Это только Мальцев считает, что в образе Констанжогло выражены мысли писателя-патриота, а критики совершенно противоположного мнения. Реальное отображение действительности для них — лишь в низком и пошлом.

3

И захотелось мне снова побывать на Полтавщине. Может, цел еще хутор Трудолюб, где когда-то жил Ломиковский — пионер полосного лесоразведения в России. Скорее всего самого хутора уже нет,— сколько их исчезло с лица земли,— да кто-нибудь подскажет, где был. Исчезли, наверно, и лесные полосы, которые Гоголь увековечил в «Мертвых душах».

Для окружающих Ломиковский, по свидетельству современников, был объектом постоянных пересудов, говорили о нем не иначе, как о человеке, знающемся с нечистой силой, ничем иным ленивые умы не могли объяснить ни высокие урожаи на его полях, когда во всей округе посевы выгорали до черной земли; ни вызревание невиданных плодов в его саду. И неудивительно, что после смерти Ломиковского, не оставившего наследников, хозяйство в Трудолюбе быстро захирело, а местность потеряла весь свой зеленый наряд.

Пионера полезащитного лесоразведения в России обвиняли в чертовщине, а литературного героя Констанжогло — в идейном грехе его творца, хотя творец не только не приукрасил Ломиковского, но многое отнял от него. Ни богатейшей библиотеки нет у Констанжогло, а у Ломиковского она была. Нет у него ни сада, ни «аглицких парков и газонов со всякими затеями», тогда как в Трудолюбе были и сад и парк, а в парке били фонтаны, по аллеям стояли скульптуры на мифологические сюжеты. Вместо этих красот, чуждых российской деревне, Гоголь разместил на бугре приличествующие ей крепкие избы, амбары, исполинские скирды и клади. Разместил, дабы не смущать российского читателя, лишь то, что имело практическую пользу. Однако все равно не избежал суровых упреков.

Политическая идея критиков взяла верх над практической идеей художника. В пылу споров оказалась забытой и так называемая «древопольная» система земледелия, великую пользу которой первым разглядел Гоголь, первым живописал опыт, по которому, надеялся, затем пойдет вся Россия.

Я был уверен, что ничего этого не сохранилось, потому что нигде в печати не встречал даже упоминания о хуторе и чудо-полосах вокруг него. И ни разу не слышал никаких рассказов, хотя в Миргороде бывал не раз. О луже слышал, стоял на том месте, где она разливалась. Слышал о других достопримечательностях, а вот о том, что где-то рядом с Миргородом жил Василий Яковлевич Ломиковский, один из славных здешних деятелей, друживший с матерью Н. В. Гоголя и со многими прогрессивнейшими людьми своего времени, об этом узнал лишь недавно.

И вот я в знакомом уютном Миргороде с единственной целью — разыскать хотя бы место, где был хутор.

— Покажем,— сразу же обрадовали меня в горкоме партии. И добавили: — Это рядом, в трех километрах от Миргорода.

Едем по знакомой дороге на Лубны. И вот — вижу у обочины указатель, мимо которого я, конечно же, проезжал и раньше, но ни разу не обратил внимания. На указателе читаю: «Трудолюб».

Вот так радость! Не исчез хутор с лица земли, он даже разросся в большое пригородное село, сохранив прежнее свое название, которое всякому может показаться современным.

Едем мимо зеленых дворов, мимо домов. К сельскому музею едем, вернее, к местному Дому культуры, в одной из комнат которого, как мне сказали, недавно открылся музей. Есть в нем, сказали, и что-то о Ломиковском.

Знают, значит, и от мысли этой во мне шевельнулось доброе чувство. Значит, когда-нибудь заглянут сюда и наши литературоведы, заглянут и поймут, что они были не правы в оценке не только Констанжогло, но и позиции самого

Гоголя, перестанут писать, что автор «Мертвых душ» увидел то, чего не было в жизни.

Хранитель музея молодой парень, уроженец здешних мест, недавно вернувшийся в колхоз с вузовским дипломом, в смущении распахнул дверь в свое хранилище.

— Как раз о Василии Яковлевиче Ломиковском у нас почти ничего и нет,— сказал он, от этого главным образом и смутился. Я же был доволен уже тем, что молодой человек назвал Ломиковского по имени и отчеству. И назвал верно. А раз знает, то что-то есть о нем и в музее. Сказал ему об этом, чем смутил еще больше.

— Узнали-то мы о нем совсем недавно.

— Сколько лет назад?

— Да что вы, лет! Только вот нынешней весной, когда миргородский краевед рассказал о нем в районной нашей газете.

Об этой публикации мне уже говорили и в горкоме, даже пообещали что на обратном пути мне ее обязательно дадут.

— Да я вам подарю, а то в городе забудут или не найдут,— расщедрился хранитель и вручил мне три номера районной газеты, в которых краевед Л. Розсоха рассказывала о Ломиковском.

Кто же он, Василий Яковлевич Ломиковский? Миргородский помещик, владелец небольшого «хутора Ломиковских», который в начале XIX века переименовал в парк «Трудолюб». Переименовал после того, как небогатое свое имение («пустыню») превратил в образцовое хозяйство, а на склоне холма создал сад и парк небывалой на Миргородщине красоты. Тут росли, цвели и давали плоды не только местные сорта и породы — Ломиковский выписывал семена и саженцы даже из-за границы. Тут плодоносили виноград, грецкий орех и другая экзотика.

Нет, он не пыль в глаза пускал, не бездельем маялся — искал такие способы хозяйствования на земле, которые бы позволили улучшить на ней жизнь.

В письме другу своему Ивану Романовичу Мартосу, вовсе не рисуясь, Ломиковский признавался: «Год от года стараюсь колико можно облегчать работы крестьян своих, так чтобы повинность сия основывалась на справедливости и чтобы крестьяне мои облегчены были более, нежели крестьяне соседов моих».

Перечитайте те главы, в которых Гоголь рассказывает о Констанжогло, и вы опять же обнаружите сходные мысли.

Будучи одаренным агрономом и неутомимым тружеником, он решительно ломал традиционные методы хозяйствования, искал и внедрял новые, никем еще не апробированные. Первым в России ввел «древопольное хозяйство» — занялся посадкой полезащитных лесных полос на межах, на крутосклонах и заболоченных местах.

Многолетний опыт привел Ломиковского к выводу: лесные полосы благотворно влияют на урожайность посевов. Этот вывод долго еще будут оспаривать, брать под сомнение многие и многие практики и ученые не только в XIX, но и в XX веке. А может, будут сомневаться и дальше?.. Кажется, Ломиковский предвидел, что будут спорить, поэтому вывод свой уточнял: лесные полосы могут благотворно влиять на урожайность только в условиях культурного земледелия. «Изобильный урожай,— писал он,— бывает на древопольных местах преимущественно тогда, когда все полевые работы производятся благовременно и с надлежащим рачением; напротив того, при нерадивом обращении с землей, она и в добрые годы урожает скудно», так как «сорные травы, ускоряясь всходами, заранее заглушают хлебную зелень».

Мысли эти, опередившие науку на многие десятилетия, Ломиковский изложил в той же книге «Разведение леса в сельце Трудолюбе». Нет, она не осталась в его огромном рукописном архиве. Книга была издана в Петербурге в 1837 году, а автора ее, по утверждению краеведа Л. Розсохи, одно из российских обществ удостоило даже золотой медали.

Я искал эту книгу в библиотеках многих сельскохозяйственных институтов, но ни в одной ее не оказалось. Даже в «Тимирязевке», имеющей богатейший книжный фонд.

Не было его книги и в музее. Никто в Трудолюбе не читал ее. А жаль.

Не сбылась надежда. Не пришелся к российскому двору ни Константин Федорович Костанжогло, ни прототип его Василий Яковлевич Ломиковский, который ко времени выхода второго тома «Мертвых душ» уже покоился на высоком бугре за околицей Трудолюба. Через сто лет фашисты обрушат на этот погост сотни бомб и уничтожат его.

4

Собеневский передал участок новому заведующему, Георгию Федоровичу Морозову. Ему, как и Собеневскому, было 33 года, шесть лет назад окончил тот же, что и Собеневский, Петербургский лесной институт.

Экспедиция доживала последние дни своей славной деятельности. В августе 1899 года она была закрыта, а участок преобразован в Каменно-Степное опытное лесничество, перед которым отныне ставились чисто лесоводческие задачи.

Морозов проработал в Каменной степи неполных три года — в 1901 году Петербургский лесной институт доверил ему профессорскую кафедру. Однако и за это короткое время он успел сделать немало.

Каменную степь он покинул ранней весной 1902 года.

А в Петербурге в это время медленно и мучительно угасал Докучаев. Надо бы лечь в больницу, уже собрался, но для того, чтобы взяли в нее, нужны деньги, а их у него не было. В феврале 1901 года Антонина Ивановна Воробьева шлет Отоцкому записку с просьбой о помощи: «Дядя собирается завтра ехать в больницу на Удельную станцию, но для того, чтобы туда поступить, надо подать директору лечебницы заявление, подписанное двумя лицами, которые поручились бы за Василия Васильевича в том, что плата за него будет вноситься аккуратно».

Отоцкий пишет поручительство и платит за лечение.

Да, Докучаев мог поправить свое нищенское положение, продав бесценное сокровище, которым владел,— почвенную коллекцию и библиотеку. Однако к мысли этой, мелькнувшей было в письме Измаильскому, он больше никогда не возвращался.

На всех выставках, как всероссийских, так и всемирных, докучаевская почвенная коллекция неизменно получала высшие награды. И всякий раз подвергалась «некоторому расхищению, в коем, как оказывалось позднее, принимали участие преимущественно учреждения (школы, музеи и т. п.)».

Русскими почвенными исследованиями начинают интересоваться во всем мире, перепечатывают все наиболее существенные труды наших почвоведов.

Во время Парижской выставки, состоявшейся в 1900 году, Национальный музей, Институт агрономии и Сорбонна обратились к русским с просьбой дать им «хотя бы небольшую часть русской почвенной коллекции». Администрация русского отдела выставки согласилась. Претенденты бросили жребий, и она досталась Сорбонне. Мы знаем, что в Париже и сегодня, хотя минуло почти столетие, хранится образец воронежского чернозема — из той коллекции.

На Западе при кафедрах почвоведения начали создаваться почвенные музеи. За содействием опять же обращались к русским — просили выслать образцы почв, карты, издания.

«Таким образом,— писал с горечью Докучаев в сентябре 1901 года,— русские специалисты приглашались к участию в создании чужих музеев в то самое время, когда их собственные коллекции не имели даже приюта, ютясь по затаенным углам университета, заполняя сараи, сгнивая и распыляясь».

В «затаенные углы» были сгружены ценности, даже незначительная часть которых превосходила по богатству и систематичности коллекции известных почвенных музеев Берлина, Будапешта, Вашингтона.

Покидая по болезни службу в университете, Докучаев обратился к ректору со следующим письмом: «Мне принадлежит коллекция почв в количестве примерно 1000 экземпляров из разных уголков России, а частью также с Дальнего Востока и из тропических стран, коллекция в значительной степени уже совершенно обработанная и собранная, в огромном большинстве случаев по строго определенному плану, мною лично или моими учениками в течение последних 20 лет. Насколько мне известно, это — единственное в своем роде столь полное собрание почв, и я немного ошибусь, если оценю его примерно в 3—5 тыс. рублей. Кроме того, в моем распоряжении находится около 150 больших фотографий, характерных для разных почвенных областей России, 12 больших портретов главных деятелей по русскому почвоведению и несколько десятков почвенных разрезов, профилей, карт, рисунков и довольно значительная почвенная библиотека, оценить которую я затрудняюсь».

Все это богатство Докучаев, уже больной и вконец обнищавший, просил ректора принять безвозмездно и создать в университете почвенный музей, на меблировку которого требовалось всего «сот 7—8». При этом еще и брал на себя обязательство самостоятельно устроить новый почвенный музей.

Однако в университете остались глухи к его жертвенным призывам.

И снова голос разума подало Вольное экономическое общество. Весной 1902 года при нем был учрежден Центральный почвенный музей.

Весть эта ободрила и успокоила угасающего Докучаева: вот теперь будущее науки, которой посвятил лучшие годы жизни, обеспечено окончательно. Как ее родоначальник, он хорошо понимал, что для развития любой естественной науки важно не только выделение ее в качестве самостоятельной научной дисциплины, но и признание этого факта в сознании общественности.

С той поры музей несколько раз менял свое местопребывание, пока не обосновался в одном из старинных и прекрасных зданий на стрелке Васильевского острова, рядом с университетом.

Залы музея не пустуют, идут и идут сюда люди, отдавая дань уважения Докучаеву, его сподвижникам и последователям. И познавая. Да, именно здесь человек, много исходивший по земле и даже пáхавший ее, может быть, впервые видит именно почву, а не инертную массу, с которой мы и по сей день обращаемся бездумно и жестоко. Мы и поныне не осознали, что почва — самое населенное место нашей зеленой планеты. Да и зеленая она только потому, что есть на ней почва, вскармливающая все живое. Но почва еще и энергетический аккумулятор суши, и универсальный экран, удерживающий от стока в мировой океан важнейшие элементы питания растений. В ней утилизируются и разрушаются вредные природные соединения и хозяйственные отходы. Лиши планету почвы, убей в почве жизнь неумелой обработкой, минеральными удобрениями и ядохимикатами — и Земля превратится в безжизненную планету.

5

Я вышел из музея и тихо пошел по набережной мимо университета, Меньшикова дворца, свернул на 1-ю линию Васильевского острова, дошел до дома 18. В нем на втором этаже жил Василий Васильевич Докучаев. Не ищите мемориальной доски на доме — ее нет.

Прямо за Невой — Исаакиевский собор, а рядом с ним в доме 44 на Морской было министерство земледелия. Не знал я лишь одного — где находилось Вольное экономическое общество. Надо бы разыскать.

Вольное экономическое общество... На скрижалях истории Отечества и мировой науки ему бы быть записанным золотыми буквами.

Державная учредительница Общества Екатерина II не стала утруждать ни себя, ни других подробной разработкой, как теперь говорят, тематики исследований. Она лишь сказала: «Не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо основанная торговля, где земледелие в уничижении, или нерачительно производится». Вот та грандиозная программа, которая оставалась неизменной во

все времена, над решением которой полтора века трудились «пчелы, в улей мед приносящие».

Работать ученый мог где угодно, какой угодно наукой заниматься, но если хотел и мог принести пользу земледелию, он шел сюда, в Вольное экономическое общество, чтобы поделиться идеей и обсудить ее. Здесь собирался цвет отечественной науки. Сюда сходились те, для кого общая польза была превыше всего, кто не словами, а делом доказал это. А таких было немало — Общество насчитывало до тысячи членов. Прием в него означал признание заслуг перед наукой и Отечеством, а для принимаемого это было событием, вехой в биографии. Стремилась попасть в Общество и думающая молодежь, приходили на заседания, диспуты, лекции и исподволь накапливали материал для собственного выступления с докладом или сообщением.

Не мог не прийти сюда и молодой Докучаев, делавший первые шаги в науке. Здесь он получил первые задания, здесь и сформировался как ученый. Больше того, здесь, в Вольном экономическом обществе, а не в университете, как принято считать, и родилась новая наука — почвоведение.

За несколько лет до ликвидации Вольного экономического общества исполняющий должность секретаря Александр Николаевич Егунов завершит годичный отчет такими гордыми словами: «Общество имело право сказать: «Я честно поработало на благо дорогого Отечества; я сделало, что могло,— очередь не за мною».

Эти слова оно имело право сказать и на последнем своем заседании в 1915 году, когда царское правительство насильственно прекратило его деятельность.

Правительство косилось на Общество давно. Еще в 1900 году закрыло просуществовавший девять лет комитет помощи голодающим, а вместе с ним и старейший комитет грамотности. Потребовало пересмотреть устав Общества и запретило доступ посторонним лицам на заседания. Все эти правительственные меры привели к захирению Общества, а потом и к фактическому прекращению его деятельности.

Оно действительно с честью поработало на благо Отечества, во славу русской науки. Эти гордые слова можно было бы выбить на бронзе и водрузить на доме, где находилось Общество.

А может, они и выбиты?

Мне захотелось постоять у этого дома, побывать в залах, где собирался цвет России. Здесь бывали, если считать только вторую половину XIX и первые годы XX века, Д. И. Менделеев и А. М. Бутлеров, А. Н. Бекетов и П. П. Семенов-Тян-Шанский, А. В. Советов, М. М. Ковалевский и Л. Н. Толстой, А. Н. Энгельгардт, В. И. Вернадский и многие другие. Здесь, в библиотеке Вольного экономического общества, брал книги Владимир Ильич Ленин.

Здесь... А где именно находилось Вольное экономическое общество? Этого я не знал. Полагал: любой ленинградский ученый мне укажет. Спросил одного, другого, третьего — в ответ пожимали плечами и не без смущения говорили: «А действительно, где оно было, это старейшее и славнейшее Общество?»

Ясное дело, кто-нибудь из них все же вспомнил бы или узнал у сведущего человека, но я не хотел ждать, не хотел никого утруждать: адрес-то укажут и работники архива, с которыми мне общаться еще не один день.

Спрашиваю у них. Задумались, начали называть разные адреса, но тут же и опровергали свои предположения. Потом пришли к выводу, что точно может указать только вот такой-то человек (и дали мне его телефон), а если и он не знает, то позвоните вот такому-то.

И вдруг одного архивариуса осенило: «Подождите, у нас же есть книга по истории ВЭО, там наверняка указан и адрес».

Пошел по указанному адресу. Вот и дом 33 — двухэтажный особняк с небольшим огороженным сквериком. На стене мемориальная доска: здесь, в здании бывшего Вольного экономического общества, в 1905 году выступал Ленин. Обрадовался: вот оно! У входа в особняк читаю: «Заочный институт культуры».

Дверь почти не закрывалась, входили и выходили молодые люди: в институте была зимняя сессия. Вместе с ними вошел и я. Узкий крашеный коридор привел меня к сидевшему за столом пожилому вахтеру. По виду вахтер был отставником или вышедшим на пенсию педагогом. Пережидая, когда схлынет поток, я подошел к типографскому листку с фотографией и описанием дома. Из него узнал, что здесь в 1905 году проходили заседания первого Петербургского Совета рабочих депутатов. Узнал, что большую художественную ценность представляет внутренняя отделка, относящаяся к 1830 году, что на втором этаже есть Помпейский зал — малая аудитория. И ничего больше. О Вольном экономическом обществе ни слова.

Пока я читал и перечитывал, поток студентов схлынул и вахтер сам подошел ко мне, человеку явно постороннему. Узнав, зачем я тут, он с нескрываемым интересом начал выспрашивать о тех великих людях, которые здесь бывали, работали, выступали. При каждом новом имени с неподдельным изумлением восклицал: «И Менделеев здесь бывал!» «Даже Лев Толстой!». Потом с сожалением признался: «А я вот сколько тут сижу и ничего этого не знал, не слышал».

Оставив свой пост на попечение гардеробщицы, он повел меня по зданию. Мы заходили в библиотеку, поднимались по узкой деревянной лесенке с деревянными перильцами в Помпейский зал, заглядывали в большой зал заседаний — там шли занятия с будущими работниками культуры. Ознакомив меня со всеми ходами и выходами, вахтер ушел на свое место, а я остался в пустой гостиной.

В любом другом месте я бы любовался внутренней отделкой потолков и стен, имеющей действительно большую художественную ценность. Радовался бы, что все в целости и сохранности. Мог бы позавидовать студентам, будущим работникам культуры, которых окружает такая красота.

Но я не радовался и не завидовал, а недоумевал: нигде в доме не увидел ни одного портрета тех выдающихся ученых, которыми гордится мир, которые именно из этого дома, вот из этого зала, где сейчас слушают лекции студенты, извещали человечество о новых открытиях, о рождении новых наук.

...Я уходил отсюда вовсе опечаленным — какие же мы непомнящие! Лишь искренняя любознательность вахтера слегка грела. На прощание он сказал: «Вам надо бы с ректором нашим встретиться». А мне в тот день как раз этого не хотелось: в тот день я побывал в Вольном экономическом обществе, а в институт культуры, может быть, зайду в другой раз.

6

Физические мучения Докучаева усугублялись нравственными — нищенским материальным положением. В письме Измаильскому, которое окажется последним, он излил всю боль души своей:

«За это время я дважды был в больнице, но толку никакого: всему, даже Божиему долготерпению, по-видимому, есть конец. Нельзя прощать и снисходить без конца, судя по-человеческому... А между тем как хорош Божий мир, так тяжело с ним расставаться. Еще раз заочно обнимаю Вас. Прощайте и простите. Если можете, молитесь за меня... Ах, как тяжело... а ведь казалось, было когда-то так светло!»

Ему еще выпадет год невыносимых мучений. Но его связь с внешним миром оборвалась именно на этом прощальном письме другу — с учениками своими он попрощался раньше.

Медленно замирал человек, еще недавно полный мысли, инициативы и деятельности. Замирал энергичный работник, который «умел хотеть и умел достигать своей цели путем личного колоссального труда и путем организации работы других». Замирал при полной потере сознания, в мучительной, тяжелой нравственной обстановке, созданной его больным воображением.

В короткие периоды просветления не мог он не вспомнить Каменную степь — там, далеко, растут, лепечут листвой зеленые полосы. Им жить.

Да, они будут жить. К ним пролягут тропы, по которым пойдут лесоводы и агрономы, биологи и экологи со всех сторон света. И экскурсовод обязательно прочитает им из леоновского «Русского леса» вот эти строки: «Но однажды взволнованно, с непокрытой головой, вы пройдете по шумящим, почти дворцовым залам в Каменной степи, где малахитовые стены — деревья, а крыша — ослепительные, рожденные ими облака. Сам же он, вдохновенный мастер леса, Василий Докучаев, и его упорные подмастерья видели их лишь в своем воображении».

Упорные подмастерья не только сохраняли основные научные тенденции Экспедиции, но и продолжали выполнение намеченного мастером плана создания полезащитных полос и насаждений на склонах и вокруг прудов.

Ни у кого ни тогда, ни потом и мысли не возникло переделать этот план по-своему. И вовсе не потому, что слепо преклонялись перед начертанным,— во все времена преемники первым делом как раз стремились если не отвергнуть, то переиначить все, что намечал предшественник. Никто не отверг, не переиначил потому, что были покорены духом создателя.

26 октября 1903 года в Петербурге после трех лет невыносимых нравственных и физических страданий Василий Васильевич Докучаев ушел из жизни. Похоронили его на Смоленском кладбище, рядом с Анной Егоровной.

Сподвижники Докучаева возобновили ходатайства перед министром земледелия о необходимости организации на участках Экспедиции опытных хозяйств. Министр был вынужден назначить комиссию «для обсуждения желательной постановки сельскохозяйственных опытов в опытных лесничествах».

На первом же заседании комиссия под председательством профессора И. А. Стебута при участии департаментских представителей и учеников Докучаева признала желательным учредить в Каменной степи опытное хозяйство. Однако правительство не поддержало ученых, и в 1908 году Каменно-Степное опытное лесничество объявили закрытым. Участок передали Бобровскому уездному земству, которое открыло здесь Верхнеозерскую низшую сельскохозяйственную школу.

Весть о закрытии лесничества огорчила ученых. Они вновь собираются на заседания, однако, как иронизировал один из участников этих собраний, «одна комиссия считала себя некомпетентной и предлагала создать другую комиссию из компетентных лиц».

7

А в это время имя Докучаева обретало все большую известность и популярность в мире. После того как в 1907 и 1908 годах в Москве прошли первые съезды русских почвоведов, были созваны подряд две международные агрогеологические конференции в Будапеште и Стокгольме. Представителям русской почвенной науки, их сообщениям отводилось на этих конференциях почетное место. Делегаты первого международного Конгресса, состоявшегося в апреле 1909 года, единогласно наметили «русские работы прежде других для печатания в мемуарах».

Почвоведы с гордостью произносили имя своего учителя, говорили о науке, «обнимающей весь земной шар», и размышляли: «А если бы речь шла не о русской, а о европейской науке — английской, французской, бельгийской, не говоря уже о немецкой,— ей был бы оказан совершенно иной, лучший прием».

Однако мысль эта была скорее мимолетной. Их куда больше волновал прием, какой оказывали родимой науке у себя в России. Тут они видели полное несоответствие того, что должно было бы быть, с тем, что существовало в реальности: в Западной Европе имя Докучаева повторяют значительно чаще, чем в России. И говорят там о великом Докучаеве.

Наследники его легко себе представляли, какое положение заняла бы такая — и притом еще своя, национальная — наука в Германии: у нас же трудно сказать, что сталось бы с самим Дарвином и его учением, народись они оба на русской почве.

Вспоминали Ломоносова, все силы души положившего на то, чтобы создать в России условия, при которых могли бы развиваться и работать собственные Платоны и Невтоны. Однако чаще всего прошения его украшались краткой резолюцией: «Адъюнкту Ломоносову отказать». И в этом отношении Россия за 200 лет не очень далеко ушла вперед: в большинстве случаев наши выдающиеся ученые дали крупные исследования не благодаря тем условиям, в которых они работали в России, а вопреки им. А кто скажет, какое число уже начатых интересных исследований, как и у Ломоносова, неожиданно оборвалось, какое число людей с несомненными проблесками таланта благодаря неизменившимся «ломоносовским условиям» погибло и для науки и для страны...

Председательствующие на международных съездах русские почвоведы не сомневались, что мы все более быстрым темпом приближаемся к тому времени, когда на Западе почвоведение заявит о себе в полный голос. Но не были уверены, удержим ли мы, русские, в своих руках и в дальнейшем инициативу развития науки о почве. Будут ли и в будущем западноевропейские ученые приезжать учиться к нам, или же — что нам гораздо привычнее — мы будем ездить если не к немцам, то к американцам, японцам и австралийцам?

8

Человек стоит посреди ровного поля. Он охватывает взором это поле, видит на пашне чахлые всходы, страдающие от недостатка влаги. Накапливать ее в почве, думает человек, можно с помощью правильной обработки, с помощью глубокой вспашки.

Докучаев смотрел на землю с иной точки. И с этой высокой точки он видел дальше своих коллег.

Нет, сказал Докучаев, одной лишь обработкой почвы, даже самой культурной, засуху не победить. Надо остановить рост оврагов, обсадить их деревьями и кустарниками, окаймить приовражными полосами. Верховья оврагов и балок надо перехватить плотинами, чтобы задержать талые и дождевые воды. Задержать именно в верховьях, где ручейки еще не успевают собраться в разрушительные потоки. Именно оттуда, из верховых водоемов, и будут подпитываться поля грунтовыми водами, туманами и росами.

Наверное, так всегда: великие видят дальше, видят то, что ни умом, ни взором не охватывают другие.

— Если действительно хотят поднять русское земледелие, еще мало одной науки и техники, еще мало одних жертв государства: для этого необходимы добрая воля, просвещенный взгляд на дело и любовь к земле самих землепашцев,— говорил Докучаев.

Подождите, а может, нам как раз и не хватает доброй воли, просвещенного взгляда на дело и любви к земле самих землепашцев?

Уж сколько раз на веку государство планировало обсадить овраги лесом, а поля защитить лесными полосами! Выделяло на это деньги, технику, готовило специалистов. Нет, не создали землепашцы систему защиты к 1965 году, как намечалось государственным планом преобразования природы. Не будет это сделано и к 1990 году, как планировалось позднейшими постановлениями. Специалисты считают, что при нынешних темпах степного лесоразведения эта работа продлится до середины следующего века.

«Оглянись на Каменную степь, агроном!» — взывают наследники Докучаева.

Нет отклика. Не поворачивая головы, агроном продолжает угрюмо бубнить о трудных погодных условиях, о ветрах, бурях, засухах и суховеях. Бесконечен его бубнеж, начатый в прошлом веке, он длится и поныне. Ладно, пусть себе бубнит, а мы Докучаева послушаем.

В июне 1900 года он приехал на Полтавщину, чтобы прочитать курс лекций по почвоведению. Любознательные полтавчане гурьбой ходили за профессором по полям. Спрашивали и про овраги. И мы уже знаем, что он ответил. Однако об отрицательной роли оврагов в понижении уровня грунтовых вод Василий Васильевич сказал лишь после того, как мягко укорил:

— Ведь зла в природе, стихиях, в сущности, нет, как нет и добра. Никто не виноват, а если и есть вина, то лишь в неумении человека справляться со стихиями.

Слушатели начали говорить ему об орошении, о том, что в бедных водой степях единственной надеждой на получение удовлетворительного урожая может быть артезианская вода. Как видим, уже тогда водная мелиорация владела умами многих специалистов. Однако Докучаев энергично отверг эту заманчивую идею:

— В артезианской воде слишком много солей, почему она и не годна для орошения. Поливая ею ваши поля, вы рискуете обратить их в солонцы.

Так где же выход? Вот он:

— Гораздо разумнее сберечь ту воду, которую дают нам атмосферные осадки, а для этого нужно реставрировать, возобновить природу почв, коль скоро она испорчена неумелыми руками и теперь хлеба страдают от засух...

Слушатели уже знали, о чем речь и что имеет в виду профессор под возобновлением природы почв. Несколькими днями раньше он говорил об этом подробно и впечатляюще:

— Некоторые наши исследователи, к числу их отношу я и себя, считают, что возвратить чернозему прежнее плодородие — это значит возвратить ему структуру девственных степей... Я не могу придумать лучшего сравнения для современного состояния чернозема, как то, к которому я уже прибегал в своих статьях. Он напоминает нам арабскую чистокровную лошадь, загнанную, забитую. Дайте ей отдохнуть, восстановите ее силы, и она опять будет никем не обогнанным скакуном. То же и с черноземом: восстановите его зернистую структуру, и он опять будет давать несравнимые урожаи...

Не думал, не предполагал Василий Васильевич Докучаев, что эту чистокровную лошадь, которая ценнее всех богатств Урала, Кавказа и Сибири, агрономы будут и все следующее столетие без роздыха гнать и гнать вперед, заставляя ее тащиться из последних сил.

Присмотрись, агроном, к последствиям твоих распоряжений. И задумайся, как задумался однажды Владимир Иванович Вернадский, виднейший ученик и последователь Докучаева. Чтобы защитить от скота молодой дубняк в своем имении, он велел окопать его канавой. И этим самым, как потом увидел, нарушил «вековой строй» — уже через два года от канавы начал образовываться огромный овраг. И Вернадский, будущий основатель науки о биосфере и ноосфере, пришел к выводу, которым нужно бы руководствоваться каждому агроному: «Совершенно то же самое устанавливается и в почве. Всякая неверная обработка, всякая дурная обработка отражается не в этом году, а на все последующие годы»...

Эта тревожная мысль побудила Вернадского написать слова, предостерегающие тебя, агроном, и тебя, ученый муж: «И горе той стране, где знание мало развито, где оно мало проникло в рабочие массы. Каждый шаг, каждый год накладывают свою руку на почву и передают ее обезображенной, с фальшивыми свойствами, следующим поколениям.— И задался вопросом, над которым надо бы задуматься правителям: — Кто исчислит тот великий вред и то ужасное наследство, которое мы оставляем будущему благодаря задержке и слабому распространению образования, благодаря неверной трате средств, благодаря стеснению свободной, благородной человеческой личности?»

Задумаемся... Этот вопрос великий ученый задавал в конце прошлого века. С той поры наследство оказалось изрядно пограбленным, однако исчислить этот великий вред так никто и не решается.

Если тогда, на рубеже веков, чернозем терял зернистую структуру, одно из своих главных свойств, то к концу двадцатого века он потеряет и значительную часть гумуса — органического вещества, обогащающего почву азотом, фосфором, калием, кальцием.

Самым большим содержанием гумуса всегда отличался именно русский чернозем, за что и почитался «благодатной почвой, которая составляет коренное, ни с чем не сравнимое богатство России». Обследуя эту «главную житницу человечества», Докучаев всюду обнаруживал от восьми до десяти процентов гумуса, от 80 до 100 килограммов органики на тонну почвы. Было много мест, где доля гумуса возрастала до 13 процентов. И лишь в узкой полосе западных и южных окраин черноземья содержание органики падало до четырех — семи процентов.

Составляя карту черноземных почв России, Докучаев раскрашивал ее разным цветом — в зависимости от содержания гумуса. Сегодня она безнадежно устарела — цвета не совпадают. Нет, не Докучаев допустил неточности — черноземы почти повсеместно обеднели: в одних областях содержание гумуса уменьшилось на треть, в других — наполовину. Как констатируют ученые, сегодня былой минимум стал правилом, а максимум, зафиксированный Докучаевым сто лет назад, совсем не встречается. Зато встречаются немалые пространства, где чернозем смыло и выдуло до материнской породы. А деградированный чернозем, как известно, никогда черноземом не станет: человеку не дано возродить его.

Как показывают данные аэрофотосъемок, заметно «линяют» земли всех черноземных областей. Темный цвет на этих снимках все заметнее переходит в желтый и белый. Это говорит о том, что катастрофически исчезает гумус и грядет грозная опасность полного истощения житницы человечества. И так не только у нас, так происходит всюду в мире. Опустынивание «шагает» по планете со скоростью до 50—70 тысяч квадратных километров. Столько плодородных земель выпадает ежегодно в мире.

И уже не просьба, а крик вырывается из груди: «Агроном, оглянись на Каменную степь!»

Нет отклика. Агроном охотнее слушает тех администраторов и ученых мужей, которые и в 70-х, и в начале 80-х годов предавали анафеме лесные полосы, как напрасно занимающие землю и мешающие развернуться современной технике во всю могучую силу. Они осмеивали самую идею защитного лесонасаждения.

Да, расползающиеся по лику Земли овраги им не мешают, а мешают почему-то только лесополосы. А что в каждой области овраги уже отняли десятки тысяч гектаров плодородных земель, так это же стихия! Они забыли, что только в 1969 году черные бури вынесли из районов Нижнего Поволжья и Северного Кавказа 25 миллиардов тонн пыли. Нет, не пыли, а почвы и гумуса, превращенных в пыль. Ущерб от этого выноса, от снижения плодородия равен полному разрушению пахотного слоя на миллионе гектаров.

Ужаснись, человек, и подумай! Прогрессирующее иссушение почвы, которое так тревожило Докучаева, продолжается по тем же причинам: тут и интенсивная распашка, и усиливающаяся эрозия, и рост оврагов, и катастрофическое снижение содержания гумуса (в некоторых областях уже снижается на один процент в год), и падение уровня грунтовых вод. «Главным виновником данного печального положения в стране служим мы сами»,— говорил Докучаев.

Выходит, что следует призывать оглянуться на Каменную степь и мужа ученого, который обещал защитить степи с помощью одной лишь агротехники, одной лишь плоскорезной обработки почвы. Ошибки и заблуждения повторяются.

Нет, я не против безотвальной обработки почвы, родоначальником которой считаю Терентия Семеновича Мальцева. Я убежденный ее сторонник и пропагандист. Знаю, она и почвозащитная, и влагонакопительная, и водоохранная, обеспечивающая высокий коэффициент полезного действия осадков. Но главное, она способствует восстановлению и дальнейшему повышению плодородия почвы за счет накопления гумуса. Поэтому я за то, чтобы она как можно скорее вытеснила варварскую обработку почвы отвальным плугом. Но без воздействия «на всю цельную и нераздельную природу» даже идеально приспособленная к природным условиям агротехника не способна избавить от засух и недородов, от эрозии и истощения.

Так что призываю тебя, мужа ученого: оглянись на Каменную степь, на этот поистине сказочный зеленый остров среди вдоль и поперек изрезанных оврагами, открытых всем ветрам и суховеям просторов.

В. КАМЯНОВ

Служенье муз и прикладная эстетика

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения

О. Мандельштам

Постоянство временных правил

Немало сил потрачено историками новейшей литературы на ее периодизацию, наглядно скоординированную с этапами общественного развития: два послереволюционных десятилетия, разделенные чертой «великого перелома», период войны, пора восстановления и т. д.

Рамки такой периодизации не уже и не шире, чем диктует утилитарно-просветительский взгляд на искусство (первейшим долгом которого мыслится популяризация полезных идей), в самый раз. И вдруг, когда на удобных макетах обучены многие поколения школьников, педагогов, доцентов филологии, случился тектонический сдвиг, от которого закачались макетные горы: пора гласности вынесла на самую стремнину культурной жизни неизвестные миллионам читателей произведения Платонова, Булгакова, Гумилева, Ходасевича, Ахматовой, Гроссмана.

Опальные книги, некогда выселенные со своих законных мест, получившие «поражение в правах», запросились обратно — в историю отечественной словесности. А обратное их вселение чревато непредвиденными перепланировками.

Правда, после XX съезда канонизированным новейшим классикам пришлось немного потесниться, дабы освободилось какое-то пространство для выплывших из безвестности Цветаевой, Заболоцкого, Артема Веселого, Бабеля... Но особых почестей первому отряду возвращенных писателей не воздавали, в официальных о них отзывах сквозил холодок отчужденности, печатались, по замечанию М. Чудаковой, «статьи, предостерегающие от преувеличения их роли в литературном процессе».

Теперь же положение резко переменилось, и с возвращением в круг читательского внимания Гумилева, Платонова, Ходасевича, Набокова неизбежен острый диалог между ними и авторами «пайковых», по выражению Мандельштама, книг, собравшими в пору гонений на тех же Платонова или Гумилева щедрый урожай поощрений.

А поощрялась не только политическая ортодоксальность, гораздо больше — выправка ума, когда нет сомнений, что художник — свой брат, не сбивает начальство с толку аллегориями, мыслит ясно, без закавык и со всех сторон обозрим.

Главная форма уважения искусства к авторитарной власти не угодливость или славословие (грубо, и нет гарантий, что за лестью не прячется издевка), а привычка не дергаться под начальственной рукой, когда та поощрительно поглаживает либо охлопывает с проверочной целью. Девиз лояльного, или уважительного, искусства — не перетруждать контролеров, то есть не скрытничать, не темнить, рассказывать обо всем внятно, как рассказало бы само руководящее лицо, располагай оно досугом.

Когда Сталин кудесничал в роли покровителя муз, выпуская из широкого рукава стайки умельцев-лауреатов, им вознаграждался подотчетный, по сути своей заседательский строй сознания. Оттого и нет мира между литературой, удостоенной многих поощрений, и литературой опальной, что по строю, укладу сознания они трудносовместимы.

И о человеке думают по-разному. В предвоенные десятилетия авторитетные литературные уста со вкусом выговаривали: «человеческий материал» — сочетание, быть может, уместное в глобальных построениях политика, но не в рассуждениях писателя, для которого по давней традиции неповторим и уникален мир отдельной личности.

В семантике формулы «человеческий материал» видна хватка пекаря, затеявшего месить и раскатывать тесто, либо ваятеля, разминающего глину. Самоуправное слово не утаило оттенок высокомерия, моральной отстраненности от «полуфабриката», серой массы, которую еще предстоит доводить до ума.

Вообще броские речевые клише реконструктивного периода, кочевавшие по колонкам газет, страницам брошюр и книг, хранят память о попытках регламентировать не только поведение граждан, но и порядок в их головах и душах. Участники великой ломки и стройки, для которых были выкованы идеологические доспехи, с интересом оглядывали себя в боевом, так сказать, снаряжении, терпя, если где-то жмет, и находя абсолютные истины под рукой.

А в практике искусства укоренялось представление о малости индивидуума («единица — вздор, единица — ноль») перед громадой общего дела. Оно и становилось подлинным героем повествовательных, драматических и прочих сюжетов, требуя в свое распоряжение в с е г о человека, отсекая его от глубины Прошлого, изымая из потока большого Времени, располагая в пределах с р о к о в (посевной, уборочной, пуска домны и т. п.).

Но ведь сама история распорядилась: сейчас так надо! Верно. Только мы не раз убеждались, что нет ничего постояннее временных норм и правил. Особенно в условиях жесткой централизации, когда за искусством присматривают булгаковский Миша Берлиоз и его наследники, которым Иван Бездомный намного угодней Мастера: он радует своих опекунов, как примерное дитя, ни на шаг не отходящее от няньки.

Разумеется, со временем исчезают из обихода режущие слух сочетания типа «человеческий материал», любителям горячить искусство призывами к оперативности ставят на вид их дубоватую прямолинейность, критика делается интеллигентней, заводит толки о «духовной суверенности», но менторский дух Миши Берлиоза держится в нашем храме искусств стойко, как запах гоголевского Петрушки.

И в определенном смысле история советской литературы есть история сопротивления художественного сознания заседательскому, а говоря условно, Мастера — Берлиозу.

Необходимость Воланда

Музы, когда они, в согласии с известным призывом поэта, крепко ввязаны в воз повседневности, способны притерпеться к тягловой повинности, понуканиям возницы и позабыть дорогу на Парнас либо спутать с Парнасом ближайший пригорок.

Однако само это зрелище: музы, натягивающие постромки,— таит в себе немалый воспитательный заряд, внушая наблюдателю, что покровы тайны отовсюду, где они прежде были, сдернуты, все подробности мира на свету. А раз так и слухи о сложности мира сильно преувеличены, отчего бы участнику обновления при случае не подать музам дельный совет?

Собственно, никаких тут нет проблем для героини фильма Глеба Панфилова «Прошу слова» Елизаветы Уваровой — мэра города, убежденной, что музами не трудней управлять, чем коммунальными службами. Местному драматургу отказывают в постановке его пьесы? Надо разобраться, что за пьеса, верно ли и не к ущербу ли для зрительских умов распределены там свет и тени.

Вид взнузданных муз исподволь воспитывал героиню фильма (у нас зря не взнуздают!), как, впрочем, и тех ее сограждан, кто привык видеть в искусстве сферу обслуживания (увы, отстающую от запросов), подавать музам заявки и, что называется, подбрасывать свою кладь на влекомый ими воз повседневности. А Елизавета Уварова, та по должности вполне тактично контролирует, то ли на возу лежит, что надо.

Местный драматург (эту роль играл В. Шукшин) напрасно пробует достучаться до сознания энергичной выдвиженки: Сезам не отворится, ибо он вроде бы никогда не закрывался. Герметичному сознанию внушена иллюзия его открытости и вольного парения над не вполне совершенным миром. Тут не просто социально-психологический казус, а занимающая искусство тема. С вариациями.

Одна из вариаций прозвучала совсем недавно в рассказе Д. Гранина «Запретная глава» («Знамя», 1988, № 2). Писатель поведал нам невыдуманную историю своей попытки включить в «Блокадную книгу» свидетельства сугубо ответственного лица, которому жизнь осажденного города тогда, в 40-е, открывалась шире, чем рядовым ленинградцам.

Осуществить такой замысел оказалось, однако, нелегко, и первые сложности возникли уже на той стадии, когда готовилась и протекала беседа. Вопросы писателя (о человеческом существовании в нечеловеческих условиях) сперва пробовал «на вкус» организатор встречи, затем на них отзывался или, напротив, никак не отзывался главный гранинский собеседник. Сами же устные воспоминания лились особенно гладко, даже оживленно, когда дело доходило до случаев героико-анекдотических — вроде эпизода бомбежки, застигнувшей высокую правительственную комиссию на открытом месте. Но разговор мигом стопорился, как только задевалась тема блокадных лишений (какими те виделись из Смольного) либо распорядительности высших должностных лиц.

Писателю давали понять, что его любознательность бестактна, в лучшем случае наивна. Устроитель встречи, тот и вскидывал брови, и красноречиво же-

стикулировал, не скрывая удивления: мол, до чего же, однако, неловки, туги на сообразительность романисты, даже документалисты, когда забираются в область, где головой работать надо не как-нибудь, а политично, тонко, по-государственному.

Со своей стороны, повествователь видит, что против его писательской пытливости — система «табу» и шире — сомкнутый строй представлений, который не расшатаешь внезапными вопросами.

У Глеба Панфилова в фильме «Прошу слова» диалог официального лица с носителем творческого вольномыслия (драматургом) развертывался у основания административно-иерархической лестницы (городской уровень), в рассказе Гранина «Запретная глава» — у самой вершины. И там и здесь в процессе диалога возникали очень похожие помехи. Главная — полнота уверенного в себе знания по ту сторону стола переговоров, где разместились официальные лица, а в этом знании — важный оттенок: служители муз — народ, непривычный к дисциплинарной узде, приходится о ней напоминать!

Но всегда ли приходится? Если, скажем, библейский пророк Иона сверх срока засидится в брюхе кита, сохранив при этом способность вещать, разве ему не привьются там навыки утробного прорицателя? Многие служители муз так и прорицали, радуясь тому, как просторно в китовом брюхе, и приглашая публику разделить их радость.

Когда в 70-е критика обсуждала распутинское «Прощание с Матёрой», еще был свеж в памяти один роман на родственную тему — о ликвидации деревень и поселков, выросших на землях, которым теперь суждено скрыться под водой, став дном рукотворного моря. Роман (В. Фоменко «Память земли»), вышедший отдельным изданием в самом начале 70-х, получил одобрительную прессу, долгое время включался в заздравные перечни наших удач на литфронте.

А проект искусственного моря — он как? Не келейно, не впопыхах ли принят? Удобным ли дном морским окажутся луга и пашни с перелесками? Не «зацветет» ли вода? Оправдаются ли потери (моральные в том числе)? Подобного рода вопросы как-то не занимали ни сознание романиста, ни сознание его почитателей, где царил, говоря словами поэта, «полный гордого доверия покой» — доверия к тем, кто спустил директиву, доверия к их компетентности.

Но, как ни крути, людей-то, «гущу низовую» (позаимствуем такой оборот у Платонова), срывают с обжитых мест. Драма! И о ней в полный голос скажет В. Распутин. Для его предшественника-романиста важней другое — к а к срывают: с окриками, посулами кузькину мать показать либо с мягкостью в движениях и воспитательных приемах.

Автору романа явно не по вкусу помпадурские замашки руководителя старой закалки, свою симпатию он отдает его антиподу, который умеет всего добиться лаской.

В ту пору читатель настолько истосковался по руководящей ласке, что готов был многое простить романисту, если тот мужественно сказал: «Хватит! Не надо нам ругателей и погонял, пришлите человечного начальника!» Не оттого ли и критика избегала невыгодных для «Памяти земли» сопоставлений с повестью В. Распутина о судьбе Матёры, что роман прочно занял уголок в благодарных сердцах и не хотелось лучшим побивать хорошее (либо казавшееся прежде хорошим)?..

А роман и впрямь создавался с самыми гуманными намерениями, только дерзость авторской мысли оборачивалась голубиной кротостью, едва дело касалось авторитетных экономических решений, которые надлежало не обсуждать, а ударно претворять в жизнь. На постулате об их абсолютной непогрешимости покоилась вся художественная постройка — словно здание на плывуне.

Годы господства особой прикладной эстетики, культа оперативных заданий музам и наперед расчисленной пользы (от тех же муз) выработали и особый тип служилого пророка, который прорицает активно, но глухо, откуда-то из управленческих недр, путая законы миропорядка с правилами внутреннего распорядка, сочиненными для штата сотрудников.

Правила эти, однако, изменчивы, и случаются казусы, как с бароном Мюнхгаузеном, когда тот, расположившись ночевать среди снежного поля, привязал коня к столбику, а снег за ночь осел, и конь оказался подвешенным к шпилю кирхи. Мораль: не привязывай коня, тем паче крылатого, Пегаса, к чему попало — вытекает из всего опыта искусства. Устойчивость ориентиров, не подводивших человечество долгие столетия,— неотменимое, как мы теперь все больше убеждаемся, условие творческой работы.

Да и кого, собственно, вдохновит писательская мысль, если она скромная послушница или посыльная с кипой руководящих установок?

Впрочем, мысль-скромница способна украсить жизнь тех, кто успел набрать полный комплект идей, поставил на этом деле точку, но все же нуждается в новых доказательствах, что его комплект действительно полон. Тут-то мысль-смиренница придется точно по запросу.

Сложится союз двух застоев — читательского с авторским, да такой прочный, что, право же, хоть нечистую силу («дух отрицанья, дух сомненья») против него выставляй. Не то ли самое предпринял Булгаков, развернув на улицах и подмостках столицы выступления посланцев преисподней — Воланда с его свитой? Притом первой жертвой дьявольских сил пал начетчик и воспитатель начетчиков Миша Берлиоз.

Бесы против бесов

Когда Иван Бездомный сделал открытие, что «среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные», это был первый шаг или пусть шажок на его пути от Берлиоза к Мастеру и отказу от сочинительства. На пути длинном и многотрудном. А прежним мнением о повальном неразумии интеллигентов Иван обзавелся не без помощи своего наставника Берлиоза, как, впрочем, и сводом непререкаемых истин, которые достаточно покрепче затвердить — и ты уже ученей всех ученых.

Не оттого ли «человек девственный» (по определению Мастера), Иван Бездомный пострадал на Патриарших прудах от сатаны, что одному лишь сатане под силу пробить броню Иванова всеведения?..

Воланд и К° нагрянули в Москву, когда там прочно укоренились их конкуренты — бесы и бесенята, резвившиеся на поприще муз. Видно, от резвости и прыти критика Латунского, поэтов Рюхина, Богохульского, прочих деятелей МАССОЛИТа, возглавляемого Берлиозом, настоящим чертям тошно стало: куцая историческая память этой литературной публики и к небу вопиет и к преисподней!

«Мастер и Маргарита» — книга крайних мер против застойного порядка в головах. Отлетают головы Берлиоза и Бенгальского, милиция тщетно охотится за «консультантом», горят валютный магазин, «Дом Грибоедова», злосчастная квартира № 50... А вот рукописи Мастера не горят.

Гонимый членами МАССОЛИТа, бросившими клич — «крепко ударить по пилатчине», Мастер попадает под покровительство потусторонних сил, которым не по вкусу людское беспамятство.

К чему собственно сводятся творимые ими чудеса? К тому, чтобы возмутить невозмутимых, сбить спесь со всезнайства. Недаром Воланд так внимателен к «Дому Грибоедова», куда на ресторанные запахи слетались стальные или пусть жестяные соловьи, обученные организованному свисту: уж если служители муз варятся в духоте беспамятства, то для сатаны тут непочатый край работы.

Инструментом сатиры, гротеска, фантасмагории Булгаков зондирует толщу обывательской косности (включая сюда демагогические навыки пастырей литературного стада), а над зоной беспамятства простирается у него своеобразная «ноосфера», где старина сохранна, где не дано угаснуть «лампаде луны», горевшей над древним Ершалаимом, вовсе прерваться беседе прокуратора с осужденным Га-Ноцри и откуда раскатами гнева небесного падают на замороченные головы попреки Воланда: дескать, больно много нынешняя публика стала знать!

Быть может, это не сатана с его свитой чудят, а всколыхнулась прапамять тех, кто жив одной лишь ближайшей минутой, всколыхнулась и намерена пробиться на волю сквозь толщу их косности? Во всяком случае, и самоуспокоенным нет у Булгакова настоящего покоя: в любом затишке их прохватывает ветерком, набравшим силу где-нибудь над Лысой Горой почти два тысячелетия назад.

Персонажам из числа рассеянных и духовно подслеповатых тут гарантировано, скажем так, принудительное лечение от невосприимчивости к тому, что за чертой каждодневного опыта.

А вот в сюжетах Андрея Платонова почти не отводится места тем, кто знать ничего не хочет сверх житейских очевидностей.

Сквозь разломы быта

По точному замечанию критика Инны Борисовой, для Платонова «любой человек — проводник в глубину человеческого рода». Этого носителя сокровенных свойств «рода» буквально сжигает духовная пытливость. Он пробивается сквозь будничную канитель и мороку, будто сквозь заросли, отводя от себя, от взыскующей своей души все повторное, что само лезет на глаза, как путник, идущий лесом, отводит от лица ветки. Платоновского человека манит дальний свет, ему разобраться важно: «что же есть существование людей, это серьезно или нарочно?» («Река Потудань»).

И революция — союзница его духа, ибо она встряхнула устоявшийся миропорядок, сдвинула с мест лежачие камни и есть надежда разглядеть, что к чему на белом свете.

Герои Платонова ждут вселенских, космических откликов то ли на свой трудовой порыв, то ли на дерзкую мысль. Один из них открывает «вещь, посредством которой можно преобразовать и звездный путь, и собственное беспокойное сердце» («Эфирный тракт»), другие роют котлован, вгрызаясь не просто в грунт — в твердое тело Планеты, чтобы «добыть истину из земного праха» и, возведя «общепролетарское здание», прянуть вверх, дав утоление сердцу.

Идет нескончаемое соревнование пробудившегося духа с неподатливой материей, из которой слеплены земные и небесные тела. Вопреки рвущемуся вперед восклицательному времени 20—30-х платоновские люди упорно вопрошали: «Что же есть жизнь?» — настораживая своей пытливостью тех, кому вполне хватало готовых ответов.

Восклицательному времени вообще недосуг нянчиться с вопрошателями, от которых одна докука или, того хуже,— угроза сбить с шага сомкнутые шеренги.

Чем в первую очередь смущал Платонов железных ортодоксов 20—40-х годов? Если голоса большинства литераторов раздавались как бы из-под сводов

авторитетных директив, установок, целеуказаний, то голос Платонова, не ударяясь о близкий резонатор, витал, так сказать, над сводами. Сами же директивы или установки для писателя — никак не абсолютная истина, скорее материал, сырье, один из объектов художественного освоения. И его персонажи, вырываясь на общественную арену, подогревают себя полуосвоенной агитпроповской лексикой: энергично ведут «классовую борьбу против деревенских пней капитализма», окропляют слезой областную бумагу, найдя там грозные слова о «левацком болоте правого оппортунизма», ожидают резолюции «о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни» (все примеры из повести «Котлован»).

Конечно, тут разлита «смеховая стихия» (Бахтин): комичны макаронические по стилю фольклорно-газетные импровизации персонажей, самопароднен «идеологический» канцелярит с его покушением прилепить к любому предмету нестираемый «изм» и тем предмет исчерпать. Но, например, за словами о «вечности времени», о «томительности жизни» скрыта незатихающая тревога души, которой важно уяснить, «что есть существование людей?».

Литературным современникам Платонова, сосредоточенным на б ы т е революции, лучше всего было видно, если сослаться на суждение Евгения Замятина, «только тело — и даже не тело, а шапки, френчи, рукавицы, сапоги; огромный фантастический размах духа нашей эпохи, разрушивший б ы т, чтобы поставить вопросы б ы т и я,— это не чувствуется ни у одного».

А Платонову, равно как и Заболоцкому или таким художникам, как П. Филонов, К. Петров-Водкин (а раньше их всех В. Хлебникову), был особенно интересен человек, который выглянул из разломов взорванного революцией быта и увидел перед собой не просто арену классовых схваток — широкое поле Жизни.

Конечно, упомянутые Замятиным шапки, френчи, сапоги, пестротряпичный, кисломахорочный быт переломных лет отвлекали на себя силы души, морочили ее, вынужденную прислушиваться к тяготам тела, вдавленного в гущу тел, но над головой открывалось н е б о. Перед небесной синью и глубиной каждый мечтатель о сапогах и шапке, о табачной затяжке, стиснутый себе подобными, внезапно оказывался одинок. И что же? Его бытие развертывалось как бы на двух этажах: на нижнем хоть топор вешай — так надышано; на верхнем — кислородная избыточность: глотни — легкие обожжешь.

Если выбирать из двух крайностей, пестрый быт и теснота привычней. И тяготы тут общие: терпи вместе с остальными! А поверху все равно в е е т, как ни затягивайся во френч, как ни нахлобучивай шапку. Ширь, неохватность пространства нельзя вовсе позабыть: тревожат!

Один из платоновских персонажей, оглядев звездное небо (время действия — гражданская война), «застыдился себя перед силой громадного ночного мира и, не обдумывая, захотел сразу поднять свое достоинство» («Чевенгур») Тут мера протяженности души — Млечный путь, не меньше, чувство личного достоинства угнетено превосходящей силой «ночного мира» и рвется на свободу. Идеальному порыву — простор, цепкость быта преодолена. Загнанное вглубь или попросту оставленное у других авторов без внимания «космическое» беспокойство душ обнаруживает себя на страницах платоновской прозы не менее остро, чем неотложная житейская нужда. Удивительно ли, раз ее героем стал первооткрыватель не только собственной уникальности, но и демиургической мощи в мире, внук или правнук решетниковских подлиповцев либо толстовского Поликушки?

«Меньшой брат», объект гуманного сострадания отечественной словесности, этот внук или правнук, встал, встряхнулся, мигом оценил, что старина переломилась на новь, расписанность крестьянской доли от люльки до погоста больше недействительна, и намерен «сразу поднять свое достоинство» аж до звезд.

А кто измерит энергию крутого поворота от подневольности к воле, мгновенного раскрепощения души не просто от гнета нужды и бесправия (очень многие измеряли!) — от предсказанного наперед уныния, неприметности в ряду самых неприметных, неизвестности миру? Из числа прозаиков Платонов измерил. И не один он.

Сколько попреков раздавалось в адрес Бабеля, который якобы свел с пьедестала (или не удосужился поднять на него) героических конармейцев! В реестре бабелевских прегрешений с красной строки значилась одна живописная подробность, хранящая (если верить критикам-экспертам) печать авторской предвзятости к комбригу Колесникову: в позе, вернее — посадке этого буденновца, вернувшегося из боя, виделось «властительное равнодушие татарского хана».

Так что же он, поработитель, ступивший железной пятой на чужую землю? Вопрос, готовый сорваться с языка у рассудительного критика, которому известно, что есть правильный, а что ошибочный «показ» командира-буденновца. А у Бабеля в «Конармии», страшно сказать, о Ворошилове с Буденным написано, что на поле брани они красовались «в сияющих штанах, расшитых серебром», да и речь славных полководцев не в полном ладу с грамматическими нормами. Подкоп под репутации? Ничуть.

Если даже допустить, что про штаны, расшитые серебром (а равно про «пурпур... рейтуз» и малиновую шапочку начдива Савицкого, о чем сказано в другом месте), автор «сочинил», то ведь, повинуясь законам художественной реальности, где человек из н и з о в каждую минуту помнит о вчерашней своей безвестности, неразличимости и спешит козырнуть броским отличием, предъявить себя миру, картинно погарцевать перед ним.

Бабелевские конармейцы, недавние батраки, подпаски, цирковые эксцентрики, кубанские, донские станичники, державшие прежде на своих плечах всю социальную пирамиду, свалили груз, распрямились и огласили округу забористым просторечием: посторонись, мол, книжники-очкарики, наш выговор поверднее вашего будет!

За несколько лет до бабелевского цикла прозвучало у Блока в «Скифах»: «Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы». Теперь у Бабеля оттуда, из гущи, из «тьмы», раздаются победительные голоса. Их обладатели сыплют солеными прибаутками, исповедуются устно и письменно, непослушными пальцами выводят каракули рапортов, посланий родным, где веет жаром неподдельной страсти, а из косо поставленных слов вдруг, как бы сам собой складывается выразительный образ. Бабелевский конармеец лучше всяких преданий и заветов старины помнит тяжесть рухнувшей пирамиды и на ходу, на рысях творит фольклор своего раскрепощения.

А на пути конармейца — старина. И рядом, порой встык с текстами слезно-гневных рапортов о белом жеребце или проектов ликвидации итальянского короля поставлены эпизоды в полуразграбленных костелах или у ветхих синагог, где сапоги конников ступают среди сваленных грудой священных книг, молитвенников, обрывков писем на французском языке с проставленной датой — «1820».

Пыль вспоротых войной культурных пластов шлейфом тянется за армией, клубится над ней. Незнаемая лихими конниками старина с распятиями на развилках дорог, храмами, кладбищенскими надгробиями, где высечены трехсотлетние письмена и угадывается «Ассирия и таинственное тление Востока»,— это глубочайший пласт неделимой общей Жизни, взрезаемый лемехами революции.

Удивителен ли невольный отклик бабелевских героев на безмолвие пустых костелов и гневную латынь церковного звонаря, проклинающего осквернителей храма?

Новобранцы большой Истории, перекройщики ее карт и судеб, они, конечно, охальничают, куражатся перед лицом Прошлого, но и приосаниваются, оборачиваясь к нему («Тоже не лыком шиты!»), принимают картинные позы, выставляя против древности костелов и погостов Волыни древность «властительной» ханской повадки. В дело втягиваются «тылы» психологии донских, кубанских выходцев, «прапамять» о былых нашествиях с Востока; так спор со стариной пойдет вроде бы на равных — спор, который развертывается в глубине повествовательных планов, организуя застрочное пространство.

Если же читать текст, что называется, недреманным оком, подозревая автора в подкопе под светлые репутации и отходе от руководящих установок, то любую художественную подробность ждет отдельный досмотр и уж, конечно, к «татарскому хану» снисхождения не будет. Недреманное око читает текст потезисно, дискретно — как протокол или проект резолюции, переводя дух на точках и проскакивая мимо многоточий, когда те ведут в глубину строки, мешая потезисному чтению.

В 20—30-е годы так сложилось, что судьбу многокрасочных полотен Булгакова, Платонова, Бабеля решали дальтоники, волею которых невнятные им цвета и оттенки как бы изымались из самой природы — за ненадобностью или вредностью. А среди них, разумеется, вся гамма «неактуальных» переживаний человека, которого тревожит и свет далекой звезды, и разлив лунной реки, связавшей разорванные, казалось бы, времена.

Мне понадобилось хотя бы бегло перелистать страницы прозы Булгакова, Платонова, Бабеля, чтобы яснее обозначилась тема разномыслия или глухого барьера между персонажами «Запретной главы» Гранина, разделенными площадью стола, панфиловскими Елизаветой Уваровой и драматургом или между близкими по материалу произведениями В. Фоменко и В. Распутина.

Спросим: из-за чего те же Булгаков или Платонов ходили у своего времени в пасынках? Отказывались низко кланяться рапповским заправилам? Слабо отзывались на инициативы сверху? Не умели имитировать должной ограниченности, а значит, полной подотчетности лидерам? Такие вопросы по-своему резонны, но ответы на них сами просятся в руки. А менее очевидно вот что: первоклассные художники сразу попадали в опалу, стоило им напомнить горячей шестидневке о масштабе тысячелетий. Революционное время заносчиво, на прошлое глядит свысока и таких напоминаний не любит. Писатели, впрочем, и не собирались ущемлять его гордыню. Не замышляя худого, они честно следовали традиции, для которой отрезок времени — звено в цепи времен, а человек — подданный единой, неделимой Жизни.

В революционную пору такая традиция опальна. Ее носители перетруждают слух революции разговорами о в е ч н о м и н е и з м е н н о м, вообще платоновско-заболоцким наречием и отторгаются прочь за инозычие, хотя их судьям кажется, что они искореняют политическую крамолу. Традиция, однако, пробивает для себя дорогу дальше.

«Сезон души»

Минули сроки, отошла в прошлое полоса встрясок, авралов, послевоенных лишений, потянулись сравнительно «ровные» 60-е, и понемногу начал меняться в сторону потепления эстетический климат. Дальтоники, дежурившие возле искусства, все чаще утрачивали контроль над ситуацией.

В самом деле, когда В. Белов рассказывал о мытарствах колхозника, которому негде добыть клочка сена для коровы, тут блюститель литературных приличий — кум королю и, сохраняя солидную осанку, решал, не увлекся ли автор критиканством, пропустить или вымарать упоминания о запрете на сенокос. Но когда тому же колхознику Ивану Африкановичу Дрынову слышится, как «гудут всесветные оводы» либо набирает силу «предвечная весна», кружа ему голову, смазывая разницу между сном и явью, это что? Накладные узоры «поэтичности» или, может, знаки эстетического самоуправства, непроверенного подхода к изображению социального героя? Поди-ка различи!

А к беловскому Ивану Африкановичу подстраивались персонажи других дебютантов той поры, тоже подчас терявшие грань между сном и явью. Онике Карабуш из романа И. Друцэ «Время нашей доброты» к концу жизни никак не возьмет в толк, почему с истечением его стариковского времени вроде бы сужаются обозримые пределы и родная Сорокская степь, кажется, стала «помельче, похолмистей, для такого малого пространства вряд ли стоило родиться...». А сверстник Карабуша Каип из Приаралья плывет на барже по «лунной дороге», гадая, скоро ли он прибудет к последнему своему причалу, куда его зовут голоса предков, или получит отсрочку и еще потрудится на грешной земле, «борясь с жизнью» («Второе путешествие Каипа» Т. Пулатова).

В 60-е годы музы, еще недавно ввязанные в воз повседневности, запросились обратно на Парнас: во-первых, сколько же можно, во-вторых, дела, много надо наверстать.

А зычноголосый возница (если продолжить сравнение) остался с вожжами в руках перед графиком гужевых перевозок, где никакие «лунные дороги» или степи, меняющие облик под воздействием чьей-то старости, не значатся.

Разумеется, если музы и отклонились от наезженной деловой колеи, то не ради артистических забав или пририсовки «воздушных» узоров к воспитательным сюжетам. Просто настал час активности внутреннего человека. Вернее — вновь пробил после долгого перерыва, когда человек, смешивая свое дыхание с запаленным дыханием сограждан, перебегал от одного участка авральных работ к другому. Теперь же он слабым шелестом губ спрашивает о смысле и цели своего существования среди степи: была ли нужда являться на свет?!

Кому адресован невнятный вопрос? Степи, небу, «эфиру» или незримому собеседнику, который то подойдет поближе, то отступит, и чей голос различим примерно как «парки бабье лепетанье»?

Еще Монтень писал: «Мы обладаем душой, способной общаться с собой; она в состоянии составить себе компанию...» И тот «собеседник», с которым в часы уединения общаются персонажи Т. Пулатова или И. Друцэ, соткан из запросов живой души: для нее пробил час «составить себе компанию». А условия для встречи с самою собой ей создает степь или море с пролегшей через него лунной дорогой. И не о рефлексии тут речь, даже не о тревогах совести — о бесцельном, вроде бы совсем «бесприбыльном» выходе человека за те пределы, где царят практический опыт и трезвое разумение.

Подобно тому, как планета Земля с помощью радиозондов ощупывает просторы Вселенной («Собрат по разуму, отзовись!»), душа землянина, не спросясь делового сознания, шлет тайные сигналы во все концы обозримого мира, пробуя поймать ответ, наладить согласие звучащих под небесным куполом голосов. И отзвучавших тоже.

Совсем еще недавно читатель, открывая, к примеру, книгу из жизни колхозников, почти не сомневался, что линия сюжета протянется от посевной к уборочной. Времена, однако, меняются. Для муз настает срок отыскивать обратный путь на Парнас, к чему их поощряют возвращенные читателю Булгаков, Платонов, Цветаева, Заболоцкий, Пастернак. Получая в руки книги этих авторов, читатель заново вооружается мерой отсчета поэтической выразительности и правды. В частности, правды о жизни человеческой души, которая, повторяю, не упускала случая «составить себе компанию».

Прежде смущенная душа адресовалась за облегчением тягот к богу, той последней инстанции, которая и движением планет правит, и сердцу успокоение дает. Для верующего и здешний и потусторонние миры — царство порядка, откуда и при желании нельзя выпасть в хаос и где всякий — под неусыпным присмотром. Самообман? Суеверие?.. Но обостренность слуха к гудению «всесветных сводов» (В. Белов), неустанной работе жерновов времени, оторопь перед неизвестностью, «какие сны приснятся в смертном сне», перед загадкой и одиночеством последних минут — это ведь из мира чувств, а не предрассудков или ложных учений.

Чувства, в том числе религиозные, намного старше любых догматов и, заключая с ними союз, старшинства не теряют. Религиозное переживание закрепляет себя в слове и жесте, пробивается вовне горячей исповедью, молитвой, об-

рядовым действом. Именно с этими внешними формами, «надстройками» чувства сталкивается неутомимый атеист, искоренитель ложного учения, не совпадающего с ясными данными науки. Вооруженный рациональным доводом, он бьет по «надстройкам», сокрушает догматы веры, которая вовсе не догматами сильна, а непокоем души или тем, что прежде именовалось томлением духа.

У Чехова в «Архиерее» рассказано, как под вербное воскресенье, когда шла всенощная и звучал женский хор, преосвященный не сдержал слез и его состояние передалось молящимся: «Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем». Тут схвачен момент катарсиса, согласного очищения душ от житейской накипи, момент печали и сердечного понимания — что есть людской удел.

И не возникнуть бы такому моменту, не будь магии обряда, церковных сумерек, холодка от каменных сводов, блеска свечей, звуков пения — всей атрибутики богослужения, столь внимательной к чувству, которому надо выпутаться из будничных пелен. Идет ли у Чехова речь о торжестве привитой попами веры, о власти предрассудка над умами? Нет, церковный канон, сама евангельская легенда о крестных муках не верховные распорядители, а лишь поощрители сокровенного волнения сердец, которое выразило себя «тихим плачем»...

Но минули сроки; грянувшая революция добралась и до господа бога на его небесном троне, поколебав устои церковной веры, вся магическая атрибутика, поощрявшая, как в эпизоде из «Архиерея», восходящие токи чувств, исчезла из обихода миллионов. А сами чувства? Они надолго отошли в тень, вытесненные азартом и возбуждением общественных починов, надеждой на близость всего человечества к осуществлению самых дерзких мечтаний.

Время, однако, шло, претворение планов и надежд отодвигалось в неясную даль, волна возбуждения понемногу опадала. И те чувства, которые прежде находили опору в религиозном предании, принялись напоминать о себе.

Наступал, по выражению В. Маканина, «сезон души».

Человеческая душа, а если угодно, натура, нажившая авитаминоз из-за той рассудочной сухомятки, какой ее потчевали изо дня в день, начала протестовать против опасного рациона, как бы следуя примеру самой природы, которая все чаще преподносит сюрпризы безоглядному ее преобразователю.

К сюрпризам со стороны души наши поборники чистоты атеистических взглядов не готовы, побивают «непродуманные» чувства ссылками на первичность материи. Между тем в условиях правильной циркуляции идей эти чувства, что называется, в списках не значатся и, утрачивая связь с религиозным преданием, остаются беспризорными. До поры, пока ими вновь не займется литература.

Беловский Иван Африканович к царю небесному взывать не приучен, тещину библию обменял «на гармонью» и канонических текстов в голове не держит. Тем не менее его тайная речь к Миру ли, к покойной ли Катерине («Ты, Катя, где есть-то?») по окраске и тону исповедально-молитвенна, ибо переживание ищет с в о ю форму и с в о й жест, а человеку сейчас с Жизнью поладить трудно — давит. И выслушать его некому ни здесь, ни «на небесах» (как сказано у Платонова, «народ давно потерял надежду в наличие бога» — «Впрок»). Сердечная надобность о том и знать не хочет — выговаривает, выстанывает себя в глухое пространство, будто оно целиком обратилось в слух.

Когда почти все нити повествования сходились к мечтательному Ивану Африкановичу и другим наследникам тургеневских Калиныча и Лукерьи, от читателя прежде всего требовались сердечная чуткость, глубина поэтической, даже музыкальной отзывчивости на авторское слово; когда же проза о деревне занялась жгучими сюжетами рубежа 20—30-х годов и позднейшим экологическим кризисом, тут читатель попадал на своеобразную переподготовку, освобождаясь от школярской наивности (в понимании ударных кампаний по перестройке села) и сознавая себя трезвым социологом, наследником мучительного опыта старших, поборником соблюдения законности.

В книгах о деревне логика жестких социальных обстоятельств начала понемногу вытеснять (или властно подчинять себе) прихотливую логику чувств. А сами авторы, дерзнувшие поколебать легенды о головокружительных успехах коллективизаторов, все резче сворачивали в сторону сурового эпоса и открытой публицистичности.

Тем временем внимание к внутреннему человеку с его обеспокоенностью вопросом «Что есть существование людей?» обострялось на других участках литературы.

Служба воображения

Вот несколько слов из исповеди персонажа Анатолия Кима: «Но должен признаться: смиренно считать себя песчинкой Истории, которая попросту берет горсть песка и сыплет, куда ей надобно, — нелегко!» («Луковое поле»). Сказано от имени многих персонажей прозы 70—80-х, у которых резко пошло в рост чувство собственной человеческой уникальности.

Конечно, и в прежние десятилетия люди нервозно поеживались при мысли о своей анонимности перед лицом Истории, швыряющей судьбы-песчинки горстями — «куда ей надобно». Но задерживаться на подобных мыслях персона-

жей наша проза стала сравнительно недавно. Персонажи принялись энергично протестовать против своей неразличимости в историческом потоке, предъявляя миру если не масштабы своей неповторимой личности, то сеть фантазий, вольных умозрений, куда он должен поместиться без остатка.

А плести такие сети научились не одни лишь герои-мечтатели, антигерои тоже. С очень серьезными подчас результатами невинных, казалось бы, занятий. Подолгу задерживаясь на них, литература готова выслушать персональные «предания» и праведника, и сущего монстра. Остановимся для наглядности на этих крайностях.

У А. Кима в повести «Поклон одуванчику» роль повествующего лица досталась тихому юноше, наследнику горьковского Симы Девушкина, солдату Васе Чекину, чью кротость и наклонности анахорета военная фортуна увенчала наградой — должностью каптенармуса, при которой Вася, уединившись среди комплектов белья и банок с ружейным маслом, мог слагать меланхоличные стихи и предаваться мечтам.

Герой Кима с толком распоряжается часами затишья на задворках гарнизона либо в увольнении или даже затишья, о котором позднее скажут: «Полоса застоя» (повесть написана в середине 70-х), он задает работу уму и душе, мысленно соотносит отпущенный ему земной срок с широким потоком времени, противится угасанию памяти, в особенности памяти эмоциональной — хранительницы невосполнимого опыта («Неужели дни, этажи плывущих облаков, бессмертные краски земли и неба являются человеку лишь для того, чтобы он их забыл?»). Пожалуй, чуть-чуть ниже поклонись скромник Вася речной волне, фруктовому дереву, тому же одуванчику, вынесенному в заголовок, и при бесфабульном построении повести получился бы перебор, сбой тона, и вышел бы из каптенармуса мелодекламатор.

Но кланяется Вася не ниже допустимого (чувством меры), в самый раз, а кроме того, текст повести будто под напряжением: автору важно постичь тайную логику самоопределения человека в Мире, где человек намерен расположиться не как квартирант-коечник или сезонник на постое, а, скажем, ответственный съемщик. С вытекающими отсюда обязательствами и правами. А сейчас от мягкосердечного Васи Чекина сместимся на другой нравственный полюс и задержим внимание на зловещей фигуре... Адольфа Гитлера, каким тот увиден глазами Алеся Адамовича, автора «Карателей».

Адамович начинает там, где иссякают вопросы да, пожалуй, и полномочия политолога, историка, юриста, социолога. Они просветили нас по части общеевропейской ситуации 20—30-х, экономических, классовых пружин, вытолкнувших нацистского лидера на арену, обозримую отовсюду. Но осталось чувство диспропорции между взрывом безумия на исторической арене и перечнем его причин.

Любознательный ум, получив разъяснения, готов их оприходовать и всем доволен, а душа стоит на своем: «Как они могли? Как он, главный, мог? Ведь отовсюду глядят людские глаза!..»

Только ли людские?..

А. Адамович предлагает свою версию (основанную на множестве прямых и косвенных свидетельств). На главного нациста в упор уставились «огненные Глаза» надмирных Могуществ, управителей Вселенной, для которых планета Земля — «маленький воздушный пузырь в глыбе космического льда». Они глядят сюда снаружи и недовольны непорядком внутри «пузыря» — расовой пестротой. А он, эмиссар верховных Могуществ, Адольф Шикельгрубер, призван упорядочить форму носов, цвет волос и кожи, выведя путем селекции правильную породу земляи-арийцев. Это ли не духоподъемная задача, позволяющая переступить через «все наши чувства, цели, наши интересы, границы» как через нечто «необязательное, воображаемое»?

Горячечное сознание главного нациста, словно неисправный реактор, выбросило из себя едкое облако мифа, и началось гибельное загрязнение среды. Следом за фюрером и другие антигерои Адамовича заводят глаза под лоб, ловя надмирную волю, опьяняясь фантомами и азартно сокрушая нравственные заслоны.

Еще Достоевский, тщательно обследовав душевное «подполье» своих персонажей, нашел, что наедине с собой они наполеоны и магометы, волевые перепланировщики жизни на основе выношенных «теорий» и мирообъемлющих фантазий, способных горячить кровь. Заметим: автор «Идиота» и «Карамазовых» не делал упора на игре слепых инстинктов, сюрпризах подсознания (как позднее Фрейд и его школа). Он вводил нас именно в п о д п о л ь е, где складывается опасный альянс угнетенного самолюбия, темперамента, услужливого рассудка и воображения, а плоды альянса — потаенный образ мира и нетерпение поэкспериментировать над ним.

Помня заветы Достоевского, А. Адамович подводит нас к смотровому окошку, или «глазку», через который видно, как вызревают планы нациста № 1, идет накопление горючего, «разогрев мотора», потом отпускаются тормоза... А на избранный маршрут он вырвется, имея при себе путевой лист, где проставлено — от кого, куда, по какому делу. Короче, есть документация, нужная для предъявления трезвому рассудку. Вокруг нее и разгорятся споры на многолюдных форумах. И станет крепнуть иллюзия, будто для движения путевой лист важнее горючего.

А писателя раньше всего интересует топливо и та первичная искра, без которой не заработает мотор. Иначе говоря, интересует заряд энергии, волевой импульс, с которыми вот эта личность входит в широчайшую энергетическую систему — Жизнь.

Однако что ни личность, то свой способ входить в систему. К примеру, скромнейший герой «Поклона одуванчику» А. Кима одержим стремлением бросить «вовне, в бесконечное кольцо перемен и обновления... новое и неповторимое, звонкое и радостное: это я, боже!» Но кимовский Вася Чекин свободен от притязаний на исключительность, улавливает ритмы «перемен и обновлений», чтобы не ошибиться в счете музыкальных тактов, взять свою ноту, не нарушив общего лада: именно угадав нужный такт, он может почувствовать себя мастером, даже виртуозом, который вправе оповестить небо: «Это я, боже!»

«Я должен был навсегда избрать безвестность»,— подытоживает Вася. Главный его козырь в секретных переговорах с небом — знание меры и такт. Сам же автор сосредоточен на том, как рядовой (напомню: солдат) участник Жизни старается самоопределиться в ее системе, заключив с Жизнью двусторонний дружественный пакт.

«А разве каждый из нас,— спрашивает современная литература,— при духовном пробуждении не сознает себя новоселом в этой системе, не взвешивает, как вернее вписаться в нее?» А. Адамович берет крайний случай самоуправства вломившихся сюда конкистадоров, которым общие правила не указ. Мало того, что не указ,— прочность норм и правил вызывает у них Геростратов зуд: сокрушить, подпалить, разбросать головешки и покрасоваться среди пепелища!

«...чем труднее задача, тем больше она зажигает»,— признается у Адамовича каратель № 1. По-своему он точен: всему началом — первоимпульс, когда включается «зажигание» и «гефрайтер», которого «унижали, оскорбляли, знать не хотели», которого кондуктор со славянским (!) именем выталкивал из трамвая, стартует в небо, где обитают Могущества и откуда планета видится «пузырем льда».

Тем и дорога деспоту задача пробиться сквозь запреты и заслоны, что сулит сладострастный (определение, которым щедро пользовался Достоевский, передавая строй чувств ревнителей принципа вседозволенности) миг возвышения над людским «термитником». «Зажигает»!

И Нечаев у Юрия Давыдова, «з а г о р а я с ь (подчеркнуто мною.— **В. К.**) мрачным восторгом,.. ощущал свое избранничество»; и Азеф, балансируя между ЦК партии эсеров и охранкой, наслаждался «сакраментальным пиршеством духа», испытывал «нечто родственное оргазму» («Две связки писем»). Искусству известно: прежде чем развязывать кровавую вакханалию, обрекать огню города и деревни, поджигатели оргастически трепещут, расширяют ноздри, вдыхая чад запального факела, предаются «сакраментальным пиршествам», галлюцинируют. А умственная казуистика, теоретические выкладки — это уже оформительская работа канцелярии при фабрике страстей и страстишек.

Недаром в новейших книгах, где всплывает тема репрессий 20—40-х и появляется фигура тогдашнего генсека, нас менее всего убеждает Сталин — комментатор своей политической линии. Нет, идеологическая подоплека его «вурдалачеств» (неологизм Фазиля Искандера) тревожит нашу любознательность. Только об идеях, быть может, лучше расскажет специалист-политолог, безупречно владеющий материалом. А художнику свойственно недоверие к умственным выкладкам как первооснове шагов и акций, отозвавшихся трагедией миллионов.

Нам ясно: побудительные мотивы «вурдалачеств» не в наборе формул или выкладок, а за ними. И, даже зная, какой идейный базис подводил диктатор под свою репрессивную практику, мы с детской наивностью спрашиваем и переспрашиваем искусство: «Как он мог?!» Тут совсем иной род пытливости, чем при знакомстве с рассекреченными документами и авторитетными мнениями специалистов: не теоретический разум — возмущенное чувство ждет ответов и разгадок, равных или близких по силе самой возмущенности чувства.

Но наиболее оперативные авторы, вторгаясь в зону трагического, сейчас же принимаются кормить с ложечки наш разум, остерегая его от превратных толкований: видно, навыки, привитые Мишей Берлиозом с присными, еще долго не потеряют силу. Особенно когда поднимается очередная волна публицистичности. Но в отпор этим навыкам действует интерес искусства к скрытым мотивам и побуждениям, которые не оседают на логических фильтрах.

Персонаж «Лукового поля», тот самый, кому было тяжело сознавать себя песчинкой в горсти Истории, вспоминает, как еще ребенком разглядывал фотодокументы о зверствах нацистов и корчился от ужаса.

Трагедии, бедствия военного четырехлетия, подобно ударной волне, достигли душ героев «Лукового поля» и «Поклона одуванчику», и те уже на ровном пути избегают резких движений. Так человек, получивший травму, бережет поврежденное место. Мир, по их ощущению, чудом выжил и не успел по-настоящему прийти в себя, время покоя подобно паузе или передышке, и они предпочитают низко кланяться одуванчику, нежели работать локтями, пробиваясь к осязаемым благам. Как раз обет скромности, повиновение человеческому и природному закону их «зажигает», поддерживая в пути.

Не будь у А. Кима развернут этот сквозной сюжет (душа уславливается с Жизнью о союзе, узнает ее, принимает — почти по Блоку), его «Луковое поле» и «Поклон одуванчику» распадались

бы на серию лирических этюдов, внутренних монологов, медитаций на тему «Природа и мы»... а отними у антигероев Адамовича их бреды наяву, их зловещую мифологию, останется добротное документальное повествование. Но и только.

Не исключен вопрос: «А зачем нужна тщательная рентгеноскопия черных душ?» На него хорошо отвечает сам Адамович названием одной из глав: «Чем выше обезьяна взбирается по дереву, тем лучше виден ее зад». И правда, «сверхчеловек» творит персональный миф, воспаряет к Могуществам, дабы получить сверхполномочия, но весь он со своей психологической требухой, фантомами — как на ладони. Тайна его лаборатории мифов — чистейший миф. Так пусть же новейший «гиперборей» принимает горделивые позы, зная, что искусством он разгадан и укрыться ему негде.

В обе стороны времени

Живущие по завершении второй мировой войны — невольные соглядатаи фантастического действа: обезьяна карабкается вверх, чтобы погасить солнце, погрузив во тьму миллионы мыслящих существ. Такова доподлинная реальность, больше похожая на дурной сон, и с ней совсем не просто освоиться нормальному сознанию. Вообще многие черты истекающего столетия поощряют сознание занять, что называется, круговую оборону, расстыковаться на какой-то срок с реальностью (у А. Битова в «Пушкинском доме» даже есть примечательный парадокс: «Человек и реальность разлучены в принципе»), где перепутаны норма и аномалия, ложь попирает правду и правительства в порыве вдохновения принимаются истреблять подданных...

Рубеж 40—50-х. Молодой москвич, вчерашний фронтовик, едва успев отдышаться после Великой войны, снова начинает судорожно ловить ртом воздух, потому что набрала силу очередная кампания «охоты на ведьм». Об этом роман Б. Ямпольского «Московская улица» — исповедь души, которую мотает и треплет между двумя страхами: один вчерашний — перед черным зрачком вражеского автомата, второй нынешний — перед махиной репрессивной власти, от которой нет укрытия и которая свою жертву перетирает в пыль.

Герой-повествователь изо дня в день испытывает примерно то же, что обитатель леса, поднятый с лежки близким брехом легавых. Но тут не просто ужас гона и ожидания пальбы в упор, а еще — обостренное войной сознание собственной жизни как дара, который обретен на грани потери, а его снова рвут из рук.

У Б. Ямпольского сквозной нитью проходит метафора обреченного бега по лабиринту улиц и переулков, взятых снаружи в кольцо. Лабиринт обещает оттянуть развязку, не освобождая от чувства тесноты внутри кольца. Читаем: «Но вот я вышел на широкую Садовую, и будто меня вынесло на сверкающее большое колесо, по которому летели...» Летели трассирующие огни машин. А рядом, на другой журнальной странице, появится парковое колесо обозрения, дальше — городская карусель. Знаки кольца не исчезнут. Да и в коммунальной клетушке, где пробует укрыться повествователь, слышен транспортный гул большой магистрали: жилье ему досталось на режимной улице Арбат, у самого ее впадения в кольцо Садовых.

Страх, сдавивший сердце обручем,— так прочитывается сквозная метафора при первом приближении; жизнь, ставшая заложницей, обреченная метаться внутри загона,— таков ее расширительный смысл.

Время создания «Московской улицы» — 60-е, когда чиновник-кадровик был уже не властен навязывать искусству свой взгляд на человека. Минет два десятилетия, и у нынешнего дебютанта Петра Паламарчука появится сходный образ.

Герой его «Современных московских сказаний» (см. книгу «Един Державин», М., 1986) внешне вполне благополучен, «хвостов» за собой по улицам не водит, но в сознании этого москвича с гуманитарным дипломом острым пульсиком бьется мысль о затягивающем круговороте подобий или повторов: повторяются, притом «удручающе-издевательским образом» муторные будни, компанейские утехи, судьбы сверстников. А как одолеть весь морок повторности? Пока суд да дело, герои П. Паламарчука оборудуют для своей души подходящий тренажер. Вернее — отыскивают готовый...

Родной город Москва спланирован как? Концентрически с расходящимися от ядра «лучами». И вот принимаются они один следом за другим мерить шагами кольцо за кольцом — Бульварное, Садовое, окружной железной дороги, словно очерчивая пределы владений или вступая в хозяйские права. Но круговой маршрут — опять же готовая метафора повторности. Как быть? Тут больше других повезло тому из пешеходов, кто шагал по бульварам: у метро «Кропоткинская», где Остоженка встречается с Пречистенкой, кольцо разорвано, «из окруженных бульварной цепью пределов центра свободно уносилось прочь вольное Замоскворечье...» И мысль пешехода — следом.

У Б. Ямпольского древняя столица неласкова к герою-повествователю, душит его, если припомнить выразительное сравнение поэта, кольцом своих бесконечных Садовых, у П. Паламарчука она пользуется кольцами, как пращой, «запуская» взыскующего героя в синь и в даль, на космическую, что называется, орбиту. Конечно, в первом случае кольцевая символика — «под током»,

помогает выговориться драматическим обстоятельствам, во втором несколько лабораторна, нуждается в частых подтверждениях (что героям и впрямь надо шагать по кругу), поддержке со стороны эрудиции автора, его навыков эссеиста-аналитика, умеющего затевать с аудиторией интеллектуальные игры.

Герою Б. Ямпольского трудно сладить с обстоятельствами (раздвинуть «кольцо»), персонажам «Московских сказаний» — с собою. Тут силы души приведены в действие душевным же импульсом и плохо проецируются вовне (не оттого ли, кстати, некоторая нервозность нашей городской прозы, что под ее рукой — сплошь сюжеты, ограниченные пространством души, а ей нельзя терять вкуса к динамике фактов, никак душе не подчиненных?). У Ямпольского не так? Разумеется. Однако его «задержанный» роман, встретившись с прозой недавнего дебютанта, согласился с нею в главном: человек — одновременно и пленник, и вольноотпущенник истории; разместившись со своей внешней биографией на отведенном ему календарном отрезке, он выносит строительство биографии внутренней на простор общей Жизни, определяя для себя ее характер.

Одинокому человеку, если ему важно сохранить достоинство и какую ни есть суверенность, приходится отстраняться от мелькающих фактов, дабы охватить Жизнь как целое, соотнести себя с нею. И так совпало, что человеку нужно от себя именно то, чем он особенно интересен искусству,— приметливость к общему строю и моральному климату жизни, способность заключать с нею долгосрочные соглашения.

Человек — прирожденный диалогист, только выслушать его бывает некому, если слово в нем назрело не о житейской нужде, а допустим, о путеводной звезде, которая то светит, то за тучами не видна. Это слово выслушает и поймет искусство, которое за ближайшими мотивами поступков умеет разглядеть слитное «чувство жизни» (А. Платонов). И чем оно внимательней к внутренней речи человека, тем дальше от рассудочно-просветительских толков о нем и тем резче «инакомыслит» при объяснении поступков. Сюрприз для службы контроля над искусством: у нее, оказывается, нет пропуска в ту заповедную зону, где работает мощный регулятор поступков — «чувство жизни». Тут для чиновного сознания — область абсолютной недоступности.

Случается, что художник, приклонив слух к бубнящей речи самопогруженного человека, улавливает сквозь эту речь целый сонм голосов.

«Голоса» — так называется повесть В. Маканина, где у персонажей, в том числе совсем нечистых, рвутся с языка реплики о временном своем уделе под вечным небом. Повесть построена мозаично — как монтаж фабульно не связанных эпизодов и обрамлена историями про старых да малых. Первым в ряду персонажей появляется поселковый мальчик-инвалид Колька по кличке Мистер, замыкает ряд табунок опять же поселковых старцев, предающихся нехитрым банным радостям. Сценка в бане вроде бы жанровая, однако порог парилки старики переступают с очень серьезным и многозначительным видом: мол, оставайтесь пока, чей срок не вышел, а нам пора... Между тем и Колька-Мистер на свой лад — старичок: жизни ему отпущено коротких двенадцать лет, и по опыту чувства, опыту тоски, отъединенности от тех, кто беспечен и часов не наблюдает, он намного старше собственных родителей.

Для персонажей повести возраст итогов — возраст пограничья, когда человек — и ветеран и вроде бы рекрут. Все пройденное для него — крепко увязанная ноша, которую складывают у порога, впереди — кромешность, куда погружаешься голым без надежды прихватить хоть крупицу земного знания. «Владимир Маканин — писатель редкого дара и редкой темы,—замечает Инна Соловьева в недавнем отклике на его новые вещи («Натюрморт с книгой и зеркалом» — «Литературное обозрение», 1988, № 4).— Пестрый сор его картин, их причудливо резкие сюжеты написаны как бы на бархатно-черном, бездонном фоне; за ними тайна и глубина». Именно так. И если на «бархатно-черном фоне» контрастней всего выделяются фигуры стариков, которых уже подманивает к себе «чернота», то и другие хоть краем души да соприкасаются с «фоном».

Маканина вообще занимает сложность простоты, своего рода «гамлетизм Лаэрта»: персонажи повести наделены каким-то щекотным, подкожным чувством убывания времени, общаются с призраками, вернее, различают г о л о с а давно умолкших предков, чья речь оборвалась на полуслове, а теперь, как бы оттаяв, просачивается в слух потомка, томя его «генетической недоговоренностью».

Герои этой повести в книгу глядеть не приучены, школьную премудрость освоили наспех, и если соприкасаются с глубиной прошлого, то больше благодаря своей странной восприимчивости к «голосам».

Словно бы тайком от рассудка, не обремененного никакими сверхзаданиями, маканинские люди осваиваются в широком потоке Времени, учатся видеть «жизнь без начала и конца» (Блок).

В трактате «О жизни» (1888) Толстой рисует обобщенный образ человека, которому важно определить свое положение во времени и пространстве: «...ему прежде всего представляется, что он стоит посредине бесконечного в обе стороны времени и что он центр шара, поверхность которого везде и нигде. И этого-то самого, вневременного и внепространственного себя, человек и знает действительно...»

Толстовский человек, озадаченный

бесконечностью времени, прежде чем поместить себя в центр воображаемого шара, впрямую задается вопросами («спрашивает себя»,— сказано у Толстого) из разряда вечных. Персонажи нашей текущей литературы тоже нередко ими задаются. У Маканина же в его «Голосах» такого рода вопросы прорезаются где-то на периферии сознания персонажей, поощренные не пытливостью мысли, а скорее сердечной смутой да одичавшим религиозным чувством героев, которое мечется по всему пространству души (а если словами самого Маканина — «внутреннего духовного поля»), питаясь случайными подачками воображения.

Намного отчетливей они (вопросы) в прозе, щедро приправленной мифом или грезами наяву персонажей-визионеров («Соловьиное эхо» А. Кима, «Черепаха Тарази» Т. Пулатова, «Альтист Данилов» В. Орлова) или спектральным, скажем так, анализом чувств с использованием сложной системы линз и зеркал («Мореплаватель» О. Базунова). В таких случаях духовные и душевные подтексты — на виду; получается странный эффект — как если бы вдруг перевернулся айсберг, выставив подводную часть наружу.

У Маканина же айсберг плавает в согласии с законами тяготения: на переднем плане — привычные подробности, узнаваемая рутина быта («пестрый сор», по И. Соловьевой), и персонажи вовсе не рвутся из его плена: адаптировались. Но есть участки «внутреннего духовного поля», не потревоженные механизмами адаптации, и там самосевом прорастает прошлое, идет работа вызревания опыта, который не будет поглощен бытом и послужит восстановлению человека, обострив его чуткость к ходу времени, «бесконечного в обе стороны». Как раз на таких участках поля и развертывается у Маканина внефабульное происшествие: вплотную к дверям, к окнам поселковых домов или коммунальных квартир подступает... мироздание, принуждая обитателей морщить лоб: что-то страшно знакомое! И предки, как выясняется, не умолкли, отвлекают от будничных шумов...

Интерес к бесконечности

Если населению маканинской повести собственная чуткость к «голосам», тревоги «генетической» памяти в диковинку (ни в чем подобном оно себя не подозревало), то рядом, на смежных литературных путях, встречается немало персонажей, для которых вопросы духа — родная стихия. Но как раз уверенная повадка духа способна сузить его горизонты, перекрыть или засорить каналы «космических» связей: выучка ведь не всегда идет об руку с непосредственностью.

Просто ли было Андрею Битову достучаться до того Левы Одоевцева («Пушкинский дом»), который растревожен гамлетовскими вопросами, сгибается под грузом духовной тревоги?

Автор «Пушкинского дома» раз за разом ставит потомственного филолога Леву в конфузные ситуации, отменяет либо делает гадательными состоявшиеся события, исследуя другие возможности («варианты»), приводит и комментирует тексты Левиных сочинений, впрямую объясняется с героем на глазах у читателя. Короче, романные условия поощряют вяловатого Леву к душевному непокою, не позволяя ему накрепко срастись с собственной характерностью или бесхарактерностью.

Многие «датчики» подключены к Левиной душе, и самописцы исправно вычерчивают кривые — одну пожирней, другую потоньше. Следим, как тянутся ломаные линии...

Лева — сын и внук из хорошей питерской семьи, на нем угасает некогда сильный род, от которого теперь остался самый кончик, хвостик, и он по-заячьи трепещет: филология — дело хрупкое, особенно если надзиратель не дремлет.

У Левы наклон мыслей и чувств — в либеральную и гуманную сторону, но возле него отчего-то трется гадко подмигивающий Митишатьев, и Левины беседы с Митишатьевым протекают в русле той же традиции, что разговоры Ивана Карамазова с чертом.

Лева — любовник, когда холодный, когда пылкий. Холоден он к одухотворенной, полной обаяния Альбине и мигом воспламеняется от зазывно-лукавого взгляда переменчивой, как погода весной, и слегка вульгарной Фаины. В общем, Дона Анна — нет, Лаура — да! Союз с Альбиной сулит ему познание уже изведанного, оседлость на месте постоянной прописки, а любовь к Фаине — порыв прочь из домашней теплицы, распространение себя вширь, шанс захватить полонянку из чуждой, малопонятной среды, куда профессорского внука и сына «тянуло.., как барчука в людскую».

К знакомству с Левой рассуждающим — где толково, где сбивчиво,— душевно чистоплотным, но, увы, нестойким, способным и на рыцарский, нет, не шаг — полушаг, и на мелкую пакость, склонным к самоедству, мы подготовлены предшественниками, а равно сверстниками Битова и уверенно вершим моральный суд над персонажем, оценивая его характер, средоточие, как нас учили, художественной правды о литературном герое. Но история Левиных петляний между его подругами таит в себе некий «избыток», который бесполезно процеживать через этический фильтр,— ничего не осядет.

Однажды Митишатьев по ходу спора болезненно уязвил Леву, заявив: «Ведь не имеет к тебе жизнь-то отношения! Что ты принимаешь ее на свой счет?! Она сама по себе. Она к тебе не расположена». Лева и сам близок к такой догадке: воздуха ему не хватает, и свобода движений стеснена. Пленник собственной робости, психологически «зажатый», он порывается к раскрепощенной Фаине-Лауре с тайной надеждой «расположить» к себе Жизнь, а в кульминационной сцене трепещет от желания зазвать мимо идущую Фаину в Пушкинский дом, доверенный его, Левиной, охране.

У В. Маканина в «Голосах» один неукротимый жизнелюб раскокал гипсовый панцирь, куда был заточен докторами, и вышел вон, готовый к новым свершениям. Филолог Лева не наделен столь же внушительной витальной силой, но тоже крушит гипс, правда, тот, что не медику служит, а ваятелю.

В Пушкинском доме, где подошла Левина очередь сторожить стены, пока сограждане ходят колоннами по случаю Октябрьской годовщины, он отделен от праздничных толп, застеклен, оставлен наедине с кипами пыльных диссертаций («К вопросу о...»), музейными раритетами, гипсовыми слепками, копиями посмертной маски Поэта. Судьба состроила гримасу, показав Леве его одиночный портрет в интерьере. Или — в футляре.

Картина получилась отчасти гротескной. Но за чертой гротеска — другой, незафутляренный Лева с его тоской о Фаине, почти болезненной любовью к Пушкину, желанием «припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо» (Б. Пастернак).

Когда герой романа бесчинствует в академическом храме, расшвыривая обломки гипса,— это дебош внутри панциря, стеснительного, но и защитного; когда он занимается поэзией Пушкина, ревниво отодвигая на вторую, третью позиции его младших современников,— это попытка пробить брешь в том же панцире, прикоснуться к светоносной традиции, войти в пушкинский Космос, а значит, отселиться от всех митишатьевых, надуть пленников текущего, календарного времени.

Левино стремление сродниться с пушкинским Космосом генетически передалось и его отдаленному потомку, который поставлен в центр иронико-фантастического повествования А. Битова «Фотография Пушкина» («Знамя», 1987, № 1). Потомок Левы с помощью аппарата межэпохальных перелетов сделал былью робкую мечту пращура — убрать временные преграды и вступить в прямой контакт с Поэтом. Правда, вполне удачной экспедицию потомка не назовешь, ибо гостя из будущего Пушкин принял за агента охранки. Но Левин порыв, оказывается, не иссяк. И не иссяк у Битова мотив путешествий в глубь родной культуры, предпринимаемых не только ради утоления духовной жажды, но и в пику митишатьевым с их бесовскими подковырками, изречениями про жизнь, которая-де «не расположена» к робеющему интеллигенту.

У персонажей Маканина и Битова вдруг пробуждается чувство навигатора среди потока Времени, резко осложняя внутреннюю ситуацию каждого.

Сюжетное действие такой прозы включает в себя тайнодействие, по ходу которого персонаж выведывает у Жизни, кем они друг другу доводятся — близкой родней (Пастернак произносил: «Сестра моя — жизнь») или не очень, принимать ее как дар или как повинность. А отсюда, из глубины повествовательных планов, тянутся нити мотивировок к открытым участкам сюжета, где персонаж заявляет о себе нравственным выбором и поступком.

Булгаковскому Мише Берлиозу с отрядом последователей никакое тайнодействие, вполне естественно, на ум не шло. Человек для них начинался с анкеты и подлежал обследованию при слепящем свете в упор, от которого ему не отвернуть свое «общественное лицо».

Разумеется, ни Платонов, ни Булгаков, ни Бабель не собирались ассистировать Берлиозу в таком деле и оставались «вне штата», как «вне штата» и вне сферы теоретического интереса оставался тот толстовский человек, который находился «посредине бесконечного в обе стороны времени», сознавая себя «центром шара, поверхность которого везде и нигде».

Двумерное, планиметрическое сознание объявляло о своем всевластии и недобро прищуривалось в сторону искусства, которое всегда норовит ущемить, одурачить «планиметрию», показывая, как легко ему дается изображение объемов.

Много грехов на совести прагматиков и доктринеров берлиозовского покроя. Но особенно тяжко они согрешали, внедряя в умы удобный для себя предрассудок, согласно которому главное дело художника — прояснять и лепить наше общественное лицо, а искусству известно о человеке то же самое, что и социологии, исторической науке, текущей очеркистике, только излагает оно с красочными подробностями.

Въедливый и цепкий предрассудок. Однако пока он внедрялся с теоретических амвонов, литературная аудитория, подлежавшая обработке, понемногу редела, предоставляя проповеднику вопиять в пустыне или среди верных адептов, чье присутствие вида пустыни почти не меняет. Удалились от амвона «деревенщики» вместе с отрядом прозаиков-баталистов, следом — «сорокалетние»...

Художественное сознание отрывало от себя присоски казенно-схоластической системы догматов и целеуказаний, дабы углубиться в работу, которая одному лишь ему по плечу.

Вл. НОВИКОВ

Голос

О СТИХАХ ЮННЫ МОРИЦ

А сейчас, если говорить откровенно, время у нас непоэтическое. Понимаю, что подобное высказывание звучит почти неприлично: и поэзия может обидеться, и время. И тем не менее сегодняшнему дню как-то не до стихов. Читатель страшно занят: не только он сам пребывает в постоянной очереди за книжными и журнальными новинками, но и новинки занимают очередь к читателю. В числе же первоочередников — романы, воспоминания, публицистика, документы, письма — все что угодно, только не стихи.

Оно, конечно, читатель сделал исключение для «Реквиема», для поэмы «По праву памяти», но прежде всего ценя в этих вещах «прозы пристальной крупицы», сопереживая трагическому опыту авторов, воспринимая их произведения как достовернейшие свидетельства о жизни, а уж созерцание стиховых оттенков оставляя на потом. «На потом» откладываются и Гумилев, и Ходасевич: убедились мы, что они, слава богу, разрешены, «залитованы»,— и скорее опять к Гроссману с Платоновым.

Что ж о поэтах-современниках — то им сейчас с немалым трудом приходится доказывать саму оправданность и нужность стихотворной речи. Скажем, Евгению Евтушенко куда прочнее удается завладеть читательским вниманием при помощи прозаической публицистики, чем на путях поэтического переложения тех же самых злободневных тезисов. На самый задний план отодвинулись любовная лирика и медитации на вечные темы. Для журналов куда более желанными стали стихотворные рассказы об арестах и лагерях, раскулачиваниях и расстрелах. Наилучшим пропуском для публикации стало не само поэтическое слово, а трудная судьба автора. Иные стихотворцы даже принялись выстраивать себе судьбу задним числом, сопровождая «острые» опусы эффектными датировками из сталинской или «застойной» эпохи и не очень задаваясь вопросом, насколько их творения весомы сами по себе, без хронологических подпорок. Как бы то ни было, и в самой поэзии нынешнему дню всего интереснее — проза. Качество поэтического голоса стало аспектом второстепенным.

Такое не раз бывало и прежде, причем не только в суровые времена, но и в ситуациях общественного подъема. Скажем, в шестидесятые годы прошлого века чуть ли не самым пылким певцом гласности был безголосый и впоследствии забытый Михаил Павлович Розенгейм. Вспомним, как не ко времени пришлись тогда фетовские шепот и робкое дыханье, как спор о Шекспире и сапогах ощутимо склонялся в пользу сапог. Да и в наши шестидесятые поэзии нередко приходилось доказывать свое право на существование в диспутах о физиках и лириках, о том, нужна ли в космосе ветка сирени. Непоэтические времена бывают для поэзии трудным, но необходимым испытанием, толчком к грядущему обновлению.

И все-таки иной раз задумаешься: вполне ли безболезненно для нашей духовной жизни это — будем надеяться, временное — безразличие читателей и критики к поэтическим красотам, к музыкальности и живописности стихотворного слова? Ведь если общество совсем не будет контролировать качество стихов, то планка требовательности может опуститься до самого низа:

Перестройка —
Адская работа.
Гласность —
Всенародной правды
Всплеск.
О грядущем
Проявил заботу
Наш,
Двадцать седьмой,
Партийный
Съезд.

(В. Фирсов)

Это четверостишие, тщательно распиленное хозяйственным автором на одиннадцать строк,— из «Монолога поэта», украсившего в день открытия партийной конференции первую полосу «Советской России». Полагаю, что читателю не нужно объяснять, насколько процитированные стихи полезны делу перестройки и гласности, насколько они близки к нашей реальной жизни.

Пример, конечно, весьма далекий от непосредственной темы нашей статьи, но

отнюдь не случайный. Хочется на нем прояснить простое, но необходимое положение: для того, чтобы слышать, когда сочинитель пускает «петуха», когда он «не тянет», надо иметь четкие представления о подлинных поэтических голосах.

С этого и начнем разговор о Юнне Мориц, чье творчество в первую очередь интересно именно богатством и своеобразием авторского голоса. Давно расслышанного читателями-стихолюбами, но, как ни странно, довольно редко анализируемого критикой. Тут, кстати, парадоксальная закономерность — нынешним критикам поэзии как-то сподручнее толковать про стихотворцев безголосых, тех, что охотно уступают право изрекать от их имени что угодно и готовы ко всему: хоть тенором назовут, хоть басом — нет претензий. А у голоса настоящего своя, так сказать, тесситура, на нее настроить критико-аналитический инструмент бывает непросто.

К тому же сама поэтесса страсть как любит уколоть критика — не конкретного какого-то, а критика вообще: «А рецензент с повадкой резидента Дорасшифрует за тебя, доскажет. А также за тебя доразовьет...» Или с неменьшим сарказмом: «У критика — душа поэта. А у поэта — ничего». Кому же захочется натыкаться на острие такой иронии, примерять к себе клеймо «резидента»?

Но ирония иронией, а три книги Юнны Мориц: «Избранное» (1982), «Синий огонь» (1985) и «На этом береге высоком» (1987) так настойчиво требуют разбора и характеристики, что высказывания их автора о возможностях критики как таковой мы позволим себе оставить без внимания — как факт чисто психологический, но не эстетический.

Что же отличает голос Юнны Мориц от других поэтических голосов? Что составляет ядро ее и только ее художественного мира?

Это пафос активно творимой гармонии. В то время как абсолютное большинство современных поэтов предел своих дерзаний видит в том, чтобы «уловить», «передать», «отразить», Юнна Мориц упорно считает поэзию соперницей «зримого мира», силой не отражающей, а преобразующей, способной не только следовать за жизнью, но и опережать ее.

Я цветок назвала — и цветок заалел,
Венчик вспыхнул, и брызжет пыльца.
Птицу я назвала — голос птицы запел.
Птенчик выпорхнул в свет из яйца.

В то время как большинство слагающих стихи мечтают сказать при их помощи правду, Юнна Мориц считает правдивость всего-навсего необходимым и естественным условием подлинной поэзии. Более того — она рискует утверждать, что искусству доступно и нечто (страшно даже сказать!) большее, чем правда:

Как дико слышать
клятвы, завереньяг
что, мол, стихи такого-то —
не ложны

Как будто всех других стихотворенья
изолгались да изоврались
сплошь!
Подумать только —
чем нашли хвалиться?
Спокон веков считалось, что поэт
своей приходит правдой поделиться,
а лишней правды
у поэта нет!
А если чересчур свою правдивость
он выставляет
людям напоказ,
тогда с трудом запрятанная лживость
и есть его волнующий рассказ.

В то время как самые разные по почерку коллеги поэтессы склоняются в почтительном поклоне перед «реальной жизнью», как бы извиняясь перед нею за невещественность результатов своего труда,— Юнна Мориц ни за что не станет прибедняться и никогда не устанет повторять: «Не бывает напрасным прекрасное».

В то время как уединенность, индивидуализм почитаются самыми страшными грехами и каждый поэт обязан предъявить те или иные «корни», откопав их в родной деревне или в родном городе, в семье или в дружеском кругу, в культуре или в истории — где угодно, лишь бы не заметили, что ты один,— Юнна Мориц может поставить своею целью

Одиночеству картину
До шедевра довести!

В то время как многие сегодняшние поэты чрезвычайно гордятся самой позицией, занятой ими в нынешних идейных схватках, полагая, что правильный нравственный выбор уже обеспечивает достоинство стихов,— Юнна Мориц завлекает читателя в волшебный мир, гордо возвышенный над сиюминутными и суетными реалиями:

И вам отворилась жила —
ни доброго там, ни злого,
ни права там нет, ни лева,
но слово равно судьбе!

Такой вот поэтический характер — резкий, определенный, неуступчивый, не сулящий читателю легкого и удобного контакта. В этом поэтическом мире не удается приятно расслабиться — тебя все время тянут вперед и выше. А это не всякому по душе, поскольку не всякая душа привычна к непрерывным нагрузкам. И вот уже мне слышится голос некоего обобщенного оппонента Юнны Мориц, неспешно и солидно изрекающего: «Все это, понимаете ли, слишком поэзия. А мне кажется, что настоящая поэзия — это когда не очень поэзия». И тут стихи Юнны Мориц, ее отважные эстетические декларации оказываются вовлеченными в давний и непрерывный спор. Ведь по-прежнему крепки убеждения многих людей (причем чаще литераторов-профессионалов, чем простосердечных любителей литературы), что поэзия лучше, когда она пожиже, что искусству надлежит быть не очень искусным. Ну что тут возразить? Лично для меня такие суждения стоят в одном ряду с представлениями о том, что крестьянин должен быть не слиш-

ком крестьянином, рабочий — не слишком рабочим, врач — не очень врачом, ученый — не очень ученым. К чему привела такая логика в широком социальном масштабе — мы хорошо знаем. Так вот и с поэтами, дорогие товарищи, то же самое. Не доводит до добра раскулачивание талантов в угоду поэтическим середнякам и беднякам.

У Юнны Мориц, впрочем, есть довольно горькие, но в то же время спокойно-аналитичные размышления о том, почему так часто отдается предпочтение поэзии «не очень», стихам жиденьким:

Когда поэзия вторична,
в ней все привычно, все прилично,
мотивчик льется, всем знакомый,
конец с концом сводя отлично!
. . . .

И много счастлив обыватель —
В нем пробуждается писатель:
когда поэзия вторична,
он как бы сам — ее создатель!

Он восклицает непорочно:
— Я написал бы так же точно!
Ведь эти мысли, эти чувства
сидят во мне давно и прочно!
Мое! Мое! Мой опыт личный!
Язык, настолько мне привычный!

...И эта правда роковая —
палач Поэзии первичной!

Я бы только немного прояснил здесь значение слова «читатель». Наиболее активные недоброжелатели «первичной» поэзии, по моим наблюдениям, сосредоточены в окололитературной среде: это и стихотворцы, наделенные не очень щедрым даром, и балующиеся версификацией критики (надо признаться, что их опыты, как правило, бывают очень скованными, очень бедными и по части образности, и по части музыкальности). В читательской же среде «неорганизованной» немало встречается любителей «первичного» поэтического слова, готовых нырять в его смысловые глубины и ценящих поэзию не по принципу «Я написал бы так же точно», а по честному и естественному для нормального эстетического восприятия принципу «Я бы так не смог». Так и со стихами Мориц. Ее порой упрекали в «элитарности», а между тем подлинный отзвук и неподдельную приязнь стихи поэтессы нашли как раз не в «элитных» кругах, где с небрежной интонацией говорят о «Булате», «Андрее», «Юнне» и «Белле», а среди людей, совершенно далеких от окололитературной «кухни».

Долг поэзии — не в простой фиксации мыслей, пусть даже верных и житейски полезных. Немногого добивается поэт, когда он просто *говорит*. Голос у поэта — для другого. *Поэт поет*, как любит настойчиво подчеркивать Юнна Мориц («О жизни, о жизни — о чем же другом? — Поет до упаду поэт»), и русский язык, как видим, соглашается признать эти слова родственными. И еще поэт не говорит, а показывает. Два дела эти между тем неразделимы, о чем музыкальная живопись поэтессы постоянно свидетельствует:

Если проснуться — действительность
видно сквозь иней.
Сквозь кристаллически синий осадок
оконный.
Дождик осенний играет на лире на синей...

Прислушайтесь, как вздрогнули, встав рядом, слова «действительность видно», как запело грустно-протяжное «и» — и открылся вид какой-то необычный. И синий цвет потому доподлинно возник, что предсказан созвучным словом «осенний». Впрочем, остановимся: опять ведь достанется нам за «эстетизм». А жаль, говорили бы мы смелее о звуках и цветах — может быть, не господствовала бы тогда на поэтических страницах даже передовых наших журналов пусть прогрессивная и благородная, но — говорильня. Мастерство и виртуозность у нас всегда под подозрением (дескать, важно «что», а не «как»), и бескрасочная какофония вновь и вновь тщится жечь сердца людей. Но, даже когда читатель и доволен умеренной поэзией, не пылают ничьи сердца. Синий огонь искусства добывается не на прямых путях:

А это, голубчик, ведь надо уметь —
Не каждому бог и дает!

И не только в искусстве — в жизни вообще всегда присутствует острейший конфликт между теми, кто умеет, и теми, кто не умеет. Это противоречие редко осознается во всей его важности. Только-только мы, кажется, начали соображать, что наши большие беды — не от каких-то волшебных злодеев и организованных «вредителей», а главным образом — от бездарей и неумех. От людей, делающих не свое дело и занимающих чужое место: на политическом ли Олимпе, на поэтическом ли Парнасе. Несделанные дела, невыполненные обещания, нереальные планы, работа тяп-ляп — все это неиссякаемые источники новой и неизбежной лжи и несправедливости. И если поэт дерзает бороться за правду и бросает вызов обману, ему приходится действовать прежде всего силой своего голоса, примером реально осуществленной гармонии. Если в стихотворении нам явлены цельность, динамика, стремительное движение, может быть, они возможны и в социальной действительности? Таково реальное участие поэзии в жизни людей, когда воплотившаяся в стихе творческая энергия дает читателю энергию жизнетворческую. Неискусное же стихотворение — как невыполненное обещание, а поэзия без мастерства — соучастница лжи или в лучшем случае ее равнодушная свидетельница.

Творческий, эстетический максимализм не отдаляет художника от жизни, а энергично сближает его с нею. Устремление к слову музыкальному и живописному вовсе не во вред социальности и нравственности. Более того: смелый художественный поиск закономерно выводит поэта на проблематику злободневную, причем такой выход становится не конъюнктурной и не стадно-подражательной акцией, а глубоко личным творческим поступком. Вслушаемся, как по-своему, с какой непритворной болью размышляет Юнна Мориц о судьбе Андрея Тарковского, о судьбах других русских художников, исторгнутых на чужбину:

Нигде не считают странников
за предателей да изменников, —
только для наших изгнанников
остры топоры соплеменников.
Что за голод на мнимых предателей
в наших краях силен?..
Особенно средь писателей,
доживших до лучших времен.

Прочитавший эти строки поймет, что процитированные чуть выше вызывающие слова «ни доброго там, ни злого, ни права там нет, ни лева», не стоит понимать буквально, проблемы добра и зла поэтессе отнюдь не безразличны. Но к каждому конкретному нравственному выбору поэт приходит своим и только своим путем, а не по размеченному кем-то маршруту с указателями: «направо», «налево», «добро», «зло».

По этой причине так склонна Юнна Мориц к дразнящим гиперболам. А как же иначе соединить мысль с чувством, сказать именно свое, а не обще-расхожее? К гиперболическому способу высказывания не раз прибегала и русская классика («Зависеть от царя, зависеть от народа — «Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать») — и именно такая духовная самостоятельность делала поэзию любезной народу.

Испепеляющие гиперболы Юнны Мориц, ее гневные филиппики против обывательской пошлости обращены на окололитературную «чернь», на всякого рода симуляцию духовности. Для простых же в буквальном смысле людей, таких, как Мария, которой «вечерами положено петь. А утрами доить и полоть», — у поэтессы всегда достает и доброты, и теплоты:

Но ты когда-нибудь заглядывал
в души людей,
Идущих по морозу в слезах?

Вспомним, хотя бы в беглой полуфразе, и детские стихи Юнны Мориц — веселый урок непритворной человечности. Дерзкие выси поэзии по какой-то парадоксальной логике оказываются ближе к повседневной прозе, чем топчущийся возле нее обыденно-вторичный стих.

И все-таки, даже принимая и ценя дух непримиримости, присущий Юнне Мориц, иной раз сожалеешь, что ее мощное и афористичное слово бывает нацелено на чересчур частные и элементарно-конкретные мишени. Поделом, конечно, досталось от поэтессы «двум редакторам», пытавшимся «поработать» с текстами ее переводов. Возможно, вполне достойны иронии и «весьма подающий надежды Поэт восемнадцати лет», и еще один какой-то сочинитель «храбрятины» и молодые поэтессы с «увядшими стихами», и некая «милая девочка», не оправдавшая надежд: «Ты ли, ангел в детской шубке, Так изгадил свой портрет, Свой полет, свои поступки За каких-то двадцать лет?» А чуть дальше — так совсем ужас: «...И как страшные консервы — Твои внешние черты».

Убежден, все же, что сарказм Юнны Мориц плодотворнее работает на крупных «объектах». Достаточно вспомнить ее давние, полные скорби и гнева слова о гибели Тициана Табидзе: «Кто это право дал кретину — Совать звезду под гильотину?» или прочитать недавно появившееся в «Огоньке» стихотворение «Незнакомка» — обобщенный портрет «бодрой сучки», служившей «кривосудию, казнилке да бараку». Признание же в огнедышащей нелюбви к случайным попутчикам по литературной жизни кажутся мелковатыми «в деле такого масштаба», пользуясь формулой самой поэтессы. Невольно вспоминаются и другие ее строки, сказанные о людях творящих:

И нет у них мыслей враждебных —
поскольку всегда
Они занимаются делом, которое любят.

Не из задиристых уверений типа «У меня характер скверный», а из более глубоких и музыкальных суждений и строк складывается в читательском сознании образ автора книг, о которых шла у нас речь. А у поэта всегда остается возможность дописывания лирического автопортрета, достраивания художественного мира. Кстати, порою возникает ощущение, что живописный и музыкальный мир Юнны Мориц может обрести еще и архитектурную стройность. Речь о композиции книг, о связях между стихотворениями. Разные способы деления их на части, разные варианты последовательности произведений испробованы автором в «Избранном», в сборнике «На этом береге высоком». Но идеальный вариант, дающий читателю ариаднину нить, создающий эффект «романа в стихах», полагаю, еще не найден: распорядиться собственным богатством бывает непросто...

Есть поэзия, прямо транслирующая шум времени, улавливаемая и воспринимаемая с ходу. Но она не отменяет нашей потребности в энергичном соединении прошлого, настоящего и будущего, в музыкальном сплаве сиюминутного и вечного. Со временем неминуемо станет понятно, что голос поэта и есть содержание его стихов

И что талант не смесь
Всего, что любят люди,
А худшее, что есть,
И лучшее, что будет.

А сейчас...

Н. БЕРБЕРОВА

Курсив мой

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Нина Николаевна Берберова родилась в 1901 году в Петербурге.

В 1921 году вступила в петроградский Союз поэтов, занималась в студии молодых поэтов «Звучащая раковина», которую возглавлял Н. С. Гумилев, и в Институте истории искусств (бывшем Зубовском). В том же году произошло знакомство Н. Берберовой с В. Ф. Ходасевичем, во многом предопределившее ее дальнейшую судьбу.

В 1922 году Н. Берберова вместе с В. Ходасевичем уехала из России. Первые годы их совместной жизни прошли в Германии, Чехословакии и Италии, где они жили в Сорренто у А. М. Горького. В 1925 году Ходасевич и Берберова переехали в Париж.

Во Франции началась профессиональная литературная деятельность Н. Берберовой. В 1920—1930-е годы она печаталась во всех ведущих эмигрантских изданиях: три ее романа и пять повестей были опубликованы в журнале «Современные записки», цикл рассказов «Биянкурские праздники» — в ежедневной парижской газете «Последние новости», в которой Н. Берберова постоянно сотрудничала в течение 15 лет. Особый успех выпал на долю ее книги о П. И. Чайковском (1936), переведенной на многие европейские языки.

После Второй мировой войны Н. Берберова стала редактором литературной страницы парижского еженедельника «Русская мысль»; ряд ее рассказов тех лет был напечатан в нью-йоркском «Новом журнале».

В 1950 году Н. Берберова переезжает в США: начиная с 1958 года преподает в Йельском, затем — Принстонском университетах. В 1969 году по-английски (в Лондоне и в Нью-Йорке), а в 1972 году по-русски (в Мюнхене) выходит первое издание автобиографии Н. Берберовой «Курсив мой».

К числу наиболее значительных работ Н. Берберовой последнего десятилетия относятся книги «Железная женщина» (1981—1982) — рассказ о баронессе М. И. Будберг, близком друге А. М. Горького и Г. Уэллса, «Люди и ложи: русские масоны XX столетия» (1987) и «Стихотворения» (1984) — первая поэтическая книга, куда вошли избранные произведения многих лет.

Богатый исторический и мемуарный материал автобиографической книги «Курсив мой» (в то же время остро субъективной, не лишенной и ошибок памяти, как любое произведение этого жанра), а также ее яркие литературные достоинства вызвали широкий интерес к ней в самых разных читательских кругах.

Узнав о том, что журнал «Октябрь» заинтересовался этой книгой и захотел ее напечатать, Н. Н. Берберова охотно дала согласие на публикацию. Предполагаемая встреча с советскими читателями обрадовала ее. В письме ко мне (наша переписка завязалась в свое время на почве моих занятий творчеством М. Цветаевой) Нина Николаевна написала: «Для меня быть напечатанной в Советском Союзе будет огромной радостью... Для кого я делала свое дело всю мою жизнь? Не для японских же и бразильских читателей?». И в другом месте: «А вопрос, «когда» все это случится, пусть Вас не волнует: я теперь знаю, что случится, сомнений у меня нет».

Публикуемые ниже главы автобиографии Н. Берберовой «Курсив мой» (книга создавалась в середине 60-х годов) рассказывают о В. Ф. Ходасевиче, А. М. Горьком, И. А. Бунине, а также о других деятелях русской культуры, с которыми писательница встречалась в России и в эмиграции. Текст печатается с небольшими сокращениями по второму, дополненному изданию книги, вышедшему в 1983 году в нью-йоркском издательстве «Руссика».

Е. ЛУБЯННИКОВА

г. Ленинград

Лето 1921 года. В жемчужном разливе белых ночей, в тишине сонных улиц (извозчиков, конечно, не было, трамваев было очень мало) редкие прохожие не спеша проходили, осунувшиеся, оборванные. Дома рушились, двери и паркеты ночью уносились соседями, прозрачные дети ждали, когда им выдадут карандаши, чтобы научиться грамоте. Парадные были заколочены, и в большом доме, где мы сняли комнаты, ход на Манежный был забит — ходили

через Кирочную. Но какой-то проблеск начинался на Невском, и в угловой лавке, где вчера еще окна были разбиты и заколочены досками, вдруг стало возможным купить сдобную булку, цветок, книгу — старую, извлеченную из пыльного подвала, или новую — вышедшую только что.

На углу Невского и Мойки, в бывшем доме Елисеева, помещался в те годы Дом Искусств, и в его общежитии жил в то лето дядя Сережа Ухтомский, скульптор. Я отправилась туда с матерью.

В тот день я увидела только парадные комнаты этого раззолоченного внутри и разукрашенного лепкой купеческого дворца. В залах было человек пятьдесят гостей, и бывшие елисеевские лакеи разносили чай и сероватое печенье на тяжелых серебряных подносах. Было много молодежи, но я не запомнила никого, кроме Ю. Султанова, сына Летковой-Султановой (они жили рядом с комнатой Ухтомских, в общежитии на том же этаже), с которым танцевала. А. Н. Бенуа (в то время с широкой бородой) и его брат, Альберт Николаевич, сели за два концертных рояля на разных концах зала, и штраусовский вальс загремел из-под поднятых крышек. Солнце сверкало в позолоте, звенели десятипудовые люстры, в окна смотрел на нас дворец Строганова с красным флагом над обшарпанным подъездом.

— Приходи еще,— говорила Евгения Павловна,— и непременно пойди в дом Мурузи. Там Гумилев и весь Цех, и бывают вечера. Стихи читают.

Но я еще выждала несколько дней и только вечером 15 июля пошла в Союз поэтов. Я пришла рано, не было еще семи часов. На лестнице с широкими пролетами было полутемно. Я стала ждать. Явилась «секретарша» — мать поэта Сергея Колбасьева (о котором Георгий Иванов без особых оснований написал в «Петербургских зимах» как о доносчике). Секретарша была похожа на Екатерину Вторую, накрашенная, завитая, толстая, ее столик и стул стояли на площадке первого этажа, перед входом в помещение Союза (состоявшего из двух гостиных и зала). Она выслушала меня и сказала, чтобы я принесла десять стихотворений, которые будут «рассмотрены президиумом». Председатель Гумилев и секретарь Георгий Иванов должны будуть обсудить их. «И если стихи годятся,— сказала толстая дама равнодушно,— то вас примут в Союз».

19-го я явилась с переписанными стихами и тихонько положила свой конверт ей на стол, собираясь неслышно сбежать с лестницы. Но она увидела меня, выплыла из двери на площадку лестницы и взяла конверт. Глядя в сторону и поправляя прическу, она велела мне заполнить анкету «на предмет» вступления в Союз. Я, наставив клякс, скрипучим «почтамтским» пером заполнила анкету и вопросительно взглянула на Екатерину Вторую. Она велела мне прийти на будущей неделе, чтобы узнать, годятся ли стихи.

Почему «на будущей неделе»? И что со мной будет, если стихи «не годятся»?

Через Таврический сад, где щелкали соловьи, я вернулась домой. А солнце все стояло высоко над деревьями и домами. И величественное убожество Петербурга было тихо и неподвижно: весь город тогда был величествен, тих и мертв, как Шартрский собор, как Акрополь.

27 июля я вошла в дом Мурузи минут за десять до начала вечера стихов. Я прошла прямо в гостиную, где Г. Иванов подошел ко мне и, узнав, что мой конверт «где-то имеется», подвел меня к Гумилеву. Он взглянул на меня светлыми косыми глазами с высоты своего роста. Череп его, уходивший куполом вверх, делал его лицо еще длиннее. Он был некрасив, выразительно некрасив, я бы сказала — немного страшен своей непривлекательностью: длинные руки, дефект речи, надменный взгляд, причем один глаз все время отсутствовал, оставаясь в стороне. Он смерил меня глазом, секунду задержался на груди и ногах, и они оба вышли, закрыв за собой дверь.

— Они пошли совещаться,— сказал мне Н. А. Оцуп; он вспомнил, что видел меня когда-то у своей сестры в гостях.

— Это было страшно давно,— поспешила я, чтобы облегчить ему эти минуты.— Вы не можете меня помнить. Я тогда была гимназисткой.

— Надя теперь служит в Чека,— сказал он спокойно и дружески посмотрел на меня.— Она ходит в кожаной куртке и носит револьвер. Я встретил ее недавно на улице, она сказала, что таких, как я, надо расстреливать, что они и делают.

Гумилев вышел из дверей и подошел ко мне. Я встала. Стихи годились, то есть бесспорно четыре строчки из всего принесенного. «Вот эти («И буду жадно я искать»),— он держал листочки в длинных своих пальцах.— И, пожалуй, еще это: север-клевер, мороз-овес».

В зале, где сидела публика, человек двадцать пять, Г. Адамович уже читал «Мария, где вы теперь?», и я пошла слушать. Все во мне вдруг угомонилось. Я почувствовала, что в полном ладу и с собой, и со всем, что меня окружает. Я шагнула куда-то, и теперь спокойствие наплывало на меня и накрывало меня волной.

Сразу после того, как чтение закончилось (Гумилев читал, Иванов, Оцуп и некто Нельдихен — в артистической куртке, с длинными волосами, декоративный, с великолепным голосом), Гумилев пригласил меня выпить чаю. Нам подали два стакана в подстаканниках и пирожные. («Покойник был скупенек,— говорил мне впоследствии Г. Иванов,— когда я увидел, что он угощает вас пирожными, я подумал, что дело нечисто».) Никто не подошел к нам. Мы сидели одни, в углу большой гостиной, и я дога-

дывалась, что подходить к Гумилеву, когда он сидит с облюбованной им особой женского пола, не полагается: субординация. Об этой субординации Гумилев сразу и заговорил:

— Необходима дисциплина. Я здесь — ротный командир. Чин чина почитай. В поэзии то же самое, и даже еще строже. По струнке!

Я ничего не говорила, я слушала с любопытством, тщетно ища в его лице улыбку, но был только отбегающий глаз и другой, сверлящий меня.

— Я сделал Ахматову, я сделал Мандельштама. Теперь я делаю Оцупа. Я могу, если захочу, сделать вас.

Во мне начала расти неловкость. Я боялась обидеть его улыбкой и одновременно не могла поверить, что все это говорится всерьез. Между тем голос его звучал сухо, и лицо было совершенно неподвижно, когда он умолкал. И затем опять начиналась речь, похожая на лай. Напрасно, мне казалось, он думает, что в Цехе есть что-то военное, на роту или взвод это отнюдь не было похоже, члены Цеха скорее напоминали (в их отношении к главе Цеха) петиметров и куртизанов в свите одного из Людовиков.

— Я — монархист. Крещусь на церкви. Если будете делать то, что я вам буду приказывать, из вас может выйти поэт... Но для этого нужно перестать любить Виктора Гофмана.

Тут я вдруг рассмеялась. Мне показалось, что было еще немножко рано приказывать мне, кого любить и кого не любить. Он сердито взглянул на меня и тем же жестким тоном не сказал, а как бы «объявил в приказе» о моем лице и ногах.

Теперь неловкость стала во мне переходить в окаменение. Ноги свои я задвинула под диван, руки спрятала под стол, только лицо мое было повернуто к нему, вероятно, в глазах была просьба: повернуть все это в шутку. Но он этого не замечал.

Мы сидели рядышком, на вид совершенно смирно, но между нами вспыхивали искры недружелюбия. Он заговорил опять:

— У меня студия в Доме Искусств. Там я учу молодых поэтов (он выговаривал п о а т о в) писать стихи. Я научу вас писать стихи. Вы писать стихи не умеете.

— Спасибо, Николай Степанович,— сказала я тихо,— я непременно поступлю к вам в студию.

— Кто ваш любимый поэт? — внезапно вылаял он.

Я молчала: мне не хотелось лгать: это был не он.

Он взял мою руку и погладил ее. Мне захотелось домой. Но он сказал, что хочет завтра пойти со мной гулять по набережным. Он, с тех пор как вернулся в Петербург, все ходит смотреть и насмотреться не может. Камни гладит. У урны в Летнем саду, в три часа. Хорошо? Я тоже гладила камни в эти недели.

— Может быть, послезавтра?

— Завтра, в три часа.

Я встала, подала ему руку. Он проводил меня до дверей.

Мой лад не был нарушен. Я спокойно вышла на улицу и пошла домой. Колбасьев пошел провожать меня. Он рассказывал, как они с Гумилевым встретились и подружились в Крыму. Я не могла никак понять, почему все, что он говорил, пока мы шли по Литейному, было мне совершенно неинтересно.

На следующий день я была у урны в три часа.

Мы сначала долго сидели на скамейке и мирно разговаривали, очень дружески и спокойно, и я даже вынудила у него признание, что Ахматова сама себя сделала, а он даже мешал ей в этом и что он вчера вечером сказал мне, что он ее сделал, только чтобы поразить меня. Он рассказывал о Париже, о военных годах во Франции, потом о Союзе поэтов и Цехе, и все было так хорошо, что не хотелось и уходить из-под густых деревьев. Потом мы пошли в книжный магазин Петрополиса и по дороге он спросил, есть ли у меня «Кипарисовый ларец» Анненского, Кузмин, последняя книга Сологуба и его собственные книги. Я сказала, что Сологуба и Анненского нет. Пока я разглядывала полки, он отобрал книг пять-шесть, и я, нечаянно взглянув, увидела, что среди них отобран «Кипарисовый ларец». Смутное подозрение шевельнулось во мне, но, конечно, я ничего не сказала, и мы вышли и пошли по Гагаринской до набережной и повернули в сторону Эрмитажа. День был яркий, ветреный, не жаркий, мы шли и смотрели на пароходик, плывущий по Неве, на воду, на мальчишек, бегающих по гранитной лесенке с улицы к воде и обратно. Внезапно Гумилев остановился и несколько торжественно произнес:

— Обещайте мне, что вы беспрекословно исполните мою просьбу.

— Конечно, нет,— ответила я.

Он удивился, спросил, боюсь ли я его. Я сказала, что немного боюсь. Это ему понравилось. Затем он протянул мне книги.

— Я купил их для вас.

Я отступила от него. Мысль иметь Сологуба и Анненского на секунду помрачила мой рассудок, но только на секунду. Я сказала ему, что не могу принять от него подарка.

— У меня эти книги все есть,— продолжал он настойчиво и сердито,— я их выбрал для вас.

— Не могу,— сказала я, отвернувшись. Все мои молодые принципы вдруг, как фейерверк, взорвались в небо и озарили меня и его. И я почувствовала, что не только не могу взять от него чего-либо, но и не хочу.

И тогда он вдруг высоко поднял книги и широким движением бросил их в Неву. Я громко вскрикнула, свистули мальчишки. Книги поплыли по синей воде. Я видела, как птицы садились на них

и топили их. Мы медленно пошли дальше.

Мне стало очень грустно. Мы простились где-то на Миллионной, и я пошла домой, перебирая в мыслях эту вторую встречу. На следующий день я опять была в Союзе поэтов, а еще на следующий день, 30 июля, мы пошли с ним вместе во «Всемирную литературу», где мне изготовили членскую карточку Союза. Гумилев подписал ее. Она теперь в моем архиве.

Затем наступили два дня, 31 июля и 1 августа, когда мы опять ходили в Летний сад, и сидели на гранитной скамье у Невы, и говорили о Петербурге, об Анненском, о нем самом, о том, что будет со всеми нами. Он читал стихи. Под вечер, проголодавшись, мы пошли в польскую кофейню у Полицейского моста, в том доме на Невском, где когда-то был магазин Треймана. Надо было сойти несколько ступеней, кофейня была в подвале. Там мы пили кофе, и ели пирожные, и долго молчали. Чем ближе подводил он свое лицо к моему, тем труднее мне было выбрать, в который из его глаз смотреть. Вспоминаю, как позже, в Берлине, однажды я ужинала у Виктора Шкловского с Р. О. Якобсоном, который тоже косит. Всем было очень весело, и Р. О., сидя напротив меня за столом и только что познакомившись со мной, закрывал рукой свой левый глаз и кричал, хохоча: «В правый смотрите! Про левый забудьте! Правый — у меня главный, он на вас смотрит!» Но в Гумилеве не было юмора, он всех вообще и себя самого принимал всерьез, и мне он мгновениями казался консервативным пожилым господином, который, вероятно, до сих пор иногда надевает фрак и цилиндр.

И тогда он вдруг мне сказал, в этой польской кофейне, где мы поедали пирожные, что он завел черную клеенчатую тетрадь, где будет писать мне стихи. И одно он написал вчера, но сейчас его не прочтет, а прочтет завтра. Там есть и про белое платье, в котором я была вчера (оно было сшито из старой занавески). Я была смущена, и он это заметил. Медленно и молча мы пошли к Казанскому собору и там в колоннаде долго ходили, а потом сидели на ступеньках, и он говорил, что я должна теперь пойти к нему, в Дом Искусств, где он живет, но я не пошла, а пошла домой, обещав ему прийти в «Звучащую раковину» (его студию) на следующий день, в три часа. Там он учил, как писать стихи (что так раздражало Блока). Студисты учились у него всю прошлую зиму (1920—1921 гг.) и теперь «научились писать». И вы научитесь, добавил он, если будете меня слушаться.

Прислонясь к одной из колонн, он положил мне руку на голову и провел ею по моему лицу, по моим плечам.

— Нет,— сказал он, когда я отступила,— вы ужасно благоразумная, взрослая, серьезная и скучная. А я вот остался таким, каким был в двенадцать лет. Я — гимназист третьего класса. А вы со мной играть не хотите.

Это прозвучало деланно. Я ответила, что я и в детстве-то не очень любила играть, и теперь страшно рада, что мне уже не двенадцать лет.

Я оставила его в колоннаде злого и недовольного. И сама была недовольна этим днем, решив больше с ним не встречаться. Но в студию я, конечно, пошла. Был и другой гость, кроме меня, Николай Тихонов. Гумилев ценил его и принял его в Союз в тот же день, что и меня.

Студия помещалась в Доме Искусств. Был вторник, 2 августа. По какой причине собрание было перенесено с понедельника на вторник, я сейчас не помню, но это было исключением. В одной из елисеевских гостиных стоял длинный стол, мы все сели вокруг него. Читали стихи «по кругу», как тогда было принято. Были две сестры Наппельбаум, была Н. Сурина, А. Федорова (позже жена Вагинова), Вера Лурье, Ольга Зив (впоследствии — детская писательница), К. Вагинов, Волков, Столяров, Рогинский, Миллер, Николай Чуковский — все те, которые изображены на групповой фотографии, вокруг Гумилева — снимок был сделан весной 1921 года фотографом Наппельбаумом, отцом Иды и Фриды. (Первая была женой М. Фромана, поэта и секретаря Ленинградского союза поэтов, репрессированного во времена Сталина, вторая умерла при трагических обстоятельствах в 1950 году.) Все члены студии были в свое время напечатаны в сборнике «Звучащая раковина», до библиотек западного мира не дошедшего. Они выпустили его осенью 1921 года, посвятив его Гумилеву,— вряд ли этот сборник когда-либо пошел в продажу.

Лучше других был Костя Вагинов, Николай Чуковский и Фрида. Она читала:

> Я отирою окна и двери,
> Ветер зашумит в волосах,
> И придумаю, что скрылся берег
> Там, где синяя полоса.

Я сейчас же сдружилась с Н. Чуковским (сыном Корнея Ивановича). Ему было тогда семнадцать лет, и он был толст и стеснялся своей толщины. Вагинов был очень тих и печален (позже он напоминал мне чем-то Зощенко) и писал стихи странные, немножко бредовые:

> В книгохранилище вхожу едва —
> В книгохранилище летят слова...

Волков прочел свою рецензию на «Огненный столп» Гумилева, только что вышедший тогда (и тоже им потопленный в Неве), написанную ритмической прозой, а Тихонов сидел угрюмо и очень быстро ушел.

После «лекции» Гумилев предложил играть студентам в жмурки, и все с удовольствием стали бегать вокруг него, завязав ему глаза платком. Я не могла заставить себя бегать со всеми вместе — мне казалась эта игра чем-то искусствен-

ным, мне хотелось еще стихов, еще разговоров о стихах, но я боялась, что мой отказ покажется им обидным, и не знала, на что решиться. В конце концов я заставила себя присоединиться к играющим, хотя мне вдруг сделалось скучно от беготни, и я была рада, когда все это кончилось,— что-то было тут фальшивое. После игры Гумилев повел нас к себе, кое-кто ушел, и нас оказалось всего человек пять. Комната его была большая, вдоль стен стояли узкие, длинные диваны — это был елисеевский предбанник, в бане рядом, в кафельных стенах, жила Мариэтта Шагинян. Когда все ушли, он задержал меня, усадил опять и показал черную тетрадку. «Сегодня ночью, я знаю, я напишу опять,— сказал он,— потому что мне со вчерашнего дня невыносимо грустно, так грустно, как давно не было». И он прочел стихи, написанные мне на первой странице этой тетради:

Я сам иад собой насмеялся,
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть кто-нибудь, кроме тебя.

Лншь белая в белой одежде,
Как в пеплуме древних богннь,
Ты держишь хрустальную сферу
В прозрачных и тонких перстах.

А все океаны, все горы,
Архангелы, люди, цветы,
Они в глубине отразились
Прозрачных девических глаз.

Как страино подумать, что в мирв
Есть что-нибудь, кроме тебя,
Что сам я ие только ночная
Бессонная песнь о тебе.

Но свет у тебя за плечами,
Такой ослепительный свет.
Там длинные пламени реют,
Как два золотые крыла...

Я чувствовала себя неуютно в этом предбаннике, рядом с этим человеком, которому я не смела сказать ни ласкового, ни просто дружеского слова. Я поблагодарила его. Он сказал: и только? Он, видимо, совершенно не догадывался о том, что мне было и неловко, и неуютно с ним.

Когда я собралась уходить, он вышел со мной. Он говорил, что ему нынче тяжело быть одному, что мы опять пойдем есть пирожные в низок. И мы пошли, и вся его грусть в тот вечер, не знаю каким путем, перешла в меня. Он долго не отпускал меня, наконец мы вышли и через Сенатскую площадь пришли к памятнику Петру Первому, где долго сидели, пока не стало темно. И он пошел провожать меня через весь город. Я не знала, на что решиться: дать всему этому растаять постепенно, раствориться самому, молчать и отдалиться в ближайшие дни или же сказать ему, чтобы он придумал для наших отношений другой тон и другие темы. Я никогда, кажется, не была в таком трудном положении: до сих пор всегда между мной и другим человеком было понимание, что нужно и что не нужно, что можно и что нельзя. Здесь была глухая стена: самоуверенности, менторства, ложного величия и абсолютного отсутствия чуткости. Как бывает в таких случаях, хотелось временами быть за тридевять земель и вместе с тем я помнила, что это — большой поэт. «Я с женщинами дружбы не признаю,— сказал он, будто нечаянно,— я дружбы с вами не ищу». «Зачем я здесь с ним?» — в эту минуту подумала я. Одновременно же я казнилась, что не могу рассеять, как он говорил, его беспричинную грусть в тот вечер, чувствуя, как эта грусть все больше и больше переливается в меня и как я делаюсь внутренне все более тяжелой, неповоротливой, напряженной.

— Пойду теперь писать стихи про вас,— сказал он мне на прощание.

Я вошла в ворота дома, зная, что он стоит и смотрит мне вслед. Переломив себя, я остановилась, обернулась к нему и сказала просто и спокойно: «Спасибо вам, Николай Степанович». Ночью в постели я приняла решение больше с ним не встречаться. И я больше никогда не встретилась с ним, потому что на рассвете 3-го, в среду, его арестовали.

— Я нашел средн бумаг Николая Степановича,— сказал мне через месяц Георгий Иванов,— черную клеенчатую тетрадь, в ней записано всего одно стихотворение. Вы знаете про эту тетрадь?

— Да,— ответила я.

— Хотите ее получить?

Но как я ие могла принять от Гумилева книг, так я не могла принять его стихов. Я поблагодарила Иванова и отказалась.

Я не хотела ни расспросов, ни догадок. Больше мы с Ивановым никогда к этому не возвращались: стихи он напечатал в последнем сборнике Цеха, в Берлине, в 1923 году.

Мне теперь нужно было разобраться в том, что произошло. Я увидела, что моя дорога внезапно скрестилась с человеком далекого прошлого, который не только не понимал свое время, но и не пытался его понять, а заодно не понял и меня. Он рассказывал о себе, что он монархист, крестился на церковный купол, уверял, что счастлив тем, что чувствует себя двенадцатилетним. Все это было мне так чуждо, все это было такое «анти-я», что мне показалось невероятным, когда я узнала, что Гумилеву было только 35 лет,— в своем недомыслии я представляла его себе пятидесятилетним. Кстати, лицо его, как это часто бывает у безобразных людей, было без возраста.

«Зачем я встретила его? — думала я.— Зачем он говорил мне вещи, от которых меня коробило, и тоном, от которого все во мне сжималось? Права ли я, когда так много значения придаю с л о в а м, и, может быть, даже б о г и н я м о я, сказанное с лучшими намерениями, вовсе не было так ужасно?» Но я понимала, что тут были не одни слова: тут была п л е т ь, которая еще раньше кое у кого «висела на стенке». А ко мне еще никто не входил с плетью (и без улыбки) — надобности в этом не было.

Но теперь он был арестован. Это страшное утро, когда его взяли и увезли, после того как он сказал, что ему тяжело, как никогда... Я перебирала в памяти его стихи, я знала их наизусть с тринадцати лет, многое я в них любила, но я вдруг увидела всю их детскость, в то же время как и старомодность, их искусственность для нашего времени. Ведь он повернул обратно, от символизма к парнасу, думалось мне, а вовсе не устроил революции против символистов. Неужели парнасом хотел он победить Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Блока? Даже в его многопудовой, неповоротливой мужской самоуверенности сквозила эта старомодность — завоевателя, покорителя. Не истинная старомодность отцов и дедов, а какая-то стилизованная, утрированная, деформированная копия ее. Он был большим поэтом, я теперь уверена в этом, но, вероятно, родившимся слишком поздно; он был бы счастливее, живи он где-то между Константином Леонтьевым и Случевским. Недаром он однажды сказал: «Я вежлив с жизнью современною, н о между нами есть преграда». Это н о говорит о драме Гумилева, оно многозначительно. Теперь я знаю, что он большой поэт, но тогда — как сухо и с каким предубеждением я думала о нем!

Через несколько дней (это было воскресенье) я вышла из дому, совершенно не зная, куда идти, но дома оставаться не хотелось. В те дни я была очень одинока, дружба с Ник. Чуковским, Идой и Львом Лунцем пришла только в начале осени. Я вышла и пошла по улицам, думая зайти в Дом Литераторов и, может быть, там узнать что-нибудь новое о судьбе Гумилева. По пути я пережидала дождь в какой-то подворотне. Я никак не могла овладеть собой, все во мне было залито черной тоской, таких дней во всю жизнь у меня, вероятно, было не более тридцати, когда не знаешь, куда приткнуться, и понимаешь, что никто ничем помочь не может, когда ничего не ждешь, только чтобы полегчало немножко, чтобы наступила ночь, и уснуть, как будто зубная боль, которую надо вытерпеть и хоть как-нибудь дотянуть до минуты, когда что-то дрогнет и повернется внутри. Но ничего не поворачивается, все замерло, остыло, одеревенело, и все болит — а в общем: все равно!

Я шла по Бассейной в Дом Литераторов. Было воскресенье (и канун дня моего рождения), часа три. Может быть, у меня была надежда встретить там когонибудь и узнать что-нибудь новое об арестованных — в ту ночь были, среди других, взяты дядя Сережа Ухтомский, бывший издатель «Речи» Бак, проф. Лазаревский, которых я знала лично. Я вошла в парадную дверь с улицы. Было пусто и тихо. Через стеклянную дверь, выходившую в сад, была видна листва деревьев (Дом Литераторов, как и Дом Искусств, помещался в чьем-то бывшем особняке). И тогда я увидела в черной рамке объявление, висевшее среди других: «Сегодня 7-го августа скончался Александр Александрович Блок». Объявление еще было сырое, его только что наклеили.

Чувство внезапного и острого сиротства, которое я никогда больше не испытала в жизни, охватило меня. Кончается... Одни... Это идет конец. Мы пропали... Слезы брызнули из глаз.

— О чем вы плачете, барышня? — спросил худенький, маленький человек с огромным криаоватым носом и прекрасными глазами.— О Блоке?

Это был Б. О. Харитон, которого я тогда не знала. Позже он стал эмигрантом, редактором рижской вечерней газеты. Советская власть, после взятия Риги в 1940 году, депортировала его в Советский Союз, где он и умер.

Он вышел на улицу, вынимая платок. Я тоже вышла вслед за ним.

Я медленно пошла к Литейному, повернула на Симеоновскую и Фонтанку. Здесь, на углу Симеоновской и набережной, я зашла в цветочный магазин. Да, как сейчас помню свое удивление, что в Петербурге открыт цветочный магазин. Открывались кухмистерские и комиссионные, было что-то вроде посудной лавки на Владимирском и парикмахерская на втором дворе на Троицкой. Но цветочного магазина, так казалось мне, здесь еще не было во вторник, когда мы проходили с Гумилевым, а теперь он был открыт и в нем стояли цветы. Я вошла. Не помню, входила ли я когда-нибудь до того в цветочный магазин, может быть, это было впервые. Цветочные магазины Петербурга когда-то в детстве были для меня сказочным местом. Цветочные магазины Парижа... Цветочные магазины Нью-Йорка... Все они имеют свой смысл. Денег у меня было немного. Я купила четыре белые лилии на длинных стеблях. Оберточной бумаги в магазине не было, и я понесла лилии на Пряжку открытыми. Мне чудилось: прохожие догадываются, куда я иду и кому несу цветы, они читают объявления, расклеенные на углах улиц, все всё уже знают, и сейчас встречные повернут за мной и пойдут, и мы тихой толпой придем всем Петербургом к дому Блока.

Где-то на углу Казанской я села в трамвай, и когда я сошла в самом конце Офицерской, я сообразила, что никогда в жизни не была здесь и совершенно этих мест не знаю. Речка Пряжка, зеленые берега, заводы, низкие дома, трава на улицах, почему-то ни души. Вымерший, тихий край, край Петербурга, пахнет морем — или это мне только кажется?

Панихида была назначена в пять часов, я пришла минут на десять раньше. Так вот что предстояло мне в этот тоскливый день! Тоскуя и не зная, куда себя девать, я не могла предугадать, что этот день — число и месяц — никогда не забудутся, что этот день вырастет в па-

мяти людей в д а т у, и будет эта дата жить, пока жиает русская поэзия. Большой, старый и давно не ремонтированный дом. Вход из-под ворот. Лестница, дверь в квартиру полуоткрыта. Вхожу в темную переднюю, направо дверь в его кабинет. Вхожу. Кладу цветы на одеяло и отхожу в угол. И там долго стою и смотрю на него.

Он больше не похож ни на портреты, которые я храню в книгах, ни на того, живого, который читал когда-то с эстрады:

Болотистым, пустым...

Волосы потемнели и поредели, щеки ввалились, глаза провалились. Лицо обросло темной, редкой бородой, нос заострился. Ничего не осталось, ничего. Лежит «незнакомый труп». Руки связаны, ноги связаны, подбородок ушел в грудь. Две свечи горят или три. Мебель вынесена, в почти квадратной комнате у левой стены (от двери) стоит книжный шкаф, за стеклом корешки. В окне играет солнце, видеи зеленый покатый берег Пряжки. Входит Н. Павлович, которая неделю тому назад мелькнула мне в Доме Искусств, потом Пяст и еще кто-то. Я вижу входящих, но мало кого знаю — только месяца через два я опознала всех.

По-бабьи подпереашись рукой, Павлович, склонив голову, долго смотрит ему в лицо. Опухшая от слез, светловолосая, чернобровая мелькает Е. Книпович; входит Ю. П. Анненкова, мать Блока и Любовь Дмитриевна вслед за ней. Ал. Ан. крошечная, с красным носиком, никого не видит, Л. Д. кажется мне тяжелой, слишком полной. Пришел священиик, облачается в передней, входит с псаломщиком. Это — первая панихида. Уже во время нее я вижу М. С. Шагинян, потом несколько человек входят сразу (К. Чуковский, Замятин). Всего человек двенадцать — пятнадцать. Мы все стоим по левую сторону и по правую от него — одни между шкафом и окном, другие между кроватью и дверью. Мариэтта Шагинян много лет спустя написала где-то об этих минутах: «Какая-то девушка принесла первые цветы». Замятин тоже упомянул об этом. Других цветов не было, и мои, вероятно, пролежали одни всю первую ночь у него в ногах.

На одеяле первые цветы...
Пять лет тому...

Это из моих стихов 1926 года.

Потом я ушла. Опять Офицерская, Казанская, трамвайная площадка. И наконец я дома. К нам кто-то пришел, и теперь мы все пьем морковный чай с черным хлебом. Это празднуется день моего рождения — завтра будний день и будет не до того.

10-го, в среду, были похороны. Там я впервые увидела Белого. Я увидела, как под стройное, громкое пение (которое всегда так мощно вырывалось из русских каартир на лестницу при выносе, и хор шел за покойником, переливаясь и гудя, будто наконец-то вырвался мертвец из этой квартиры и вот теперь плывет, ногами аперед) спускались Белый, Пяст, Замятин, другие, высоко на плечах неся гроб. Л. Д. вела под руку Ал. Ан., священник кадил, в подворотне повернули на улицу, уже начала расти толпа. Все больше и больше — черная, без шапок, вдоль Пряжки, за угол, к Неве, через Неву, поперек Васильевского острова — на Смоленское. Несколько сотен людей ползли по летним, солнечным, жарким улицам, качался гроб на плечах, пустая колесница подпрыгивала на булыжной мостовой, шаркали подошвы. Останавливалось движение, теплый ветер дул с моря, и мы шли и шли, и, наверное, не было в этой толпе человека, который бы не подумал — хоть на одно мгновение — о том, что умер не только Блок, что умер город этот, что кончается его особая власть над людьми и над историей целого народа, кончается период, завершается круг российских судеб, останавливается эпоха, чтобы повернуть и помчаться к иным срокам.

Потом все затихло. Две недели мы жили в полной, слоано подземной, тишине. Разговаривали шепотом. Я ходила в Дом Мурузи, в Дом Литераторов, в Дом Искусств. Всюду было молчание, ожидание, неизвестность. Наступило 24 августа. Утром рано, я еще была в кровати, вошла ко мне Ида Наппельбаум. Она пришла сказать, что на углах улиц вывешено объявление: все расстреляны. И Ухтомский, и Гумилев, и Лазаревский, и, конечно, Таганцев — шестьдесят два человека. Тот август не только «как желтое пламя, как дым», тот август — рубеж. Началось «Одой на взятие Хотина» (1739), кончилось августом 1921 г., все, что было после (еще несколько лет), было только продолжением этого августа: отъезд Белого и Ремизова за границу, отъезд Горького, массовая высылка интеллигенции летом 1922 года, начало плановых репрессий, уничтожение двух поколений — я говорю о двухсотлетнем периоде русской литературы; я не говорю, что она кончилась,— кончилась эпоха.

Ида и я держали друг друга за руки, стоя перед стенгазетой, на углу Литейного и Пантелеймоновской. Там, в этих строчках, была вписана и наша судьба. Ида потеряет мужа в сталинском терроре, я никогда не вернусь назад. Там было все это напечатано, но мы не умели этого прочесть.

В Казанском соборе была панихида «по убиенным». Было много народу и много слез.

Наступила осень, начались лекции в Зубовском институте (тогда еще он назывался так). Словесное отделение помещалось на Галерной, сейчас же за аркой, аудитории были небольшие, там мы теснились, голодные и холодные, вокруг столов. Лекции начинались около четырех и шли часов до семи-восьми: Томашевский, Эйхенбаум, Бернштейн, другие... (Тынянов в ту зиму был в Москве.) О стихах, о слове, о звуке, о языке, о Пушкине, о современной поэзии; восемнадцатый век, Тютчев... Теория литературы. Кое-кто еще жив сейчас из тех, кто сидел там рядом со мною за большим столом (Н. Коварский, Г. Фиш), глядя, как С. И. Бернштейн крутит «козьи ножки» особого фасона из газетной бумаги, не длинные, а круглые, и потом прокалывает в них дырочку, чтобы они лучше курились. Томашевский весь в заплатах, с опухшими глазами, Эйхенбаум с подвязанными веревкой подошвами, прозрачный от голода. Молодой Толстой, Флобер, Стендаль... Иду пешком с Кирочной на Галерную и обратно тоже пешком вечерами, уже темными, сумрачными и холодными. Перелицованное ватное пальто, зеленая шапка «мономаховского» фасона, валенки, сшитые на заказ у вдовы какого-то бывшего министра из куска бобрика (кажется, когда-то у кого-то лежавшего в будуаре), на медных пуговицах, споротых с чьего-то мундира. По понедельникам теперь собирается студия Корнея Ивановича Чуковского, по четвергам — студия М. Л. Лозинского, читающего в Доме Искусств технику стихотворного перевода. У меня нет больше собственной комнаты, у нас только одна печурка, а если бы и была вторая, то все равно нет дров, чтобы ее топить. Я переехала в комнату родителей: две их кровати, мой диван, стол с вечной кашей на нем, картофель, который мы едим со шкуркой, тяжелая пайка черного, грубого хлеба. Тут же гудит примус, на котором кипятятся кухонные полотенца и тряпки, которые никогда не просыхают. На веревке сушится белье, рваное и всегда серое; лежат в углу (бывшей глинковской гостиной) до потолка сложенные дрова, которые удалось достать и которые с каждым днем тают. Через всю комнату идет из печки труба и уходит в каминную отдушину. Из нее иногда капает черная вонючая жижа в раскрытый том Баратынского, в перловый суп или мне на нос.

У Иды была квартира на седьмом этаже на Невском, почти на углу Литейного. Это был огромный чердак, половину которого занимала фотографическая студия ее отца. Там кто-то осенью 21-го года пролил воду, и она замерзла, так что всю ту зиму посреди студии был каток. В квартире жили отец, сестры и братья Иды, маленькие и большие, и там было уютно, и была мама, как говорила Ида, «настоящая мама»,— толстая добрая, всегда улыбающаяся, гостеприимная и тихая. Первую комнату от входа решено было отдать под «понедельники» (в память Гумилева и его понедельничной студии «Звучащая раковина»). Тут должны были собираться поэты и их друзья для чтения и обсуждения стихов. Два незанавешенных окна смотрели на крыши Невского проспекта и Троицкой улицы. В комнату поставили рояль, диваны, табуреты, стулья, ящики и «настоящую» печурку, а на пол положили кем-то пожертвованный ковер. Здесь вплоть до весны собирались мы раз в неделю. Огромный эмалированный чайник кипел на печке, в кружки и стаканы наливали «чай», каждому давался ломоть черного хлеба. Ахматова ела этот хлеб, и Сологуб, и Кузмин, и мы все, после того как читали «по кругу» стихи. А весной, когда стало тепло, пили обыкновенную воду и выходили через окна на узкий «балкон», то есть на узкий край крыши, и, стараясь не смотреть вниз, сидели там, когда бывало тесно в комнате. Собиралось иногда человек двадцать — двадцать пять.

— Кто придет сегодня? — спрашивала я, расставляя табуреты, пока Николай Чуковский старался забить в стену гвоздь, а Лев Лунц и Ида по очереди дули в печку, где шипели сырые дрова. Сюда приходили боги и полубоги. Сначала появились Радловы, Николай и Сергей, потом Н. Н. Евреинов, потом М. Кузмин, Корней Чуковский, М. Лозинский, молодые члены «Серапионова братства» — Зощенко, Федин, Каверин, Тихонов (кооптированный в тот год в «Серапионы»). В октябре пришла Ахматова, а за ней — Сологуб. Приходили не раз Е. Замятин и Ю. Верховский, а А. Волынский и В. Пяст (друг Блока) стали частыми гостями. И, конечно, вся «Раковина» и Цех (Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп). Бывал Валентин Кривич (сын Иннокентия Анненского), Всеволод Рождественский, Бенедикт Лившиц, Надежда Павлович, А. Оношкович (переводчица Киплинга), с которой я сидела рядом в семинаре Лозинского.

С Николаем Чуковским мы виделись теперь почти ежедневно. После лекций в Зубовском институте я обыкновенно заходила в Дом Искусств, где он поджидал меня. Ему было 17 лет, мне только что исполнилось 20. Я называла его по имени, он меня — по имени и отчеству, иногда нежно прибавляя «голубушка». Это был талантливый и милый человек, вернее — мальчик, толстый, черноволосый, живой. Популярность его отца несколько смущала его, он хотел придумать себе псевдоним, чтобы его не смешивали с Корнеем Ивановичем. Ранние его стихи и поэма «Козленок» (позже напечатанная в «Беседе») подписаны Н. Радищев. «Ведь настоящее имя Корнея Ивановича — Николай Корнейчук,— пояснял он мне,— так что я ведь даже не Николай Корнеевич, а Николай Николаевич. И фамилии собственной у меня не имеется».

Мы вместе ходили в концерты, в дом Мурузи, в студию Корнея Ивановича. «Голубушка,— говорил мне Николай Чуковский,— бросьте ваш институт, переходите в университет. Там Жирмунский. Будем туда вместе ходить в будущем году». Но я, как мне ни хотелось слушать

Жирмунского, не соблазнялась и твердо решила оставаться в Зубовском.

«Серапионовы братья» собирались в том же Доме Искусств, в комнате Михаила Слонимского. Это был второй год существования кружка. Они больше уже не слушали лекций в студиях Замятина и Шкловского — кое-кто был в университете (Каверин, Лунц), кое-кто уже печатался в журналах и даже выпускал книги (Зощенко, Федин, Вс. Иванов). Груздев работал над биографией Горького. Полгода тому назад они выпустили коллективный сборник (первый; второй вышел в 1922 г. в Берлине и в России, видимо, издан не был). Часть из них была заворожена Ремизовым, другая — Шкловским. Зощенко, смуглый, серьезный, с большими темными глазами, лежал посреди комнаты на трех стульях, говорили, что он отравлен газами. Приходили три-четыре девицы, ничего не писавшие, но дружившие с Никитиным, Лунцем и Фединым. Комната была тесная, прокуренная, темная. Бывало очень шумно, но когда кто-нибудь читал свое, слушали внимательно и обсуждали умно. Только в самом конце зимы (1922 г.) появились первые, еще едва заметные, признаки будущего распада — они шли от Ник. Никитина и Вс. Иванова,— Лунц, Слонимский, Каверин, Федин до самого конца оставались верными кружку. Но распад был в порядке вещей: все постепенно созрели литературно и обособлялись по линии «литературной политики», в которой были далеко не единогласны.

Лунц был моих лет. Он увлекался тогда сюжетностью прозы и мало интересовался поэзией. Это был милый, ясный, живой, искренний человек. Девятнадцати лет он остался один в Петербурге, вся семья его уже была за границей в это время. Жил он в нижнем этаже Дома Искусств, в том коридоре, где жили Рождественский (в одной комнате с Тихоновым), Пяст и Грин. Комната была узкая, вся в книгах, с продавленной постелью, холодная и сырая. «Обезьянником» называл он ее. Пальцы его были в чернильных пятнах, курточка аккуратно вычищена, курчавые волосы надо лбом придавали ему совсем юный вид. Без него не обходилось ни одно сборище, он, конечно, был душой «Серапионов». В мае 1923 года, после долгой болезни сердца (все в том же «обезьяннике»), он наконец выехал к семье, в Гамбург, и, пролежав в больнице около девяти месяцев, 9 мая 1924 года умер от эндокардита. Говорили потом, что на каком-то юбилее «Серапионовы братья» его, по безобразному обычаю, качали и уронили, и с этого началась его болезнь. Его письма ко мне в Берлин опубликованы в № 1 «Опытов» (Нью-Йорк, 1953 г.), мои письма к нему до сих пор целы. Вот часть моего некролога, напечатанного в газете «Дни» в 1924 году, № 475:

«Когда в 1922 году, в Петрограде, редакция журнала «Летопись Дома Литераторов» предложила членам группы «Серапионовых братьев» дать свои автобиографии, Лев Лунц, которому тогда был 21 год, отказался, сказав, что у него биографии еще не было. В то время он только что кончил филологический факультет и был оставлен по романо-германскому отделению.

Родившийся в Петербурге в 1901 году и почти не выезжавший из него, росший в мирной семейной среде, учившийся сперва в гимназии, а затем в университете, знаток испанского и старофранцузского языков, он был внутренне далек остальным членам «Серапионова братства», оставаясь, по какому-то недоразумению, душою этого кружка. Один из его инициаторов, он сразу же встал к нему в оппозицию. Его речь к «Серапионовым братьям», напечатанная в № 3 «Беседы», только частично отражает его отношение к кружку в 1922 году. Их было двое — он и его ближайший друг В. Каверин,— которые из десяти молодых «Серапионов» были образованными людьми, презиравшими компромиссы и рекламу. Они призывали к незаметной и сосредоточенной работе.

Лунц не любил рассказывать о своих планах, работал тихомолком, два года над пьесой не казались ему слишком долгими. Он не гонялся за славой, как делали иные из его товарищей, его не печатали — он не роптал и не унывал. Пьесу его «Вне закона» сперва приняли в Александринский театр, а затем запретили. С редкой прямотой признавался он в своих ошибках.

При нашем последнем свидании в Берлине, говоря о многих иных своих разочарованиях, он мне признался: «А знаете, в Иванове-то я ошибся. Совсем его не понял вначале». Много грустного, много и грубого рассказал он мне в эти наши мимолетные встречи, только что приехав из России, уже больной, смущенный и обрадованный Европой. Порок сердца, начавшийся у него в России, развился за эти годы в болезнь страшную, редкую в столь молодых годах. Сперва упорно повышенная температура, а затем два сильнейших припадка уже в Гамбурге, где жила его семья, приковали его на девять месяцев к постели, обрекли на безвременную смерть.

Похудевший, выросший, в новом костюме, сменив студенческую фуражку на мягкую шляпу, он приходил ко мне в Берлине между визитами к врачам и без умолку говорил, передавая почти день за днем петербургскую жизнь за тот год, что мы не виделись с ним.

Пробыв четыре дня в Берлине, Лунц уехал в Гамбург, а через месяц слег, сначала в санатории, а потом в клинике. В сентябре прошлого года положение его представилось безнадежным. Затем ему стало легче. Частые письма его, то продиктованные сестре, то написанные самим, говорили то о полном упадке сил, то вновь об улучшении. В декабре он писал, что скоро вышлет свою последнюю пьесу, которую до сих пор хранил под подушкой, никому не показывая. Но пьесу он не выслал. За последние месяцы я почти ничего уже не знала о нем. 9-го мая он скончался. Похоронили его в Гамбурге... Он вырос в революцию, в тяжелые годы лишений и душевного огрубения, когда ежедневно перед молодыми писателями вставали соблазны, но он до конца оставался скромен, прям и бодр. Он готовился к жизни трудной, суровой и горячей, но от всего этого осталось несколько десятков исписанных листов бумаги да память о нем в сердцах тех, что знали его и утешались им в безутешные годы».

Аким Львович Волынский, спавший в те зимы не только в шубе и шапке, но и в калошах, находил, что в Иде есть что-то итальянское, и он был прав. Ее черные волосы локонами спадали на лоб, ленивые движения, красивые маленькие руки, какая-то во всем южная лень, медлительность улыбки; тяжелое тело, изнеженное, несмотря на лишения, картавость,— ей следовало бы носить парчу и запястья, а она ходила (как все мы) в пальто из портьеры, в платье из маминого капота, в кофточке из скатерти.

— Сегодня обещал прийти Радлов,— картавила она, таинственно сверкая глазами,— на будущей неделе придут актеры из Александринки. Я ездила к Бенуа и пригласила его...— Она была хозяйкой понедельников, и ту часть жизни, которая оставалась свободной от «романов» (не тех, что читают, а тех, что переживают) отдавала собраниям и стихам.

Мне запомнился вечер в понедельник 21 ноября. Из Зубовского я пришла в Дом Искусств, в класс К. И. Чуковского, и там, как и все, читала «по кругу» стихи. И Корней Иванович вдруг похвалил меня. «Да,— сказал он, пристально глядя на меня и словно меря меня внутри и снаружи,— вы написали хорошие стихи»... И Коля Чуковский сиял от удовольствия толстым лицом, радуясь за меня.

Потом мы с ним вместе пошли с Мойки к Литейному и пришли к Иде довольно рано. Опять расставляли табуреты, пепельницы, дули в печку.

— Я пригласила Анну Андреевну,— говорила Ида (а «настоящая мама» в это время готовила бутерброды с чайной колбасой мне и Коле).— И я встретила Ходасевича. Он тоже обещал прийти.

Эта фамилия мне ничего не сказала или очень мало.

Поздно ночью, когда мы шли домой (Чуковский жил на Спасской, и нам было по пути), он говорил мне, весело размахивая руками:

— Голубушка! Вас сегодня похвалили! Как я рад за вас! Папа похвалил сначала, а теперь Владислав Фелицианович. Замечательно это! Какой чудный день! (Ида шепнула мне, когда я уходила: «Сегодня *твой* день!»)

Там, сидя на полу, я «по кругу» читала:

Тазы, кувшины расписные
Под теплым краном сполосну
И волосы, еще сырые,
У дымной печки заверну.
И буду девочкой веселой
Ходить с заложенной косой,
Ведро носить с водой тяжелой,
Мести уродливой метлой.

И так далее. Так что даже Ахматова благосклонно улыбнулась (и надписала мне экземпляр «Анно Домини»), впрочем, ничего не сказав, а некто, которого почему-то звали «Фелицианович», объявил, что насчет ведра и швабры — простите! метлы! — ему понравилось.

«Ну, а если бы и нет? — подумала я.— Если бы ни этот Фелицианович, ни Корней Чуковский не похвалили бы меня? Тогда что? Ничего бы не изменилось, все равно!»

У Ходасевича были длинные волосы, прямые, черные, подстриженные в скобку, и он сам читал «Лиду», «Вакха», «Элегию» в тот вечер. Про «Элегию» он сказал, что она еще не совсем кончена. «Элегия» поразила меня. Я достала его книги «Путем зерна» и «Счастливый домик». 23 декабря он опять был у Иды и читал «Балладу». Не я одна была потрясена этими стихами. О них много тогда говорили в Петербурге.

Но кто был он? По возрасту он мог принадлежать к Цеху, к «гиперборейцам» (Гумилеву, Ахматовой, Мандельштаму), но он к ним не принадлежал. В членах Цеха, в тех, кого я знала лично, для меня всегда было что-то общее: их не-современность, их манерность, их проборы, их носовые платочки, их расшаркиванья и даже их особое русское произношение: «красивий» вместо «красивый», «чецверг» вместо «читверк»; грим «светских молодых людей» (а «света»-то больше и не было!), что-то «классовое», что казалось иногда забавным, иногда довольно приятным, а порой и печальным анахронизмом и всегда носило печать искусственности. Ходасевич был совершенно другой породы, даже его русский язык был иным. Кормилица Елена Кузина недаром выкормила этого полуполяка. С первой минуты он производил впечатление человека *нашего времени*, отчасти даже раненного нашим временем — и, может быть, насмерть. Сейчас, сорок лет спустя, «наше время» имеет другие обертоны, чем оно имело в годы моей молодости, тогда это было: крушение старой России, военный коммунизм, нэп как уступка революции — мещанству; в литературе — конец символизма, напор футуризма, через футуризм — напор политики в искусстве. Фигура Ходасевича появилась передо мною на фоне всего этого, как бы целиком вписанная в холод и мрак грядущих дней.

В студии Лозинского мы учились поэтическому переводу. Выбран был сонет Хозе-Мария Эредиа о путешествии волх-

вов в Вифлеем — первая строчка трудности не представляла (она же была и последней):

Волхвы Гаспар, Мельхиор и Вальтасар.

но дальше появились трудности, которые в подробностях обсуждались — сначала предлагались слова, потом комбинации слов, отвергались десятки возможностей, принималась единственно совершенная, и за час мы успевали продумать или «проработать» не более двух-трех строк.

Оттуда — на Галерную. «Тени сизые смесились», и Томашевский, ведущий анализ, тот, что тогда был еще такой новостью и который сейчас в западном мире считается основой всякой поэтики. Тень Щербы витала над ним, и в меня сыпалась словесная премудрость. Выхожу на заснеженную улицу. Тихо под аркой, тихо на площади. Петербург — в пророчествах Гоголя и Достоевского (и Блока), как стиснутый льдинами корабль над вьюгой. Где кончается тротуар, где начинается мостовая — неизвестно. Бегу в мягких валенках, падаю, встаю. На углу Конногвардейского бульвара — памятник Володарскому. Он из гипса, под него в прошлом году подложили бомбу и вырвали ему живот, починить нечем, оставить так — неуважительно, снять — распоряжения ждут, а пока закрыли его рваной тряпкой, которая под метелью, на ветру, хлещет в разные стороны, машет, грозит, зовет и кланяется. Мимо памятника и с угла Конногвардейского прямо наискось, через площадь, к углу Морской, к «Астории», падая, проваливаясь в снег. Ни огня, ни звука, только воет вьюга да плывут в серо-белом уже ночном зимнем сумраке смутные фигуры пешеходов (не то: «Впереди Исус Христос», не то: «А шинель-то моя!»), пропадают, пригибаясь от ветра, опять выныривают и скользят мимо меня.

— Осторожно! Тут скользко!

Это кто-то кричит мне подле самой «Астории» с противоположного угла, и из метели появляется фигура в остроконечной котиковой шапке и длинной, чуть ли не до пят, шубе (с чужого плеча).

— Я вас тут поджидаю, замерз,— говорит Ходасевич.— Пойдемте погреться. Не страшно бегать в такой темноте?

Он знал, что в Зубовском лекции кончаются в восемь, и стоял на углу, поджидая, когда я пройду. Пока мы стоим и рассматриваем друг друга, он говорит:

— Шуба у меня Мишина, потому такая длинная, это мой брат, московский адвокат, а френч — из Мишиного перелицованного фрака. И мне тепло. А вам?

Я шагаю с ним рядом. Он ходит легко, он выше меня, он худ и легок, и, несмотря на «Мишины» одежды, в нем сквозит изящество.

Пока мы пьем кофе в низке, он расспрашивает меня: живете с папой-мамой? учитесь? а папа-мама какие? влюблены в кого-нибудь? стихи новые написали? еще что-нибудь было про швабру? На некоторые вопросы я не отвечаю, на другие отвечаю подробно: папа-мама, конечно, здорово мешают жить, когда человеку двадцать лет, но, в общем, если сказать правду, я их воспитала так, что они съехали на тормозах со своих позиций. Мне ж, окромя цепей, терять нечего.

— Ишь ты! Конечно, когда барышне двадцать лет...

— Я сказала: когда человеку двадцать лет.

— Ах, я ослышался!..

Я твердо говорю «нет», когда он предлагает проводить меня домой в эту вьюгу, и он не настаивает. Мы оба снимаем варежки и прощаемся у входа в Дом Искусств. Рука его узкая и сухая. Он входит в дверь и в свете желтой лампочки, через полузанесенное снегом стекло входной двери, я вижу, как он поднимается по лестнице: шапка, шуба. Неспешно поворачивает и исчезает, прямой, с высоко поднятой головой. Силуэт его остается в моей памяти.

Позже он писал о своей жизни в «Доме Искусств»:

«Помещался «Диск» в том темно-красном доме у Полицейского (в старину — Зеленого) моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины восемнадцатого столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораниенбаум — свергать Петра Третьего. Дом этот — огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался «Английский магазин», а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, названия которого я не упомню, хоть это и неблагодарно с моей стороны *.

Под «Диск» были отданы три помещения: два из них некогда были заняты меблированными комнатами (в одно — ход с Морской, со двора, в другое — с Мойки); третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, бестолково раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с убийственной рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр «Диска». Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам — концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родена, к которому хозяин почему-то питал пристрастие — этих Роденов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний; в ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам студий — переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле — Гумилев а этой возне принимал деятельное участие.

...Та часть «Дома Искусств», где я жил, когда-то была занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывезти из них всю свою рухлядь, и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных: пошло, но импозантно и уж во всяком случае чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собою правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Е. В. Щекотихина (впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за И. Я. Билибина и вновь увезенная им в советскую Россию), была совершенно круглая, без единого угла,— окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната М. Л. Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глагола, а соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам.

Соседями нашими были: художник Милашевский, обладавший красными гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем «пясты» *, и столь же гусарским успехом у прекрасного пола, поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила вкривь и вкось,— одному Богу ведомо из каких материалов, а также О. Д. Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с величайшим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшенная каша, которую варить она была мастерица». («Возрождение», №№ 4178 и 4179, 1939 г.)

Здесь необходимо упомянуть роман О. Д. Форш, написанный ею через несколько лет, «Сумасшедший корабль», где изображаются жители Диска (названного «Дом Ерофеевых» вместо дома Елисеевых): Котихина — художница Щекотихина, Элан — Надежда Павлович, художник Либин — Билибин, Геня Чорн — смесь Лунца и Евг. Шварца, Акович — Волынский, Сохатый — Замятин, Долива — сама Форш, Олькин — Нельдихен, Феона Власьевна — Султанова, Гаэтан — Блок, Жуканец — частично Шкловский, частично сын Форш, Сосняк — Пильняк, Еруслан — Горький, Иноплеменный Гастролер — Белый, профессор Михазлос — Гершензон, Микула — Клюев, Копильский — Мих. Слонимский, Тюдон — Ромэн Роллан, Корюс — Барбюс, и где не названы, но фигурируют: Репин, Гумилев, К. Чуковский, Чеботаревская, Сологуб, Тихонов, Федин и — на последней странице — человек в кепке: смесь Щеголева и Зиновьева. В романе рассказана подробно история с яйцами Белавенца-Белицкого, упоминается «умеревший офицер» из стихов Н. Оцупа. Упомянута в книге и я, и наш отъезд с Ходасевичем за границу в июне 1922 года. В замаскированной форме об этом сказано так:

«По вечерам в узкую комнату (Копильского-Слонимского.— **Н. Б.**), как в нежилую, собирались для любовной диалектики парочки. На диванчике плечом к плечу, как на плетне воробышки, оседал целый выводок из школы ритма, или из студии, или просто сов- и пиш-барышни. Они чаровали писателей. Они вступали с ними в новый союз и, если надо, заставляли расторгать союз старый. Завистницы говорили, что здесь назревало умыкание одного поэта одной грузинской княжной и поэтессой...»

Был один вечер, ясный и звездный, когда снег хрустел и блестел и мы оба — Ходасевич и я — торопились мимо Михайловского театра куда-то, а в сквере почему-то устанавливали большие прожектора, в лучах которых клубилось наше дыхание; перекрещивались лучи, словно проходили сквозь нас, вдруг освещая в ночном морозном воздухе наши счастливые лица — почему счастливые? Да, уже тогда счастливые. Мы ловили какой-то уж очень нахально приставший к нашим шубам луч — может быть, кто-то заигрывал с нами с другого конца сквера? На миг все потухло, и мы чуть не потеряли друг друга в кромешной тьме, но опять начались сверканья, и они проводили нас до самой Караванной.

Его окно в Доме Искусств выходило на Полицейский мост, и в него был виден весь Невский. Это окно и его полукруглая комната были частью жизни Ходасевича: он часами сидел и смотрел в окно, и большая часть стихов «Тяжелой лиры» возникла именно у этого окна, из этого вида. Разница между нами в то время была та, что он смотрел из окна, а я смотрела в окна. Но был в этом его окне и обратный смысл: я, уже начиная с Гостиного двора, старалась различить его окно, светлую точку в ясном вечернем воздухе или мутную каплю света, появлявшуюся в темной дали, когда я бывала на уровне Казанского собора. В этом окне, под лампой «в шестнадцать свечей», я видела его зимой, за двойными рамами, а весной в раме открытого окна; он видел меня далеко-далеко, когда поджидал мой приход, различая меня среди других на широком

---

* На бумаге этого банка Ходасевич писал стихи, а Лунц — письма мне, когда мы были уже в Берлине. (Здесь и далее примечания автора).

* Клетчатые брюки В. А. Пяста, знаменитые в те годы в Петербурге. О них было в пародии на стихи Мандельштама «Домби и сын».

И клетчатые панталоны
Рыдая обнимает Пяст.

тротуаре Невского, или следил за мной, когда я уходила от него: поздним вечером черной точкой, исчезающей среди прохожих, глубокой ночью — тающим силуэтом, ранним утром — делающей ему последний знак рукой с угла Екатерининского канала.

Несмотря на свои тридцать пять лет, как он был еще молод в тот год! Я хочу сказать, что тогда он еще по-настоящему не знал ни вкуса пепла во рту (он говорил потом: у меня вкус пепла во рту даже от рубленых котлет!), ни горьких лет нужды и изгнания, ни чувства страха, который скручивает узлом все тонкие, толстые, прямые и слепые кишки человека. У него, как и у всех нас, была еще родина, был город, была профессия, было имя. Безнадежность только изредка, только тенью набегала на душу, мелодия еще звучала внутри, намекая, что не из всех людей хорошо делать гвозди, иные могут пригодиться в другом своем качестве. В этом другом качестве казалось возможным организовать — не Россию, не революцию, не мир, но прежде всего самого себя. Осознана была важность порядка внутри себя и важность смысла за фактом — не в плане утешительном, не в плане оборонительном, но в плане познавательном и экзистенциальном. И в разговорах, которые мы вели друг с другом весь январь и февраль, были не «вы» и «я», не случаи и не происшествия, не воспоминания и надежды, а связи мыслей, мысленных планов и узнавания взаимных границ.

Перемена в наших отношениях связалась для меня со встречей Нового 1922 года. После трехлетнего голода, холода, пещерной жизни вдруг зароились фантастические планы — вечеров, балов, новых платьев (у кого еще были занавески или мамины сундуки); в полумертвом городе зазвучали слова: одна бутылка вина на четырех, запись на ужин, пригласить тапера. Всеволод Рождественский, с которым я дружила, предложил мне вместе с ним пойти в Дом Литераторов вечером 31 декабря. Я ответила согласием. Ходасевич спросил меня, где я встречаю Новый год. Я поняла, что ждала этого вопроса, и сказала, что Рождественский пригласил меня на ужин. Он не то огорчился, не то обрадовался и сказал, что тоже будет там.

Рождественский, как я сказала, делил в этот год свою комнату с Н. С. Тихоновым. Я бывала у них часто, и однажды Рождественский показал мне *кипарисовый ларец* Анненского, ту шкатулку кипарисового дерева, которую Валентин Иннокентиевич Кривич-Анненский принес ему на сохранение. В ларце лежали тетради, исписанные рукой Анненского, и мы однажды целый вечер читали эти стихи, разбирая их, оба изнемогая от восторга и волнения.

За столиком в столовой Дома Литераторов сидели в тот вечер: Замятин с женой, К. И. Чуковский, М. Слонимский, Федин со своей подругой, Ходасевич, Рождественский и я.

Честно, весело и пьяно
Ходим в мире и поем
И втроем из двух стаканов
Вечерами долго пьем.
Спросит робкая подруга:
Делят как тебя одну?
. . . . . .
Только стала я косая.
На двоих зараз смотрю.
Жизнь моя береговая,
И за то благодарю!

— Что это значит «жизнь береговая»? — спросил Ходасевич, сидевший справа от меня за ужином.

— Береговая — это которая берегом идет, дорога береговая, прогулка береговая.— Меня удивило, что он не понимает.

— Значит, не настоящая, а так, сбоку, что ли?

— Если хотите.

— Просто для развлечения. Хочу — пойду, хочу — дома останусь.

— Ну да. По краю. Жизнь по краю. Не всамделишная.

Выждав, когда сидевший налево от меня Рождественский вступит в разговор с сидевшим напротив Фединым, Ходасевич тихо сказал:

— Нет. Я не хочу быть береговым. Я хочу быть всамделишным.

Часы пробили двенадцать. Все встали со стаканами в руках.

Сказать ему: «Вы уже всамделишный»,— я не могла. Я еще этого не чувствовала.

Потом Рождественский куда-то исчез — не нарочно ли? — и мы пошли вдвоем по Бассейной в Дом Искусств. Невский был празднично освещен, был час ночи. На углу Садовой, над входом в большое недавно открытое «Международное кафе» трепалась вывеска:

Все граждане свободные
В кафе Международное.
Местечко очень модное,
Спешат, спешат, спешат!

И пьяный хор пел на весь околоток:

Мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
У тебя нет теплого платочка-точка,
У меня нет зимнего пальта!

Нам было смешно. Смеясь, скользя, цепляясь друг за друга, мы по легкой гололедице дошли до Конюшенной.

Мама, мама, что мы будем делать,—

горланили из бывшей «Европейской» гостиницы под залихватский оркестр.

У меня нет зимнего пальта! —

вырвалось из подвала дома на углу Мойки, где помещалось «польское» кафе. Положительно эту модную песенку пели тогда во всех кабаре Петербурга! Три года ждали и теперь изливали душу под гармонь, под скрипку, под рояль, под оркестр.

В Доме Искусств, в зеркальном зале.

в двух гостиных и огромной обшитой деревом столовой было человек шестьдесят. Ужин только что кончился. Все были здесь — от Акима Волынского до Иды и от Лунца до Ахматовой. Артур Лурье сидел на диване, как идол, между нею и А. Н. Гумилевой, вдовой Николая Степановича. (Она была дочерью жены Бальмонта от ее второго брака с Энгельгардтом.) Живая, как огонь, жена Николая Радлова, Эльза, была в красном маскарадном костюме («Там живет красотка Эдди / Я красавицу люблю»,— писал о ней позже Н. Оцуп) — все были одеты кто в чем: одни в сохранившемся дореволюционном платье (собственном), другие — в таком же, одолженном, третьи — в театральном или маскарадном костюме, добытом по знакомству из театральной кладовой, четвертые — в заново перешитом, пятые — в смастеренном из куска шелка, лежавшего лет тридцать на дне сундука. В зале Н. Радлов с прелестной Шведе и Оцуп с Эльзой танцевали фокстрот, уан-степ, танго, в лакированных ботинках и выутюженных брюках *. Серапионы поили вином жену актера Миклашевского, поэтесса Анна Радлова (жена Сергея), считавшаяся красавицей, с неподвижным лицом сидела в простенке между двумя окнами.

— Это женщина? Или это драпировка упала в кресло? — спросил испуганный Ходасевич. Действительно, широкое и длинное платье Радловой из золотого броката было под стать елисеевским гардинам, висевшим по бокам.

Я вижу столовую, гостиные и зал в непрерывном движении знакомых лиц, молодых и старых, близких и далеких.

В столовой все еще едят и пьют, в зале танцуют — четыре пары, которые чудом успели где-то перехватить модные танцы далекой, как сон, Европы. Ими откровенно любуются, стоят в дверях, жадно впитывают до сих пор не слышанные синкопы фокстрота, смотрят на качающиеся, слитые вместе фигуры. От кого-то пахнуло Убиганом, кто-то что-то сказал по-французски, кому-то предлагают бокал шампанского — не спрашивайте, откуда оно: может быть, из елисеевского погреба (завалилась бутылка в дальний угол), может быть, из Зиновьевского распределителя, может быть, из бабушкиной кладовой. Мы сидим на диване в гостиной, мимо нас ходят люди, не смотрят на нас, не говорят с нами, они давно поняли, что нам не до них.

На рассвете он провожает меня домой, с Мойки на Кирочную. И в воротах дома мы стоим несколько минут. Его лицо близко от моего лица, и моя рука в его руке. И в эти секунды какая-то связь возникает между нами, с каждым часом она будет делаться все сильней.

В ту зиму, я думаю, нужен был только предлог для того, чтобы людям дать подобие праздника. «Русское рождество» 7 января вспоминается мне снова каким-то кружением в елисеевском доме, музыкой и толпой. Часа в три ночи мы пошли по глубокому снегу в соседний подъезд, к *его* входу и просидели до утра у его окна, глядя на Невский,— ясность этого январского рассвета была необычайна, нам отчетливо стала видна даль с вышкой вокзала, а сам Невский был пуст и чист, и только у Садовой блестел, переливался и не хотел погаснуть одинокий фонарь, но потом погас и он. Когда звезды исчезли (ночью казалось, что они висят совсем близко — рукой подать) и бледный солнечный свет залил город, я ушла. Какая-то глубокая серьезность этой ночи переделала меня. Я почувствовала, что я стала не той, какой была. Что мной были сказаны слова, каких я никогда никому не говорила, и мне были сказаны слова, никогда мной не слышанные. И что не о нашем счастье шла речь, а о чем-то совершенно другом, в тональности не счастья, а колдовства, двойной реальности, его и моей.

Еще одним и, кажется, последним был вечер в особняке Зубова под «русский Новый год». В. П. Зубов все еще был в то время директором созданного им Института истории искусств, продолжавшего носить его имя. В огромных, промерзших залах особняка (на Исаакиевской площади) собрались все те же. В некоторых комнатах видно было дыхание, в других пылали камины. Опять кружились и качались пары, опять горели люстры, и какие-то старые, почтенные лакеи смотрели на нас с презрением и брезгливостью. Здесь, в противоположность домам на Бассейной и Мойке, мы были не у себя, в реквизированных гостиных, мы были в гостях. Перед камином в одном из углов огромного, холодного покоя сидели: Ходасевич, Ида, Рождественский, Лунц, Николай Чуковский, я. Кажется, Рождественский предложил по очереди рассказывать что-нибудь обо всех нас. Он и начал. Дело происходило во время фантастической экспедиции на север Ирландии, в которой мы все принимали участие. Случайно собрались мы в одном заброшенном доме, в глубине лесов, и теперь сидим у камина и начинаем какую-то новую общую авантюрную жизнь. Есть среди нас разбойники и поэты, герои, мирные люди, авантюристки и красавицы... Но, постойте, что такое Ирландия? Как вы представляете ее себе? Оказалось, что для всех нас тогда что Ирландия, что Перу, что Новая Каледония — все было одинаково нереально.

Три надписи на книгах В. Ф., сделанные им в эту зиму, отражают наше сближение:

В декабре 1921 года на «Счастливом домике»: «Нине Николаевне Берберовой — Владислав Ходасевич.

Хорошо, что в этом мире
Есть еще причуды сердца (стр. 55).

* В воздухе чувствовалась цепь романов, сломанных браков, новых соединений, шницлеровский «Хоровод» всех подхватил в своем кружении.

2 января 1922 года на «Еврейских поэтах»: «Н. Н. Б. даю эту книгу — не знаю, зачем. Владислав Ходасевич».

И 7 марта 1922 года на «Путем зерна»: «Нине. Владислав Ходасевич. 1922. Начало весны».

Да, это было начало весны; перед этим, 2-го марта, он дописал «Не матерью, но тульскою крестьянкой» (первые четыре строфы лежали с 1917 г.). Все потекло как-то сразу, солнце засияло, с крыш закапало, зазвенело во дворах и садах. Он пошел покупать на Сенной рынок калоши, продал для этого только что полученные из Дома ученых (Кубу) селедки. Впопыхах купил калоши на номер больше, чем надо, засунул в них черновик стихотворения и пошел ко мне. Через год, в Берлине, черновик нашелся в калоше — он у меня хранится до сих пор.

В тот день у меня собрались несколько человек, вторую комнату, заледеневшую за зиму, отперли, истопили, прибрали. Там впервые (это был кабинет Глинки) он читал «Не матерью», читал наизусть (черновик уже был в калоше) и по просьбе всех читал два раза. В этот день мы не читали «по кругу» — никому не хотелось читать свои стихи после его стихов.

В самом начале февраля был юбилей «Серапионов» — два года существования и выход в свет сборника «Ушкуйники», который издал Ник. Чуковский и в котором напечатались Тихонов, Вагинов, сам Ник. Чуковский, я и еще кое-кто. А в апреле все в том же Михайловском сквере, на скамейке, Ходасевич сказал мне, что перед ним две задачи: быть вместе и уцелеть. Или, может быть: уцелеть и быть вместе.

Что значило тогда «уцелеть»? Физически? Духовно? Могли ли мы в то время предвидеть гибель Мандельштама, смерть Клюева, самоубийство Есенина и Маяковского, политику партии в литературе с целью уничтожения двух, если не трех поколений? Двадцать лет молчания Ахматовой? Разрушение Пастернака? Конец Горького? Конечно, нет. «Анатолий Васильевич не допустит»,— это мнение о Луначарском носилось в воздухе. Ну, а если Анатолия Васильевича самого отравят? Или он умрет естественной смертью? Или его отстранят? Или он решит, что довольно быть коммунистическим эстетом и пора пришла стать молотом, кующим русскую интеллигенцию на наковальне революции? Нет, такие возможности никому тогда в голову не приходили, но сомнения в том, что можно будет уцелеть, впервые в те месяцы зароились в мыслях Ходасевича. То, что ни за что схватят, и посадят, и выведут в расход, казалось тогда немыслимым, но что задавят, замучают, заткнут рот и либо заставят умереть (как позже случилось с Сологубом и Гершензоном), либо уйти из литературы (как заставили Замятина, Кузмина и — на двадцать пять лет — Шкловского), смутно стало принимать в мыслях все более отчетливые формы. Следовать Брюсову могли только единицы, другие могли временно уцепиться за триумфальную колесницу футуристов. Но остальные?

Много раз впоследствии это понятие «уцелеть» являлось мне в самых различных своих смыслах, неся с собой целую радугу обертонов: от животного «не быть съеденным» до античного «самоутверждения перед лицом уничтожения», от инстинктивного «как бы не попасться врагу» до высокого «сказаться еще одним последним словом». И низкое, и высокое часто имеют один корень в человеке. И схватиться за травинку, вися над пропастью, и передать рукопись своего романа уезжающему из Москвы на Запад иностранцу — имеют одно и то же основание.

Был апрельский день в Михайловском сквере, том самом, где зимой бегали по нас лучи прожекторов и где сейчас я собираюсь идти смотреть ледоход — но не с ним, а одна: ладожский ветер в эти весенние дни для Ходасевича опасен. Он потерял счет своим болезням, а другие еще стерегут его. Когда-то, году в 1915-м, он боялся туберкулеза костей, легкие у него в рубцах. От московской жизни 1918—1920 годов и трехлетнего недоедания, вернее, голода, у него фурункулез, от которого он едва вылечился и который угрожает ему и сейчас. Он худ, слаб, бледен, ему необходимо лечить зубы, он устает от ношения пайков — а видит Бог, они легче перышка, в них селедки (которых он не ест), спички, мука. Селедки он продает на Сенном рынке, покупает папиросы. Покупает на черном рынке какао.

Еще зимой мне пришла посылка из Северной Ирландии (да, да, оказалось, что на свете есть такая страна!) от двоюродной сестры, вышедшей в 1916 году замуж за англичанина. Эта посылка была настоящим событием. На саночках вместе с отцом мы привезли ее из таможни, открыли, вернее, вспороли тяжелый, зашитый в рогожку пакет. На рояле разложили: шерстяное платье, свитер, две пары туфель, дюжину чулок, кусок сала, мыло, десять плиток шоколаду, сахар, кофе и шесть банок сладкого сгущенного молока. Я тут же, как была, в шубе и теплом платке, взяла молоток и гвоздь, пробила в одной из банок две дыры и, не отрываясь, выпила одним махом густую сладкую жидкость. До дна. (Через двадцать пять лет, в Париже, открыв первую после войны посылку из Америки от М. М. Карповича, где были приблизительно те же вещи, я разорвала голубую обертку мыла, вынула и поцеловал его.) До дна, как зверь. Пустую банку мы потом подвесили к печной трубе, чтобы в нее капала жидкая сажа, портившая мне книжки. Из рогожки смастерили половую тряпку. Ничего не пропало.

Теперь начали приходить гуверовские посылки АРА. Страшно и стыдно читать сейчас, как Горький просил французов, американцев, англичан, даже немцев помогать голодному населению революционной России. Когда в лице бывало «ни кровинки», от сала, какао и сахара она появлялась. Глядя на АРУ, казалось: уцелели на время. Существуем от АРЫ до АРЫ. Прекратилась топка для тепла, перешли на топку для готовки. Зато вдруг в солнечном свете заметнее стало нищенство одежд: зимой как-то сходило, не выпирали подвязанные веревками подошвы Пяста, перелицованная куртка Замятина, заплаты на штанах Юрия Верховского, до блеска заношенный френч Зощенки. С каждой неделей жить становилось немножко страшней. Да, стало тепло, и можно расположиться в двух комнатах, снять валенки, и не считать каждое полено, и открыть окна, и надеяться, что через месяц в распределителях появится хоть что-нибудь, но вместе с тем у разных людей по-разному начало появляться чувство возможного конца, не личного даже, а какого-то коллективно-абстрактного, который, впрочем, практически еще не начал мешать жить, и конца не физического, конечно, потому что нэп продолжал играть свою роль и «кровинка» появлялась на лицах все чаще, но, может быть, «духовного». Конец появился в воздухе сначала как некая метафора, тоже коллективно-абстрактная, которая, видимо, становилась день ото дня яснее. Говорили, что скоро «все» закроется, то есть частные издательства, и «все» перейдет в Госиздат. Говорили, что в Москве цензура еще строже, чем у нас, и в Питере скоро будет то же. Говорили, что в Кремле, несмотря на Анатолия Васильевича, готовят декрет по литературной политике, который Маяковский собирается сейчас же переложить в стихи. Из Москвы кто-то привез слух, что где-то кому-то кем-то было сделано внушение свыше и что оно пахнет угрозами... Морозами, вьюгами все как-то держалось, а сейчас — потекло, побежало ручьями, не за что уцепиться, все летит куда-то. Не обманывайтесь, добрые люди, не «куда-то», а в очень даже определенном направлении, где нам будет нечего делать, где нам, вероятнее всего, не уцелеть.

Теперь, глядя назад в те месяцы, я вижу, что уничтожение пришло не прямым путем, а сложным, через некоторый расцвет; что ход был не так прост через это «цветение», что некоторые люди одновременно и цвели, и гибли, и губили других, сами этого не сознавая, что немного позже жертвами оказались сотни, а потом и тысячи: от Троцкого через Воронского, Пильняка, формалистов и попутчиков до футуристов и молодой рабочей и крестьянской поэзии, буйно цветшей до самого конца двадцатых годов, верой и правдой служившей новому режиму. От бородатых старцев, участников «Религиозно-философских собраний», до членов ВАППа, бросивших, казалось бы, вовремя лозунг о снижении культуры и все-таки потонувших. Уничтожение пришло не личное каждому уничтоженному, но как уничтожение групповое, профессиональное и плановое. Такой-то, писавший стихи, был уничтожен планово «как класс». Параллельно начали делаться не вещи, а плановые вещи. Мандельштам был уничтожен как класс, Замятину запретили писать как классу. Литературная политика (до конца тридцатых годов) была частью политики общей — сначала Ленина — Троцкого, потом Зиновьева — Каменева — Сталина и наконец Сталина — Ежова — Жданова. И в итоге были уничтожены люди, рожденные около 1880 года, люди, рожденные около 1895 года, и люди, рожденные около 1910 года.

Худой и слабый физически, Ходасевич внезапно начал выказывать не соответственную своему физическому состоянию энергию для нашего выезда за границу. С мая 1922 года началась выдача в Москве заграничных паспортов — одно из последствий общей политики нэпа. И у нас в руках появились паспорта на выезд: номера 16 и 17. Любопытно было бы знать, кто получил паспорт номер 1? Может быть, Эренбург? Может быть, Алянский?

Ходасевич принял решение выехать из России, но, конечно, не предвидел тогда, что уезжает навсегда. Он сделал свой выбор, но только через несколько лет сделал второй: не возвращаться. Я следовала за ним. Если бы мы не встретились и не решили тогда «быть вместе» и «уцелеть», он, несомненно, остался бы в России — нет никакой, даже самой малой вероятности, чтобы он легально выехал за границу один. Он, вероятно, был бы выслан в конце лета 1922 года в Берлин вместе с группой Бердяева, Кусковой, Евреинова, профессоров: его имя, как мы узнали позже, было в списке высылаемых. Я, само собою разумеется, осталась бы в Петербурге. Сделав свой выбор за себя и меня, он сделал так, что мы оказались вместе и уцелели, то есть уцелели от террора тридцатых годов, в котором почти наверное погибли бы оба. Мой выбор был он, и мое решение было идти за ним. Можно сказать теперь, что мы спасли друг друга.

Паспорт был мне выдан в Москве. Я приехала туда в середине мая по вызову Ходасевича, который туда уехал хлопотать о разрешении на выезд ему и мне. Москву я не узнала: теперь это была столица нового государства, улицы были черны от народа, все кругом росло и создавалось, вытягивалось, оживало, рождалось заново, пульсировало. С утра мы шли заполнять анкеты, подавать бумаги, сидеть в приемных. Для разрешения на выезд нужны были две подписи, одну дал Юргис Балтрушайтис, посол Литвы в Москве, старый друг Ходасевича, другую — все тот же Анатолий Ва-

сильевич. В паспорте была графа: причина поездки. Там было вписано: для поправления здоровья (в паспорте Ходасевича), для пополнения образования (в моем паспорте). На фотографии я была изображена с круглым лицом, круглыми глазами, круглым подбородком и даже круглым носом. Откуда пришла ко мне эта круглота — не знаю. Теперь, сорок лет спустя, в моем слегка индокитайском лице нет круглоты вовсе.

Пока мы были в Москве, в Союзе писателей на Тверском бульваре был литературный вечер, и там Ходасевич читал свои новые стихи («Не верю в красоту земную», «Покрова Майи потаенной», «Улика», «Странник прошел») — стихи о любви, и Гершензон, и Зайцев, и Лидин, и Липскеров, и другие (не говоря уже о брате «Мише» и его дочери, Валентине Ходасевич, художнице) с нескрываемым любопытством смотрели на меня. К Зайцевым мы зашли потом как-то вечером в переулок возле Арбата, они тоже собирались за границу «для поправления здоровья»,— с этого дня начались мои отношения с Борисом и Верой, длившиеся более сорока лет. У них я увидела П. П. Муратова, одного из умнейших людей, встреченных мною, дружба с которым оказала на меня влияние — как это ни странно — значительно позже, когда она кончилась и судьба нас развела. Мы сидели у Зайцевых между раскрытыми сундуками и незавязанными баулами, наваленными на столах книгами. Выходило так, что мы одновременно должны будем оказаться в Берлине.

Лавка писателей в то время находилась где-то вблизи Страстного бульвара (если не ошибаюсь). Мы вошли в нее. Н. А. Бердяев стоял за прилавком и торговал — это был его день. Были здесь и рукописные книги, те, для которых невозможно было найти издателя, и старые издания, редкие экземпляры, и новые, только что вышедшие журналы и брошюры. Потом мы отправились к Михаилу Фелициановичу. Он был на двадцать один год старше Ходасевича, многие крупные московские уголовные процессы в свое время прошли через него. Он поехал провожать нас на вокзал (мы возвращались в Петербург). Там я вернулась в дом родителей, Ходасевич остановился рядом, на Кирочной же, в квартире Ю. П. Анненкова. А через три дня мы выехали в Ригу.

Накануне отъезда он лежал на моей постели, а я сидела у него в ногах, и он говорил о прошлом, которое внезапно в эти последние недели так далеко отошло от него, вытесненное настоящим. «Отойдет еще дальше»,— сказал он, словно вглядываясь в свое будущее. Я попросила его записать кое-что на память — канву автобиографии, может быть, календарь его детства и молодости. Он подсел к моему столу и стал писать, а когда кончил, дал мне кусок картона. На нем было написано:

«1886 — родился.
1887, 1888, 1889 — Городовой. Овельт. Париж, грамота. Маня.
1890, 1891 — Конек-горбунок (Ершова). Балеты. Танцы. Мишины книжки. Мастерская отца, портвейн, дядя Петя. Бабушка. Овсенские и т. д.
1892 — Покойница в Богородском.
1893 — Щенковы, торговля, индейцы. Балы. Зима — стихи, котильон. Корь.
1894 — Чижики. Война. Фромгольд. Школа. Бронхит.
1895 — Толга. Школа. Оспа.
1896 — Экзамены. Коронация. Озерки. Сиверская. Майков.
1897 — Гимназия. Карашевич. Фотография. Балы. Ж. Органова. Брюсов. Малицкий.
1898 — Смерть Юрочки. Балы. Женя Кун. Дом Масс.
1899 — Багриновские. Инженерство. Бабочки.
1900 — Ставрополь. Три разговора. Бабочки. Рерберги.
1901 — Хулиганство. Балы. Прасолов. Тимирязев. Достоевский.
1902 — Северные цветы. Малицкий. Стихи. Ланговой. Шенрок. Театры. Дарьял.
1903 — Гриф. Гофман. Малицкий. Стихи навсегда. Тарновская. Переезд от родителей. Стражев.
1904 — Тарновская. Марина. Белый.
1905 — Альманах Грифа. Женитьба. Бальмонт. 17 октября. Рождество в Гирееве. Ссора с Мишей.
1906 — Золотое Руно. Перевал. Зайцевы и др. Карты.
1907 — Муни. 30 декабря разъезд с Мариной. Карты.
1908 — «Молодость». Голос Москвы и пр. Голод. Беклемишев. Карты.
1909 — Пьянство. Гиреево. Женитьба Муни. Карты.
1910 — Маскарад. Женя Муратова. Пожар. «Марина из Грубаго». Карты, пьянство.
1911 — Пьянство. Карты. Италия. СПБ. Смерть мамы. Босячество. Нюра. Смерть отца. Голод. Зима в Гирееве.
1912 — Дом Б... Институт красоты. Валентина. Т. Саввинская.
1913 — Валентина. Мусагет. Голод. Гиреево. «Летучая мышь». Дом Андреева. Смерть Нади Львовой.
1914 — Футуристы. Пьянство. «Счастливый домик». Игорь Северянин. Русские ведомости. «София». Война.
1915 — Таня Саввинская. Финляндия. Царское село. Дом Мартынова. Именины Л. Столицы.
1916 — Таня Савв. Смерть Муни. Коктебель. Армяне, финны, латыши. Женя Богословская.
1917 — Революция. Клуб писателей. Коктебель. «Народоправство». Ссора с Г. Чулковым. Октябрь. Евреи.
1918 — Толстые. Амари. Вечера. Наркомтруд. Книжная лавка. Всемирная литература.
1919 — Лавка. Книжная палата. Голод.

1920 — Голод. Болезнь. «Путем зерна». Петербург.
1921 — Диск и пр. Бельское устье. Книги. К а т а с т р о ф а».

(Несколько строк для разъяснения этих коротких записей:
Городовой — первое воспоминание.
Овельт — ксендз, ходивший в дом родителей.
Париж — поездка родителей на Парижскую выставку.
Грамота — научился читать трех лет.
Маня — старшая сестра.
Конек-горбунок — первый увиденный балет. С этого началось увлечение танцами.
Оспа — черная, не оставившая следов на лице.
Брюсов — Александр, товарищ по классу, брат поэта.
Женя Кун — первая детская любовь.
«Три разговора» — В. Соловьева.
«Северные цветы» — журнал.
«Гриф», «Золотое руно» — тоже.
Прасолов, Тимирязев — представители золотой московской молодежи.
Достоевский — Ф. Ф., сын писателя.
Тарновская — первая серьезная любовь.

Гофман — Виктор, поэт.
Марина — первая жена, урожденная Рындина.
Муни — Самуил Киссин, женатый на сестре Брюсова, Лидии.
«Молодость» — первая книга Ходасевича.
Женя Муратова — первая жена П. П. Муратова.
«Марина из Грубаго» — роман Тетмайера, перевод Ходасевича.
Нюра — вторая жена В. Ф., урожденная Чулкова (сестра Георг. Ив.).
Валентина — В. М. Ходасевич, художница, племянница В. Ф.
«Летучая мышь» — театр Балиева. Ходасевич переводил и писал для него.
Надя Львова — см. «Стихи Нелли» Брюсова.
«Счастливый домик» — вторая книга стихов Ходасевича.
Л. Столица — поэтесса. В гостях у нее В. Ф. упал и сместил себе позвонок.
Коктебель — дача М. А. Волошина.
Армяне, финны, евреи и т. д.— переводы на русский Ходасевича.
Толстые — Ал. Ник. и Нат. Вас.
Амари — М. О. и М. С. Цетлины.
«Путем зерна» — третий сборник стихов Ходасевича.
Бельское устье — летом 1921 г. (Псковская губ.).

Теперь передо мною было его прошлое, его жизнь д о меня. Я тогда много раз подряд перечитала эту запись. Она заменила мне альбом семейных фотографий, она иллюстрировала драгоценную для меня книгу — и такой я любила ее. К этому куску картона он тогда же приложил свой шуточный «дон-жуанский список» — этот список долго забавлял меня:

Евгения
Александра
Александра
Марина
Вера
Ольга
Алина
Наталия
NN
Мадлен
Надежда
Евгения
Евгения
Татьяна
Анна
Екатерина
Н.

На вокзале, растерянные, смущенные, грустные, взволнованные, стояли мои отец и мать. Отъезд наш был сохранен в тайне, этого хотел Ходасевич. Я не простилась ни с Идой, ни с Лунцем, ничего не сказала Ник. Чуковскому. Петербург отступил от меня — разъездами рельс, водокачками, пустыми вагонами (40 человек, 8 лошадей. Брянск — Могилев), Адмиралтейской иглой — частью моей детской мифологии. Отступил этот год, начавшийся в одном июне и кончившийся в другом, без которого я была бы не я, год, дарованный мне судьбой, наполнивший всю меня до краев чувствами, мыслями, перепахавший меня, научивший встречам с людьми (и человеком), окрыливший меня, завершивший период юности. Бедный Лазарь был теперь так богат, что готов был уже начать раздаривать то, что имел, налево и направо.

В товарном вагоне, в котором нас перевозили через границу в Себеже, Ходасевич сказал мне, что у него есть неоконченное стихотворение и там такие строчки:

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.
России пасынок, о Польше
Не знаю сам, кто Польше я,
Но восемь томиков, не больше,
И в них вся родина моя.
Вам под ярмо подставить выю
И жить в изгнаньи, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке...

Вокруг нас на полу товарного вагона лежали наши дорожные мешки. Да, там был и его Пушкин, конечно,— все восемь томов. Но я уже тогда знала, что никогда не смогу полностью идентифицироваться с Ходасевичем, да я и не стремилась к этому: Россия не была для меня Пушкиным только. Она вообще лежала вне литературных категорий, как лежит и сейчас, но в категориях исторических, если под историей понимать не только прошлое и настоящее, но и будущее. И мы говорили с ним о других неоконченных стихах и о том, что я могла бы, может быть, продолжить одну его начатую поэму, которую он никак не может дописать:

Вот повесть. Мне она предстала
Отчетливо и ясно вся,
Пока в моей руке лежала
Рука послушная твоя.

Я взяла бумагу и карандаш и, пока поезд медленно шел от одного пограничного контроля к другому, приписала к этим его четырем строкам свои четыре:

Так из руки твоей горячей
В мою переливалась кровь,
И стала я живой и зрячей,
И то была — твоя любовь.

* * *

Из окна моей комнаты в берлинском пансионе Крампе видны окна напротив. Пансион помещается на четвертом и пятом этажах огромного дома с мраморной лестницей, канделябрами, голой фигурой, держащей электрический факел. Комнаты наши выходят во двор, комнаты Крампе занимают оба этажа, два круга окон, и все это — Крампе. И есть комнаты, которые выходят на площадь — Виктория-Луиза-Платц — два этажа по фасаду — тоже Крампе (там живет Гершензон). Сама Крампе серьезная, деловая, лысая старая дева; впрочем, живет она с художником, лет на двадцать моложе ее. Из окна моей комнаты я вижу, как они вместе пьют кофе по утрам. Вечерами она сидит над счетными книгами, а он пьет ликер Канторовица. Потом они задергивают шторы, потом тушат свет.

В другом окне жильцы комнаты № 38. Она толстая, и он толстый. Они раздеваются медленно, аккуратно складывают, каждый на свой стул, белье, платье, потом ложатся (я, кажется, слышу их кряхтенье) в двуспальную кровать. Шторы они не спускают, пусть смотрят к ним в окна кто хочет — им все равно уютно, скрывать нечего и совесть чистая. Под кроватью — фаянсовый ночной горшок, у кровати рядком — ночные туфли, над изголовьем — мадонна Рафаэля.

Над ними в окне горит яркая лампочка. «Серапионов брат» Н. Никитин, вчера приехавший из Петербурга (и привезший мне письмо от Лунца), буйный, как с цепи сорвавшийся, весь день покупал себе носки и галстуки в магазине Кадеве, потом выпил и привел к себе уличную девицу с угла Мотц-штрассе. Она совершенно голая, жеманится в кресле, он — на кровати, видна только высоко закинутая волосатая нога.

Рядом с ним — комната Андрея Белого. Он выдвинул ящик ночного столика и не может его вдвинуть обратно: мешает шишечка, он держит его не в фас, а в профиль. Он долго бьется над ним, но ящичек войти не может. Он ставит его на пол и смотрит в него, потом делает над ним какие-то странные движения, шепчет что-то, будто заклиная его. И вот он опять берет его — на сей раз так, как надо,— и ящик легко входит куда следует. Лицо Белого сияет счастьем.

Под окном Белого — комната вице-губернаторши М. Она ходит в глубоком трауре не то по «государю-императору», не то по Распутину, которого она близко знала. Она в первый же день с отвращением посмотрела на меня за табльдотом и потом спросила: что такое пролеткульт? училась ли я в пролеткульте? кончила ли пролеткульт? собираюсь ли ехать обратно и держать экзамены в комсомол?

Я, насмотревшись в чужие окна, надеваю на себя брюки, рубашку, пиджак и ботинки Ходасевича, прячу волосы под его шляпу, беру его трость и иду гулять. Иду по зеленому Шарлоттенбургу, по тихим улицам, где деревья сошлись ветвями и не видно неба, по притихшему Вильмерсдорфу, где в русском кабаке распевают цыганские романсы и ругают современную литературу — всех этих Белых и Черных, Горьких и Сладких,— где в дверях в ливрее стоит генерал X., а подает камер-юнкер Z. Сейчас они еще раритеты, уники. Скоро их будет много, ой, как много! Париж и Лондон, Нью-Йорк и Шанхай узнают их и привыкнут к ним.

Прошлое и настоящее переплетаются, расплавляются друг в друге, переливаются одно в другое. Губернаторша и генерал, клянущие революцию, и поэт Минский, младший современник Надсона, приветствующий ее; едва унесшие ноги от революции «старые эмигранты», то есть социалисты царского времени, вернувшиеся к себе в Европу после того, как часок побыли на родине; и пионер велосипеда и фотографии Вас. Ив. Немирович-Данченко, весь в бакенах, в пенсне на черной ленте, носящий перед собой круглый живот свой, нажитый еще в предыдущее царствование, и сообщающий мне в первую же минуту знакомства, что он — второй после Лопе де Вега писатель по количеству им написанного (а третий — Дюма-отец). И Нина Петровская, героиня романа Брюсова «Огненный Ангел», брюсовская Рената, в большой черной шляпе, какие носили в 1912 году, старая, хромая, несчастная. И писательница Лаппо-Данилевская (говорят, знаменитая была, вроде Вербицкой) пляшет в русском кабаке казачка с платочком вокруг вприсядку пошедшего Серапионова брата Никитина — впрочем, они не знакомы.

Рядом с этим живет день настоящий: приходят к нам Виктор Шкловский, Марк Слоним, немного позже приезжают из России («для поправления здоровья») Пастернак, Вл. Лидин, пушкинист Модест Гофман, Н. Оцуп, В. Ирецкий. И не совсем понятно: к прошлому или настоящему принадлежат мелькающие то у нас, то в Литературном клубе (на Ноллендорфплатц), то в русском ресторане на Гентинерштрассе, фигуры С. К. Маковского, Сергея Кречетова, художника Масютина, Амфитеатрова-Кадашева (сына), проф. Ященко, Ляцкого, Семена Юшкевича, С. Рафаловича. И целый рой издателей, издающих все что угодно, от воспоминаний генерала Деникина и стихов Игоря Северянина до кулинарных книг.

Все это носится по Берлину и постепенно начинает находить свои места: генералы и вице-губернаторы отходят в небытие, социалисты-революционеры, обрастая Керенским, Черновым, Зензиновым, Постниковым, Гуковским,— в одну сторону, эс-деки (Белицкий, Сумский, Далин) — в другую. Москвичи — Зайцевы, Осоргин, Муратов, Бердяев, Вышеславцев, Степун, Белоцветов — держатся дружно; вокруг издательства «Геликон» группируются Шкловский, Белый, Эренбург, Натан Альтман, Ремизов. У Шкловского я встречаю Р. О. Якобсона, Эльзу Триоле (сестру Л. Брик), художника Ивана Пуни. Кадетов мы не видим, и в газете их («Руль») пишут далекие от нас люди: сам редактор И. В. Гессен, Ю. Айхенвальд, Глеб Струве, молодой Набоков. Мелькают друг Блока, издатель «Алконоста» Алянский, старая переводчица З. Венгерова, актеры Лаврентьев, Миклашевский, Чабров, поэтесса Анна Присманова, философ Лев Шестов и возвращающийся в Россию (чтобы там погибнуть) Абрам Лежнев.

30 июня 1922 г. мы приехали в Берлин. Белый уехал в Цоссен 3 июля и перед своим отъездом один раз был и не застал, а потом только забежал на полчаса проститься, сказав, что вернется в Берлин в сентябре. Я его не видела. Когда я вернулась домой, вся комната была в пепле, окурки были натыканы в чернильницу, в мыльницу, пепельницы были полны, и Ходасевич сказал, что в ту минуту, когда Белый вошел в дверь,— все кругом преобразилось. Он нес с собой эту способность преображения. А когда он ушел, все опять стало, как было: стол — столом и кресло — креслом. Он принес и унес что-то, чего никто другой не имел. И я до 11 сентября ждала Белого. 11 сентября он опять появился в Берлине.

В Берлине Ходасевича ждало письмо Горького. Он выехал к Горькому в Херингсдорф сейчас же, как приехал, и провел там два дня. Замелькали дни: 4 июля — первая встреча с Шкловским за границей, 5-го — первая встреча с Цветаевой, 21-го — с Эренбургом. 18 августа Ал. Н. Толстой читал публично свою комедию «Любовь — книга золотая» (в этот день Ходасевич отправил Мариэтте Шагинян длинное письмо). 27 августа мы оба на три дня уехали к Горькому, 1 сентября был литературный вечер в кафе Ландграф (первая моя встреча с Пастернаком), 8-го — опять кафе Ландграф: Пастернак, Эренбург, Шкловский, Зайцев, Муратов и другие. 11-го — возвращение Белого. 15-го — опять Ландграф, где Ходасевич читал свои стихи. 22-го приходила к нам Нина Петровская. 24-го вечером — в Прагер Диле на Прагерплатц — около пятнадцати человек составили столики в кафе (Пастернак, Эренбург, Шкловский, Цветаева, Белый...). 25-го, 26-го, 27-го приходил к нам Пастернак. 26-го вечером мы все (с Белым) были на «Покрывале Пьеретты» (пантомима А. Шницлера с Чабровым, гениальным Арлекином; через пять лет он стал монахом католического монастыря в Бельгии). 1 октября — вечер в честь Горького*. 10-го — первое появление у нас В. В. Вейдле, тоненького, светловолосого, скромного. 17-го и 18-го опять Пастернак и Белый, с ними в кафе, где толпа народу, среди них — Лидин и Маяковский. 27-го — доклад Шкловского в кафе Ландграф, 3 ноября — доклад Ивана Пуни. 4-го — Муратов и Белый у нас, 10-го — я в Ландграфе читаю стихи. 11-го Пастернак, Муратов и Белый у нас — а в скобках приписано, «как каждый день». Так идут день за днем краткие записи Ходасевича. И отдельный к ним листок: «Встречи с Белым»:

БЕРЛИН.

«1922 г.
июль: 1, 3 (2 раза)
август: 8 (1)
сентябрь: 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30 (15)
октябрь: 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 (20)
ноябрь: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15 (10)

СААРОВ.

ноябрь: 23, 24, 25 (3)
декабрь: 6, 7, 8, 9, 13, 31 (6)

1923. СААРОВ.

январь: 1, 2, 10 (3)
февраль: 1, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 (9)
март: 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (7)
май: 9, 15, 18, 22, 23 (5)

БЕРЛИН.

июль: 1, 4, 5, 6, 8, 11 (6)

ПРЕРОВ.

август: 14—27 (14)

БЕРЛИН.

август: 30, 31 (2)
сентябрь: 3, 4, 5, 6, 7, 8 (6)».

Андрей Белый был в тот период своей жизни — 1921—1923 гг.— в глубоком кризисе. Будучи со дня своего рождения «сыном своей матери», но не «сыном своего отца», он провел всю свою молодость в поисках отца, и отца он нашел в антропософе Рудольфе Штейнере перед первой мировой войной. Вернувшись на Запад в 1921 году, после голодных лет военного коммунизма, он встал перед трагическим фактом: Штейнер отверг его, и Белый, потрясенный раскрывшимся перед ним одиночеством, возвращенный в свою исконную беззащитность, не

* 25 сентября исполнилось тридцать лет его литературной деятельности.

мог ни преодолеть их, ни вырасти из них, ни примириться с ними. Причины, по которым Штейнер отверг его, ясны тем, кто близко знал Белого в эти годы в Германии. Одновременно Белый, после пяти лет жизни в России, не вернул и ту, которая — он думал — автоматически вернется и которая, после его неудачной любви к Л. Д. Блок, казалась ему якорем спасения,— но которая никогда не собиралась им быть. Его пьянство, его многоречивость, его жалобы, его бессмысленное и безысходное мучение делало его временами невменяемым. Поправить можно было все только изнутри, в себе самом, как это почти всегда (не всегда ли?) бывает в жизни. Он, однако, жил в надежде, что переменятся обстоятельства, что та, которая не вернулась, каким-то образом «поймет» и вернется, и что тот, который отверг его, вновь примет его в лоно антропософии. Белый не видел себя, не понимал себя, не знал («жизнь прожить не сумел»), не умея разрешить ни этого кризиса, ни всей трагической ситуации своей, требуя от окружающего и судьбы для себя «сладкого кусочка», а его не могло быть, как не может быть его у тех, кто хоть и остро смотрит вокруг, но не знает, как смотреть в себя. Он жил в глухоте, не слыша хода времени и полагая в своем безумии, что «мамочку» он найдет в любой женщине, а «папочку» — в ускользнувшем от него учителе жизни. Но люди кругом становились все безжалостнее, и это было законом времени, а вовсе не модой, веком, а не днем. Безжалостное в людях нашего времени началось еще в 80—90-х годах прошлого века, когда Стриндберг писал свою «Исповедь глупца»,— там можно найти некоторые ответы на двуострую драму Андрея Белого. «Пожалейте меня!» — но никто уже не умел, да и не хотел жалеть. Слово «жалость» доживало свои последние годы, недаром на многих языках это слово теперь применяется только в обидном, унижающем человека смысле: с обертоном презрения на французском языке, с обертоном досады — на немецком, с обертоном иронического недоброжелательства — на английском. От «пожалейте меня!», сказанного в слезах, до удара громадным кулаком по столу: «проклинаю всех!» — он почти каждый вечер проходил всю гамму своего отношения к людям, в полубреду, который он называл «перерывом сознания». Я видела его однажды играющим на старом пианино «Карнавал» Шумана. Никто не слушал его, все были заняты своим, собой, то есть «свирепейшей имманенцией». На следующий день он не поверил мне, когда я сказала, что он играл Шумана, а я с удовольствием слушала его,— он ничего не помнил. В другой вечер он два раза рассказал Ходасевичу и мне, в мельчайших подробностях, всю драму своей любви к Л. Д. Блок и свою ссору с А. А. Блоком, и когда, без передышки, начал ее рассказывать в третий раз, я увидела, что Ходасевич скользит со стула на пол в глубоком обмороке. В ту ночь Белый шумно ломился в дверь ко мне, чтобы что-то досказать, и Ходасевич в холодном поту шепотом умолял меня не открывать, не отвечать,— он боялся, что опять начнется этот дикий, страшный, не имеющий, в сущности, ни смысла, ни конца рассказ.

Я знала и знаю его наизусть. Бледное отражение его можно найти в «Воспоминаниях» Белого (в обоих изданиях: первом, основном, и втором, переделанном для советской печати). Я знаю этот рассказ таким, каким его слышала несчетное количество раз. Да и не я одна. Было человек пять-шесть в то время в Берлине, которые попадались Белому вечерами между улицами Пассауэр, Аугсбургер, Прагер и Гейсберг. Кое-кто из ходивших с ним ночами в трактир «Цум Патценхофер» еще жив и сейчас. Но они не расскажут всего, как и я не расскажу всего. В начале этой книги я сказала, что люблю с в о и тайны. Но я также храню и тайны других *.

Белый любил Ходасевича. Быть может, в период сентябрь 1922— сентябрь 1923 не было человека на свете, которого бы он любил сильнее. Он любил меня, потому что я была женой Ходасевича, но иногда он пытался восстановить меня против него, что ему, конечно, не удавалось. Ходасевич не обращал на это никакого внимания, «предательство» в Белом было очень сильно, оно было и в малом, и в большом, но я и теперь думаю (как мы оба думали уже и тогда), что он был в тот период своего кризиса, как насмерть раненный зверь, и все средства казались ему хороши — делать больно другим, когда ему самому сделали так больно,— лишь бы выйти из него, все удары были дозволены.

А параллельно с этим он писал, иногда целыми днями, иногда — ночами. Это было время «Воспоминаний о Блоке», которые печатались в «Эпопее». Зимой мы жили в Саарове, под Берлином, где жил и Горький с семьей. Борис Николаевич гостил у нас часто и писал, а вечерами читал нам вслух написанное. Да, я слышала в его чтении эти страницы воспоминаний о Блоке, я имела это высокое, незабываемое счастье. Бывало, до двух часов ночи он читал нам, сидя за столом, в своей комнате, по черновику, а мы сидели по обеим сторонам его и слушали. И один раз я помню, как я легла на его кровать, это было вечером 1 января, накануне была встреча Нового года у Горь-

* Об этих настроениях Белого много верного появилось в печати в 1964 году в России, в книге превосходного «блоковеда» и автора статей о символизме, Влад. Ник. Орлова, «Пути и судьбы». Пораженная его глубоким пониманием и чувством эпохи, я решила весной 1964 г. написать ему письмо в Ленинград и спросить его, не могла ли бы я ему сообщить некоторые дополнительные сведения о Белом — уже не на адрес типографии «Советского писателя», куда я писала, а на его домашний адрес. Орлов ответил мне, и я послала ему заказное письмо на семи страницах. Орлов дал мне знать, что мое письмо было получено.

кого, и я легла в пять часов утра, а днем мы гуляли втроем по снежным дорожкам Саарова. Я легла на его кровать и, пока он читал, уснула. Мне было стыдно сказать, что я была не в силах бороться со сном, попросить его прервать чтение, отложить на завтра. Я заснула крепким сном и временами, сквозь сон, слышала его голос, но не могла проснуться. Ходасевич поблескивал очками, обхватив руками худые колени, покачиваясь, внимательно слушал. Это были главы «Начала века».

— Какое придумать название к этой части? — беспокойно спрашивал нас Белый несколько дней подряд.

— «Начало века»,— как-то сказала я случайно, и так он и сделал.

Женщины вокруг него в тот год, когда я знала его, видели все симптомы его слабости, но не понимали ее. Многие из них в эту эпоху бури и натиска женской инициативы во всем (и в нашей среде) часто больше интересовались, как работает дизель, чем закатами солнца, и Белый не узнавал в них жеманных, переутонченных (сейчас — смехотворных для нас) декаденток своей молодости. Когда из Москвы приехала К. Н. Васильева (ставшая впоследствии его женой), он встретил в ней частично то, что искал: «мамочку», и материнскую защиту, и силу, и поддержку своим затуманенным и замученным антропософским мысле-чувствам, в соединении с отсветом на ней ортодоксального, чугунного штейнерианства. Ее не испугало это страшное распадение в нем душевных сил под уродливым, мучительным давлением вполне головного идеала. Или она не понимала кризиса и видела в Борисе Николаевиче только заблудшую овцу, существо, не поддержанное идеей, скользящее в гибель, ищущее защиты от судеб? Или она и в самом деле была сильным человеком, которого он искал? Или она только сумела притвориться сильной и тем — отчасти — спасла его?

Между тем он беспрерывно носил на лице улыбку дурака-безумца, того дурака-безумца, о котором он когда-то написал замечательные стихи: я б о л е н! я в о с к р е с! («свалили, связали, на лоб положили компресс»). Эта улыбка была на нем, как маскарадная маска или детская гримаса,— он не снимал ее, боялся, что будет еще хуже. С этой улыбкой, в которой как бы отлито было его лицо, он пытался (особенно выпив) переосмыслить космос, перекроить его смысл по новому фасону. В то же время, без минуты передышки, все его прошлое ходило внутри него каруселью, грохоча то музыкой, то просто шумом, мелькая в круговороте то лицами, а то и просто рожами и харями минувшего. Теперь бы остановить это инфернальное верчение в глубине себя, начать жить заново, жить настоящим, но он не мог: во-первых, потому, что настоящее было слишком страшно. Дурак-безумец иногда вдруг как на пружине выскакивал из него с какой-то злобой. Я как-то спросила его:

— Борис Николаевич, вы любите Цветаеву? — В этом вопросе, принимая во внимание весь контекст нашего разговора, было мое любопытство к его отношению и к стихам Марины Ивановны, и к ней самой. Он еще шире раздвинул рот, напомнив Николая Аполлоновича Аблеухова, и ответил слово в слово следующее:

— Я очень люблю Марину Ивановну. Как же я могу ее не любить? Она — дочь профессора Цветаева, а я — сын профессора Бугаева.

Я не поверила своим ушам и через год, в Праге, когда он уже был в Москве и уже было напечатано его стихотворение к ней (про малиновые мелодии), рассказала про этот ответ Марине Ивановне. Она засмеялась с какой-то грустью и сказала, что она не раз слышала от него совершенно такие же д у р а ц к и е ответы на вопросы о людях и книгах. (Она использовала его ответ мне в своих воспоминаниях о Белом.)

И тут же рядом шло и другое: «Воскрес я! Смотрите! Воскрес!» Тогда, и до этого, конечно, а вероятно, и позже, в разговорах, и еще чаще в писаниях, достигал он высоты невероятной, с которой тут же скатывался вниз, «шлепался» (одно из его любимых слов) в лужу — «метафизическую», конечно! От лягушки в луже до образа Христа можно проследить в его прозе и поэзии эти взлеты и падения, которые обыкновенным людям бывали почти всегда непонятны, часто противны, а порой и отвратительны.

У Николая Аполлоновича Аблеухова была улыбка лягушки, у Белого в берлинский период была не только улыбка, все его движения были лягушачьи. Он после стука в дверь появлялся где-то ниже дверной ручки, затем прыжком оказывался посреди комнаты, выпрямлялся во весь рост, казалось, не только его ноги, но и его руки всегда готовы были к новому прыжку, огромные, сильные руки с коричневыми от табака пальцами, растопыренными в воздухе. Волосы, почти совсем седые, летали вокруг загорелой лысины, топорщились плечи пиджака, сшитого из толстого «эрзаца» — немецкого твида «рябчиком».

В «Исповеди глупца» великого шведа, о которой я уже упоминала, есть страницы, через которые, как через таинственное стекло, видишь Белого. Есть и другие у него предшественники и старшие современники, которые вместе с ним непоправимо, неизлечимо были ушиблены своим временем (а может быть, и убиты им), когда век двадцатый поворачивал на свою дорогу, жестокую, открытую всем ураганам внешним и внутренним, поворачивал, раскрывая в точных науках (о вселенной внутри нас и вне нас) новые пропасти и повороты, от которых слепило в глазах,— не у тех, которые двигали свое время и строили его, но у тех, которые и хотели бы двигать и делать его, но не знали, как им расстать-

ся с Кантом, Блаженным Августином, Евклидом, Ньютоном и Аквинатом. Они отталкивались от прошлого и отталкивались с огромной творческой силой, но в ту же секунду трепетали от образа будущего или каменели от него, как от лица Горгоны. У всех у иих была великая способность плыть против течения при полном отсутствии таланта жить в своем собственном меняющемся времени.

Можно себе представить Блока в эмиграции, Горького в эмиграции, даже Маяковского в эмиграции. Но Белый мыслим в эмиграции только в одном-единственном аспекте: тенью Штейнера в Дорнахе, строящего новый Гетеанум (после пожара первого, который был выстроен руками учеников Штейнера, в том числе — руками Белого), тенью Штейнера живого, и тенью Штейнера мертвого («доктор» умер в 1925 году), и живущего, как за каменной стеной, в крепости своего швейцарского мировоззрения до смертного часа. Но крепости быть не могло — на этом месте между Борисом Николаевичем и «доктором» образовался за годы 1916—1921 ров, в котором, как выразился бы сам Белый, кишели чудовища. И когда Белый окончательно осознал, что ни «отца», ни «матери» он иа пути в Дорнах не найдет, он кинулся в Россию: твердая рука К. Н. Васильевой (казавшаяся ему в ту минуту тверже, чем она на самом деле была) помогла ему найти туда дорогу.

Но сила его гения была такова, что, несмотря на все его тягостные юродства, ежевечернее пьянство, его предательства, истерическую возню со своим прошлым, которое все никак не хотело перегореть, несмотря на все не только «сочащиеся», но и «гноящиеся» раны, каждая встреча с ним была озаряющим, обогащающим жизиь событием.

Он приходил к нам и рассказывал что-нибудь, приблизительно в следующем стиле:

— Пролетáю трамвáем по Кýрфюрстендáмму я. Вижу: пéсик, у тýмбочки нóжку подняв, о чём-то задýмался. Вдруг дáма какáя-то стáвит мне ногу свою на калóшу.— Судáрыня? За когó вы меня принимáете? А онá: Я вас знáю давнó, я тебя вижу в снáх моих тáйных. Наши дýши — родные. Ты пóмнишь у Гéте:

> Ach, du warst in längst vergangnen Zeiten
> Meine Schwester oder meine Frau,—

Когдá сотворим мы с тобóй эту дивиую скáзку?

Я бежáл, соскочив на ходý, и иавстрéчу бежáли урóды немéцкие, и я бился в толпé, пробивáясь локтями, ищá того песика, под реклáмой сигáрной..... И вот — добежáл я до вáс... Дорогáя, чайкý бы мне чáшечку, а éсли иайдéтся печéньице, то и печéньица...

Он приходил к нам, и мы шли куда-нибудь «посидеть» — начиналось это иногда в семь, иногда в девять часов вечера и кончалось далеко за полночь. Или он уводил нас после какого-нибудь литературного собрания в пивную «Цум Патценхофер» и там держал разговорами до закрытия трактира, то есть часов до двух-трех. Или, когда мы переехали в Сааров и он приезжал к нам на несколько дией, иногда на неделю, он писал, читал нам написаиное, иногда отделывал и писал вторично и опять уводил нас «посидеть» с ним, то есть выпить в кафе, ресторане или пивной, иногда туда, где люди танцевали, и он тоже таицевал — слишком частая потребность таких, как он, физически не защищенных и в чем-то незрелых людей, мучимых до старости соблазнами и боящихся этим соблазнам предаться, а может быть, не умеющих им предаться. А может быть, и не могущих?

Об этих наших иочных прогулках по Берлину Ходасевич написал замечательное стихотвореиие: мы все трое в нем — как три ведьмы в «Макбете»,— но с песьими головами:

> С берлинской улицы вверху луна видна,
> В берлинской улице ночная тень длинна,
> Дома, как демоны, между домами мрак,
> Шеренги демонов, и между них сквозняк.
> Дневные помыслы, дневные души — прочь!
> Дневные помыслы перешагнули в ночь
> Опустошенные, на перекрестки тьмы,
> Как ведьмы, по трое, тогда выходим мы.
> Нечеловечий дух, нечеловечья речь,
> И песьи головы поверх сутулых плеч.
> Зеленой точкою глядит луна из глаз,
> Сухим неистовством обуревая нас,
> В асфальтном зеркале сухой и мутный блеск,
> И электрический над головами треск.

Иногда с ним вместе приезжала в Сааров К. Н. Васильева. Она была похожа на моиашку («антропософская богородица», иногда в сердцах называл ее Борис Николаевич, конечно — за ее спиной, но так иазывал он и других своих антропософских подруг). Она носила черное длинное платье, черный шерстяной платок на узких плечах. Мне (да и всем вокруг) она казалась без возраста, она никогда не улыбалась, с тоикими, поджатыми губами, красиым носиком, гладкой прической. Онá ложилась рано в отведенной ей комнате, рядом с моей (мы тогда жили в гостинице при вокзале), и ни одиого звука не раздавалось за стеиой. Её Борис Николаевич не просил ни «посидеть» с ним, ни потанцевать с ним, ни выслушать еще раз всю драму его любви к Л. Д. Блок, ни пересмотреть развалины прекрасного когда-то здания его антропософских верований. Она держалась в стороне от всех его надрывов и, конечно, не могла бы найти себе места среди тех женщин, которых он тогда ставил в один ряд,— от Сикстинской мадонны до уличной проститутки (причем иногда одна и та же женщина была и тем и другим почти одновременно). Впрочем, у К. Н. Васильевой тоже был целый ряд различных воплощений: иногда в его диком воображении она была защитой и убежищем, «почти что мамочкой», а иногда он готов был приписать ей коварную роль: она подослана «доктором» следить за ним и спасти его! Какая-то мысль «спасти» его, видимо, уже тогда жила в этой женщине, но угадать, что она станет его женой, было совершенно невозможно. Она была, как говорилось когда-то, особой загадочной, то есть не раскрывала ни сути своей, ни планов своих, а, впрочем, может быть, ни того ни другого в настоящем смысле тогда еще не было.

Летом 1923 года он приезжал в приморское местечко Преров, где жили Зайцевы, Бердяевы, Муратов и мы. Шел дождь. Мы играли в шахматы с Муратовым и вели долгие разговоры, потом топили печку, ходили гулять на берег Балтийского моря в плащах, под ветром и дождем, вечером смотрели в кино «Доктора Мабузе». У Зайцевых, как всегда, было светло, тепло и оживлеино, с тяжелой тростью Н. А. Бердяев выходил на свою ежедневиую прогулку в дюны. Его жена и теща были обе больны коклюшем.

Потом все вернулись в Берлин, и вдруг стремительно быстро оказалось, что все куда-то едут, разъезжаются в разные стороны, кто куда. В предвидении этого близкого разъезда 8 сентября мы собрались сниматься в фотографии на Тауенцинштрассе, и Белый пришел тоже, но раздраженный и особенно напряженно улыбающийся. Гершензон еще месяц тому назад сказал Ходасевичу, что когда он ходил в советское консульство за визой в Москву для себя и семьи (он уехал 10 августа), то встретил в коисульстве Белого, который тоже хлопотал о возвращении. Нам об этом своем намерении Белый тогда еще не говорил. Помню грусть Ходасевича по этому поводу — не столько, что Белый что-то важное о себе от иего скрыл, сколько по поводу самого факта возвращения его в Россию. Ни минуты Ходасевич не думал отсоветовать Белому ехать в Москву — Ходасевич открыто говорил, что для него совершенно иеясно, что именно Белому лучше сделать: остаться или вернуться. Он принял, как неизбежное, и возвращение Гершензона, и возвращение Шкловского (после его покаяниого письма во ВЦИК 21 сентября), и возвращение в Москву А. Н. Толстого и Б. Пастернака, и долгие колебания Муратова, который в конце концов остался. Но тревога за Бориса Николаевича была совсем иного свойства: как, где и для кого сможет он лучше писать?

8 сентября утром был сделан групповой снимок (в 1961 году приложенный мною к Собранию стихов Ходасевича, изданному в Мюнхене), а вечером был многолюдный прощальный обед. И на этот обед Белый пришел в состоянии никогда мною не виданной ярости. Он почти ни с кем не поздоровался. Зажав огромные кисти рук между колен, в обвисшем на нем пестро-сером пиджачном костюме, он сидел, ни на кого не глядя, а когда в конце обеда встал со стаканом в руке, то, с ненавистью обведя сидящих за столом (их было более двадцати) своими почти белыми глазами, заявил, что скажет речь. Это был тост как бы за самого себя. Образ Христа в эти минуты ожил в этом юродствующем гении: он требовал, чтобы пили за него потому, что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа, сидящих в этом русском ресторане на Гентинерштрассе, за Ходасевича, Муратова, Зайцева, Ремизова, Бердяева, Вышеславцева... Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он пролет свою кровь.

— Только не за меня! — сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте его речи.— Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения.

Белый поставил свой стакан на место и, глядя перед собой ненавидящими глазами, заявил, что Ходасевич всегда и всюду все поливает ядом своего скепсиса и что он, Белый, прерывает с ним отношения. Ходасевич побледнел. Все зашумели, превращая факт распятия в шутку, в метафору, в гиперболу, в образ застольного красноречия. Но Белый остановиться уже не мог: Ходасевич был скептик, разрушал вокруг себя все, не создавая ничего, Бердяев — тайный враг, Муратов — посторонний, притворяющийся своим; все сидящие вокруг обернулись в его расшатанной вином фантазии кольцом врагов, ждущих его погибели, не доверяющих его святости, с ироническими улыбками встречающих его обреченность. С каждой минутой он становился все более невменяем; напрасно, не слушая его грубостей и не оскорбляясь ими, Зайцев и Вышеславцев старались его угомонить. Он, несомненно, в те минуты увидел себя если не Христом, то святым Себастьяном, пронзенным стрелами,— стены упали, драконы раскрыли свои пасти, и вот он готов умереть — и и з а к о г о! Его повели к дверям. Я в последнюю минуту хотела сжать его руку, на мгновение предать Ходасевича, чтобы только сказать Белому, что он для меня был и будет великим, одним из великих моего времени, что его стихи, и «Петербург», и «Первое свидание» — бессмертны, что встречи с ним были для меня и остаются в е ч н о й п а м я т ь ю. Но он, увидев, что я подхожу к нему, весь дернулся, закинул голову, приготовился, как пантера, к прыжку... и я отошла или, вернее,— меня оттянули за рукав благоразумные доброжелатели. И больше я никогда не видела его. Он уехал из Берлина в Москву 23 октября 1923 года. Ему сначала отказали в визе, но затем советский консул переменил свое решение.

Ходасевич и я были дома, все в том же пансионе Крампе, когда под вечер, прямо с вокзала Цоо, пришла к нам Вера Лурье, его друг, провожавшая его. В последнюю минуту он вдруг выскочил из поезда, бормоча «не сейчас, не сейчас!» Это напомнило мне сцену в «Бе-

сах», когда Верховенский входит к Кириллову и тот в темном углу повторяет: «сейчас, сейчас, сейчас». Коидуктор втянул Белого в вагои уже на ходу. Он старался еще что-то крикнуть, но ничего уже слышно не было. Была ли К. Н. Васильева с ним, или она уехала в Москву раньше, я не помню. Но если оиа была с ним, то она, коиечио, сидела в это время у окна вагона и спокойно читала какую-нибудь толстую книгу.

А когда Вера ушла (с красными от слез глазами), фрейлен Крампе принесла ворох бумаг, найденный ею в столе «герр профессора»: ои забыл их, уезжая. Вот три письма из этого вороха — остальные сожжены:

«Милый Боря,
до меня от времени до времени доходит слух, что я вторичио вышла замуж.

Не знаю, что ты мог думать и говорить о моем поведении, для внешнего мира. Разрешение фрау Вальтер жить на ее квартире запоздало в силу ее отъезда. Благодаря этому я согласилась жить около 10 дней в одном пансионе со знакомым в пустующей комнате. До остальиого иикому никакого дела нет. Быть может, это достаточный повод для сплетен, но не для утверждений. Для тебя лично повторяю, что кроме того, что у меия ие было желаиия выходить замуж, я могла бы соединить свою жизнь только с человеком, с которым была бы связана общим делом и общим устремлением.

Я не прошу тебя заботиться о восстановлении моей репутации, но мне кажется для нас обоих лучше, чтобы ты знал мое отношение к существующим слухам. Всего хорошего.

Ася.

Насколько я знаю, этот слух привезла из России Волошина. Во всяком случае те, кто видели меня вместе с К., из моего поведения не могли этого вывести».

Второе письмо:

«Дорогой Борис Николаевич.

Много, много думаю о Вас и сколько раэ хотела писать. Но не могла. Садилась, и передо мной вдруг вставал кто-то далекий, чужой, заслоиял милого, родного, который так близок мне. Слова обрывались, и ничего, ничего писать ие могла, не могла выразить того, что поднималось в душе. Тот, другой, мешал. Казалось, письмо не дойдет, перехватит он его, отбросит.

Помните, Борис Николаевич, мы с Вамн говорили о закрытости людей, о граиях, их отделяющих? Когда с Вами была, писала Вам, падали для меия эти грани, говорилось от души к душе, свободио. Сейчас что-то воздвиглось, но не верю, чтобы иллюзией было то чувство раскрытости, общения.

Мне нечего писать тому, чужому, далекому. Перед ннм чувствую себя глупой, маленькой, Вы н ие поймете, посмеетесь надо миой.

А Вам, Борис Николаевич, сказать много, миого иадо, даже не сказать, а напомиить о себе, что думаю о Вас, люблю. Дорогой, мой милый. Тут вот самые разнообразные слухи о Вас, но как-то кажется, что чувствую, как Вы, потому пишу. Если чуждо прозвучат слова, если пусто — значит ошиблась и действительно иикогда ие подойдет человек к другому, не поймут. Больше, чем когда-либо, слова не идут, но не в словах дело. Словами не сделаешь ничего.

Нам не дано предугадать,
Как иаше слово отзовется,
И иам сочувствие дается,
Как иам дается благодать.

Вот то время для меня светом стоит. И теперь, когда Вам трудно, когда, быть может, пусто, хочется навстречу пойти, и многое в Вас закрыто для меня, но чувствую душу Вашу, за Вас молюсь. И второго, другого боюсь. Вот пишу, и все-таки двойственно. Хочется договориться до конца, все свое открыть, а третий мешает. Если не поймете, значит, виноват ои, потому что я говорю правдиво до конца, потому что я для Вас на все готова и ничего ие требую. Милый, дорогой, приезжайте. Люблю, люблю Вас. Так соскучилась по Вас, так Вас видеть хочется. Тогда, кажется, все отпадет, все трудности, все разделенности.

Вот сейчас совсем с Вами, вот сейчас как будто стоите тут передо мной, и так хочется приласкать, так хочется успокоить Вас, бедного, мятущегося, милого.

Не сердитесь на меня, знайте, что от всей души тянусь к Вам, что мучительно страшно переживала это время, когда застывали слова, писать не могла и только всей силой чувства устремлялась к Вам, огромная волна нежности, любви поднималась.

Молчала, чего-то боялась, теперь не боюсь. Не верю, чтобы так вот, ни к чему. А если иенужное, значит, обманулись. Ничего, ничего не поиимаю, только люблю.

(Подпись.)

Мне ясией и ясней путь мой. От каких-то смутных чаяний к осуществлению. Я знаю, что надо пронести череэ жизнь самое дорогое, самое чистое и святое, что трудио это. Пронести над жизнью и в ией, как чашу. Тогда не страшно. Во мне что-то поднимается надо мной.

Чувствую нити, протяиутые к людям. Такая иить к Вам ндет. Не обрывайте, не оставляйте ее в пустом пространстве.

Неужели совсем, совсем забыли?»

Третье письмо:

«Дорогой Борис Николаевич, честное слово, мие давно надоело сердиться. Отчего Вы не приходите в Клуб писателей? Отчего Вы такой иедобрый? Раньше Вы сами говорили, что я хорошая, а как только я иемножко раскапризничалась, сразу рассердились, как будто я вэрослая,— на самом деле, право, я только глупый ребенок, искренне к Вам привязанный. Скучаю я о Вас очеиь и не меньше о всех вещах в Вашей комнате, я так привыкла за время Вашей болезни хозяйничать и чувствовать себя у Вас, как дома. Мне было невыиосимо, что кто-нибудь имеет право быть ближе к Вам, за это ие надо иа меня, Борис Николаевич, сердиться. Мне эти дни особенно без Вас грустно, как раз год с тех пор, как мы познакомились, и я все помню по дням и часам... Милый, хороший, Борис Николаевич, простите, что я пишу Вам такой вздор, но я абсолютно писать не умею, как Ваше здоровье? Надеюсь, совсем хорошо. Раиьше хотела просто к Вам забежать, ио побоялась.

Вера.

Как хозяйство? Передайте пузатому приятелю-чайнику от меня привет».

Вот трн женских письма, от трех разных женщии, они дорисуют картину жизии Белого в Германии в 1921—1923 гг. В одной из корреспонденток есть что-то от злого духа, вторая запуталась в собственной диалектике, третья обезоруживает своей невинностью, но при чтении этих писем становится ясней роль тонкогубой монашки в шерстяном платке в судьбе Андрея Белого. И, вероятно, оиато и была ему всех нужнее — включая и Деву-Зарю-Купину.

Белый уехал. Берлин опустел, русский Берлин, другого я не знала. Немецкий Берлин был только фоиом этих лет, чахлая Германия, чахлые деньги, чахлые кусты Тиргартена, где мы гуляли иногда утрами с Муратовым. В противоположность Белому он был человеком тишины, понимавшим бури, и человеком внутреннего порядка, понимавшим внутренний беспорядок других. Стилизация в литературе была его спасением, «декадентству» он открыл Италию. Ои был по-своему символист, с его культом вечной женственности, и вместе с тем ни на кого не похожий среди современников. Символизм свой он носил как атмосферу, как ауру, в которой легко дышалось и ему, и другим около него. Это был не тумаиный, ио прозрачный символизм, не декадентский, а вечный. В своей тишине он всегда был влюблеи, и это чувство тоже было слегка стилизовано — иногда страданием, иногда радостью. Его очарования и разочарования были более интеллектуальны, чем чувствеины, но несмотря на это он был человеком чувственным, не только «умным духом». Он был щедр, дарил собеседника мыслями, которые другой на его месте записывал бы в книжечку (по примеру Тригорина у Чехова), а он отпускал их, как голубей на волю,— лови, кто хочет. Часть нх еще и сейчас живет во мне. Но признания и благодарности он не терпел и любил в себе самом и в других только свободу. Ои был цельный, законченный западник, еще перед первой мировой войной открывший для себя Европу, и я в тот год через него узнавала ее. Впервые от него я услышала имена Жида, Валери, Пруста, Стрэчи, Вирджинии Вульф, Папини, Шпенглера, Манна и миогих других, которые были для него своими, питавшими его мысль всегда живую, не обремененную ни суевериями, ни предрассудками его поколения.

Он бывал частым гостем у нас. Одно время приходил каждый вечер. Любил, когда я шила под лампой (о чем есть в его рассказе «Шехеразада», мне посвященном). В записях Ходасевича идет его имя подряд — то рядом с Б. Пастернаком, то с Н. Оцупом, то с Белым. С ним я пережила два моих наиболее сильных в то время театральиых впечатления: «Покрывало Пьеретты», в котором участвовал Чабров, и «Принцессу Турандот» *. Чабров был гениальным актером и мимом, иначе ие могу его назвать, магия его и яркий, большой талант были исключительны. С ним вместе играли Федорова-вторая (впоследствии заболевшая душевной болезнью) и Самуил Вермель, игравший Пьеро. Я и сейчас помню каждую подробность этого поразительного спектакля — ничто никогда не врезалось в мою память, как это «Покрывало»,— ни Михаил Чехов в «Эрике IV», ни Барро в Мольере, ни Цаккоии в Шекспире, ни Павлова в «Умирающем лебеде», ии Люба Велич в «Саломее». Когда Чабров и Федорова-вторая танцевали польку во втором действии, а мертвый Пьеро появился иа балкончнке (Коломбина его не видит, но Арлекии уже энает, что Пьеро тут), я впервые поняла (и навсегда), что такое настоящий театр, и у меия еще и сейчас проходит по спине холод, когда я вспоминаю шницлеровскую пантомиму в исполнении этих трех актеров. Такой театр входит в кровь зрителя не метафорически, а буквально, что-то делает с иим, меняет его, влияет на всю дальнейшую его жизнь и мысль, являясь ему как бы причастием. Второе воспоминание — постановка Вахтаигова — менее сильио: там было больше конкретного зрелища и меиьше иррационального трепета. Между прочим, с Чабровым мы ие раз сидели в трактире «Цум Патценхофе» — он был другом Белого (как в свое время и Скрябина).

Более светскими местами были те берлиские кафе, где играл струнный оркестр и качались пары, где у входа колебались, окруженные мошкарой, цветные фонарики под зеленью берлинских улиц. Чахлые деревья, чахлые девицы на углу Мотцштрассе. Все мы — бессонные русские — иногда до утра бродили по этим улицам, где днем чинно ходят в школу чахлые немецкие дети — те, что родились в зпоху газовых атак на западном фронте и которых перебьют потом под Сталинградом. Иногда в Прагер Диле бывает художник Добужинский, с которым у меня завязываются дружеские отношения на 35 лет. Он относится к новой для меня категории людей, той, к которой я не так-то легко привыкаю: я подпадаю под их очароваиие, но не могу любнть то, что они делают. Он не художник для меня, он только человек, собеседиик, друг.

* 3-я студия МХТ, постановка Вахтаигова.

Гершензон в кафе не ходит. Он раз зашел и так об этом рассказал:

— Ну, устал. Ну, жарко было. Ну, думаю, зайду в это ихнее кафе передохнуть. Зашел. Говорят: обедать надо, тут ресторан. Я им объясняю, что обедаю я в пансионе Крампе, там, где живу с семьей, и никогда в ресторанах не обедаю. Они говорят: нельзя. Смотрю: опять кафе. Зашел. Говорят: только ликеры здесь пьют. Кому нужны ихние ликеры? Дайте стакан воды. Нельзя: здесь вайнштубе. Никогда не был в вайнштубе, не понимаю, кому нужны вайнштубе? Воды не дали. Опять вижу: кафе. Вхожу, спрашиваю: вайнштубе это или не вайнштубе? Не вайнштубе, говорят. Это ресторан? Нет, это, говорят, кафе. Фу ты черт, роскошь какая! Канделябры, люстры, ковры... Лакеи во фраках, женщины, понимаете, такое у них тут все... А воды выпить можно? — спрашиваю. Удивляются. Сесть не предлагают, и вижу: несут мне стакан воды на подносе. Сколько? — говорю. Испугался, что денег не хватит. Ничего, говорят, за воду не возьмем. Пейте, говорят, и уходите. Ауфидерзейн... И это вы в таких-то местах каждый вечер сидите?

Нина Петровская появилась у нас однажды днем в сопровождении сестры Нади. Надя была придурковатая, и я ее боялась. С темным, в бородавках, лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со страусовым пером и букетом черных вишен, Нина мне показалась очень старой и старомодной. Рената «Огненного Ангела», любовь Брюсова, подруга Белого — нет, не такой воображала я ее себе. Мне показалось, что и Ходасевич не ожидал увидеть ее такой. В глубоких, черных ее глазах было что-то неуютное, немного жутковатое; низким голосом она говорила о том, что написала е м у письмо (она никогда не называла Брюсова по имени) и теперь ждет, что о н ответит ей и позовет ее в Москву. Вишни на ее шляпе колебались и шуршали, как прошлогодняя листва, она употребляла странные выражения, которые больше напоминали Бальмонта, чем Брюсова: несказанный, двуликий, шел на меня, как черная птица (о ком-то, встреченном на Пассаурэрштрассе). Когда она поцеловала меня, я почувствовала идущий от нее запах табака и водки. Однажды Ходасевич вернулся домой в ужасе: он три часа просидел в обществе ее и Белого — они сводили старые счеты. «Это было совершенно как в 1911 году,— говорил он.— Только оба были такие старые и страшные, что я едва не заплакал».

Она относилась ко мне с любопытством, словно хотела сказать: н бывают же на свете люди, которые живут себе так, как если бы ничего не было — ни Брюсова, ни 1911 года, ни стрельбы друг в друга, ни средневековых ведьм, ни мартелевского коньяка, в котором о н когда-то с ней купал свое отчаяние, ни всей их декадентской саги. Из этого один только коньяк был сейчас доступен, но я отказывалась пить с ней коньяк, я не умела этого делать. Она приходила часто, сидела долго, пила и курила и все говорила о н е м. Но Брюсов на письмо ей не ответил.

Через несколько лет, в Париже, после смерти сестры, она несколько дней прожила у нас в квартире на улице Ламбларди. С утра она, стараясь, чтобы я не заметила, уходила пить вино на угол площади Дюмениль, а потом обходила русских врачей, умоляя их прописать ей кодеин, который действовал на нее особым образом, в слабой степени заменял ей наркотики, к которым она себя приучила. Жизнь ее была трагической с самого того дня, как она покинула Россию. Чем она жила в Риме во время первой войны — никто ее не спрашивал, вероятно, отчасти — подаянием, если не хуже. Ночью она не могла спать, ей нужно было еще и еще ворошить прошлое. Ходасевич сидел с ней в первой, так называемой «моей» комнате. Я укладывалась спать в его комнате, на диване. Измученный разговорами, куреньем, одуревший от ее пьяных слез и кодеинового бреда, он приходил под утро, ложился около меня, замерзший (ночью центрального отопления не было), усталый, сам полубольной. Я старалась иногда заставить ее съесть что-нибудь (она почти ничего не ела), принять ванну, вымыть голову, выстирать свое белье и чулки, но она уже ни на что не была способна. Однажды она ушла и не вернулась. Денег у нее не было (как, впрочем, и у нас в то время). Через неделю ее нашли мертвой в комнатушке общежития Армии Спасения — она открыла газ. Это было 23 февраля 1928 года.

В кафе Ландграф между тем каждое воскресенье в 1922—23 гг. собирался Русский клуб,— он иногда назывался «Домом Искусств». Там читали: Эренбург, Муратов, Ходасевич, Оцуп, Рафалович, Шкловский, Пастернак, Лидин, проф. Ященко, Белый, Вышеславцев, Зайцев, я и многие другие. Просматривая записи Ходасевича 1922—1923 годов, я вижу, что целыми днями, а особенно вечерами, мы были на людях. Три издательства были особенно деятельны в это время: «Эпоха» Сумского, «Геликон» А. Вишняка и издательство З. Гржебина. 27 октября (1922 г.) есть краткая запись о том, что Ходасевич заходил в «Дни» — газету Керенского, которая тогда начинала выходить. 15 мая (1923 г.) отмечен днем приезда в Берлин М. О. Гершензона. 15 июня в Берлине был Лунц, которого его отец немедленно увез в Гамбург, а 6 августа мы оба были у Гершензона, где я впервые встретилась с Шестовым — и навсегда соединила его образ с образом моего отца: они необыкновенно были похожи. С 14-го по 28 августа (1923 г.) мы жили в Прерове, о чем я уже упоминала, а 9 сентября, собственно, н начался всеобщий разъезд — отъездом Зайцевых во Флоренцию. 1 ноября в последний раз был у нас Пастернак, а 4-го мы с Ходасевичем выехали в Прагу.

Моему знакомству с М. Горьким предшествовали две легенды, из которых каждая несла с собой образ человека, но не писателя. Человеком он был для меня, человеком остался. Его жизнь и смерть были и есть для меня жизнь и смерть человека, с которым под одной крышей я прожила три года, которого видела здоровым, больным, веселым, злым, в его слабости и его силе. Как писатель он никогда не занимал моих мыслей: сначала я была погружена в Ибсена, Достоевского, Бодлера, Блока, потом (уже живя у него) — в Гоголя, Флобера, Шекспира, Гете, позже, расставшись с ним, я стала читать и любить Пруста, Лоуренса, Кафку, Жида, Валери, наконец — Джойса, англичан и американцев. Как писателю Горькому не было места в моей жизни. Да и сейчас нет.

Но как человек он вошел в мой круг мыслей сквозь две легенды. Первую я услышала еще в детстве: МХТ привез в Петербург «На дне». Я увидела фотографию курносого парня в косоворотке: был босяком, стал писателем. Вышел из народа. Знаменитый. С Львом Толстым на скамейке в саду снимался. В тюрьме сидел. Весь мир его слушает, и читает, и смотрит на него. Пешком всю Россию прошел и теперь книги пишет.

Вторая легенда пришла ко мне через Ходасевича. Фоном ее была огромная квартира Горького на Кронверкском проспекте в Петербурге. Столько народу приходило туда ночевать (собственно — чай пить, но люди почему-то оставались там на многие годы), столько народу там жило, пило, ело, отогревалось (укрывалось?), что сломали стену и из двух квартир сделали одну. В одной комнате жила баронесса Будберг (тогда еще Закревская-Бенкендорф), в другой — случайный гость, зашедший на огонек, в третьей — племянница Ходасевича с мужем (художница), в четвертой — подруга художника Татлина, конструктивиста, в пятой гостил Герберт Уэллс, когда приезжал в Россию в 1920 году, в шестой, наконец, жил сам Горький. А в девятой или десятой останавливался Ходасевич, когда наезжал из Москвы. Впоследствии «вел. князь» Гавриил Константинович Романов с женой и собакой тоже находился тут же, в бывшей «гостиной», не говоря уже о М. Ф. Андреевой, второй жене Горького, и время от времени появлявшейся Ек. Павл. Пешковой, первой жене его.

Пролом стены особенно поразил меня. И неприятности, которые у Горького были с Зиновьевым. И закрытие «Новой жизни», газеты Горького в 1917—1918 годах, и наконец — его отъезд. Больной и сердитый на Зиновьева, на Ленина, на самого себя, он уехал за границу. И в квартире стало просторно и тихо. Меня интересовало: заделали ли пролом?

Теперь Горький жил в Херингсдорфе, на берегу Балтийского моря, и все еще сердился, особенно же на А. Н. Толстого и газету «Накануне» *, с которой не хотел иметь ничего общего. Но А. Н. Толстой, стучавший в то время на машинке свой роман «Аэлита», считал это блажью и, встретив Ходасевича на Тауенцинштрассе в Берлине, прямо сказал ему, взяв его за лацкан пиджака (на сей раз не переделанного «Мишиного фрака», а перелицованного костюма присяжного поверенного Н.):

— Послушайте, ну что это за костюм на вас надет? Вы что, собираетесь в Европе одеваться «идейно»? Идите к моему портному, счет велите послать «Накануне». Я и рубашки заказываю — готовые скверно сидят.

Писатель «земли русской» бедности не любил и умел жить в довольстве. Но Ходасевич к портному не пошел: он в «Накануне» сотрудничать не собирался.

У А. Н. Толстого в доме уже чувствовался скорый отъезд всего семейства в Россию. Поэтесса Н. Крандиевская, его вторая жена, располневшая, беременная третьим сыном (первый, от ее брака с Волькенштейном, жил тут же), во всем согласная с мужем, писала стихи о своем «страстном теле» и каких-то «несытых объятиях», слушая которые, я чувствовала себя неловко. Толстой был хороший рассказчик, чувство юмора его было грубовато и примитивно, как и его писания, но он умел самый факт сделать живым и интересным, хотя, слушая его, повествующего о визите к зубному врачу, рассказывающего еврейские или армянские анекдоты, рисующего картину, как «два кобеля» (он и Ходасевич) поехали в гости к третьему (Горькому), уже можно было предвидеть, до какой вульгарности опустится он в поздних своих романах. «Детство Никиты» он писал еще в других политических настроениях. Между «Детством» и «Аэлитой» лежит пропасть. Я с удивлением смотрела, как он стучит по ремингтону тут же, в присутствии гостей, в углу гостиной, не переписывает, а сочиняет свой роман, уже запроданный в Госиздат. И по всему чувствовалось, что он не только больше всего на свете любит деньги тратить, но и очень любит их считать, презирает тех, у кого другие интересы, и этого не скрывает. Ему надо было пережить бедствия, быть непосредственно вовлеченным во всероссийский катаклизм, чтобы ухитриться написать первый том «Хождения по мукам» — вещь, выправленную по старым литературным рецептам. Когда он почувствовал себя невредимым, он покатился по наклонной плоскости. Я теперь сомневаюсь даже в том, был ли у него т а л а н т (соединение многих элементов, или части из них, или всех их в малой степени: «искра», дисциплина, особливость, мера, вкус, ум, глаз, язык и способность к абстрагированию).

* Газета «сменовеховцев».

Мы приехали в Херингсдорф к Горькому 27 августа 1922 года (Ходасевич уже был там в начале июля, сейчас же по приезде в Германию). Не разрыв интеллигенции с народом, но разрыв между двумя частями интеллигенции казался мне всегда для русской культуры роковым. Разрыв между интеллигенцией и народом в России был гораздо слабее, чем во многих других странах. Он есть всюду — и в Швеции, и в Италии, и в Кении. Одни смотрят телевизор, другие в это время читают книги, третьи их пишут, четвертые заваливаются спать рано, потому что завтра надо встать «с солнышком». X. не пойдет смотреть оперетку, Y не пойдет смотреть драму Стриндберга, Z не пойдет ни на то, ни на другое, а будет дома писать собственную пьесу. А кто-то четвертый не слыхал о том, что в городе есть театр. Все это в порядке вещей. Но когда интеллигенция поделена надвое до основания, тогда исчезает самая надежда на что-то похожее на единую, цельную и неразрывную во времени духовную цивилизацию и национальный умственный прогресс, потому что нет ценностей, которые уважались бы всеми. Как бы марксистски ни рассуждал современный француз — для него Валери всегда будет велик. Как бы абстрактно ни писал американский художник Поллок, он будет велик для самого заядлого американского мещанина и прагматика. На дом, где жил Уайльд, через пятьдесят лет после его смерти прибивают мраморную доску, одной рукой запрещают, другой рукой издают сочинения Лоуренса, 12-тональную музыку стараются протащить в государством субсидируемые концертные залы — и кто же? Английские, американские, немецкие чиновники! Так идет постепенно признание того, что коробило и ужасало людей четверть века тому назад, мещан, которые в то же время — опора государства. Это посильная борьба западной интеллигенции — через власть — со своим национальным мещанством.

У нас интеллигенция в тот самый день, когда родилось это слово, уже была рассечена надвое: одни любили Бланки, другие Бальмонта. И если вы любили Бланки, вы не могли ни любить, ни уважать Бальмонта. Вы могли любить Курочкина или, вернее, Беранже в переводах Курочкина, а если вы любили Влад. Соловьева, то, значит, вы были равнодушны к конституции, и впереди у вас была только одна дорога: мракобесие. Тем самым обе половины русской интеллигенции таили в себе элементы и революции, и реакции: левые политики были реакционны в искусстве, авангард искусства был либо политически реакционен, либо индифферентен. На Западе люди имеют одно общее священное «шу» (китайское слово, оно значит то, что каждый, кто бы он ни был и как бы ни думал, признает и уважает) и все уравновешивают друг друга, и это равновесие есть один из величайших факторов западной культуры и демократии. Но у русской интеллигенции элементы революции и реакции никогда ничего не уравновешивали, и не было общего «шу», потому, быть может, что русские не часто способны на компромисс, и само это слово, полное в западном мире великого творческого и миротворческого значения, на русском языке носит на себе печать мелкой подлости.

В первый вечер у Горького я поняла, что этот человек принадлежит к другой части интеллигенции, чем те люди, которых я знала до сих пор.

Любит ли он Гоголя? М-м-м, да, конечно... но он любит и Елпатьевского — обоих он считает «реалистами», и потому их вполне можно сравнивать и даже одного предпочесть другому. Любит ли он Достоевского? Нет, он ненавидит Достоевского. Так он сказал мне тогда, в первый вечер знакомства, и много раз потом это повторял.

— Читали Огурцова? — спросил он меня тогда же. Нет, я не читала Огурцова. Глаза его увлажнились: в то время на Огурцова он возлагал надежды. Таинственного Огурцова я так никогда и не прочла.

И вот: первые минуты в столовой, пронзительный взгляд голубых глаз, глухой, с покашливанием голос, движения рук — очень гладких, чистых и ровных (кто-то сказал: как у солдата, вышедшего из лазарета), весь его облик — высокого, сутулого человека, с впалой грудью и прямыми ногами. Да, у него была снисходительная, не всегда нравившаяся улыбка, лицо, которое умело становиться злым (когда краснела шея и скулы двигались под кожей), у него была привычка смотреть поверх собеседника, когда бывал ему задан какой-нибудь острый или неприятный вопрос, барабанить пальцами по столу или, не слушая, напевать что-то. Все это было в нем, но, кроме этого, было еще и другое: природное очарование умного, непохожего на остальных людей человека, прожившего большую, трудную и замечательную жизнь. И в тот вечер я, конечно, видела только это очарование, я не знала еще, что многое из того, что говорится Горьким как бы для меня, на самом деле говорится всегда, при всякой новой встрече с незнакомым человеком, которого он хочет расположить к себе, что самый тон его разговора, даже движения, которыми он его сопровождает, — от его актерства, а не от непосредственного чувства к собеседнику. Чай сменился обедом, в тишине столовой мы сидели вчетвером: Горький, Ходасевич, художник И. Н. Ракицкий *, живший в доме, и я. «Как удачно вы приехали, — несколько раз повторил Горький, — сегодня утром все уехали, и Шаляпин, и Максим, и еще кто-то — не помню даже кто, столько было народу все эти дни».

О чем говорилось в тот вечер? Сначала — о Петербурге, потому что Горький

* Иван Николаевич, умер в 1942 году.

хотел новостей. Сам он выехал за границу за девять месяцев до этого, но до сих пор чувствовал себя наполовину там. Большевиков он ругал, жаловался, что нельзя издавать журнала (издавать в Берлине и ввозить в Россию), что книги не выходят в достаточном количестве, что цензура действует нелепо и грубо, запрещая прекрасные вещи. Он говорил о непорядках в Доме литераторов и о безобразиях в Доме ученых, при упоминании о сменовеховстве он пожал плечами, а о «Накануне» отозвался с неприязнью. Несколько раз в разговоре он вспомнил Зиновьева и свои давние на него обиды.

Но к концу обеда с этим было покончено. Разговор перешел на литературу, на современную литературу, на молодежь, на моих петербургских сверстников и, наконец, на меня. Как сотни начинающих, да еще, кроме стихов, ничего писать не умеющих, я должна была прочесть ему мои стихи.

Он слушал внимательно, он всегда слушал внимательно, что бы ему ни читали, что бы ни рассказывали, — и запоминал на всю жизнь, таково было свойство его памяти. Стихи вообще он очень любил, во всяком случае, они трогали его до слез — и хорошие, и даже совсем нехорошие. «Старайтесь, — сказал он, — не торопитесь печататься, учитесь...» Он был всегда — и ко мне — доброжелателен: для него человек, решивший посвятить себя литературе, науке, искусству, был свят.

Он любил стихи, но у него были раз и навсегда усвоенные правила касательно «благозвучности» и «красоты» поэзии, которыми он руководствовался, когда судил. В прозе они тоже мешали ему, делали его суждения сухими, но, когда он говорил или писал о стихах, это часто бывало нестерпимо. Вот что однажды написал он мне — в этой цитате, очень для него характерной, отразилось все его отношение к поэтам и поэзии:

«Мне кажется, что определение: «поэт — эхо мировой жизни» самое верное... Разве есть что-нибудь лучше литературы — искусства слова? Ничего нет».

Трудно поверить, что этот человек мог плакать настоящими слезами от стихов Пушкина, Блока... впрочем, не только Пушкина и Блока, но и Огурцова, и Бабкина, и многих других.

Горничная, убрав со стола, ушла. За окном стемнело. Теперь Горький рассказывал. Много раз после этого вечера я слышала эти же самые рассказы — о том же самом, рассказанные теми же словами, таким же неопытным слушателям, какой была я тогда. Но, слушая Горького впервые, нельзя было не восхититься его даром. Трудно рассказать об этом людям, его не слышавшим. Сейчас талантливых рассказчиков становится все меньше, поколение, родившееся в этом столетии, будучи само несколько косноязычным, вообще не очень любит слушать ораторов за чайным столом. У Горького в устных его рассказах было то хорошо, что он говорил не совсем то, что писал, и не совсем так, как писал: без нравоучений, без подчеркиваний, просто так, как было.

Для него всегда был важен *факт*, случай из действительной жизни. К человеческому воображению он относился враждебно, сказок не понимал.

— Да ведь это действительно так и было! — восклицал он с восторгом, прочтя какой-нибудь рассказ или очерк.

— Это было совершенно не так, — сказал он мрачно о «Бездне» Леонида Андреева. — Он присочинил конец, и я с ним после этого поссорился.

А вместе с тем у него не было последовательности, и в одном из его писем (ноябрь 1925 г.) можно найти такую фразу: «Я не любил фактов и с величайшим удовольствием искажал их». Что это значит? Только то, что он «поступательный ход» революционного будущего любил еще больше фактов и искажал эти последние в пользу революционного будущего.

Часы показывали второй час ночи. Я слушала. Мне казалось, что я хожу с ним вместе по России, сорок лет тому назад, — с Волги на Дон, из Крыма на Украину. Все было здесь: и нижегородские анекдоты, и время политических преследований, и знаменитое побоище в одном селе, когда он вступился за избиваемую женщину, и начало Художественного театра, и Америка. Руки его лежали на столе, лицо с характерными открытыми ноздрями и висячими усами было поднято, голос, колеблясь, то удалялся от меня, и это значит, что дремота одолевает меня, — то приближался ко мне, — и это значит, что я широко открываю глаза, боясь заснуть. Что делать! Морской воздух, путешествие, молодость делали то, что я с трудом удерживалась от того, чтобы не положить голову на стол.

Ему не надо было ставить вопросов. Подпершись одной рукой, другой шевеля перед собой, он говорил и курил; когда закуривал, то не гасил спичек, а складывал из них в пепельнице костер. Наконец он взглянул на меня пристально.

— Пора спать, — сказал он улыбаясь, — уведите поэтессу.

Художник Ракицкий, исполнявший в доме должность хозяйки за отсутствием таковой, отвел меня наверх. В этой комнате еще накануне ночевал Шаляпин, которого я до того видела всего два раза на сцене, в России, и мне казалось, что в воздухе еще витает его тень. Когда я осталась одна, я долго сидела на постели. Я слышала за стеной кашель Горького, его шаги, перелистывание страниц (он читал перед сном). Всякое суждение о том, что я видела и слышала, я откладывала на потом.

25 сентября 1922 года Горький переехал в Сааров, в полутора часах езды по железной дороге от Берлина, в сторону Франкфурта-на-Одере, а в начале нояб-

ря он уговорил и нас переехать туда. Мы поселились в двух комнатах в гостинице около вокзала.

«Кронверкская» атмосфера, дух постоялого двора в доме Горького, возобновилась в Саарове, в тихом дачном месте, пустом зимой, на берегу большого озера, по которому однажды Максим уговорил меня пронестись в ветреную погоду под парусом.

«Кронверкская» атмосфера возобновилась, правда, только по воскресеньям: уже с утренним поездом из Берлина начинали приезжать люди — близкие и случайные, но преимущественно, конечно, так называемые «свои», которых было немало.

Я видела из окна гостиницы «Банхоф отель», как шли они с вокзала по вымершим улицам немецкого местечка, где тишина нарушалась только свистом редких поездов, а чистота была такая, что после долгого осеннего дождя улицы казались вымытыми. Недалеко от дома Горького был лесок, где водились лани. Каждая называлась по имени, а деревья стояли под номерами.

Для Марии Федоровны Андреевой, его второй жены, приезжавшей довольно часто, все в доме было нехорошо.

— И чем это тебя тут кормят?— говорила она, брезгливо разглядывая поданную ему котлету.— И что это на тебе надето? Неужели нельзя было найти виллу получше?

Она, несмотря на годы, все еще была красива, гордо носила свою рыжую голову, играла кольцами, качала узкой туфелькой. Ее сын от первого брака (кинорaботник), господин лет сорока на вид, с женой тоже бывали иногда, но она и к ним, как и ко всем вообще, относилась с презрительным снисхождением. Я никогда не видела в ее лице, никогда не слышала в ее голосе никакой прелести. Вероятно, и без прелести она в свое время была прекрасна.

Мария Федоровна не приезжала в те дни, когда к Горькому приезжала Екатерина Павловна — первая его жена и мать его сына. Она была совсем в другом роде. Приезжала она прямо из Москвы, из кремлевских приемных, заряженная всевозможными новостями. Тогда из кабинета Горького слышалось: «Владимир Ильич сказал... А Феликс Эдмундович на это ответил...» У нее была привычка заглядывать человеку в глаза, и в ней еще жива была старая интеллигентская манера, усвоенная в молодости, говорить как бы «от души».

С Марией Федоровной приезжал П. П. Крючков, доверенное лицо Горького, что-то вроде фактотума; позже Сталин доказал, что он был «врагом народа» и расстрелял его после того, как Крючков во всем покаялся. Он до сих пор официально не реабилитирован. С Екатериной Павловной приезжал некто Мих. Конст. Николаев, заведующий «Международной книгой». Он говорил мало и больше играл в саду с собакой (он умер в 1947 году).

И вот накрывается стол на двенадцать человек, со всего дома сносятся стулья. М. И. Будберг *, секретарша и друг Горького, разливает суп. О ней надо сказать два слова: Мария Игнатьевна, урожденная графиня Закревская (правнучка Пушкинской «медной Венеры»), по первому мужу графиня Бенкендорф, по второму — баронесса Будберг. О ней написана была книга — лет 35 тому назад, и опубликован был дневник Локкарта, первого секретаря английского посольства в Петербурге, во время революции заменившего в 1918 году уехавшего в Англию посла Бьюкенена, где она названа Марой (на самом деле уменьшительное ее было Мура). По книге был сделан фильм «Британский агент», в котором играли Лесли Ховард и Кей Франсис. Мария Игнатьевна появилась на Кронверкском в 1919—1920 гг., после того, как отсидела в Чека в связи с арестом самого Локкарта. Когда Локкарт был выпущен и выслан в Англию, она стала искать работу, пришла во «Всемирную литературу» и познакомилась с К. И. Чуковским, который и привел ее к Горькому. Она хорошо знала английский язык и искала работы как переводчица. Она поселилась на Кронверкском и жила там до своего отъезда (нелегального) в Таллин. В Эстонии, где жили ее дети, она вскоре вышла замуж за барона Николая Будберга. Когда Горький в октябре 1921 года приехал в Берлин, она снова соединилась с ним и до 1933 года оставалась ближайшим к нему человеком. Три раза в год она уезжала навестить своих детей в Таллин, а также в Лондон, где у нее были друзья, среди которых наиболее близким был Герберт Уэллс. После окончательного переезда Горького в 1933 году в СССР она открыла в Лондоне литературное агентство. В свое время она много переводила Горького на английский язык, к сожалению, ее переводы очень слабы: в сборнике лучших рассказов Горького 1921—1925 годов (куда входят такие вещи, как «Рассказ о герое» и «Голубое молчание») она пропускала целые абзацы и часто не понимала русских выражений. Она продолжала, однако, переводить в двадцатых и тридцатых годах рекомендованных Горьким авторов (Зозулю, Сергеева-Ценского и др.), а позже, уже в шестидесятых годах, так же небрежно — «Воспоминания» Александра Бенуа.

Итак: М. И. Будберг разливает суп. Разговор за столом шумный, каждый словно говорит для себя, никого не слушая. Мария Федоровна говорит, что клецки в супе несъедобны, и спрашивает, верю я ли в Бога. Семен Юшкевич, смотря вокруг себя грустными глазами,— о том, что все ни к чему, и скоро будет смерть, и пора о душе подумать. Андрей Белый с напряженной улыбкой

* О ней см. Н. Б. «Железная женщина». Нью-Йорк, Руссика. 1982.

сверлящими глазами смотрит себе в тарелку — ему забыли дать ложку, и он молча ждет, когда кто-нибудь из домашних это заметит. Он ошеломлен шумом, хохотом на «молодом» конце стола и гробовым молчанием самого хозяина, который смотрит поверх всех, барабанит по столу пальцами и молчит — это значит, что он не в духе. Тут же сидят Ходасевич, Виктор Шкловский, Сумский (издатель «Эпохи»), Гржебин, Ладыжников (старый друг Горького и его издатель тоже), дирижер и пианист Добровейн, другие гости. Только постепенно Горький оттаивает, и к концу обеда затевается уже стройный разговор, преимущественно говорит сам Горький, иногда говорят Ходасевич или Белый... Но Белый здесь не такой, как всегда, здесь его церемонная вежливость бывает доведена до крайних пределов, он соглашается со всеми, едва вникая, даже с Марией Федоровной — в том, что курица пережарена. И сейчас же до слез смущается.

Но, может быть, это был самый верный тон, тон Белого в разговорах с Горьким. Спорить с Горьким было трудно. Убедить его в чем-либо нельзя было уже потому, что он имел удивительную способность: не слушать того, что ему не нравилось, не отвечать, когда ему задавался вопрос, на который у него не было ответа. Он «делал глухое ухо», как выражалась М. И. Будберг (любившая, как княгиня Бетси Тверская в «Анне Карениной», переводить на русский язык английские и французские идеоматические выражения буквально); он до такой степени делал это «глухое ухо», что оставалось только замолчать. Иногда, впрочем, не «сделав глухого уха», он с злым лицом, красный, вставал и уходил к себе, в дверях напоследок роняя:

— Нет, это не так.

И спор бывал окончен.

Однажды у него в гостях я увидела Рыкова, тогда председателя Совета народных комиссаров, приехавшего в тот год в Германию лечиться от пьянства. Рыков вялым голосом рассказывал о литературной полемике, тогда злободневной, между Сосновским и еще кем-то.

— Чем же все кончилось?—спросил Ходасевич, его эта литературная полемика очень волновала по существу.

— А мы велели прекратить,— вяло ответил Рыков.

Я взглянула на Горького, и вдруг мне показалось, что есть что-то общее между этим ответом Рыкова и его собственным «нет, это совсем не так», говорящимся в дверях.

Кто только не бывал в те годы у Горького — я говорю о приезжих из Советского Союза. Всех не перечислишь. Список имен между 1922 и 1928 годами мог бы начаться с народных комиссаров и послов, пройти через моряков советского флота, через старых и новых писателей и закончиться сестрой М. И. Цветаевой, Анастасией Ивановной, в 1927 году привезшей с собой в Сорренто к Горькому некоего «поэта-импровизатора», Б. Зубакина, который показал на вилле «Иль Сорито» свое искусство, о чем А. И. Цветаева рассказала впоследствии в «Новом мире» (в 1930 году).

Горького надо было выслушивать и молчать. Он, может быть, сам не считал свои мнения непогрешимыми, но что-то перерешать, что-то переоценивать он не хотел, да, вероятно, уже и не мог: тронешь одно, посыплется другое, и все здание рухнет, а тогда что? Пусть уж все остается, как было когда-то построено. Я вхожу в его кабинет перед самым завтраком. Он уже кончил писать (он пишет с девяти часов утра) и сидит теперь за эмигрантскими газетами (берлинскими «Днями», «Рулем», парижскими «Последними новостями»), в пестрой татарской своей тюбетейке. Он знает, что я пришла за книгами, у стены стоят полки. Книги постепенно прибывают из России.

Беру с полки том Достоевского.

— Алексей Максимович, можно взять?..

— Берите что нравится.

Он смотрит на меня из-за очков добрыми глазами, но лучше не говорить, что именно я взяла: за время жизни с ним я пришла к убеждению, что он плакал над русскими стихами, но русской прозы не любил.

Русские писатели XIX века в большинстве были его личными врагами: Достоевского он ненавидел; Гоголя презирал как человека больного физически и морально; от имени Чаадаева и Владимира Соловьева его дергало злобой и страстной ревностью; над Тургеневым он смеялся. Лев Толстой возбуждал в нем какое-то смятение, какое-то мучившее его беспокойство. О, конечно, он считал его великим, величайшим, но он очень любил говорить о его слабости, любил встать на защиту Софьи Андреевны, любил как-то не с той стороны подойти к Толстому. И однажды он сказал:

— Возьмите три книги: «Анну Каренину», «Мадам Бовари» и «Тэсс» Томаса Харди. Насколько западноевропейские писатели это сделали лучше нашего. Насколько там замечательнее написана «такая» женщина!

Но кого же, собственно, он любил?

Прежде всего — своих учеников и последователей, потом провинциальных самоучек, начинающих, ищущих у него поддержки, над которыми он умилялся и из которых никогда ничего не выходило. И еще он любил встреченных в юности, на жизненном пути, исчезнувших из людской памяти писателей, имена которых сейчас уже ничего никому не говорят, но которые в свое время были им прочтены как откровение.

— А вот Каронин,— говорил он,— замечательно это у него описано.

— Я, Алексей Максимович, не читала Каронина.

— Не читали? Непременно прочтите.

Или:

— А вот Елеонский...

Но был один случай, который так и остался единственным. Это было в день присылки ему из русского книжного магазина в Париже только что вышедшей книги последних рассказов Бунина. Все было оставлено: работа, письма, чтение газет. Горький заперся у себя в кабинете, к завтраку вышел с опозданием и в такой рассеянности, что забыл вставить зубы. Смущаясь, он встал и пошел за ними к себе и там долго сморкался.

— Чего это Дука (так его звали в семье) так расчувствовался нынче? — спросил Максим, но никто не знал. И только к чаю выяснилось:

— Понимаете... замечательная вещь... замечательная...— Больше он ничего не мог сказать, но долго после этого он не притрагивался ни к советским новинкам, ни к присланным неведомыми гениями рукописям.

Бунин был в эти годы его раной: он постоянно помнил о том, что где-то жив Бунин, живет в Париже, ненавидит Советскую власть (и Горького вместе с нею), вероятно, бедствует, но пишет прекрасные книги и тоже постоянно помнит о его, Горького, существовании, не может о нем не помнить. Горький до конца жизни, видимо, любопытствовал о Бунине. Среди писем Горького к А. Н. Толстому можно найти одно, в котором он — из Сорренто — пишет Толстому, что́ именно Бунин «говорил на днях». Ему привезла эти новости М. И. Будберг, которая только что была в Париже. В свете случившегося много позже сейчас ясно, что в этих сплетнях замешан был некто Рощин, член Французской компартии, долгие годы живший в доме Бунина как друг и почитатель, о чем до 1946 года никто, конечно, не имел никакого представления.

Читая Бунина, Горький не думал, так ли бывает в действительности или иначе. Правда, сморкаясь и вздыхая у себя над книгой, он не забывал исправлять карандашом (без карандаша в ровных, чистых пальцах я его никогда не видела) опечатки, если таковые были, а на полях против такого, например, словосочетания, как «сапогов новых» — будь это сам Демьян Бедный,— ставил вопросительный знак. Такие словосочетания считались им недопустимыми, это было одно из его правил, пришедших к нему, вероятно, от провинциальных учителей словесности да так в памяти его и застрявших. К аксиомам относились и такие когда-то воспринятые им «истины», как: смерть есть мерзость, цель науки — продлить человеческую жизнь, все физиологические отправления человека — стыдны и отвратительны, всякое проявление человеческого духа способствует прогрессу. Однажды он вышел из своего кабинета, пританцовывая, выделывая руками какие-то движения, напевая и выражая лицом такой восторг, что все остолбенели. Оказывается, он прочел очередную газетную заметку о том, что скоро ученые откроют причину заболевания раком.

Он был доверчив. Он доверял и любил доверять. Его обманывали многие: от повара-итальянца, писавшего невероятные счета, до Ленина — все обещавшего ему какие-то льготы для писателей, ученых и врачей. Для того чтобы доставить Ленину удовольствие, он когда-то написал «Мать». Но Ленин в ответ никакого удовольствия ему не доставил. Горький верил, что между ним и Роменом Ролланом существует единственное в своем роде понимание, возвышенная дружба двух титанов.

Теперь переписка этих двух людей частично опубликована. Она длилась много лет и была довольно частой. Велась она по-французски. Горький писал через переводчика. Несколько раз таким переводчиком была я.

— Н. Н., будьте добры, переведите-ка мне, что тут Роллан пишет.

Я беру тонкий лист бумаги и читаю напоминающий арабские письмена изящный разборчивый почерк.

«Дорогой Друг и Учитель. Я получил Ваше благоуханное письмо, полное цветами и ароматами, и, читая его, я бродил по роскошному саду, наслаждаясь дивными тенями и световыми пятнами Ваших мыслей».

— О чем это он? Я его спрашивал о деле: мне адрес Панаита Истрати нужен, поищите, нет ли его там.

— ...«пятнами Ваших мыслей, уносивших меня улыбками в голубое небо раздумий».

Вечером он приносит черновик ответа для перевода на французский язык. Там написано, что мир за последние сто лет шагнул к свету, что в этом приближении к свету идут рука об руку все достойные носить имя человека. Среди них в первых рядах идет Панаит Истрати, «о котором Вы мне писали, дорогой Друг и Учитель, и которого адрес я убедительно прошу Вас мне прислать в следующем письме».

Иногда — раз в год приблизительно — Роллан присылал Горькому свою фотографию. Перевести на русский язык надписи, которые он на них делал, было еще труднее, чем его письма. Мы это делали все вместе, собравшись в комнате Максима. Максим по всегдашней своей привычке в раздумье ел свою нижнюю губу.

Первая «немецкая» зима сменилась второй — хоть и в Чехии протекала она, но в самом немецком ее углу, в мертвом, заколоченном не в сезон Мариенбаде. Мы поехали туда за Горьким из Праги. И тут уже прекратились всякие наезды — своих и чужих,— в полном одиночестве, окруженный только семьей или людьми, считавшимися ее членами, Горький погрузился в работу: в то время он писал «Дело Артамоновых».

Он вставал в девятом часу и один, пока все спали, пил утренний кофе и глотал два яйца. До часу мы его не видели. Зима была снежной, улицы были в сугробах. Гулять выходили в шубах и валенках, все вместе, уже в сумерках (после завтрака Горький обыкновенно писал письма или читал). По снегу шли в сосновый лес, в гору. Где-то в трех километрах происходили лыжные состязания, гремела музыка, туда мчались фотографы, журналисты. Мы ничего этого не видели. С ноября месяца в городе начались приготовления к рождеству, и мы тоже затеяли елку. Развлечений было немного, а Горький их любил, особенно когда усиленно работал и ему хотелось перебить мысли чем-нибудь легким, не скучным. Елка удалась настоящая, с подарками *, шарадами, даже граммофоном, откуда-то добытым. Но главным развлечением той зимы был кинематограф.

Один раз в неделю, по субботам, за ужином, Горький делал хитрое лицо и осведомлялся, не слишком ли на дворе холодно. Это значило, что сегодня мы поедем в кинематограф. Сейчас же посылали за извозчиком — кинематограф был на другом конце города. Никто не любопытствовал, что за фильм идет, хороший ли, стоит ли ехать. Все бежали наверх одеваться, кутались во все, что было теплого, если была метель; и вот парные широкие сани стоят у крыльца гостиницы «Максхоф» **, мы садимся — все семеро: М. И. Будберг и Горький на заднее сиденье, Ходасевич и Ракицкий на переднее, Н. А. (по прозванию Тимоша, жена Максима) и я — на колени, Максим — на козлы, рядом с кучером. Это называется «выезд пожарной команды».

Лошади несли нас по пустым улицам, бубенчики звенели, фонари сверкали на оглоблях, холодный ветер резал лицо. Езды было минут двадцать. В кино нас встречали с почетом — кроме нас, почти никого и не бывало. Мы, совершенно счастливые и довольные, садились в ряд, и все равно было, что нынче показывают: «Последний день Помпеи», «Двух сироток» или Макса Линдера — на обратном пути нам было так же весело, как и на пути туда.

В ту зиму (1923—1924 гг.) все постепенно отступило перед работой. «Дело Артамоновых» подвигалось, разрасталось, захватывало Горького все сильней и постепенно оттесняло все другое, и даже померк его интерес к собственному журналу («Беседе») — попытке сочетать эмигрантскую и советскую литературу, из которой ничего не вышло. Работа не давала Горькому увидеть, что, в сущности, он остается один на один с самим собой, никого не объединив. Он ждал визу в Италию. Она пришла весной, с точным указанием не поселяться на Капри (где его присутствие могло возбудить какие-то смутные политические страсти, по прежним воспоминаниям), и Горький переехал в Сорренто — последнее место его заграничного житья *. Осенью 1924 года мы последовали за ним.

Последнее место его независимости, его свободной работы над тем, что ему хотелось писать. Ленина больше не было. Его воспоминания об «Ильиче» были первым шагом к примирению с теми, кто был сейчас на верху власти в Москве. «Он поедет туда очень скоро,— сказала я как-то Ходасевичу.— В сущности, даже непонятно, почему он до сих пор не уехал туда». Но Ходасевич не был согласен со мной: ему казалось, что Горький не сможет «переварить» режима, что его удержит глубокая привязанность к старым принципам свободы и достоинства человека. Он не верил в успех тех, кто в окружении Горького работал на его возвращение, мне же казалось, что это случится скорее, чем они предполагают. Сорренто оказалось последним местом, где он мог писать иногда «несозвучно» и говорить вслух, что думает, и последнее место, куда он приехал относительно здоровым, тут, на берегу моря, в доме, из которого был виден Неаполитанский залив, с Везувием и Искией, я впервые увидела его в болезни — и эта болезнь сильно состарила его.

Доктор был привезен из Неаполя и определил сложную простуду с бронхитом. Боялись воспаления легких — всю жизнь и он сам, и близкие его боялись этой болезни, сведшей Горького в могилу (по первой официальной версии). Прописаны были припарки из горячего овса на грудь и спину. Н. А. Пешкова и я одинаково неопытны были в таком лечении. М. И. Будберг была тогда в отъезде. За ширмами, в огромном своем кабинете, на узкой высокой кровати, Горький лежал и кашлял, красный от жара (и от этого еще более рыжий), молча наблюдая за нами, а мы старались действовать быстро и ловко: чтобы овес не остыл, мы накладывали его суповыми ложками на клеенку и завертывали в эту клеенку худое лихорадившее тело, бинтуя длинным, широким бинтом.

— Очень хорошо. Спасибо,— хрипел он, хотя все совсем не было хорошо.

В камине потрескивали оливковые ветки, тени бегали по стенам и потолку. Ночами мы дежурили у постели Горького по очереди. Наутро опять приезжал доктор. Горький не был мнителен и лечиться не любил.

— Ох, оставьте меня, оставьте,— говорил он,— скажите этому господину, чтобы он убирался домой.

— Что изволит говорить великий писатель? — почтительно спрашивал доктор.

— Переведите ему, что он может убираться ко всем чертям. Я и без него выздоровею,— бормотал Горький.

* У меня до сих пор цела шкатулка кипарисового дерева с инкрустациями.

** А не Саварин, как сказано в Краткой литературной энциклопедии.

* Отсюда в 1928 г. он поехал в СССР, а 17 мая 1933 г. переехал туда окончательно.

Он выздоровел скорее, чем мы думали.

С обвязанным горлом, с сильной проседью в чуть поредевшем ежике, опять он налаживал свой день, свою работу.

Здесь не было ни елок, ни кино, зато была Италия, которой он наслаждался каждую минуту своего в ней пребывания. Каприйские воспоминания еще прочно жили в нем:

— Я покажу вам... я свожу вас...— говорил он, но все менялется, и эти места, как все, переменились со времени войны: прежних уличных певцов он так и не мог найти, новые же пели модные американские песенки, а тарантеллу на площади городка перед кафе танцевали теперь дети, обходившие потом с тарелкой приезжих туристов.

В январе бывали дни, когда все четыре окна его кабинета были открыты настежь. Он выходил на балкон. Внизу в саду раздавались голоса: Максим в тот год завел мотоциклетку и возился с ней. Выносливая машина с тремя пассажирами (двое в колясочке, третий — на седле) летала через холмы — в Амальфи, в Равелло, в Граньяно. Горький от предложения прокатиться только отмахивался: к быстроте передвижения у него появился страх.

Отвращение, между прочим, было у него и ко всякого рода наркотикам. Он много курил, иногда любил выпить, но заставить его принять пирамидон или выдержать в дупле зуба кокаин было невозможно. Он какие-то мучительные операции проделывал над собой и был необычайно терпелив ко всякой боли.

Он любил рассказывать на прогулках про Чехова, про Андреева, про все то, что быстро уходило в прошлое. А в прошлое тогда уходила и пора «Летописи», и пора «Новой жизни». Но он не любил говорить о старых своих книгах — в этом он ничем не отличался от большинства авторов — и не любил, когда прежние его вещи вспоминали и хвалили. Упомянуть при нем о «Песне о буревестнике» было бы совершенно бестактно. Даже его рассказ «О безответной любви», написанный под Берлином, отходил в прошлое,— вероятно, тому виной были «Артамоновы», которых он дописывал в это время с таким увлечением.

Вечером бывали карты, когда ранней итальянской весной выл ветер и лил дождь. Максим и я занимались нашим «журналом». Не помню, как он возник и почему; мы выпускали его раз в месяц, в единственном экземпляре, роскошном, переписанном от руки и иллюстрированном. Главной заботой Максима было, чтобы Горький давал в «журнал» неизданные вещи. Журнал был юмористический. И вот Горький смущенно входил в комнату сына, держа в руке лист бумаги.

— Вот я тут принес стишок один. Может, подойдет?

— Нигде напечатан не был?

— Да нет, ей-богу же, честное слово! Сейчас только сочинил.

— А ну давай!

Горький острить не умел. В стихах особенно. Помню такое четверостишие: «В воде без видимого повода / Плескался язь, / А на плече моем два овода / Вступили в связь». Максим акварелью иллюстрировал текст. В этом «журнале» было помещено мое первое произведение прозой: «Роман в письмах». Письма писались от лица девочки лет двенадцати, которая жила в доме Горького, куда на огонек заходили Тургенев и Пушкин. Все вместе гуляли, и обедали, и играли в дурачки с Достоевским...

Часто глядя на Горького, слушая его, я старалась понять, что именно держит его в Европе, чего он не может принять в России? Он ворчал, получая какие-то письма, иногда стучал по столу, сжимая челюсти, говорил:

— О, мерзавцы, мерзавцы!

Или:

— О, дурачье проклятое!

Но на следующий день опять его тянуло в ту сторону, и чувствовалось, что и мелкие, и крупные несогласия могут сгладиться.

Слишком многое было ему чуждо, а то и враждебно в новой (послевоенной) Европе, слишком велика была потребность в целостном мировоззрении, которое еще двадцать пять лет тому назад он получил от социал-демократии (не без помощи Ленина) и без которого не мог представить себе существования. И становилось ясно только на т о й стороне существуют люди, в основном схожие с ним, тогда т а м он убережет себя от забвения как писателя, от одиночества, от нужды. Страх именно т а м потерять читателя все рос в нем, он с тревогой слушал речи о том, что т а м теперь начинают писать «под Пильняка», «под Маяковского». Он боялся, что он вдруг окажется никому не нужен.

«Дело Артамоновых» он едва дописал, как сейчас же захотел прочесть его нам — первая часть романа была окончена, две следующие написаны лишь вчерне (потом он переделал и испортил их). Странным может показаться, что он решил прочесть роман целиком вслух, он читал его три вечера подряд, до хрипоты, до потери голоса, но, видимо, это было нужно не только для того, чтобы увидеть наше впечатление, но и для того, чтобы он сам мог услышать себя.

В углу за столом сидел он, в золотых очках, делавших его похожим на старого мастерового. Свет падал на рукопись и руки. В довольно большом расстоянии от него, у потухшего камина, на диване, прислонившись друг к другу, крепко спали Максим и его жена — больше часа они чтения не выдерживали. М. И. Будберг, Ракицкий, Ходасевич и я сидели в креслах. Собака лежала на ковре. Ничем не занавешенные окна блестели чернотой. Огни Кастелламаре переливались на горизонте, огненная лесенка Везувия сверкала в небе. Изредка Горький глотал воду из стакана, закуривал, все чаще к концу вынимал платок и вытирал взмокшие от слез глаза. Он не стеснялся при нас плакать над собственной вещью.

Вот отрывок стихов, написанных в те дни об этих вечерних чтениях:

...Вчера звезда
В окне сияла надо мной,
И долго под окном вода
Играла в тишине ночной.
Зняла над заливом темь,
А в комнате нас было семь.
. . . .
Перед камином пес лежал,
Горели свечи в колпаках,
Оконных стекол и зеркал
Сверкали плоскости впотьмах,
И отражались здесь и там:
Лицо, рука, и пополам
Разрезанный широкий стол,
И итальянский пестрый пол,
На чем-то одинокий блик,
И скошенная полка книг.

В «Деле Артамоновых» были и есть — несмотря на последующие поправки — очень сильные, замечательные страницы, в целом роман этот закончил собой целый период горьковского творчества, но был слабее того, что было Горьким написано в предыдущие годы. Эти годы, между приездом его из России в Германию и «Артамоновыми», были лучшими во всей творческой истории Горького. Это был подъем всех его сил и ослабление его нравоучительного нажима. В Германии, в Чехии, в Италии между 1921 и 1925 годом он не поучал, он писал с максимумом свободы, равновесия и вдохновения, с минимумом оглядки на то, какую п о л ь з у будущему коммунизму принесут его писания. Он написал семь или восемь больших рассказов как бы для себя самого, это были рассказы-сны, рассказы-видения, рассказы-безумства. «Артамоновы» оказались схождением с этой плоскости вниз, к последнему периоду, который сейчас читать уже очень трудно.

Из советских критиков, кажется, ни один не понял и не оценил этого периода, но сам Горький чувствовал, что стал писать иначе: в одном письме 1926 года он признался, что «стал писать лучше» (Литер. наследство, кн. 70). Весь этот период (двадцатые годы), несомненно, содержит вещи, которые будут жить, когда умрут его ранние и поздние писания. Почему эти годы оказались для него такими? Легкий ответ: потому что он жил на Западе и был свободен от российских политических впечатлений, потому что ему не диктовали и он был сам по себе. Но не только в этом дело: был — после революционных лет — отдых в комфорте и покое, была личная жизнь, которая не мучила, а остановилась на счастливой точке, был «момент его судьбы» — без денежных забот, проблем, решений на будущее. Был момент судьбы, когда писатель остается наедине с собой, с пером в руке и настежь открытым сознанием.

Он приехал в Европу, как я уже сказала, сердитый на многое, в том числе и на Ленина. И не только сердитый на то, что творилось в России в 1918—1921 годах, но и тяжело разрушенный виденным и пережитым. Один разговор его с Ходасевичем остался у меня в памяти: они вспоминали, как оба (но в разное время) в 1920 году побывали в одном детском доме, или, может быть, изоляторе, для малолетних. Это были исключительно девочки, сифилитички, беспризорные лет двенадцати — пятнадцати, девять из десяти были воровки, половина была беременна. Ходасевич, несмотря на, казалось бы, нервность его природы, с какой-то жалостью, смешанной с отвращением, вспоминал, как эти девочки в лохмотьях и во вшах облепили его, собираясь раздеть его тут же на лестнице, и сами поднимали свои рваные юбки выше головы, крича ему непристойности. Он с трудом вырвался от них. Горький прошел через такую же сцену: когда он заговорил о ней, ужас был на его лице, он стиснул челюсти и вдруг замолк. Видно было, что это посещение глубоко потрясло его, больше, может быть, чем многие прежние впечатления «босяка» от ужасов «дна», из которых он делал свои ранние вещи. И что, может быть, теперь в Европе он залечивает некоторые раны, в которых сам себе боится признаться, и иногда (хотя и не следуя ненавистному ему Достоевскому) спрашивает себя — и только себя: с т о и л о л и?

Смерть Ленина, которая вызвала в нем обильные слезы, примирила его с ним. Сентиментальное отношение к Дзержинскому было ему присуще давно. Он стал писать свои воспоминания о Ленине в первый же день, когда была получена телеграмма о его смерти (от Екатерины Павловны). На следующий день (22 января 1924 года) была в Москву послана телеграмма соболезнования. В ней Горький просил Е. П. Пешкову возложить на гроб Ленина венок с надписью «Прощай, друг!» Воспоминания свои он писал, обливаясь слезами. Что-то вдруг бабье появилось в нем в эти дни, потом пропало. Эта способность слезных желез выделять жидкость по любому поводу (грубовато отмеченная Маяковским) была и осталась для меня загадкой. В детерминированном мире, в котором он жил, слезам, кажется, не должно было быть места.

В апреле 1925 года мы уехали. Накануне вечером я сказала ему, что самым главным в нем для меня была его «божественная электрическая энергия».

— У Вячеслава Иванова,— засмеялась я,— она шла от Диониса. А у вас?

— А у вас? — спросил он меня в ответ, не смеясь.

Я напомнила ему его собственное выражение, кажется, это было в 1884 году, он где-то разгружал баржу и, разгружая баржу, почувствовал «полубезумный восторг делания». Я сказала ему,

что это я хорошо понимаю, но, смущаясь, опять засмеялась.

— Я смеюсь,— призналась я, когда он в ответ промолчал,— но я это говорю совершенно серьезно.

— Я это чувствую,— сказал он, тронутый, и заговорил о другом.

Итальянский извозчик лихо подкатил к крыльцу, стегая каурую лошадку. Горький стоял в воротах, в обычном своем одеянии: фланелевые брюки, голубая рубашка, синий галстук, серая вязаная кофта на пуговицах. Ходасевич мне сказал: мы больше никогда его не увидим. И потом, когда коляска покатила вниз, к городу, и фигура на крыльце скрылась за поворотом, добавил с обычной своей точностью и беспощадностью:

— Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию.— Теперь и у Ходасевича в этом сомнений не оставалось.

Горький вернулся в Россию через три года. Там к его ногам положены были не только главные улицы больших городов, не только театры, научные институты, заводы, колхозы, но и целый город. Он там потерял сына *, может быть, искусно убранного Ягодой, а может быть, и нет; потерял и самого себя. Существует легенда о том, что в последние месяцы жизни он много плакал, вел дневник, который прятал, просил, чтобы его отпустили в Европу. Что в этой легенде правда, что вымысел, может быть, никогда не выйдет наружу или выйдет наружу через сто лет, когда это потеряет интерес. Тайны со временем теряют свой интерес: кто скрывался под именем Железной маски, сейчас не имеет значения ни для кого, кроме как для историков. Опубликование писем Наталии Герцен к Гервегу (в Англии) прошло почти не замеченным; опубликованный во Франции архив Геккерена до сих пор не переведен и не принят во внимание в России. Все имеет свое время, и тайны умирают, как и все остальное. Был ли Горький убит нанятыми Сталиным палачами или умер от воспаления легких,— сейчас на этот вопрос ответа нет. Но важнее этого: что делалось в нем, когда он начал осознавать «плановое» уничтожение русской литературы? Гибель всего того, что всю жизнь любил и уважал? И был ли около него хоть один человек, кому он мог верить и с кем мог говорить об этом? В нем всегда была двусмысленность. Спасла ли она его от чего-нибудь?

Для него всегда было важнее быть услышанным, чем высказаться. Самый факт высказывания был ему менее нужен, чем чтобы его услышали или прочли. Для пишущего в этом факте нет ничего удивительного, большинство писателей его поколения были бы в этом согласны с ним. Но насколько люди, для которых высказывание является самым важным в жизни, а все остальное необязательно, свободнее, сильнее и счастливее тех, которые высказываются не для того, чтобы освободить **себя**, но для того, чтобы вызвать в **других** соответственную реакцию. Эти последние — рабы своей аудитории, они без нее не чувствуют себя живыми. Они существуют только во взаимоотношениях с этой аудиторией, в признании себе подобных и даже не сознают той несвободы, в которой живут.

Я стараюсь подвести итоги тому, что я получила в свое время от этого человека. Тревога о социальном неравенстве — она всегда была (и есть) во мне. Его игра ума была неинтересна, его философия неоригинальна, его суждения о жизни и людях — в чуждом для меня разрезе. Только «полубезумный восторг делания» на фоне российской косности и бытовой консервативности нашел во мне отклик. И, пожалуй, минуя его суть, что-то в характере, что делало его в домашней жизни спокойным, широким, иногда теплым, всегда доброжелательным, и не только к Ходасевичу и ко мне. Я бы сказала, что перед Ходасевичем он временами благоговел — закрывая глаза на его литературную далекость, даже чуждость. Он позволял ему говорить себе правду в глаза, и Ходасевич пользовался этим. Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге. Таких людей около него не было: одни, завися от него, льстили ему, другие, не завися от него, проходили мимо с глубоким, обидным безразличием.

Было время в двадцатых годах, еще задолго до того, как он был объявлен отцом социалистического реализма, а его роман «Мать» — краеугольным камнем советской литературы, когда не слава, но влияние его пошатнулось в Советском Союзе (а любопытство к нему на Западе стало стремительно бледнеть). Последние символисты, акмеисты, боевые западники, Маяковский и конструктивисты, Пильняк, Эренбург, то новое, что пришло (и ушло) в романе Олеши «Зависть», период «Лефа», расцвет формального метода — все это работало против него. И молодая советская литература, деятели которой теперь, в шестидесятых годах, со слезой вспоминают, как их благословил в начале их поприща Горький, тогда либо с большой опаской и малым интересом, либо с сильным критическим чувством относились к его скучноватым, нравоучительным «правдивым» писаниям — в авангардной творческой фантазии вышеназванных направлений и групп факту как таковому в его «революционном развитии» не было места. Но «Леф» был закрыт, символисты умерли, Маяковский застрелился, Пильняк был погублен, формалистам заткнули рот. И вот на Первом съезде писателей, в 1934 году, после того как Горького возили «от белых вод до черных», он был объявлен великим, а «Самгин» и «Булычев» — образцами литературы настоящего и будущего.

* Максим умер 11 мая 1934 г.

Между тем, как ни странно, если не в литературе, то в жизни он понимал легкость, отдыхал на легкости, завидовал легкости. В Италии он любил именно легкость: танцевали ли на площади лавочники, или клал кирпичи, горланя песню, каменщик — он завистливо и нежно смотрел на них, говоря, что всему причиной здесь солнце. Но в литературе он не только не понимал легкости, он боялся ее, как соблазна. Потому что от литературы всегда ожидал урока. Когда однажды П. П. Муратов читал в Сорренто свою пьесу «Дафнис и Хлоя», он был так раздражен этой комедией, что весь покраснел и забарабанил пальцами по столу, книгам, коленям, молча отошел в угол и оттуда злобно смотрел на всех нас. А между тем в прелестной этой вещи (которая носит на себе сильную печать времени, то есть танцующей на вулкане послевоенной Европы, и которая насквозь символична) было столько юмора и полное отсутствие какой-либо дидактики, и чувствовалось, что автор ничего не принимает всерьез (пользуясь своим на то правом, которое, впрочем, дано каждому из нас): ни себя, ни мира, ни автора «Матери», ни всех нас, ни вот эту самую свою комедию, которую даже не собирается печатать и которую, может быть, писал шутя (а может быть, и нет).

В русской жизни было мало юмора, а теперь его нет совсем. И в русском человеке — говорю только на основании собственного опыта, не по словам других людей или на основании прочтенных книг — юмора тоже маловато. Не потому его нет в людях, что его мало было и есть в жизни, а его мало в жизни потому, что его недостаточно в людях. Особенно же в той части интеллигенции, к которой принадлежал Горький; все принималось всерьез, и себя самих люди принимали уж слишком всерьез <...> А между тем иногда, правда редко, стена серьезности рушилась, и в пароксизме освобождающего его смеха Горький вдруг стремительно приближался ко мне. И тотчас же сознание вины появлялось у него в глазах: нельзя смеяться, когда китайские дети голодают! когда не открыта еще бацилла рака! когда в деревнях убивают селькоров! Так бывало при чтении им нашего с Максимом «журнала», «Соррентинской правды», так бывало после посещения Андрэ Жермена, одного из директоров Лионского кредита, литературного агента Горького на Францию. Этот банкир был решительно влюблен во все советское, сам же не умел самостоятельно вымыть себе рук и подставлял их не то своему лакею, не то секретарю, который всюду за ним следовал. Это был один из первых представителей так называемого «салонного большевизма», фигура комическая и жалкая. Максим и я изображали сцену мытья рук, которую мы случайно подсмотрели, и Горький хохотал до слез. Так бывало, когда мы ставили пародии на классический балет или итальянскую оперу. Но это были редкие минуты выхода из нравоучительной скорлупы, которую он себе создал. Впрочем, если перечитать его современников и единомышленников, то станет понятно, что он не создал ее себе, а она была коллективной их защитой от другого, соседнего мира, который еще во времена Добролюбова и Чернышевского сделался для подобных им «табу».

(Продолжение следует.)

По страницам книг и журналов

Фантастическая явь

•

Лидия Чуковская. Софья Петровна. «Нева», 1988, № 2

•

...Ты спроси у моих современниц:
Каторжанок, стопятниц, пленниц,
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.

(А. А. Ахматова)

«...Но оказалось, что существовали люди, с самого начала поставившие себе задачей не просто выжить, но стать свидетелями».

(Н. Я. Мандельштам)

Повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна» была написана в 1939—1940 годах. Она едва не увидела свет в 1963 году (после отказов «Москвы», «Нового мира» и «Знамени» ее собирался печатать журнал «Сибирские огни», а издательство «Советский писатель» даже запустило рукопись в производство), но лишь теперь, в феврале нынешнего года, ее напечатал журнал «Нева». В этой «типичной» издательской судьбе рукописи нетривиально только одно — время ее написания. В прозе тех лет о сталинском терроре не было сказано, кажется, ни слова.

Повесть прочитывается на одном дыхании, не отпуская от себя, возвращает нас в спертую и ядовитую атмосферу Ленинграда 1936—1937 годов — ежовщины, помноженной на «усердие» Жданова.

Фабула бесхитростная: Софья Петровна Липатова, заведующая машбюро одного из ленинградских издательств, вдова известного врача, одна вырастила сына Николая — талантливого инженера и кристального комсомольца; вдруг Николая арестовывают, приговаривают к десяти годам дальних лагерей, а Софье Петровне приходится бросить любимую работу и претерпеть немало других несчастий; хлопоты о сыне ни к чему не приводят и, как она понимает в финале, ни к чему привести не могли. Все.

Но у повести Л. Чуковской есть свой особый динамизм: властное, все ускоряющееся и все туже сужающееся круговое движение событий подхватывает героиню и по исполинской спирали уносит куда-то вниз. В этот гигантский, абсурдный водоворот, или, точнее, судьбоворот, в любой момент может быть затянуто, засосано, завлечено все, что угодно,— и безо всякой претензии на правовое или хотя бы логическое обоснование. Отсюда то жесткое излучение и реальности, и фантастичности происходящего — сродни антиутопиям Замятина или Оруэлла,— которым заражает эта сугубо реалистическая проза.

Отбрасывая соблазнительные возможности этимологических построений (София — «мудрость», Петр — «камень», Петр Иванович — зашифрованное обозначение органов НКВД в переписке семьи Чуковских и т. д.), ясно видишь, что Софья Петровна — это собирательный образ одураченного, нравственно оскопленного человека — простого, изначально порядочного, нормального, но поставленного в нечеловеческие условия существования. Вся уязвимость, бесправность и беззащитность таких людей показана в повести с художественной силой документа.

Такие, как Софья Петровна, люди — трудолюбивые, дисциплинированные, законопослушные — всегда были опорой и основой государства. И от ощущения абсурдности и одновременно какой-то будничности всего того, что на наших глазах происходит с этой женщиной, трагичность ее судьбы неизмеримо возрастает.

В повести зримо передан людоедский оскал сталинизма, цинично полагавшего, что самый эффективный и дешевый — это рабский труд. Сталинская система перестала затруднять себя сортировкой своих жертв на врагов, друзей или, как Софья Петровна, на покорное большинство. (И в этом, кстати, была своя «железная логика»: непредсказуемо—неожиданный выбор жертв провоцировал самых различных людей из их окружения на ту или иную реакцию, с гениальной простотой выявляя социально чуждых — то есть порядочных — людей, которых, в свою очередь, стоило взять на прицел.)

Вспомним доведенного почти до безумия героя «Московской улицы» Бориса Ямпольского: он, во всяком случае, отдает себе отчет в постигших его событиях, он их трезво видит и в состоянии оценить самое чудо личного от них избавления. Софья же Петровна — представительница иной, первоначально куда более массовой категории жертв — рабов страха, именем социализма воцарившегося в такой огромной стране. В человека по капле вдавили раба, и, сломив последнее сопротивление ума и совести, раб зажил в парализованной душе человека.

При всем сочувствии к Софье Петровне и ее горю, понимаешь и то, что она не только жертва, не только материал, но еще и **соучастник**. Эпоха перевоспитала, или, как тогда говорили, перековала ее, превратила в послушный винтик, подготовила к безропотному приятию любой расправы — и над самыми далекими, и над самыми близкими ей людьми. Когда она подходит на улице к жене арестованного врача Кипарисова—коллеги покойного мужа—или вступается за уволенную со службы Наташу Фроленко, ею движет не гражданская смелость, а простое человеческое сочувствие в сочетании с полным **непониманием** всего происходящего вокруг. Она бы легко воздержалась от обоих поступков, если бы кто-то ее вовремя вразумил, что к чему, то есть объяснил, что они — враги народа и общаться с ними опасно для нее самой.

Проследим хотя бы за некоторыми витками этой спирали непонимания и страха, слепоты и постепенного прозрения. Первый виток — относительное благополучие Софьи Петровны с сыном в их коммунальной квартире. Здесь на глазах у матери Коля рос и мужал, время от времени огорошивая ее своей социальной зрелостью: «Но, мама, разве это справедливо, чтобы Дегтяренко со своими детьми жил в подвале, а мы в хорошей квартире? Разве это справедливо? Скажи!»

Новый виток — аресты. Вредительство директора издательства Захарова в глазах боготворившей его Софьи Петровны было вещью невероятной, невозможной. Но человек — если он нормален — так устроен, что концы должны сходиться с концами, чтобы хоть какое-то разумное объяснение было. И потому подхватывается «версия» о женщине, сумевшей во «что-то такое» завлечь директора.

Гораздо труднее было с «версией» для следующего оглушительного удара: арестовали Колю! Какая уж тут «версия»! С чувством чуть ли не неловкости за нелепую чужую ошибку пошла Софья Петровна в первый раз на свои бесконечные и безнадежные хлопоты. Ведь с ней, с ее сыном даже не ошибка приключилась, а чистое недоразумение, опечатка,— может быть, с однофамильцем перепутали. К людям, в основном женщинам, встреченным ею в очередях, она поначалу относится несколько свысока, с сочувствием и тенью презрения одновременно («Воображаю, какое несчастье для матери — узнать, что сын ее — вредитель»,— думала Софья Петровна). И еще долго она не хотела понять то очевидное, что уже давно, быть может, и до арестов, было понятно иным женщинам из очереди на Шпалерной и из других очередей, выстоять которые пришлось и Софье Петровне.

И вдруг неожиданно Софья Петровна оказалась на другом конце своего же противопоставления... Словно эхо собственного голоса, донеслись до ее сознания случайно подслушанные слова соседки: «...Если уж один член семьи в тюрьме — то от остальных всего можно ожидать... Овечка какая невинная нашлась... Нет уж, извините, пожалуйста, зря у нас не сажают. Уж это вы бросьте. Меня же вот не посадят? А почему? Потому что я женщина честная, вполне советская».

Но не просто, не сразу дается прозрение: так, Софья Петровна еще искренне полагает, что Алика исключили из комсомола не за дружбу с ее сыном, а за неуместную его невыдержанность, резкость и т. п.

И, наконец, последний, самый сокрушительный удар. Прокурор сообщил ей, что Коля получил десять лет дальних лагерей: «Сын ваш сознался в своих преступлениях. Следствие располагает подписью. Он террорист и принимал участие в террористическом акте, понятно?»

Принимая это объяснение, Софья Петровна по-прежнему продолжает не понимать сути происходящего. Так же, без понимания, встретил новость Алик, товарищ сына. Он, пытаясь найти хоть какое-то разумное объяснение этой чудовищной ошибке-преступлению, мыслит в стиле той самой эпохи — ищет вредителей: «Знаете, Софья Петровна, я начинаю думать так: все это какое-то колоссальное вредительство. Вредители засели в НКВД — вот и орудуют. Сами они там враги народа... Я теперь одного хотел бы: поговорить с глазу на глаз с товарищем Сталиным. Пусть объяснит мне — как он себе это мыслит?»

Здесь очень легко перейти некую грань и впасть в пафос обличительства, увидеть за глухотой и слепотой Софьи Петровны добровольную жажду слепоты и глухоты. Но в этом плачевном, замешанном на страхе состоянии действительно пребывало абсолютное большинство населения.

Доведенная до отчаяния Наташа Фроленко травится вероналом. Софья Петровна в одиночестве провожает ее гроб на кладбище. Но выполнить последнюю Наташину просьбу — передать в урочный день деньги арестованному Алику она уже не решается. Ее отговорила Кипарисова, объяснив, что дело ее сына могут связать с делом Алика и может получиться «контрреволюционная организация». Разве это не трусость, не предательство верного друга, из-за ее сына попавшего в беду? Нет, все сложнее. Произошла, собственно, переориентация ума на абсурдное, алогичное — и потому **верное** восприятие этого фантастического мира, и Софья Петровна, еще хранящая рассудок, слушается безумных слов Кипарисовой, подчиняется им, инстинктом чувствуя их необъяснимую правоту.

Скоро и сама Софья Петровна встала на грань помешательства. Всю свою зарплату она тратила на вкусные консервы для будущих продуктовых посылок. Так и не дождавшись хотя бы единственного письма от сына, она начинает вдруг всем рассказывать о якобы полученном ею письме и о Колином скором возвращении.

Но когда от Коли действительно приходит письмо, но совсем другое — пронзительно-страшное, безнадежное, моля-

щее о помощи («...Мамочка, меня бил следователь Ершов и топтал ногами, и теперь я на одно ухо плохо слышу... Мамочка, на тебя вся моя надежда... Мамочка, делай скорее, потому что здесь недолго можно прожить...») — Софья Петровна бросается к той же Кипарисовой. Та, прочитав письмо, уговаривает Софью Петровну не писать никаких заявлений — ради Коли: «За такое заявление по головке не погладят. Ни вас, ни его. Да разве можно писать, что следователь бил? Такого даже думать нельзя, а не только писать. Вас позабыли выслать, а если вы напишете заявление — вспомнят. И сына тоже упекут подальше... А через кого прислано это письмо? А свидетели где? А как доказать? — Она безумными глазами обвела ванную.— Нет уж, ради бога, ничего не пишите».

Вернувшись домой, Софья Петровна... сжигает письмо!

Слова Кипарисовой, а главное, строки самого письма окончательно раскрыли ей глаза на тот фантастический мир, в котором она жила. Она наконец п о н я л а, с чем она поневоле имеет дело,— если хотите, по-своему п р о з р е л а, как ни дико называть прозрением обретенную оптику кривого зеркала. Ей стало безнадежно ясно, что человеческими, ей доступными способами — очереди, инстанции, письма — она не добьется ничего в этой атмосфере страха и зла. Не сразу, с трудом, но она поняла, что, как ни худо сейчас ей и ее сыну,— может быть еще х у ж е. И, сжигая письмо, она не рвет с сыном, не предает его (как может показаться с точки зрения нормальных людей), нет, она предупреждает опасность — уничтожает улику, которая может еще больше навредить ему.

«Ноябрь 1939 — февраль 1940, Ленинград» — эти даты под повестью — органическая ее часть, финал. Словно тонкий луч фонариком пробил суконную тяжесть беспросветного времени, став источником исторического оптимизма, которым эта повесть, несмотря ни на что, проникнута. История Софьи Петровны ведь не затерялась, не пропала, чудовищному миражу не дали забыться, не дали кануть в воду. И сделано это не спустя десятилетия, не задним числом, а в самый разгар тех мрачных событий, когда даже было страшно подумать о происходящем, а не то что произнести вслух или записать в тетрадь. И то, что сделано Л. К. Чуковской, иначе, как гражданским подвигом, не назовешь.

Сама Лидия Корнеевна сполна вкусила всю фантастическую явь сталинского террора. Ее муж — крупный физик-теоретик Матвей Петрович Бронштейн — был арестован в августе 1938 года и расстрелян в феврале 1939 года. Л. К. Чуковская прошла через все мытарства, которые выпали на долю Софьи Петровны. «С натуры» списана и ситуация в издательстве, где служила Софья Петровна: прообразом послужил Лендетгиз. Даже фигура мрачного и косноязычного парторга Тимофеева имеет своего прототипа — известного доносчика и провокатора, оклеветавшего многих сотрудников Лендетгиза и ненадолго — в 1937—1938 гг.— севшего в кресло главного редактора (он же травил уже арестованных писателей и редакторов в стенгазете и т. п.). Дважды приходили арестовывать и саму Лидию Корнеевну, но, не застав дома (она уезжала, скрывалась), так и не «довели дело до конца». Особенно интересовались рукописью «Софьи Петровны».

Лишь немногим друзьям могла довериться писательница. Среди них — и Анна Андреевна Ахматова, у которой, как и у Софьи Петровны, отняли сына. Запись об этом чтении в дневнике Л. К. Чуковской за 4 февраля 1940 года сохранила ахматовский отзыв: «Это очень хорошо. Каждое слово — правда». А когда на прощание Лидия Корнеевна поблагодарила: «Спасибо, что вы терпеливо все выслушали»,— Ахматова сказала: «Как вам не стыдно! Я плакала, а вы говорите — терпеливо!»

С «дебютом» Лидии Чуковской читатель обрел еще одного истинного собеседника. В мартовском выпуске ежемесячника вопросов и ответов «Собеседник» опубликованы воспоминания Л. Чуковской «Предсмертие» о последних днях М. Цветаевой перед самоубийством в Елабуге. В следующем выпуске того же издания (оно уже стало называться «Горизонт») Лидия Корнеевна опубликовала пропущенные строфы из «Поэмы без героя» и цикл «Черепки» А. Ахматовой. Будем же ждать и торопить появление других произведений Л. К. Чуковской, в том числе ее документального эпоса — дневниковых записей об Анне Ахматовой.

П. НЕРЛЕР

Задержанное поколение

•

Марина Кудимова. Чуть что. Стихотворная книга в пяти частях. М., Современник. 1987. **Михаил Шелехов. Слово ненастное, слово лазурное.** Стихи. М. Современник, 1987.

•

Есть поэтическое поколение, к которому давным-давно приклеилось словечко «молодые» и никак не отклеится. То ли по причине того, что напирают другие, более юные стихотворцы, то ли потому, что так сподручнее

старшим товарищам, но факт остается фактом: люди, которые годы, а то и десятилетия (статья А. Еременко называлась «20 лет в литературе») работают в поэзии, издают авторские сборники, известны читателям и критике — все еще числятся по разряду начинающих, «входящих в литературу».

Не избежали этой судьбы Марина Кудимова и Михаил Шелехов, книги которых вышли в прошлом году в издательстве «Современник». Книги разные — по языку, проблематике, подходу к явлениям действительности, но в чем-то и схожие. Не только в том, что изданы в одинаковых, уныло-серых «серийных» обложках. Важнее другое: авторы их — ровесники, люди из этого самого «задержанного» поколения.

С понятием «поколение» критики призывают обращаться осторожно, но в данном случае иначе не скажешь — речь о тех, кто вырос и сформировался в нелегкие застойные годы. «Рожденные в года глухие...» Как поэты они родились именно в такие годы — глухие к поэзии, вообще к человеческому чувству.

Может быть, поэтому открытой «поэтичности» они избегают, стесняются. Им по душе эстетический эпатаж, сниженная уличная лексика или же, напротив, сухие, наукообразные словечки. Традиционный «небосклон» они рифмуют с «антициклоном» (М. Кудимова), а «смуту листопада» с «распадом» (М. Шелехов), они смело вписывают в пейзаж строки вроде: «И будет слева, будет справа природа делать свой дизайн» (М. Кудимова) или: «И железной челюстью природа захохочет в белое лицо» (М. Шелехов). И это при том, что они искренне любят природу, ощущают зависимость от нее, признательны ей.

«Мне жаль природу как Ниобу...» — признается уже на первых страницах своей книги Кудимова. (Кстати, нам, грешным, ее стихи порой трудно понять, не обратившись к «Мифам народов мира»,— настолько насыщены они персонажами и образами из античной, русской и прочей мифологии.) Ниоба — мать многих детей, из-за своего хвастовства лишившаяся их и окаменевшая с горя. Позже, когда речь зайдет о материнстве, Кудимова еще вернется к этому образу, развив и переосмыслив его, но в стихах о природе ее замечание, брошенное вроде бы между делом, заставляет по-иному взглянуть на отношение поэтессы к традиционному конфликту. Природа была слишком расточительно щедра, слишком самоуверенна и самодостаточна, и вот человек отомстил ей — точно так же, как отомстил Аполлон Ниобе: уничтожая ее детей. Нет, Кудимова не на стороне Аполлона. Но она пытается доискаться метафизического смысла того, что происходит. Метафора — инструмент этого поиска, продолжающегося во многих стихотворениях ее книги, особенно в той ее части, которая не без умысла названа «Параллельные стихии».

Частью пейзажа у Кудимовой непременно становится человек, и, размышляя о судьбах природы, она включает в эти раздумья и размышления о судьбах человечества, человека. Человек — и дитя природы, и «параллельная стихия», и властелин ее, и в чем-то раб. Человек и природа у нее всегда в конфликтных отношениях (не в том смысле, что враждуют, а в том, что связаны взаимными противоречиями).

Мы не вполне рабы,
хотя верны привычке
С природою себя отождествлять.
Но, как ни поверни, не возникает смычки
И хочется ее учить и исправлять:
Не так ползет змея,
не так плодится рыба...
Не потому ль у всех, чтоб не было обид,
Природа отняла и воплощенья выбор,
И шанс переменить осточертевший вид?
Я с нею помирюсь, когда в земле улягусь.
И камень гробовой
мою умерит прыть.
Но камню камнем быть,
возможно, так же в тягость,
Как тягостно порой
и человеком быть...

В этом стихотворении, заслуживающем отдельного подробного разбора, есть план, который обнаруживаешь, когда начинаешь размышлять о времени, его вызвавшем: в строках этих и безысходный гнет мертвой стагнации, и слабая, еще не совсем угасшая надежда на перемены — все то, что сполна испытало поколение, к которому Кудимова принадлежит.

От ущемленности, от бессилия перед внешними обстоятельствами — невероятная гордыня. Поэтесса о себе сообщает с чувством собственного достоинства:

Тому просящему — дала,
Другому — не сочла возможным.

И на той же ноте добавляет:

И все ж, учтя свои дела,
Не сопричислю их безбожным.

А как она пишет о мужчинах! «Новый с иголочки муж, муж без сучка и задоринки», «пропадет — разыщу, для того заимела. А за что полюбил — то евойное дело...» А каким торжественным амфибрахием пишет она о появлении дочери: «Была я сподоблена имени Мать, отпраздновав пышные роды...»!

Гордыня в традициях русской женской поэзии. Все, кому приходилось писать о Кудимовой (а писали о ней на удивление много), отмечали ее связь с цветаевской музой, но величественность и подчеркнутая несуесловность ее — скорее от Ахматовой. Они сходным образом ощущают свою особость: «Я там не с брелкой, не с сопелкой являлась...» (Кудимова) — «Не лирою влюбленного иду пленять народ, трещотка прокаженного в моей руке поет...» (Ахматова). И когда читаешь кудимовское стихотворение «Я землю частную лопачу...», так и кажется, что происходит все это под «осуждающими взорами спокойных загорелых баб».

Кудимова свою особость, свое выпадение из среды осознает остро и стремится преодолеть это ощущение, хочет быть демократичной (именно быть — не слыть), вникнуть в чужие судьбы, разглядеть, как и положено поэту, самоценность простого, ничем не примечательного человека.

Народ у Кудимовой — страстотерпец. Особенно тот, что живет в русской провинции, «где благ помеnее, пожиже радостей». Картины русского провинциального быта ей удаются, но описательность ради описательности, натурализм претят ей. И герои ее стихов о провинции — грузчик гормолзавода, акушерка — не собирательные образы, а скорее символические фигуры, воплотившие в себе черты огромного страдающего целого. «Как он надеется на то, что выживет, что переможет души остуду!» — это не только о конкретном грузчике, но и о всех нас, о каждом из нас — вчерашних.

Особенно горько Кудимовой осознавать, что всем этим людям, как бы ни извикляла их задавленность бытом,— поэзия в общем-то не нужна и не будет нужна. Надменно — и не раз! — провозгласив, что самовыражается, не рассчитывая на публику, что не зависит от ее вкусов и пристрастий,— поэтесса иногда срывается: «Не для кого, не для кого, не для кого!» Но далее — знаменательное:

Но в метро
у отрока белесого —
самородный профиль Ломоносова,
у ханурика —
большие губы песельника...
Есть для кого, есть для кого, есть для кого!

Такое вглядывание в народ, выискивание в нем творческого, светлого начала по-настоящему ведется в нашей поэзии с Некрасова. Владимир Леонович распространил недавно среди современных поэтов анкету о Некрасове наподобие той, что в свое время составил К. Чуковский. В ответах Марины Кудимовой поражает глубина ее любви и понимания Некрасова. Вот и еще одна ниточка, соединяющая ее поэзию с нашим поэтическим наследием.

Сразу оговорюсь, чтобы не быть превратно понятым: речь не о том, что дар современной поэтессы равновелик талаиту Цветаевой, Ахматовой, Державина или Некрасова,— об этом говорить рано. Речь о корнях — без них, как известно, ничто произрасти не может.

Самая заметная точка отсчета для Михаила Шелехова находится ближе. Это Юрий Кузнецов. Я слежу за стихами Шелехова не первый год и знаю, что он не столько «продолжал» этого поэта, сколько отрицал его, выдавливая из себя «кузнецовщину». Если мы возьмем первую большую подборку Шелехова в «Дне поэзии» 1983 года, то увидим, насколько близок он был к старшему товарищу. Если прочитаем те же самые стихи в книге 1987 года, заметим изменения, и существенные. Вместо «смертью тянет со двора» — «дымом тянет со двора», вместо «и мертвая соль его кровь напитала» — «и жгучая соль его раны пытала», вместо «он шел лукоморьем» — «он шел побережьем» и так далее. Шелехов быстро осознал опасность эпигонства и после краткого и интенсивного увлечения Кузнецовым, точнее, его внешней манерой, сделал попытку отойти к стиху более уравновешенному и глубокому.

Но ничто не проходит бесследно, и кузнецовское «демоническое» начало нет-нет да прорвется в стихах Шелехова. Худого в этом нет ничего: индивидуальность Шелехова вполне сформировалась, а истинный творец склонен к перекличкам.

Ничего удивительного, что у Шелехова, как и у Ю. Кузнецова, в стихах предмет часто замеиен своей тенью, призраком, размытым подобием. Не самолет, а — «безмолвная тень самолета» (что тут жутче: сама «тень» или то, что она «безмолвная»?). «Тени рыщут и роятся — то ли птицы, то ли мыши?», «вижу тени штыков на траве», «рваная тень куликовской стрелы» и так далее. В конце концов вспоминается не только Ю. Кузнецов, но и В. Соловьев, полагавший, «что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами». И если сумеречные тени, напоминающие в лесу то ли мышей, то ли птиц, пришли сюда из обихода материалиста Юрия Кузнецова, то пригрезившиеся тени стрелы и штыка символичны: за ними не предмет, а само прошлое со всей его глубиной и многомерностью.

С прошлым у Шелехова особые отношения. Он имеет его в виду, о чем бы ни писал. Видения, берущие исток в российской истории, преследуют его и в лесной чаще: «Но писал о России паук над кустом, точно инок, с неистовой силой». Прошлое (кстати, отнюдь не идеализированное) связано в стихах Шелехова прежде всего с русской стариной. Настоящее же нередко одето в смутные, размытые одежды некоей «цивилизации». Противопоставление в такой системе координат неизбежно. К счастью, Шелехов не дает скоропалительных ответов на вопросы, которые в этой связи ставит. И, когда он видит, что «каплю меда с каплею бензола тащит пчелка с розовых полей», сердце его наполняется не злобой по отношению к допустившим такое зло (попробуй-ка найди их, конкретных виновников), а неподдельной болью. А когда посреди Москвы, у акведука над Яузой, наблюдает за стариками, разведшими там огороды, душа его не столько умиляется их обращению к устоям, сколько радуется еще одной вспышке природных жизненных сил.

Шелехову важно определить для себя, откуда он произошел: «из яйца змеиного или соловьиного? Из гриба осеннего? Мати, кто я есмь??» Но он точно знает, что главный его исток не в глубине веков, а «в шестнадцатилетнем, под об-

стрелом лежащем — отце...» Конечно, не случайно открывает он свою книгу циклом стихов о войне и об отце. И снова мы видим принципиальное расхождение с Ю. Кузнецовым: у старшего поэта погибший на войне отец — черная дыра, пустое место, смерч посреди степи; у младшего поэта он теплое, живое существо, задыхающееся в болоте под пулеметным огнем.

Шелехов вообще поэт — живого. В стихотворении о дятле, который «в больной янтарь впивался жалом в пяти аршинах от земли», не только дятел, но и дерево, даже смола на дереве — живые!

Во многих его стихах — совершенно особый, лесной, наполненный запахами, звуками, бликами, оттенками цветов мир. Особенно ему удаются картины грозы, бури, разгула стихии:

Как вдруг взлетело крошево листвы!
И обнажился лес, как дно морское.
И бледной почвы черепные швы
Разбил огонь стрелою шаровою.
Сверкнули гадов слепнущих белки
В пучине черной штормового леса!
И заблудились, плача от тоски,
Лесные звери среди тьмы отвесной.
И крикнул дождь, сшибая мелких птах!
И кровь травы зазеленела в лужах.
И черный лось, с травою на рогах,
Как царь морской, из пены шел на сушу...

Но М. Шелехов счастливо избежал еще одной опасности — замкнуться в рамках одной темы, сузить кругозор. Есть у него стихи, в которых с той же силой выражена любовь к Москве, знание ее, а главное — понимание ее. Столичные приметы и названия — ступеньки МХАТа, купола Новодевичьего, Нескучный сад, Арбат, Красная Пресня — воспроизводятся им столь же бережно, как и приметы деревенской жизни. Точно определив свою родословную, разобравшись с корнями и истоками, Михаил Шелехов воспринимает жизнь во всей ее полноте и во всей реальной сложности, не пытаясь подогнать свои ощущения под заранее намеченные трафареты и схемы.

Он не видит (и правильно делает) ничего страшного в том, что рядом с жизнерадостными, оптимистическими стихами читатель прочтет у него: «жизнь пролетела», «песенка спета», «я стою над растерянной жизнью», «но уйду я в рябиновый вечер раньше матери, раньше отца».

Возможно, появление подобной ноты у Шелехова объясняется самим направлением его развития как поэта, в его стихах все чаще доминирует романсовое, песенное начало. Можно спорить о том, всегда ли подобный путь плодотворен. Но у Шелехова в элегических строчках заключено, как правило, гораздо больше поэзии, чем во многих ранних стихах, эпатирующих читателя отстраненными упоминаниями всяких ужасов... Что ж, возможно, пятилетнего отрезка для этих далеко идущих выводов недостаточно. Но то, что больше стало в стихах Шелехова последнего времени музыки,— это факт.

Кстати, в коротком заключительном стихотворении его сборника, где намечена, надо думать, программа на будущее, лейтмотивом проходит именно слово «музыка».

И последнее. Поэтическая продукция издательства «Современник» еще не так давно была притчей во языцех: настолько низкого уровня это были книги. Похоже, выводы из прозвучавшей в печати критики сделаны. Во всяком случае, книги последнего времени, в том числе сборники Марины Кудимовой и Михаила Шелехова, позволяют надеяться на то, что «Современник» перестанет создавать на книжных прилавках залежи макулатуры. Читатель, он ведь не дурак: обе книги, о которых шла речь, были раскуплены сразу же после того, как появились. Не знаю, как для кого, а для меня это продолжает оставаться весьма показательным фактом.

Андрей МАЛЬГИН

ПОПРАВКА

В девятом номере «Октября» в рецензии Т. Хмельницкой «Дар понимания» по вине редакции была допущена ошибка. Первый абзац следует читать:

«У Анны Андреевны Ахматовой хранилась «полосатая тетрадь», вмещавшая сто стихотворений, ей посвященных. Она называла ее «В ста зеркалах». В. Виленкин — горячий почитатель лирики Ахматовой, тонкий ценитель ее стихов, которому она доверяла, с которым советовалась и обсуждала все созданное ею в течение тридцати лет, с которым была связана прочной искренней дружбой, написал книгу о человеческом и творческом облике ее под остроумным и интригующим заголовком — «В сто первом зеркале».

Редакция приносит свои искренние извинения В. Я. Виленкину, автору рецензии и читателям.

Отклик

СПУСТЯ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ПОМЕРАНЦЕВА (1907—1971) ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЯВЛЯТЬСЯ В ПЕЧАТИ ЕГО НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Значительная часть его литературного наследия увидела свет на страницах журнала «Сельская молодежь». Вот и сейчас журнал поместил в двух номерах (1988, №№ 4, 5) публицистическую работу Померанцева «О гражданском мужестве». Статья продолжает ту линию его творчества, что была обозначена нашумевшим в свое время выступлением «Об искренности в литературе» («Новый мир», 1953, № 12), которое стало одним из поводов к «первому» вынужденному уходу А. Т. Твардовского из редактируемого им «Нового мира». «...Полная искренность — задача, которую каждый писатель должен разрешать сам для себя»,— писал тогда Померанцев, чье выступление было одной из первых зримых вешек на пути освобождения от страха и лжи.

В статье «О гражданском мужестве» автор не столько проповедует, сколько ищет; не скрывая своего мнения, он часто отходит в тень, позволяя своим безымянным персонажам (судебному работнику, историку, экономисту, философу...) обстоятельно высказываться о том, что такое гражданское мужество применительно к советскому человеку сталинских и хрущевских времен. Сталинизм породил массовые деформации в психике, характерах, нравственности миллионов людей, и процесс не закончился: все мы, по крайней мере наедине со своей совестью, знаем, сколь силен в нас страх перед государственным насилием, знаем, какой озноб вызывает поныне любой намек на истинное или мнимое усиление репрессивного начала. На тексте статьи лежит ощутимая патина времени, но проблематика ее актуальна, как и двадцать лет назад: «Мужественный человек — это тот, кто готов что-то терять. Не обязательно голову, но что-то терять!» — утверждает один из персонажей статьи, психолог, а от этой нашей готовности (или н е-готовности) слишком многое будет зависеть в судьбе страны, в нашей общей судьбе.

А. ВАСИЛЕВСКИЙ

СБОРНИК ПРОЗЫ ВАЛЕНТИНЫ ДОРОШЕНКО «ОДНАЖДЫ ЗАМУЖЕМ», вышедший в издательстве «Советский писатель», тем примечателен, что писательница, рассказывая о жизни современных горожан, умеет разглядеть за банальным особенное, за примелькавшимися буднями — драму. Она ясно видит, как часто в людях добрые побуждения, привязанности, возвышенные порывы и принципы уживаются с суетностью, малодушием, корыстью. Уживаются, но лишь до поры до времени. Завязка повести «Однажды замужем» происходит тогда, когда героиня осознает этот внутренний разлад; впрочем, и в рассказах ее при всем разнообразии сюжетов, как правило, мы застаем героя на пороге мучительного, но и благотворного прозрения, вызванного домашними распрями, любовными горестями, служебными неурядицами. Героиня повести, оглядываясь назад, чувствует закономерность своего духовного краха, с болью догадывается, что все последние годы неотвратимо приближалась к нему. Пылкая, чистосердечная женщина, она обрекла себя на поражение тем, что добивалась внешнего благополучия ценой отказа от своей неповторимой человеческой сущности. Мне представляется, что поиски выхода, заблуждения, прозрения героев книги В. Дорошенко дают читателю хороший повод для социально-психологического раздумья, затрагивающего многие житейские проблемы.

Е. КЛИМОВА

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 30.08.88. Подписано к печати 03.10.88. А 01642. Формат $70 \times 108^1/_{16}$.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 251 000 экз. Заказ № 3048.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.